

ПЕТР ВЯЗЕМСКИЙ

СТАРАЯ ЗАПИСНАЯ
КНИЖКА. ЧАСТЬ 1

Петр Андреевич Вяземский
Старая записная
книжка. Часть 1
Серия «Старая записная
книжка», книга 1

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=24512292

Аннотация

«Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождят поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова...»

Содержание

Музыка и живопись	22
Клочки разговоров, мимоходом схваченных	358
Откровенные и исповедные разговоры	386
Выдержки из разговоров	461
Варшавские рассказы	511
Выдержки из разговоров	559
Гастрономические и застольные отметки, а также и по части питейной	571
Речи, читанные при приеме в Арзамасское общество Василия Львовича Пушкина	651
Характеристики	722
Разговор характеристический	727

Петр Вяземский

Старая записная книжка. Часть 1

Много скучных людей в обществе, но вопрошатели для меня всех скучнее. Эти жалкие люди, не имея довольно ума, чтобы говорить приятно о разных предметах, но в то же время не желая прослыть и немыми, дождают поминутно вопросами кстати или некстати сделанными, о том ни слова. Не можно ли их сравнить с будочниками, которые ночью спрашивают у всякого прохожего: кто идет? Единственно для того, чтобы показать, что они тут. Вольтер, встретясь однажды с известным охотником до пустых вопросов, сказал ему: очень рад, что имею удовольствие вас видеть; но сказываю вам наперед, что ничего не знаю.

* * *

– Не понимаю, – сказала недавно Селимена, с которой разговаривали о петербургских актерах, игравших на Московском театре, – как здешняя публика могла осыпать рукоплесканиями А...?

– Что же находите в этом удивительного? – отвечал ей Оргон, – всякий готов ласкать и обезьяну любимой женщины.

Известно, что А... – муж славной Филисы.

* * *

Один остроумный мизантроп, пишет Шанфор, рассуждая о разращении людей, сказал: Бог послал бы нам и второй потоп, когда бы увидел пользу от первого.

* * *

– Видели ли вы французского короля? – спросил однажды Фридрих у д'Аламбера.

– Видел, ваше величество, – отвечал философ.

– Что же он вам сказал?

– Он со мной не говорил.

– С кем же он говорит? – спросил король с досадой.

* * *

Н. смертный сын бессмертной Клио, то есть историк, и, надобно прибавить, русский историк, находился однажды в обществе, в котором рассуждали о Вольтере; всякий своим образом хвалил сего великого писателя.

Н. спорил со всеми, наконец сказал: согласен, государи мои: Вольтер писал изрядно; верьте однако, что я никогда не

простил бы себе, если бы мог усомниться, что напишу что-нибудь хуже него.

Что же написал г. N? Бредни о русской истории. Вероятно, что книга Иоанна Масона о познании самого себя была ему неизвестна.

* * *

Галкин, добрый, но весьма простой человек, желает прослыть приятным хозяином – и для того самым странным образом угощает гостей своих.

Например, не умея с ними разговаривать, он наблюдает за каждым их движением: примечает ли, что один из присутствующих желал бы кашлянуть, но не смеет, опасаясь помешать поющей тут даме, – и тотчас начинает, хотя и принужденно, кашлять громко и долго, дабы подать собой пример; видит ли, что некто, уронив шляпу, очень от того покраснел, и тотчас сам роняет стол; потом подходит с торжественным видом к тому человеку, для которого испугал все общество стукотней, и говорит ему: видите ли, что со мной случилась еще большая беда?

Но часто он ошибается в своих наблюдениях. Например, вчерашний вечер, когда мы все сидели в кружке, он вздумал, не знаю почему, что мне хочется встать, и тут же отодвинул стул свой; но, видя, что я не встаю, садился и вставал по крайней мере двадцать раз, и все понапрасну.

И я нынче услышал от одного моего приятеля, что он, говоря обо мне, сказал: он добрый малый, но, сказать между нами, уж слишком скромн и стыдлив.

* * *

Иные любят книги, но не любят авторов – неудивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел.

* * *

Панкратий Сумароков, удачный подражатель Богдановича в карикатурных изображениях, коренной принадлежности русского ума. Где француз улыбнется, русский захохочет. Французская эпиграмма хороша, когда задевает стрелю. Русская, когда хватит дубиною или ударит топором. Французские глаза любят цвета нежные, но с красотью переливающиеся; русские радуются краскам хотя и грубым, но ярким. Посмотрите на наши комедии: тут уму нечего догадываться, зрителю дополнять. Все не в бровь, а в самый глаз; все так глаза и колет; все высказано, выпечатано и перепечатано. То же можно сказать и о комическом духе немцев, англичан, испанцев, с той только разницею, что у нас один истинный комик, Фон-Визин, и то в одной комедии, а у тех существует театр народный.

Покойный Жолковский, лучший комический актер Варшавского театра, на обвинение, делаемое ему, что он иногда слишком плотно шутит, отвечал: «Вы живописцы образованные, не знаете ремесла театральных маляров; я зрителей своих знаю. Мои декорации, слишком грубо писанные для вас, глядящих на них вблизи или сквозь искусственное стекло, издали только что в пору для них». Многие из читателей наших также читают издали. Излишние утонченности ускользают от них. Они не любят бледной, воздушной красоты ни в телесном, ни в духовном: давай им красоту дородную, кровь с молоком.

* * *

Я уверен, что злые поклонники солнца радуются пасмурному дню. При таком свидетеле и судье мудрено пуститься на худое дело. Солнце для них то же, что деревянные головы, вставленные в потолок в Краковском судилище, которые, как рассказывает предание, взывали к царю: «Будь справедлив!» Хорошо и каждому из нас завести бы у себя хотя по одной такой голове. «На то есть совесть», скажете вы. Конечно, тем более что у многих она одеревенела не хуже деревянной башки.

* * *

Мало иметь хорошее ружье, порох и свинец; нужно еще уметь стрелять и метко попадать в цель. Мало автору иметь ум, сведения и охоту писать; нужно еще искусство писать. Писатель без слога – стрелок, не попадающий в цель. Сколько умных людей, которых ум притупляется о перо. У иного зуб остер на словах; на бумаге он беззубый. Иной в разговоре уносит вас в поток живости своей; тот же на бумаге за душу вас тянет. Шаховский, когда хочет вас укусить, только что замуслит.

* * *

Слова – условленные знаки мыслей. Иные имеют в глазах наших цену существенную, весовую и утвержденную временем и употреблением; другие вводятся в язык насильственно, и цена их условная. Государство не имеет довольно звонкой монеты; оно прибегает к ассигнациям. Язык не имеет довольно коренных слов; он прибегает к словам составным или относительным. Для монет есть монетный двор, для слов есть Академия; но она не выбивает новых слов, а только свидетельствует и клеймит старые. Академия – пробная палатка, но рудники – писатели.

Когда годится ассигнация? Тогда, как пустившие ее в ход за нее отвечают и силой, или доверенностью, или другими средствами убеждают других почитать ее тем, чем он ее выдает. Или возьмем в пример марки клубные, или городских касс, употребляемые в иных клубах и городах: вне общества, вне города они не имеют никакой цены, но в известном круге эти марки почитаются настоящими представительными знаками денег и наравне с ними в ходу. Отчего же бы по этому примеру нельзя новому поколению дополнить неимущество своего языка условленными звуками, преобразовавшимися в слова, долженствующие также, в свою очередь, образовать глазам и ушам понятия, еще не имеющие выражения на языке?

В финансовых производствах скудость в представительных знаках, в соразмерности с потребностью, вознаграждается удвоением, утроением знаменования представителя: то есть рубль делается рублями, и так далее. В языке этого делать нельзя, или по крайней мере не должно. Слово, имеющее два, три значения, не годится ни на одно значение. Как же помочь? Иностранных слов брать не велят: от сего займа терпит народная спесь. Заметим, однако же, мимоходом, что голландские червонцы у нас в ходу: кажется, было бы и слово чистого золота, то брезговать не к чему. Хуже отказываться от выражения понятий нам сродных потому только, что они не приходили в голову нашим предкам и чужды были их веку.

Как этимологи ни мучься над родословием слов – но все многие слова – звуки, выраженные наудачу, подкидыши на распутий ума человеческого, которые после того сделались приемышами, а там уже усыновлены и узаконены порядком. Зачем же нам оставаться бездетными? Мы боимся подставочным поколением оскорбить наследственные права старших братьев, которые, если разбирать строго, может быть, окажутся еще их незаконнее. В дипломатике употребляют же цифры произвольные, не заботясь о том, что никакая грамматика, никакой Словарь Академический не дали знакам этим права гражданства. Дело в том, чтобы понимать друг друга.

Какое же вывести заключение из всего сказанного? То, чтобы в случае недостатка слов для выражения понятий, для наименования вещей, нам равно необходимых, равно свойственных, решились бы хотя на каком-нибудь съезде писателей выбить из известных слов и звуков новые слова и без околечностей внести их в общий словарь русского языка.

Признаюсь, выведенное заключение несколько напугать может и не робкую душу самого отчаянного неолога! Но как же помочь в беде? Впрочем, обращаюсь к своему эпитафю и укрываюсь в его засаде: «Кидаю мысли свои на бумагу, и справляйся они, как умеют».

* * *

Я нашел у старика Сумарокова прекрасное слово: *заблужденники*, которое тщетно после того искал и в Словаре Академическом, и в других писателях. Подобные прилагательно-существительные – совершенная находка: у нас в них недостаток, а они выразительны и полновесны.

* * *

«Витийство лишнее природе злейший враг», сказал в ответ на оду Майкова тот же Сумароков, у коего вырывались иногда стихи не красивые, но правильные и полные смысла, а особенно в сатирах. Вот примеры:

Пред низкими людьми свирепствуй ты как черт,
Простой народ и чтит того, кто горд.

(Наставление сыну.)

Мой предок дворянин, а я неблагороден.

(О благородстве.)

Но чем уверят нас о прабабках своих,

Что не было утех сторонних и у них.

«Сторонних утех» забавное и счастливое выражение.

Один рассказывал: другой заметил тож:

Все мелет мельница: но что молола? Ложь.

(*О злословии.*)

Если издатели *Образцовых Сочинений* с умыслом переменяли стих Сумарокова о невеждах, в сатире: *Пишта и его друг*:

Их тесто никогда в сатире не закиснет,

на:

Их место никогда в сатире не закиснет,

то двойною виной провинились они: против истины и поэзии. Выражение Сумарокова не щеголевато, но забавно и точно. *Место* не закиснет не имеет никакого смысла. Иногда же он в сатирах своих просто ругается; иногда, по нынешнему, либеральничает и крепко нападает на злоупотребления крепостного владения, например:

Ах! Должно ли людьми скотине обладать?

Не жалко ль, может бык людей быку продать?

* * *

«Тело врага умершего всегда хорошо пахнет», сказал Вителлий и повторил Карл IX. Случалось ли вам радоваться падению соперника, лакомиться чтением дурного сочинения неприятеля вашего, заслушиваться рассказа подробного о непохвальном поступке человека, который сидит у вас на шее и на сердце? Случалось ли? Верно: да! Случалось ли в том признаваться? Верно: нет! Итак, не гнушайтесь вчуже чувством Вителлия и Карла, а только дивитесь их нескромному признанию.

* * *

Веревкин, сочинитель комедий: *Так и должно* и *Точь-в-точь*, которая, как говорят, осмеивала некоторых из симбирских лиц и была представлена в их присутствии. Переводчик *Корана*, издатель многих книг, напечатанных без имени, а только с подписью деревни его: Михалево, сделался известным императрице Елизавете следующим образом. Однажды, перед обедом, прочитав какую-то немецкую молитву, которая ей очень понравилась, изъявила она желание, чтобы перевели ее на русский язык. «Есть у меня человек на примете, – сказал Шувалов, – который изготовит вам перевод до

конца обеда», – и тут же послал молитву к Веревкину.

Так и сделано. За обедом принесли перевод. Он так полюбился императрице, что тотчас же или вскоре затем наградила она переводчика 20 000 рублей. Вот что можно назвать успешной молитвой.

Веревкин любил гадать в карты. Кто-то донес Петру III о мастерстве его: послали за ним. Взяв в руки колоду карт, выбросил он искусно на пол четыре короля. «Что это значит?» – спросил государь.

«Так фальшивые короли падают перед истинным царем», – отвечал он. Шутка показалась удачной, а гадания его произвели сильное впечатление на ум государя. И на картах ему посчастливилось: вслед за этим отпустили ему долг казенный в 40 000 рублей.

Император сказал о волшебном мастерстве Веревкина императрице Екатерине и пожелал, чтобы она призвала его к себе. Явился он с колодой карт в руке.

«Я слышала, что вы человек умный, – сказала императрица, – неужели вы веруете в подобные нелепости?»

«Нимало», – отвечал Веревкин.

«Я очень рада, – прибавила императрица, – и скажу, что вы в карты наговорили мне чудеса».

Он был великий краснбай и рассказчик, много жывал в деревне, но когда приезжал в Петербург, то с шести часов утра прихожая его наполнялась присланными с приглашениями на обед или вечер: хозяева сзывали гостей на Веревкина.

Отправляясь на вечеринку или на обед, говорят, спрашивал у товарищей своих: «Как хотите: заставить ли мне сегодня, слушателей плакать или смеяться?» И с общего назначения то морил со смеха, то приводил в слезы.

Это похоже на французских говорунов старого века. Шамфор, Рюльер также были артисты речи и разыгрывали свой разговор в парижских гостиных по приготовленным темам.

Веревкин когда-то написал шутку на Суворова, в которой осмеивал странные причуды его. Суворов знал о ней. Веревкин был в военной службе, а после – действительным статским советником; был в дружеской связи с Фон-Визинном и уважаем Державиным, который был учеником в Казанской гимназии, когда Веревкин был ее директором. «Помнишь ли, как ты назвал меня болваном и тупицей?» – говорил потом бывшему начальнику своему тупой ученик, переродившийся в статс-секретаря и первого поэта своей нации. (Рассказано мне родственником его, генералом Веревкиным, который после был комендантом в Москве.)

* * *

Напрасно Шлегель говорит в своей драматургии: «Если Расин в самом деле сказал, что он отличается от Прадона единственно тем, что умеет писать, то жестоко был к себе несправедлив».

Конечно, должно дополнить это мнение, но помнить при-

том, что Расин сказал это во Франции: слог у французов первая необходимость; у немцев, уже по другой крайности, он часто последнее условие. В искусствах нельзя не ценить отделки: немцы же все ценят на вес. Поэтому и суждения Шлегеля о французском театре часто ошибочны и пристрастны. Он судил о нем, и вообще немцы судят о французской литературе не как знатоки или охотники, но как заимодавцы под вещи. Французы выше всего ставят ясность и щегольство слога; Корнель на театре их почти позабыт. Грубый стих, дикое выражение в глазах их грех неискупимый и переживает, то есть хоронит, целую поэму.

Ломьер, автор поэм и трагедий, в которых есть точно существенное достоинство, известен у них частой стычкой несладкозвучных согласных, шероховатостью и проч. Нет француза, который не знал бы этих стихов его:

Crois – tu tel forfait Manco-Capac d'capable?

И Opera sur roulette et qu'on porte a dos d'homme.

И никто уже не заглядывает в его творения, оглашенные подобными стихами. Уши немцев уживчивее. Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда не должно позволять себе излагать о ней судебские приговоры. В рассмотрении тяжбы подсудимого должно держаться уложения, которому он подлежит, а нельзя со своими законами идти на управу в чужую

землю.

* * *

Если не признавать цены отделки, вкуса, свойственного такому-то народу и такому-то веку, как постигнуть уважение древности к Анакреону? О нашем уважении уже не говорю: оно суеверие и присвоено нами по преданию. Переводить сухой прозой Анакреона – то же, что переложить на русские слова каламбуры маркиза Биевра; а Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Баттё.

* * *

В той же комнате Английской гостиницы варшавской, в коей Наполеон после бедственного русского похода давал свою достопамятную аудиенцию Прадту и некоторым полякам, был положен, спустя несколько месяцев, труп Моро, во время перевоза бранных останков его в Петербург. У судьбы много таких драматических выходов.

* * *

Одно из любимых чтений Кострова было роман *Вертер*. Когда он бывал навеселе, заставлял себе читать его и зали-

вался слезами. Однажды в подобном положении, после чтения продиктовал он любовное письмо, во вкусе *Вертера*, к прежней своей возлюбленной. Жаль, что не сохранился сей любопытный памятник переводчика *Илиады*.

Костров не любил стихов Петрова: за чашею или после чаши всегда слушал их с удовольствием. Он был истинный чудак, и знавшие его коротко рассказывают о нем много забавных странностей. Бывало, входит он в комнату приятелей своих в шляпе трехугольной, снимет для поклона и снова наденет на глаза, сядет в угол и молчит. Только когда услышит от разговаривающих речь любопытную или забавную, то приподнимет шляпу, взглянет на говоруна и опять ее на-сунет.

Он так был нравами непорочен, что в доме Шувалова отведена была ему комната возле девичьей. Однажды входит к нему Дмитриев и застаёт его на креслах перед столом, на коем лежит греческий Гомер, в пергаменте, возле Кострова горничная девушка, а он сшивает разные лоскутки. «Что это вы делаете, Ермил Иванович?» – «А вот девчата понадовали мне лоскутья, так сшиваю их, чтобы не пропали». Добродушие его было пленительное.

Его вывели на сцену в одной комедии, кажется, ныне покоящейся на обширном кладбище нашего *Российского Фетра*, и он любил заставлять при себе читать явления, в коих представлен он был в смешном виде. «Ах! Он пострел, – говаривал он об авторе, – да я в нем и не подозревал такого

ума. Как он славно потрафил меня!»

Карамзин встретился с ним в книжной лавке, за несколько дней до кончины его. Он был измучен лихорадкой. «Что это с вами случилось?» – спросил его Карамзин. «Да вот такая беда, – отвечал он, – всегда употреблял горячее, а умираю от холодного».

Он сказывал о себе, что он сын дьячка, но на первой оде его напечатанной выставлено, что сочинена крестьянином казенной волости. (Все сказанное о Кострове слышано от И. И. Дмитриева.)

* * *

Скоро наскучишься людьми, у коих душой бывает ум: надежны одни те, у коих умом душа. Вовенарг сказал: мысли высокие истекают из сердца. Можно прибавить: и приемлются сердцем. Слова человека с умом цифры: их должно применять, высчитывать, проверять; слова человека с душой деяния: они увлекают воображение, согревают сердце, убеждают ум.

* * *

Женщины господствуют в жизни силой слабостей своих и наших. Они напоминают изваяние, представляющее Амура,

который обуздал льва. Он царь; но дитя сел ему на шею.

* * *

О Хераскове можно сказать, что он сохранил до старости холодность, заметную в первых стихах его молодости.

* * *

Музыка и живопись

Музыка – искусство независимое, живопись – подражательное и, следовательно, подвластное. Последняя говорит душе посредством глаз и действует преимущественно на память, уподоблением с тем, что есть и что мы видели или могли видеть. Первая только по условию покорилась определенным формам, но по существу своему она всеобъемлюща. Есть музыка без нот, без инструментов. В живописи все вещественно: отнимите кисть, карандаш, и она не существует. Живое в ней – оптический обман. Истинное в ней – краски, кисти, холст, бумага – мертвое. В музыке обман то, что в ней есть мертвое. Ноты – цифры ее, соображение строев, созвучий, математика их, все это условное, безжизненное. Живое в ней почти не осязается чувством. Живопись была сначала ремеслом, рукодельем: уже после сделалась она творением. Музыка творение первобытное, и только из угождения прихотям, или недостаткам человеческим сошла она в искусство. Шум ветров, ропот волн, треск громов, звучные и томные переливы соловья, изгибы человеческого голоса, вот музыка довременная всем инструментам.

Живопись – наука; музыка – способность. Искусство говорить наука благоприобретенная; но дар слова – родовое достояние человека. Не будь частей речи, не будь слов, не менее того были бы звуки неопределенные, сбивчивые, но

все более или менее понятные для употребляющих; не будь нот, генерал-баса, а все была бы музыка.

Музыка – чувство; живопись – понятие. В первой чувство родило понятие; в другой от понятий родилось чувство. Господствующее сродство музыки с нами: ее переходчивость. Мы симпатизируем с тем, что так же минутно, так же неутвердимо, так же загадочно, неопределенно, как мы. Звук потряс нашу душу – и нет его, наслаждение обогрело наше сердце – и нет его.

В живописи видны уже расчет рассудка, цель, намерение установить преходящее, воскресить минувшее или будущему передать настоящее. Это уже промышленность. В музыке нет никаких хозяйственных распоряжений человека, минутного хозяина в жизни. Душа порывается от радости или печали; она выливается в восклицание, или стон. Ей нет потребности передать свои чувства другому, она просто не могла утаить их в себе. Они в ней заговорили, как Мемнонова статуя, пораженная лучом денницы. Вот музыка.

Есть солнце гармонии: оно действует на своих поклонников, согревает и оплодотворяет их гармонической теплотой. Часто слышишь, что живопись предпочитается как упражнение, более независимое от обстоятельств, удобнее, чтобы провести или, как говорится, убивать время, следовательно, прибыльнее для сбывающих с рук его излишество. Тут идет дело о пользе, а я о наслаждении и думать не хочу: говорю о потребности, о необходимости. Горе музыканту или поэту,

принимающемуся за песни от скуки. Оставим это промышленникам. Несчастный, уязвленный в душе, как бы ни был страстен к живописи, возьмется ли за кисть в первую минуту поражения; разве после, когда опомнится и покорится рассудку, предписывающему рассеяние. Без сомнения, музыкант и поэт, если живо поражены, не станут также считать стопы или сводить звуки; но ни в какое время, как в минуты скорби душевной, душа их не была музыкальнее и поэтичнее.

Однако же и живопись имеет в нас природное соответствие. Мы часто спускаем взоры с подлинной картины природы и задумчиво заглядываемся на повторение ее в зеркале воды, отражающем ее слабо, но с оттенками привлекательности. Человек по возвышенному назначению ищет совершенства; но по тайной склонности любит в несовершенствах. Неотразимо чувствуя в душе преимущество музыки над живописью, я готов почти применить сказанное мною о живописи к поэзии, в сравнении с музыкой, признавая, однако же, в поэзии много свойств живописи и музыки. Впрочем, музыка одна и нераздельна (*une et indivisible*), как покойная Французская республика.

В поэзии много удельных княжеств: есть поэзия ума, поэзия воображения, поэзия нравоучения, поэзия живописная, поэзия чувства, которая есть законнейшая, ближайшая к общей родоначальнице – поэзии природы, поэзии вечной. Есть же поэзия без стихов: на стихи без поэзии указывать нече-

го. В условленном выражении поэзии есть слишком много примеси прозаической. Поэзия – ангел в одежде человеческой; музыка прозрачно подернута эфирным покровом. Она ничего не представляет и все изображает; ничего не выговаривает и все выражает; ни за что не отвечает и на все отвечает. Язык поэзии, стихотворство, есть язык простонародный, облагороженный выговором. Музыка – язык отдельный, цельный. Их можно применить к письменам демократическим (народным) и гиератическим (священно-служебным), бывшим в употреблении у древних египтян. Музыка – усовершенствованные, возвышенные иероглифы: в них все мирские же знаки изображали человеческие понятия. В музыке знаки бестелесные возбуждают впечатления отвлеченные. В поэзии есть представительство чего-то положительного; в музыке все неизъяснимо, все безответственно, как в идеальной жизни очаровательного и стройного сновидения. Что ни делай, а таинственность, неопределимость – вот вернейшая прелесть всех наслаждений сердца. Мы прибегаем к изящным искусствам, когда житейское, мирское уже слишком нам постыло.

Мы ищем нового мира, и вожатый, далее водящий по сей тайной области, есть вернейший любимец души нашей. Этот вожатый, этот увлекатель и есть музыка. Ангелы, херувимы, серафимы, в горних пределах, не живописуют силы Божией, а воспевают ее. Если пришлось бы подвести искусства под иерархический порядок, вот как я распределил бы их: 1-я –

Музыка, 2-я – Поэзия, 3-е – Ваяние, 4-я – Живопись, 5-е –
Зодчество.

* * *

Что за страсть, если она страдание? Недаром на языке христианском имеют они одно значение. Должно пить любовь из источника бурного; в чистом и тихом она становится усыпительным напитком сердца. Счастье – тот же сон.

Откровенная женщина говаривала: люблю старшего своего племянника за то, что он умен; меньшего, хотя он и глуп, за то, что он мой племянник. Так любим мы свои способности и неспособности, духовные силы и немощи, добрые качества и пороки. Порок, каков он ни есть, все же наш племянник.

* * *

Опытность – не дочь времени, как говорится ложно, но событий.

* * *

Ривароль говорил о союзниках в продолжение революционной войны: они всегда отстают одной мыслью, одним го-

дом и одной армией.

* * *

Мне всегда забавно видеть, как издатели и биографы сатириков ограждают божбами совесть их от подозрений в злости и стараются задобрить читателей в пользу своих литературных клиентов. Не все ли равно распинаться за хирурга в том, что он не кровожадный истязатель и душегубец; но сатирик – оператор, срезывающий наросты и впускающий щуп в заразные раны.

К тому же не часто ли видим, что писатель на бумаге совершенно другой человек изустно. Забавный комик на сцене может в домашнем быту смотреть сентябрем, а трагик быть весельчаком. Ум – вольный козак и не всегда покоряется дисциплине души и нрава. Душа всегда та же; ум разнообразен, как оборотень. Дидерот говорит: «Зачем искать автора в лицах, им выводимых? Что общего в Расине с *Гофолоией*, в Мольере с *Тартюфом!*»

* * *

Лучшая эпиграмма на Хераскова отпущена Державиным без умысла в оде *Ключ*:

Священный Гребеневский ключ!

Певца бессмертной Россияды
Поил водой ты стихотворства.

Вода стихотворства, говоря о поэзии Хераскова, выражение удивительно верное и забавное!

* * *

Чтобы твердо выучиться людям, не подслушивать, а подмечать их надобно. Одни новички проговариваются, но и у самых мастеров сердце нередко пробивается на лице, или в выражениях.

Зашедши в гости, граф Растопчин забыл золотую табакерку в сюртуке; спохватившись, выходит он в переднюю и вынимает ее из кармана. Заметя это, один из лакеев поморщился и сделал губами безмолвное движение, которое выпечатаило невольное признание: ах, если бы я это знал!

* * *

Филипп писал Аристотелю: не столько за рождение сына благодарю богов, сколько за то, что он родился в твое время.

Многие классики не столько радуются творению своему, сколько тому, что оно создано по образу и подобию Аристотеля. Один врач говорил про своего умершего пациента: он не выздоровел, но, по крайней мере, умер при всех условиях

и предписаниях науки.

* * *

И овцы целы и волки сыты, было в первый раз сказано лукавым волком, или подлой овцой, или нерадивым пастухом. Счастливо то стадо, вокруг коего волки околевают с голода.

* * *

Сколько книг, которые прочитаешь один раз для очистки совести, чтобы при случае сказать: я читал эту книгу! Так делаешь иные годовые визиты, чтобы карточка твоя была внесена вовремя в собрание привратника, оттуда в гостиную и на другой день заброшена в вазу, а если имя твое в чести, то воткнута в зеркальную раму. Видно имя, ноне видать человека; остается заглавие, но ничего из книги не осталось. Не все книги, не все знакомства впрок и по сердцу. Как в тех, так и в других насчитает много шляпочных связей. Лишнее знакомство вредит истинной приязни, похищает время у дружбы; лишнее чтение не обогащает ни памяти, ни рассудка, а только забирает место в той и другом, а иногда и выживает пользу действительную.

Теперь много занимаются составлением изданий сжатых (editions compacts); но эта экономия относится только до сбе-

режения бумаги; хорошо, если нашли бы способ сжимать понятия и сведения (впрочем, без прижимки) и таким образом сберечь время чтения, которое дороже бумаги. Как досаден гость не в пору, которому отказать нельзя; как досадно появление книги, которую непременно должно прочесть сырую со станка, когда внимание ваше углубилось в чтение залежавшейся или отвлечено занятием, не имеющим никакой связи с нею.

* * *

По новым усовершенствованиям типографической промышленности во Франции семьдесят томов Вольтера сжаты в один том. Что будет с нами, если сей способ стеснения дойдет до нас? Вообразите себе на месте дородного и высококорослого Вольтера иного словесника нашего или ученого известного, известнейшего, почтенного, почтеннейшего, достопочтенного, по техническим титулам отличия в табели о рангах авторов, употребляемым в языке журнальном, газетном и книжном. Того и смотри, что вдавят его в пять или шесть страниц.

* * *

Ломоносов сказал: *мокрый амур*. Многие из элегий и лю-

бовных песен наших писаны под его водяным влиянием. На бумагу авторов сыпались не искры с пламенника амура, а дождевые капли с крыльев его. Мокрый амур, мокрая крыса, мокрая курица (*poule mouillée*) все это идет одно к другому.

* * *

Никому не весело быть в дураках, а особливо же дураку. По-настоящему, одни умные люди могут попадаться впро-сак; другие от природы получили тут оседлость. Видим при-меры, что дураки попадают в умные люди; как тупое копье, брошенное чужой силой, они попадают в цель на мгнове-ние, но не имея в себе ни цепкости, ни остроконечности, они своим весом падают стремглав. Подумаешь, что именно для этих людей выдуманно выражение: подымать на смех.

Смотря на современный литературный мир в Европе, мо-жет быть, признаешься, что в нем нет богатырей, которые являлись прежде на сцене; но читатели нынешние рассуди-тельнее и многочисленнее прежних. И в таком случае все еще есть перевес на стороне нашего века. Живописна карти-на нескольких ветвистых исполинов, уединенно разбросан-ных по обширной равнине; расчетливый же хозяин дорожит более рощею равной, но дружно посаженной деревьями соч-ными и матерыми.

* * *

Херасков где-то говорит: «Коль можно малу вещь великой уподобить»; и очень можно. В уподоблениях именно приличнее восходить, чем спускаться; но Поэт сказал однако же о луне: «Ядро казалось раскаленно», и на ту минуту был живописцем.

* * *

Херасков чудесное, смелое рассказывает всегда, как дети рассказывают свои сны с оговоркой *будто*:

И будто трубный глас восстал в пещерах мрачных,
И будто возгремел без молний гром в дали,
И будто бурная свирепствуя вода,
От солнечных лучей, как будто от огня.

Будто это поэзия!

* * *

Многих из стихотворцев с пером в руке можно представить себе в виде старухи за чулком: она дремлет, а пальцы ее сами собою движутся и чулок между тем вяжется. Зато

на скольких поэтических ногах видим чулки со спущенными петлями!

* * *

Лафонтен, как полагают иные, создал слово басенник, который плодоносит баснями как яблоня – яблоками – *fablier*, *qui porte des fables, comme un pommier des pommes*. Основываясь на этом словопроизводстве, можно сказать о Хемницере или Крылове: он *басення*, от слова яблоня, а об ином: он баснина, от слова осина. Читая притчи же другого, как не подумать, что они держатся старинного, простонародного значения *притчи*, ошибки, несчастного случая. Без притчи века не изживешь, говорит пословица; а каково же, когда придется весь свой век изжить на притчах? Не в добрый час ему попритчилось, сказал я по прочтении собрания известных притчей.

* * *

В ночь на Иванов день исстари зажигались на высотах кругом Ревеля огни, бочки со смолой, огромные костры; все жители толпами пускались на ночное пилигримство, собирались, ходили вокруг огней, и сие празднество, в виду живописного Ревеля, в виду зеркала моря, отражающего при-

брежное сияние, должно было иметь нечто поэтическое и торжественное. Ныне разве кое-где блещут сиротливые огни, зажигаемые малым числом поклонников старины. Это жаль. Везде падают народные обычаи, предания и поверия.

Народы как будто стыдятся держаться привычек детства, достигнув совершеннолетия. Хорошо иным; но зачем отставать от поэзии бабушкиных сказок другим, все-таки еще чуждым прозы просвещения? Право, многим поребячиться еще не грешно. Мы со своей степенностью и нагой рассудительностью смешны, как дети, которые важничают в маскарадах, навьюченные париком с буклями, французским кафтаном и шпагой. Крайности смежны. Истинное, коренное просвещение возвращает умы к некоторым дедовским обычаям. Старость падает в ребячество, говорит пословица; так и с народами; но только они заимствуют из своего ребячества то, что было в нем поэтического. Это не малодушие, а набожная благодарность. Старик с умиленным чувством, с нежным благоговением смотрит на дерево, на которое он лазил в младенчестве, на луг, на котором он резвился. В возрасте мужества, в возрасте какого-то благоразумного хладнокровия, он смотрел на них глазами сухими и в сердце безмолвном не отвечал на голос старины, который подавали ему ее красноречивые свидетели. Старость ясная лебединая песнь жизни, совершенной во благо, имеет много созвучия с юностью изящной; поэзия одной сливается с поэзией другой, как вечерняя заря с молодым рассветом. Возраст зрелости есть

душный, сухой поддень; благотворный, ибо в нем сосредотачивается зиждительное действие солнца, но менее богатый оттенками, более однообразный, вовсе не поэтический.

Литературы, сии выражения веков и народов, подтверждают наблюдение. Литература, обошедши круг общих мыслей, занятий, истин, выданных нам счетом, кидается в источники первобытных вдохновений. Смотрите на литературу английскую, германскую: Шекспир, утро; Поп, полдень; Вальтер Скотт, вечер.

* * *

«Когда я начинал учиться английскому языку, – говорил Вольтер о Шекспире, – я не понимал, как мог народ столь просвещенный уважать автора столь сумасбродного; но, познакомившись короче с английским языком, я уверился, что англичане правы, что невозможно целой нации ошибаться в чувстве своем и не знать, чему радуется (et a tort d'avoir du plaisir)».

Ум Вольтера был удивительно светел, когда не находили на него облака предубеждения или пристрастия. В словах, здесь приведенных, есть явное опровержение шуток и объяснений, устремленных тем же Вольтером на *пьяного дикаря*. Будь Шекспир пьяный дикарь, то дикарями должны быть и просвещенные англичане, которые поклоняются ему, как кумиру их народной славы. Дело в том, что должно глубоко

вникнуть в нравы и в дух чуждого народа, совершенно покумиться с ним и отречься от всех своих народных поверий, мнений и узаконений, готовясь приступить к суждению о литературе чуждой. Шекспиристы, говоря о трагедиях Расина: «И французы называют это трагедией?» – похожи на французских солдат, которые, не окрещенные при рождении своим русским морозом и незваные гости на Руси, восклицали в 1812 году, страдая от голода и холода: «И несчастные называют это отечеством! (et les malheureux appellent cela une patrie!)»

* * *

Слава хороша, как средство, как деньги, потому что на нее можно купить что-нибудь. Но тот, кто любит славу единственно для славы, так же безумен, как скупец, который любит деньги для денег. Бескорыстие славолубивого и скупого – противоречия. Счастлив, кто, жертвуя славе, думает не о себе, а хочет озарить ею могилу отца и колыбель сына.

* * *

Беда иной литературы заключается в том, что мыслящие люди не пишут, а пишущие люди не мыслят.



Сумароков единствен и удивительно мил в своем самохвальстве; мало того, что он выставял для сравнения свои и Ломоносова строфы, и, отдадим справедливость его праводушию, лучшие строфы Ломоносова.

Он еще дал другое доказательство в простосердечии своего самолюбия. В прозаическом отрывке *О путешествиях* вызывается он за 12 000 рублей, сверх его жалованья, объездить Европу и выдать свое путешествие, которое, по мнению его, заплатит казне с излишком; ибо, считая, что продается его шесть тысяч экземпляров, по три рубля каждый, составитя 18 000 рублей; и продолжает: «Ежели бы таким пером, каково мое, описана была вся Европа, не дорого бы стоило России, ежели бы она и триста тысяч рублей на это безвозвратно употребила».

Стихов его по большей части перечитывать не можно, но отрывки его прозаические имеют какой-то отпечаток странности и при всем неряшестве своем некоторую живость и игривость ума, всегда заманчивые, если не всегда удовлетворительные в глазах строгого суда.

В общежитии был он, сказывают, так же жив и заносчив, как и в литературной полемике; часто не мог он, назло себе, удержаться от насмешки и часто крупными и резкими выходками наживал себе неприятелей.

Он имел тяжёлое дело, которое поручил ходатайству какого-то г-на Чертова. Однажды, написав ему письмо по этому делу, заключил его таким образом: «С истинным почтением имею честь быть не вам покорный слуга, потому что я Чертовым слугою быть не намерен, а просто слуга Божий, Александр Сумароков».

Свидетель следующей сцены, Павел Никитич Каверин, рассказал мне ее: «В какой-то годовой праздник, в пребывание свое в Москве, приехал он с поздравлением к Н. П. Архарову и привез новые стихи свои, напечатанные на особенных листках. Раздав по экземпляру хозяину и гостям знакомым, спросил он о имени одного из посетителей, ему неизвестного. Узнав, что он чиновник полицейский и доверенный человек у хозяина дома, он и его подарил экземпляром. Общий разговор коснулся до драматической литературы; каждый вносил свое мнение. Новый знакомец Сумарокова изложил и свое, которое, по несчастию, не попало на его мнение. С живостью встав с места, подходит он к нему и говорит: «Прошу покорнейше отдать мне мои стихи, этот подарок не по вас; а завтра для праздника пришлю вам воз сена или куль муки».

* * *

Мнение одного государственного человека, а именно канцлера графа Румянцева, что в характере Наполеона отзы-

валось некоторое простодушие (bonhomie), было в свое время выдано за мнение несообразное и слишком простосердечное. Не поверяя одного характеристиками Наполеона, начертанными многими из приближенных его, которые посвятили нас в тайнство его частной жизни и разоблачили пред нами героя истории, являя просто человека, – можно, кажется, по одному нравственному соображению признать в некоторых отношениях истину приведенного заключения. В поре могущества нечего ему было лукавить; одним лукавством не совершил бы он геркулесовских подвигов, ознаменовавших грозное его поприще; тут нужны были страсти, а страсти откровенны.

* * *

Суворов был остер не одной оконечностью штыка, но и пера; натиск эпиграммы его был также сокрушителен. Он писал однажды об одном генерале: «Он человек честный, воображаю, что он хорошо знает свое ремесло, и потому надеюсь, что когда-нибудь да вспомнит, что есть конница в его армии».

* * *

О некоторых сердцах можно сказать, что они свойства

непромокаемого (impermeable, water-proof). Слезы ближних не пробивают их, а только скользят по ним.

Отчего это мало-помалу все крадутся в дверь из этой комнаты? Что за гостинная эмиграция? – «Верно N.N. начал там рассказывать анекдоты». Это напоминает мне одно острое слово покойника графа Апраксина, которого, впрочем, весь разговор был фейерверк острых слов.

Назвался к нему однажды обедать знакомый, теперь также покойник, но который при жизни слыл недаром неутомимым и утомительным повествователем. При большой медленности в производстве мыслей, отличался он еще и большею медленностью в произношении слов. «Я пришел просить у вас отпуска на 28 дней», – сказал Апраксин начальнику своему в день назначенного обеда. Что тебе вздумалось, отвечали ему: ты знаешь, теперь не время. «Не управлюсь прежде, – отвечал Апраксин, – у меня сегодня обедает такой-то».

* * *

Английский министр при дворе Екатерины сказал на ее похоронах: *On enterre la Russie* (Хоронят Россию).

Недвижима лежит, кем двигалась вселенна, сказал о ней же Петров в одной своей оде. В царствовании Екатерины так много было обаятельного, изумляющего и величественного, что восторженные выражения о ней натурально и как-то сами собою приходили на ум. Но зато эта восторженность на-

водила иногда поэтов и на смешные картины. Кажется, Шатров сказал в своем стихотворении на смерть Екатерины:

О ты, которую никто не мог измерить,
Теперь измерена саженью рук моих.

Написать бы картину: Шатров, на коленях пред гробницей императрицы, растягивает руки как землемер или сиделец в лавке бумажных и шерстяных товаров.

* * *

Главный порок в *Душеньке* есть однообразие. Нужно было оживить рассказ игривыми намеками и вставить два-три эпизода. Остроумные, т. е. сатирические или философические вымыслы дали бы целому содержанию более замысловатости и заманчивости. А теперь все наведено одной и той же краской. Строгая критика осудит также встречающееся иногда смешение греческой мифологии с русским народным баснословием, или сказкословием. Особенное достоинство поэмы заключается в легкости стихосложения, разумеется, относительно времени, в которое она была написана. Нигде нет изящности искусства; но зато часто встречается красивость и прелесть небрежности. В этом он несколько сходится с Хемницером. Жаль также, что с шуток Богданович падает иногда в шутовство. Говоря беспристрастно, *Душенька*

ка цветок свежий и красивый, но без запаха. Впрочем, и то сказать, что обоняние наше стало взыскательнее и причудливее, нежели было оно у наших отцов. Нелединский справедливо замечает, что известный стих *Душеньки*: «И только ты одна прекраснее портрета» – не совсем удовлетворителен: для полноты смысла нужно было сказать, что только она прекраснее *своего* портрета, а не вообще портрета.

* * *

Успех комедии *Мизантроп* – торжество малодушного и развратного века. Мольер хотел угодить современникам и одурачил честного человека; но зато с каким мастерством, искусством и живостью. Краски его не полиняли до нашего времени. Вообще о комедиях его можно сказать, что он был в высшей степени портретный живописец. Лица его верны и живы, как в главных чертах, так и в малейших. О целых картинах его не всегда то же скажешь.

* * *

Шишков, в своем предуведомлении к Тассовым *Бдениям*, говорит: «Впрочем, сохранил ли я достоинство оных и умел ли погрузить в них ту высокоумную горячку, тот великолепный бред, какими преисполнен подлинник, о том не мне су-

дить, но просвещенному читателю».

Унижение паче гордости, господин переводчик! Будьте покойны: и горячки, и бреда найдется у вас в достаточном количестве. Впрочем, известно, что эти *Бдения* подложны и только приписываются Тассу.

Державин, кажется, был чуток к одним современным и наличным вдохновениям. Поэтическая натура его не была восприимчива в отношении к минувшему. В стихах его Петру Великому нет ни одного слова, ни одного выражения, достойного героя и поэта. Некоторые из воспетых им современников были счастливее; но зато Державин был несчастнее. Похвала недостойному лицу не возвышает хваленого, а унижает хвалителя. Впрочем, не следует заключить из этого, что Державин только льстецом был, хотя и сказал, что *раб лишь только может льстить*. Он забыл или не чувствовал, что раб может молчать. «Если бы вы знали, как трудно написать хорошую трагедию», – говорил трагик, которого творения не имели успеха на сцене. «Верю, – отвечал ему собеседник его, – но знаю, что очень легко не писать трагедий». Также легко не писать и похвальных од.

Многие из второстепенных произведений Державина, если не по лирическому движению, живописи и яркости выражения, то, по крайней мере, по мыслям и чувствам, в них выраженным, должны оставаться в памяти читателей. Таковы, например, стихи: *К Храповицкому*, *К графу Валерьяну Зубову*, *К Скопихину*, *Ко второму соседу*, *Мужество* и некоторые

другие стихотворения. Читая их, не скажешь, что Державин первый наш лирик, но признаешь в нем мыслящего поэта и поэта-философа.

Знавшим лично Оленина, который был необыкновенно малого роста и сухощав, нельзя без смеха прочесть стих Державина к нему:

Нам тесен всех других покрой.

Иногда стихи его могут соперничать со стихами Хвостова. Например из стихотворения *Звонка*:

Иль в лодке вдоль реки, по берегу пеш, верхом,
Качусь на дрожках я, соседей с вереницей.

По смыслу и течению слов выходит, что он на дрожках соседей катался в лодке по берегу пеш верхом.

* * *

Баснописец Измаилов – подгулявший Крылов.

Критик Болтин был пасынок Кроткова, который из шалости и от долгов распустил слух о своей смерти и выехал из Петербурга в гробе в свою Симбирскую деревню. Молодой Болтин последовал за ним. Попечительный о воспитании его, отчим заставлял его петь в хорах, составленных из

дворовых людей, и этим утешал себя на веселых и приятельских попойках. Природные склонности боролись в юноше с силой развратного примера и победили ее. Урывками от пьяных бесед предавался он, наедине и втихомолку, *трезвому пьянству Муз*. Он перевел два тома французской энциклопедии, которая была тогда в большой славе. Наконец обстоятельства его приняли счастливый оборот. Он возвратился в Петербург и посвятил себя любимой своей науке – истории. Любопытно было бы иметь более биографических сведений об этом замечательном человеке.

* * *

О нашем языке можно сказать, что он очень богат и очень беден. Многих необходимых слов для изображения мелких оттенков мысли и чувства недостает. Наши слова выходят сплошь, целиком и сырьем. О бедности наших рифм и говорить нечего. Сколько слов, имеющих важное и нравственное значение, никак рифмы себе не приищут. Например, *жизнь, мужество, храбрость, ангел, мысль, мудрость, сердце* и т. д. За словом *добродетель* тянется непременно *свидетель*; за словом *блаженство* тянется *совершенство*. За словом *ум* уже непременно вьется рой *дум* или несется *шум*. Даже и бедная *любовь*, которая так часто ложится под перо поэта, с трудом находит двойчатку, которая была бы ей под парю.

Все это должно невольно вносить некоторое однообразие в наше рифмованное стихосложение. Да и слово *добродетель* сложилось неправильно: оно по-настоящему не что иное, как слово благодетель. А слово *доблесть* у нас как-то мало употребляется в обыкновенном слоге, да и оно рифмы не имеет. Иностранные слова брать заимобразно у соседей нехорошо; а впрочем, [неразб.] червонцы у нас в ходу, и никто ими не брезгает. В том-то и дело, что искусному писателю дозволяется, за неимением своих, пускать в ход голландские червонцы. Карамзин так и делал. Делают это и англичане.

Вольтер говорил и о французском языке, что он тщеславный нищий, которому нужно подавать милостыню против воли его. А мы вздумали, что наш язык такой богач, что всего у него много и что новыми пособиями только обидишь его.

* * *

Прочтите в *Российском Театре* комедию Крылова *Проказники*, а после некоторые из басней его. Можно ли было угадать в первых опытах писателя, что из него выйдет впоследствии времени? Это не развитие, а совершенное перерождение. В *Проказниках* полное отсутствие таланта, шутки плоские и, с позволения сказать, прямо холопские. Впрочем, как комедии Княжнина ни далеки от совершенства, но в *Российском Театре* глядит он исполином. Комедий Фон-Визина нет

в этом старом собрании наших драматических творений.

Вообще комедии наши ошибочно делятся на действия. Можно делить их на главы, потому что действия в них никакого нет. И лица, в них участвующие, называются действующими лицами, когда они вовсе не действуют; а назвать бы их разговаривающими лицами, а еще ближе к делу: просто говорящими, потому что и разговора мало. В наших комедиях нет и в помине той живой огнестрельной перепалки речей, которой отличаются даже второстепенные и третьесортные французские комедии. Правда и то, что французский язык так обработан, что много тому содействует. Французские слова заряжены мыслью, или, по крайней мере, блеском, похожим на мысль. Тут или настоящая перепалка, или фейерверочный огонь.

* * *

Люблю ловить в Хераскове хорошие или, по крайней мере, дельные стихи. Например:

«Ты властен все творить», тебе вещает лесь;»

«Ты раб Отечества», вещают долг и честь.

Жаль только, что они сказаны спящему Иоанну, который, проснувшись, едва ли помнил их. Входило ли в голову греческим грациям, Венере, Амуру, что Херасков переселит их

в Казанские леса, чтобы играть сердцами смуглых татар и татарок? Наш поэт не заботится в картинах своих о местных красках. Но не будем упрекать его в этом слишком строго, вспомня, что и Мильтона, и Тасса укоряли в подобных недоразумениях и опечатках. Поэтам (но заметим, одним великим поэтам) дозволяется иногда самовосхваление; но надобно, чтобы благородство языка выкупало перед судьями то, что может быть смешным в самохвальстве. Гораций и Державин имели полное право воспеть в прекрасных стихах свою апофеозу. Восторг – открытый лист поэта; но нужно, чтобы этот восторг был бы звучною волной, прямо из свежего и полноводного родника. Но где восторг у Хераскова, когда он в *Россияде* заставляет пустынного Вассиана, упоминая о Трубецком, говорить Иоанну:

Сей род со временем с тем родом съединится,
От коего певец Казанских дел родится:
Увидеть свет ему судьбина повелит,
Где Польшу бурный Днепр с Россией делит.
Прости, коль он тебя достойно не прославит;
Любовь к Отечеству писать его заставит.

С какой стати Вассиану ходатайствовать перед Иоанном за *певца Казанских дел*, словно речь идет о Казанских делах Гражданской или Уголовной Палаты. В другом месте той же поэмы не менее прозаически говорит он о себе:

Вложите плач и стон в сказание мое,
Дабы Царице сей вещал я о судьбине,
Как бедства, страхи, брань умел вещать доныне.

От браней ко любви я с лирой прилетал,
Недовершенный труд моим друзьям читал.
О, если истину друзья мои вещали,
Мои составленны их песни восхищали! и пр.

Мои составленные песни! То-то и беда, что песни в самом деле составлены, а вдохновение не входило в их состав.

Едва ли не главное действие Иоанна в *Россияде* заключается в том, что он *взглянул на щит*, данный ему неким старцем, которого он, впрочем, довольно неучтиво и вольнодумно от себя отправил, сказав ему:

Иное быть царем, иное жить в пустыне:
Не делай нам препятств и не кажись отныне.
хотя и признавал в нем мудрость, свыше дарованную, и говорил ему:
Но ты, премудростью исполненный небесной,
О старче, о делах предбудущих известный.

Безбожие – серпом луна видна среди чела его

– обещает Иоанну державы на Востоке с тем, чтобы он отказался от России и от христианства. Магометанская вера не есть безбожие.

Несмотря на нелепое предложение, Иоанн начинает колебаться и уже

Хотел главу склонить, но вдруг на щит взглянул:
Померкнул щит, и царь о старце вспомнил.

* * *

NN говорит, что главная беда литературы нашей заключается в том, что, за редкими исключениями, грамотные люди наши мало умны, а умные мало грамотны. У одних недостаток в мыслях, у других недостаток в грамматике. У одних нет огнестрельных снарядов, чтобы сильно и впопад действовать своим орудием; у других и есть снаряды, но зато у них нет орудия. Какое же тут выражение, когда многие и многие из этого общества чуждаются пера и не умеют им владеть? У нас была и есть устная литература. Жаль, что ее не записывали. Часто встречаешь людей, которые говорят очень живо и увлекательно, хотя и не совсем правильно. Нередко встречаешь удачных рассказчиков, бойких краснобаев, замечательных и метких остряков. Но все это выдыхается и забывается, а написанные пошлости на веки веков прикрепляются к бумаге.

История о князе Якове Федоровиче Долгорукове. 2 части. Москва. 1807 – 1808 г. Сочинение Евдокима Тыртова.

Беспорядочная компиляция, начиненная натянутыми сравнениями и формулярным списком всех древних и новейших великих мужей. Все историческое почти целиком извлечено из Голикова. Например: тут напечатаны письма Петра к Долгорукову, *полученные* (как говорит Тыртов) *от неизвестной особы*. Ждешь нового и только заранее сетуешь, что историческая достоверность этих документов может быть поколеблена признанием, что они *доставлены от неизвестной особы*. Но успокойтесь. Далее издатель объявляет, что большая часть из оных уже издана Голиковым; следовательно, можно было бы только сослаться на книгу его; но, зная обязанность за доставление, он (т. е. Тыртов) с чувствительностью и покорнейшей благодарностью исполняет желание почтенной особы. Невольно спросишь: как знает он, что ему неизвестная особа есть почтенная особа?

Разговор Людовика XIV есть род экзамена, которому профессор прав подчиняет студента. Говоря об путешествиях Петра, сочинитель в порыве красноречия восклицает: «Какая прекрасная, патриотическая мысль готова прославить кисть наших *Рубенсонов!*» О ком идет здесь речь? О живописце Рубенсе, или о Робинсоне на необитаемом острове?

Далее, изобразив Петра в Сардаме, автор продолжает: «Я воображаю себе целую коллекцию таких картин и представлю при них того из китайцев»... и пр. (в выноске Конфуция). Тут автор влагает в китайские уста русскую речь собственноручного изделия и заключает: «Так бы говорил беспристрастный китайский философ, и кто бы этого не сказал?» Стоило ли родиться и прослыть в далеком потомстве философом, чтобы говорить то, что и каждый сказал бы на его месте?

У нашего автора своя риторика и своя логика. Вот еще выписка: «Ревностная признательность наша к герою князю Я. Ф. Долгорукову не должна казаться неблагодарностью в рассуждении его славных дел». Охотникам до мудреных загадок здесь есть над чем поломать себе голову. Известный анекдот о разодранном указе рассказывается здесь в нескольких вариантах. Сочинитель видел тетрадку, исписанную собственной рукой Долгорукова, и сличал ее с его собственноручными письмами к родным. Как же не печатал он этой рукописи? И где она теперь находится? В конце второй части помещено несколько писем Екатерины II к Долгорукову-Крымскому. В одном из них сказано о курьере, присланном из армии князем: «И как его неприятельская батарея привела в конфузию по вашей реляции, то ему дан крест». Но это может быть и опечатка вместо *контузии*.

Евдоким Тыртов еще известен в книжном мире анекдотами Павла I и похвальным словом Шереметеву. Его История

Долгорукова перепечатана была вторым изданием. Есть еще начертание жизни Долгорукова, написанное Бороздиным.

* * *

Картина жизни и военных деяний Российско-императорского генералиссимуса князя Александра Даниловича Меншикова, фаворита Петра Первого. 3 части. 1803 г. Есть и другое издание в IV частях, 1809 г.

Так же, как и предыдущая книга, историческая всякая всячина, историческая окрошка. Нет критического взгляда, нет разумной и нравственной оценки личности и событий. Но книга, в отличие от первой, составлена с некоторым порядком и писана слогом более сносным. Меншиков – русский Мазарини: голова государственная, а дух корыстолюбивый и жадный власти до безграничности. Как королева Анна Австрийская благоволила к одному, так Екатерина I – к другому. В обоих замашка сочетать свою кровь с царской кровью.

Петра нельзя слишком укорять в слабости к любимцу своему, хотя он часто употреблял во зло царское доверие и запятнал себя многими чертами личной корысти и незаконными поступками. Петр не утаивал от суда преступлений любимца своего, что мог бы он, при самодержавии своем, легко исполнить; но после он миловал его, а впрочем, и заставлял часто расплачиваться и вознаграждать ущербы, от него поне-

сенные казной и частными лицами, Петру I для его геркулесовских подвигов нужны были богатырские подмастерья, государственные подгеркулесы. В этом отношении он дорожил Меншиковым и жертвовал иногда государственной нравственностью в пользу того же государства. К тому же он знал, что, где нужно, дубинка его распрямит в свое время кривизны и безнравственности предосудительных действий.

Меншиков не был при Петре, как было при других дворах и в другие царствования, любимцем по личной державной прихоти. Нет, Меншиков был в полном смысле сподвижником Петра во всех его предприятиях, и держал он его ввиду предприятий будущих. Закон, осуждая Меншикова, делал свое дело: Петр, прощая его, пользовался своим правом помилования.

* * *

Обрученные, роман Александра Манзони, 5 томов.

Трудно найти роман полнее этого по твердости создания и по богатству содержания.

Основание романа самое простое, а именно свадьба в XVII веке двух обрученных жителей бедной итальянской деревни, а свадьба все далее и далее отсрочивается силою разных препятствий. И какие же это препятствия? Замечательнейшие исторические события, которые сталкиваются с этой свадьбой или к которым, господствующей силой обсто-

ательств, прибавается беспрерывно эта свадьба. И все это без всякого насильственного напряжения со стороны романиста. Автора, выдумщика нигде не видно: все делается будто само собой; так и кажется, что оно иначе совершаться не могло.

Тут развивается со всеми последствиями своими живая картина безначальства, господствовавшего в Италии во времена самого деспотического, чуждого владычества испанцев: картина утеснений, чинимых помещиками, из коих многие безнаказанно и гласно предводительствовали шайками разбойников, так называемых *брави*, всегда готовых, по движению руки, по слову патрона своего, на всякое злодейство; картина голода, постигшего Миланскую область, и чумы, которая вскоре за ним последовала. Приключения крестьянки Лучии и крестьянина Лоренцио протекают среди сих величественных и ужасных явлений, но вовсе не поглощаются ими. Внимание читателя, сильно и тревожно возбужденное глубокими впечатлениями от исторических событий, пред ним совершающихся, ни на минуту не теряет из вида обрученников и не остывает в участии, которое принимает в судьбе этих двух смиренных личностей. Казалось бы, как не затеряться им в этом бурном потоке? Нет, они везде выплывают и сохраняют подобающее им место в этом обширном повествовании. Искусство автора в соглашении этих трудностей превосходно.

По справедливому замечанию французского критика,

«Вальтер Скотт сквозь историю пробивается к роману, Манзони сквозь роман пробивается к истории». Итальянский романист не имеет порыва, драматических движений шотландского. Для итальянца он, так сказать, мало имеет мимики, мало игры движений. В нем ничего нет актерского Он более хладнокровный повествователь, но зато повествование его плавно, светло и живо. Везде чувствуешь какую-то глубину и непобедимую силу. Драматических выходов, которые одной чертой изображают вам действующее лицо, от него не ждите; но зато каждая черта, каждая строка дополняют изображение.

Как коротко, как близко, хотя и не скоро, познакомишься с Лучией, с Лоренцио, с монахом Христофором, с пастором Аббондиа, с Агнезою, с Дон-Родригом и его кровожадными сателлитами, с Ненареченным (Innominato), с великодушным и человеколюбивым кардиналом Боромео. Все эти лица врезаются в память и сердце читателя. Это не мимоходное, не шапочное знакомство, а знакомство навсегда. Как хорош этот добряк, простодушный Лоренцио! Он вдруг нечаянно падает как с неба в возмущение Миланское, возбужденное голодом; он силой обстоятельств, так сказать, физических, теснимый и увлекаемый толпой, выбивается невольно на вид и едва не в предводители возмущения, которое ему совершенно чуждо. И впоследствии правительство недаром признает в нем одного из главных зачинщиков бунта. И простак Лоренцио, не думав, не гадав о том, принужден сделаться

политическим беглецом, о котором державы входят в переговоры между собой.

И все это как верно, как натурально! Нигде не видать следов авторской иглы, которая часто сшивает события, как пестрые лоскутья на живую нитку. Романисты обыкновенно надеются, что читатель, обольщенный прелестью рассказа, не заметит искусственной работы. Нет, у Манзони везде видна твердая и никогда даром не двигающаяся рука судьбы. Оно так, потому что должно быть так, а не иначе.

А описание чумы! Читая его, воображение так поддается рассказу, что минутами хочешь бросить книгу от страха самому заразиться, а минутами живым и горячим участием так сближаешься с бедными жертвами, что едва ли не жалеешь о том, что не можешь идти в лазарет, набитый 16 000 больных, чтобы помогать неутомимому *Фра Христовору* и разделять с ним заботы его о больных.

Одно, кажется, несколько противоречит истине, а именно – слишком скорое обращение на путь благочестия страшного Ненареченного, из которого перед русским читателем выглядывает иногда, хотя и не в чертах столь крупно обозначенных, рязанский помещик Измайлов, страх соседей и уездных властей, известный в свое время самоуправством и бесчинствами всякого рода. Но зато как умилительно это обращение, и что за человек этот Боромео: образец христианской добродетели, не идеальной, не мистической, а самой практической и вместе с тем самой возвышенной.

Красный Корсар, роман американца Купера.

Купер – романист пустынь, влажной и сухой. (В другом романе описывает он американскую степь.) Романы его и отзываются немного однообразием пустыни; но зато есть что-то беспредельное и свежее. Никто, кажется, сильнее и вернее его не был одарен чутьем пустыни и моря. Он тут дома и переносит читателя в стихию свою.

Вальтер Скотт вводит вас в шум и бой страстей, человеческих побуждений; Купер приводит вас смотреть на те же страсти, на того же человека, но вне очерка, обведенного вокруг нас общежитием, городами, условиями их и т. д. С ним как-то просторнее, атмосфера его свободнее, очищеннее и прозрачнее. Малейшее впечатление, которое в сфере Вальтера Скотта ускользнуло бы, здесь действует сильнее и раздражительнее. Чувство читателя изощряется от стихии, куда автор нас переносит. Мы видим далее и глубже. В Купере более эпического, в Вальтере Скотте более драматического, хотя в том и в другом эти оттенки иногда сливаются.

Кажется, степной роман Купера лучше «Корсара», особенно же конец его как-то тянется и стынет. В характере «Корсара» нет ничего человечески-преступного, а потому и ужас, который имя его вселяет, и наказание, которое ему готовится, мало возбуждают наше нравственное сочувствие.

Это дело морской полиции, и только. Но зато море – какое раздолье и какая прелесть у Купера! Так и купаешься в этом море. Корабль, все морские принадлежности, вся адмиралтейская часть изображены в живописном совершенстве. Петр I осыпал бы Купера золотом и пожаловал бы его в адмиралы: он так и вербует морю.

В романах Вальтера Скотта в толпе людей не всегда успеешь разглядеть человека; мимо иных действующих лиц проходишь иногда без внимания: оно все обращено на лица, особенно выдающиеся вперед, и на вышины, как обыкновенно водится и в житейском быту. На пустом и обширном горизонте Купера всякое существо рисуется отдельно и цело, все видимое возбуждает внимание, и следишь за ним, пока не скроется оно совершенно из глаз. Общежительный человек скажет: должно жить в мире Вальтера Скотта и заглядывать в мир Купера. Нелюдим (не то что человеконенавистник; нелюдим может и не иметь ненависти к человечеству, а у нас неправильно то и другое слово принимаются в значении мизантропа), нелюдим скажет: должно жить (т. е. любить) в мире Купера, а можно для развлечения заглядывать и в мир Вальтера Скотта.

* * *

Записки Генриха де Ломени, графа Бриенского, государственного секретаря в царствование Людовика XVI.

В этих записках менее всего и менее всех на виду выкачивается писавший оные. Он не имеет болтливой себялюбивости, свойственной составителям записок и автобиографий. С высоты почестей, успехов и силы при дворе и в обществе сей любимец счастья кончает жизнь в темнице св. Лазаря после 10-летнего заточения; и в записках его ничто не разъясняет причин крутого переворота в судьбе его.

Впрочем, записки занимательны живостью рассказа. Но нигде в рассказе не обозначается глубокости ума в наблюдениях; не видно в нем и государственного человека.

Много любопытного о Мазарини: кончина кардинала, драматическая сцена, яркими и живыми красками раскрашенная. Недогадливый министр волочился за знаменитой девицей Лавальер, не примечая, что имел он при ней соперником Людовика XVI. Когда догадался, он пошел с объяснениями к королю, разнежился и расплакался, т. е. просто струсил. Людовик принял слезы за выражение сильной любви и, разумеется, еще более разгневался. Но автор утверждает, что он расплакался только потому, что у него есть природная влажность в глазах и в мозгу (*J'ai les yeux et le cerveau fort humides*).

К этим запискам приложено введение от издателя Барриера: опыт о нравах и обычаях XVII в. – любопытная смесь всякого рода безобразий и бесчинств хваленого, но, впрочем, во многих отношениях славного века. Вот несколько извлечений из этого введения.

Во время осады Турина графом д'Аркурром город страдал от голода. Испанцы всячески старались, но напрасно, пробиться сквозь французские линии, чтобы подать помощь осажденным. По распоряжению главного начальника, испанцы стали начинять бомбы мукой и пускали их в город через французский стан. Между прочими бомбами нашли одну с жирными перепелками и запиской, которую испанский офицер отправил любовнице своей в Турин. Вот замысловатый и новый способ любовной почтовой переписки.

Граф Вилла-Медина, в Мадриде, был влюблен в Елисавету, французскую принцессу, замужем за Филиппом IV. Желая видеть ее в своем доме, он устроил великолепный праздник, на который был приглашен и двор. Вместе с праздником устроил он и пожар. Во время пышного зрелища, которое поглощало общее внимание зрителей, дом загорается. В одну минуту все объято пламенем, все богатства, украшения, картины и т. д. Улучив время, когда каждый бежал, угрожаемый опасностью, Медина, следящий за каждым движением королевы, выхватывает ее из толпы в свои объятия и уносит сквозь пламень, покупая таким образом и ценой фортуны своей счастье прижать на минуту королеву к своей груди.

Когда назначали маршалу д'Юксель голубую ленту, он говорил, что отказывается от сей блестящей почести, если она должна лишить его права ходить в кабак.

Дюк де ла Ферте, под начальством маршала Катина, воевал в Савое. Войска принуждены были довольствоваться

скверным туземным вином. Несмотря на то, дюк де ла Ферте потреблял его всегда через меру. Спросили его однажды, как может он пить такое вино и особенно же в таком количестве? «Что же делать, – отвечал он, – надобно уметь любить друзей своих и с их погрешностями». Это напоминает, что однажды Американец Толстой писал из Тамбова: «За неимением хороших сливок, пью чай с дурным ромом».

* * *

О многих прозаических и стихотворных панегиристах можно сказать, что они или лопнут, или задушат своего героя. «Это божественно!» – «Что вы говорите? Мало того, это...» Кто-то прервал начатую похвалу и, разумеется, запнулся, потому что не мог подняться выше. Наши лирики с первого порыва жалуют героя своего в божество, а там, в продолжении, должны поневоле мало-помалу разжаловать его, и тем кончится, как сказано поэтом:

La masque tombe, l'homme reste,
Et le heros s'evanouit, –

два известные стиха Ж. Б. Руссо, худо переведенные и Ломоносовым, и Сумароковым в оде *На Счастье*. Ломоносов говорит: «Геройска похвала увянет, И смертный будет всем открыт». Сумароков: «Все геройство увядает, остается чело-



Напрасно говорит Шлегель: «Если Расин в самом деле сказал, что он отличается от Прудона только тем, что умеет правильно писать, то жестоко был он к себе несправедлив».

Шлегель забывает, что Расин француз и что выразил суждение свое он во Франции. У французов в творениях ума слог первая необходимость. В противоположной крайности, у немцев, слог последнее условие, на которое немногие обращают внимание. Головоломное понимание авторов не пугает немецкого читателя. А Вольтер сказал в своем опыте о различных вкусах народов: «Французы имеют за себя ясность, точность, изящество (*elegance*)». Баратынский говорит, что для немца мало, «если при чтении книги отзовется она у него в голове, а надобно, чтобы и в спине отозвалась она, т. е. чтобы читатель с трудом поработал над нею». В искусствах нельзя не ценить отделки, а немцы все покупают на вес, потому и суждения Шлегеля о французском театре отчасти неверны и несправедливы. Он также судит о нем не как знаток, а как заимодавец под вещи, т. е. по внутренней их ценности. Вообще иностранцу можно, как наблюдателю, говорить о словесности чуждого народа, но никогда нельзя присваивать себе право решать о ней судебским приговором. Если не признавать цены отделки, то как постигнуть ува-

жение древности к Анакреону? О нашем и говорить нечего: оно перешло к нам по школьным преданиям. Прозой переводить Анакреона невозможно, переводить его стихами также невозможно. В первом случае вы сушите цветок, который прельстил вас своими красками, блеском и свежестью, в другом хотите вы перенести карандашом на бумагу эту свежесть, этот блеск, эти краски. А Гораций все еще жив во французском переводе, как ни душит его прозаик Баттё. Дело в том, что поэта переживают его мысли и чувства; но красота и прелесть оболочки их верно оцениваются одними современниками.

* * *

У нас жалуются и жалуется по справедливости на водворение иностранных слов в русском языке. Но что же делать, когда наш ум, заимствовавший некоторые понятия и оттенки у чужих языков, не находит дома нужных слов для их выражения?

Как, например, выразить по-русски понятия, которые возбуждают в нас слова *naïf* и *serieux*, *un esprit serieux*? Чисто-сердечный, просто сердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражают понятия, свойственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить *наивный*, *серьезный*. Последнее слово вошло в общее употребление.

Нельзя терять из виду, что западные языки – наследники древних языков и литератур, которые достигли высшей степени образованности и должны были усвоить себе все краски, все оттенки утонченного общежития. Наш язык происходит, пожалуй, от благородных, но бедных родителей, которые не могли оставить наследнику своему ни литературы, которой они не имели, ни преданий утонченного общежития, которого они не знали. Славянский язык хорош для церковного богослужения. Молиться на нем можно, но нельзя писать романы, драмы, политические, философские рассуждения.

* * *

Некоторые выдержки из Сумарокова доказывают, что у него вырывались иногда стихи правильные и полные смысла. Лучшие стихи его – сатирические. Трагедии его перечитывать нельзя, а между тем они в свое время нравились людям образованным и знакомым с иностранными литературами. Князь Николай Борисович Юсупов, воспитывавшийся в Туринском университете, восхищавшийся трагедиями товарища своего по Туринскому университету Альфиери, не менее того остается верен Сумарокову и признает в нем великого трагика, хотя и соглашается, что язык его устарел. «Вот бы Пушкину (сказал он однажды) несколько поправить и подновить язык трагедий Сумарокова. И тогда можно бы снова

представить их на театре».

* * *

Генерал Александр Ламет (Lameth), товарищ Лафаэта и одно из главных действующих лиц в событиях первой Французской революции, рассказывает в записках своих следующее:

«У сестры Мирабо назначено было свидание между первенствующими лицами Народного Собрания для переговоров о соглашении и примирении умов, ввиду предстоящих обстоятельств. Мирабо рассказал тут все, что происходило при избрании его в Провансе в число депутатов. В рассказе своем ничего не утаил он из мер, принятых им для достижения успеха; даже признался он, что, имея в руках своих народного оратора, который казался ему преданным, но в котором однако же не мог он быть совершенно уверен, он представил к нему соглядата, который не должен был отходить от него и заколоть его, если как-нибудь изменил бы он своим обязательствам.

Мы все ужаснулись подобному признанию, а Мирабо удивился нашему ужасу. «Как, и тот убил бы его?» – спросили мы.

«Да убил бы, как убивают», – хладнокровно отвечал Мирабо.

«Но это было бы ужасное злодейство».

«О, в революциях, – возразил он изречением, которое после того сделалось столь известным, – «La petite morale tue la grande (мелкая нравственность убивает большую)»».

* * *

Мирабо, прозванный Мирабо-бочка, был человек очень нетрезвый. Старший брат делал ему однажды упреки за эту слабость. «Помилуйте, на что вы жалуетесь? – отвечал он смеясь. – Изо всех возможных пороков, которые семейство наше присвоило себе, один этот оставили вы на долю мою».

* * *

Han d'Islande («Исландец Ган»), роман Виктора Гюго – род Мельмота, но менее истины и глубины в создании. В прозе те же пороки, что и в поэзии его, т. е. излишняя высокопарность, надутость и желание автора, во что бы то ни стало, поразить читателя чем-нибудь удивительным и неожиданным. Но иногда те же и красоты. Часто бред горячки, но иногда проявляется, что этой горячкой одержим поэт, а не дюжинный больной. Есть в романе явления сильные, живописные, лица твердые и хорошо обозначенные, например палача, сторожа трупов и дочери одного из действующих лиц. Есть и политический интерес: бунт рудокопов, их военный поход,

встреча с королевским войском; все это живо и верно. Тут упоминается и о русском палаче.

По поводу этого романа князь Меншиков называл известную посылкой своей на Кавказ для правительственных преобразований Гана: Han se Courlande.

* * *

В. Л. Пушкин сказал сегодня стихи на новый год какого-то старинного поэта, помнится, Политковского.

Не прав ты, новый год, в раздаче благостыни;
Ты своенравнее и счастья богини.
Иным ты дал чины,
Другим места богаты,
А мне лишь новые заплаты
На старые мои штаны.

Кажется, эти стихи никогда не были напечатаны.

У нас довольно много подобной ходячей литературы: хорошо бы выбрать лучшие из нее стихотворения и напечатать их отдельной книжкой. В ней сохранились бы и некоторые черты прежней общественной жизни. До 1812 года, была большая рукопись in-folio, принадлежавшая Храповицкому, статс-секретарю императрицы Екатерины. Это было собрание всех возможных стихотворений, написанных в течение многих десятков лет и не вошедших в печать по тем или

другим причинам. Разумеется, главный характер этих стихотворений был сатирический, отчасти политический и отчасти далеко не целомудренный. Эта книга затерялась или сгорела в московском пожаре. Тут, между прочим, были стихотворения Карина и за подписью какого-то Панцербитора. Вымышленное это имя или настоящее, не знаю; но в печати оно, кажется, неизвестно.

Много еще неизвестного и темного остается в литературе нашей.

К подобной ходячей литературе можно приписать и следующее четверостишие, которое князь Александр Николаевич Салтыков, вовсе не поэт, отпустил на Козодавлева, тогдашнего министра внутренних дел:

Министр наш славой бы гремел,
И с Кольбертом его потомство бы сравнило,
Из внутренних когда бы дел
Наружу ничего у нас не выходило.

Примите, древние дубравы,
Под сень свою питомца Муз!
Не шумны петь хочу забавы,
Не сладости Цитерских уз:
Но да воззрю с полей широких
На красну, гордую Москву,
Седящу на холмах высоких,
И в спящи веки воззову.

В этих стихах Дмитриева есть движение, звучность, живопись и величавость; но если всмотреться в них прозаическими глазами критики, то найдешь в них некоторые несообразности. Начать с того, что тут излишне сжаты топографические подробности. Тут и дубравы, и широкие поля, и холмы высокие, и город. Картины поэта должны быть так написаны, чтобы живописец мог кистью своей перенести их на холстину. А в настоящем случае трудно было бы ему соблюсти законы перспективы. Далее: нельзя войти одним разом в дубравы, можно войти в дубраву; в дубраве нельзя искать широких полей и с них смотреть на город, хотя и сидит он на высоких холмах. Дубрава заслоняет собой всякую даль, и видишь пред собой одни деревья. Положим, что под древней дубравой (а все-таки не дубравами) поэт подразумевал рощу, посвященную Музам: все же остается та же сбивчивость в картине.

Другие стихи из того же стихотворения Дмитриева подали повод к забавному недоразумению. В первой книжке *ына Отечества* была напечатана передовая статья с эпиграфом, взятым из *Освобождения Москвы*:

Где ты, Славянов храбрых сила?
Проснись, восстань, Российская мочь!
Москва в плену, Москва уныла,
Как мрачная осенняя ночь.

И, разумеется, под эпиграфом выставлено было имя авто-

ра. В то время Дмитриев был министром юстиции, а граф Разумовский министром народного просвещения. Он был человек европейской образованности, но мало сведущ в русской литературе. Он принял это четверостишие за новое произведение, написанное Дмитриевым *по случаю* занятия Москвы Наполеоном. При первой встрече с Дмитриевым в Комитете Министров, обратился он к нему с похвалами и с сожалением, что новое прекрасное стихотворение его так коротко. Дмитриев сначала понять не мог, о чем идет речь и по щекотливости своей оскорбился предположением, что он, в своем министерском звании и при современных важных и печальных событиях, мог еще заниматься стихотворством.

Около того же времени Шишков читал в Комитете Министров статью свою, предназначенную для обнародования известия о взятии Москвы. Дмитриев, с авторским своим тактом, не мог сочувствовать порядку мыслей и вообще изложению этой неловкой статьи, в конце которой кто-то падает на колени и молится Богу. Не желая однако же прямо выразить свое мнение, спросил он, в каком виде будет напечатано это сочинение: в виде ли журнальной статьи или официальным объявлением от правительства. «У нас нет правительства», с запальчивостью возразил ему простодушный государственный секретарь.



Ломоносов два раза в одах своих говорит о *багряной руке зари*. Первый раз в оде шестой:

И ее уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря.
Другой раз в оде девятой:
Заря багряною рукою,
От утренних спокойных вод,
Выводит с солнцем за собою
Твоей державы новый год.

Ломоносова заря хороша, хотя русская заря не имеет нежности и прелести греческой Авроры с розовыми пальцами. В оде десятой:

Когда заря багряным оком
Румянцем умножает роз.

Багряное око – никуда не годится. Оно, вовсе непоэтически, означает воспаление в глазу и прямо относится до глазного врача.

У Ломоносова в одах много найдется намеков и подробностей исторических, географических, и политических, и относящихся до науки. В нем виден более академик, нежели

поэт. Но и поэт нередко прорывается в стихах твердых, и звучных, и живописных. Вот пример политической или газетной поэзии, из оды пятнадцатой:

Парящий слыша шум орлицы,
Где пышный дух твой, Фридерик?
Прогнанный за свои границы,
Еще ли мнишь, что ты велик?
Еще ль, смотря на рок Саксонов,
Всеобщим дателем законов
Слывешь в желании своем! и пр.
Или ода семнадцатая:
Голстиния, возвеселися,
Что от тебя цветет наш крин.
Ты к морю в празднестве стремишься,
Цветущий славою Цвейтин.
Хотя не *силен ты водою*,
Но радостью сравнись с Невою, и пр.
Вот вам и география, и вот еще она же:
Российского пространство света
Собрав на малы чертежи,
И грады оною спасенны,
И села ею же блаженны,
География покажи. (Ода десятая.)

Как хороши и поныне, и как поэтически верны, следующие два стиха из оды десятой:

В середине жаждущего лета,
Когда томит протяжный день.

Выражения *жаждущее лето* и *протяжный день* так и переносят читателя в знойный июльский день.

Ломоносова, как вообще и всякого поэта не нашего времени, нельзя читать с требованиями и условиями нам современными. Ломоносов писал торжественные оды потому, что в его время все более или менее писали стихи на торжественные случаи. Нельзя ставить ему в вину некоторые приемы, как нельзя смеяться над ним, что он ходил не во фраке, не в панталонах, а во французском кафтане, коротких штанах, с напудренной головой и с кошельком на затылке.

Он всегда с особенным одушевлением говорит о Елизавете. Называя ее Елизавет, он как будто угадал выражение принца Делиня, который сказал: Екатерина Великий. Нелединский, знаток в любви, убежден, что кроме верноподданнического чувства в душе Ломоносова было еще и более нежное поэтическое чувство.

Когда бы древни веки знали
Твою щедроту с красотой,
Тогда бы жертвой почитали
Прекрасный в храме образ твой. (Ода 2-я.)

Тебя, богиня, возвышают
Души и тела красоты;

Что в многих, разделясь, блистают
Едины все имеешь ты. (Ода 9-я.)

Коль часто долы оживляет
Ловящих шум меж наших гор,
Когда богиня понуждает
Когда чрез трубный глас из нор!
Ей ветры вслед не успевают.
Коню бежать не воспрящают
Ни рвы, ни частых ветвей связь:
Крутит главой, звучит браздами
И топчет бурными ногами,
Прекрасной всадницей гордясь. (Ода 10-я.)

В последнем стихе есть в самом деле какое-то страстное одушевление.

В одной из своих од он говорит об Елисавете:

Небесного очами света
На сродное им небо зрит.

В другой:

Щедрот источник, ангел мира,
Богиня радостных сердец,
На коей как заря порфира,
Как солнце тихих дней венец;
О мыслей наших рай прекрасный,
Небес безмрачных образ ясный,

Где видим кроткую весну,
В лице, в очах, в устах и нраве!

Вот строфа, согретая чувством гражданства:

Священны да хранят уставы
И правду на суде судьи;
И время твоея державы
Да убожат рабы твои.
Соседи да блюдут союзы... и пр. (Ода 9-я.)

Услышьте судии земные
И все державные главы:
Законы нарушать святыя
От буйности блюдитесь вы,
И подданных не призирайте,
Но их пороки исправляйте
Ученьем, милостью, трудом.
Вместите с правдою щедроту,
Народну наблюдайте льготы:
То Бог благословит ваш дом.

Это строфа из оды на день восшествия на престол Екатерины II. Здесь как будто уже слышится Державин.

У Ломоносова встречаются странные выражения и понятия; например он заставляет Ветхого Денями говорить:

Я в гневе Россам был творец,

Но ныне паки им отец.

Вообще кажется, по крайней мере, неприличным подсказывать Божеству, если не баснословному, свои собственные мысли и слова. А нередко поэты грешат этой неприличностью.

И Марс вложи свой *шумный меч*.

Прилагательное шумный вовсе не идет к мечу.

И *полк всех нежностей* теснится.

Полк и нежности также не ладят между собой.

Пучина преклонила волны.

Странно, но вместе с тем смело и поэтически.

О Боже крепкий, Вседержитель,

Пределов Росских *расширитель*.

Это также странно и смело, но уже вовсе не поэтически и неблагоприлично.

Далее говорит он:

Как ныне Россию *расширил*,

а после:

Возри, коль широка Россия –
От всех полей и рек широких.
Взывая к Богу, поэт говорит:
По имени Петровой дщери,
Военны запечатай двери.

Здесь отзывается какое-то полицейское действие.

Моей державы кротка мочь
Отвергнет смертной казни ночь.

Когда пучину не смущает
Стремление насильных бурь,
В *зерцале жидком* представляет
Небесной ясности лазурь.

Не забывал профессор-поэт и метеорологических наблюдений:

Наука легких метеоров,
Премены неба предвещай,
И бурный шум воздушных споров
Чрез верны знаки предъявляй:
Чтоб ратай мог избрати время,
Когда земле поверить семя,
И дать когда покой браздам;
И чтобы, не боясь погоды,
С богатством дальним шли народы
К Елисаветинским брегам.

Труженик науки, в споре с разными препятствиями, а может быть, и несколько беспокойного нрава, Ломоносов не имел времени вслушиваться во вдохновение, навеваемое на него природой и впечатлениями внутренней жизни, более спокойной и чуткой. Он где-то сказал:

О лете я пишу, а им не наслаждаюсь,
И радости в одном мечтании ищу.

Как-то не верится, что Ломоносов мог мечтать. Скорее находил он радости не в мечтаниях, а в трудах, в приобретениях и преуспеваниях науки и в академических победах своих над Миллером и другими немцами.

Разумеется, что, так как оды Ломоносова писаны в разные царствования, то он должен был иногда порицать то, что восхвалял прежде. Но не нужно забывать, что он писал свои оды часто не под поэтическим вдохновением, а по обязанностям академической службы.

В письме своем о правилах русского стихотворения Ломоносов говорит:

«Французы, которые во всем хотят натурально поступать, однако почти всегда противно своему намерению чинят, нам примером быть не могут; понеже, надеясь на свою фантазию, а не на правила, толь криво и косо в своих стихах слова склеивают, что ни прозой ни стихами назвать нельзя. И хотя они так же, как и немцы, могли бы стопы употреблять, что са-

ма природа иногда им в рот кладет, однако нежные те господа, на то несмотря, почти одними рифмами себя довольствуют. Пристойно весьма символом французскую поэзию некто изобразил, представив оную на театре, под видом некоторой женщины, что, сгорбившись и раскорячившись, при музыке играющего на скрипиче Сатира танцует. Я не могу довольно о том нарадоваться, что российский наш язык не только бодростью и героическим звоном греческому, латинскому и немецкому не уступает, но и подобную оным, а себе купно природную и свойственную, версификацию иметь может».

Хорошо, но зачем же он не следовал своему определению и сам не держался этой свойственной нам версификации, а почти исключительно употреблял ямбический стих и довольствовался рифмами, иногда и довольно бедными.

В статье *Жизнь Ломоносова*, которая напечатана в Полном Собрании сочинений его, изданном иждивением Императорской Академии Наук, в 1784 г., биограф, исчисляя все его литературные и ученые заслуги, как то: перестройку академической лаборатории по новейшему и лучшему расположению, многие эксперименты и новые открытия, академические сочинения, изящные похвальные речи Великому Петру и Елисавете Петровне, прекрасные и сильные стихи, трагедии, книги: Риторику, Российскую Грамматику, Руководство к горному строению и заводам, Российскую Историю, простодушно заключает перечень свой следующими словами: «Все то не суть *анекдоты*, а труды повсюду известные».

Далее говорит он, что «превосходству его учености, важности и красоте его пера отдавал справедливость и покойный действительный статский советник и кавалер А. П. Сумароков, невзирая на всегдашнюю с ним вражду свою». Впрочем, эта последняя черта более относится к чести действительного статского советника и кавалера Сумарокова, нежели к чести статского советника Ломоносова. Если дело пошло на чины, оно так и быть должно: чин чина почитай.

Говорят, что когда, преследуя французов, вышедших из Москвы, Кутузов вступил в Вильну, то городская депутация поляков явилась к нему и бросилась на колени, прося пощады. «Встаньте, встаньте, господа! – сказал им князь Смоленский. – вспомните, что вы снова сделались русскими!»

Во время отступления французов Кутузов часто говаривал: «Надобно строить золотые мосты отступающему неприятелю». Многие были противного мнения и говорили, что лучше топить и уничтожать неприятеля, нежели вежливо и с почестью провожать его. Кутузов, хотя и начал свое военное поприще под начальством Суворова, не был полководцем, принадлежащим к Суворовской школе. Быстрота, натиск, молодечество штыка не были в привычках его¹.

¹ Известно, что Император Александр не очень благоволительно расположен был к Кутузову: назначив его в 1812 г. главнокомандующим, сделал он уступку общественному мнению. В войне, в самом сердце России, и войне, сделавшейся народной, нужно было в русском имени выставить русское знамя. Барклай и Беннигсен могли предводительствовать русскими войсками в Германии или в другой земле; но на русской почве был необходим русский плотью, кровью и духом.

Как ни суди о степени воинских способностей его, должно признаться, что, так или иначе, имя его навсегда нераздельно сопряжено с событием изгнания неприятелей из России и, следовательно, ее освобождения и спасения.

Нельзя же согласиться с французами и с некоторыми из наших недоброжелателей Кутузова, что один *генерал Мороз* уничтожил французское войско. Мороз был тут, конечно, не лишний, но Кутузов немало способствовал его заморозке.

* * *

Князь Долгорукий, военный и дипломат, участвовавший в войне 1812 года и известный своими каламбурами, уже предсказывал, когда взят был в плен генерал Le Pelletier, что французы погибнут от холода, потому что лишились генерального скорняка (*pelletier* по-французски скорняк, меховщик). После Тарутинского сражения он же выдумал за Наполеона слова, будто им сказанные Кутузову: *Vieux routier, ta routine m'a deroute* (твоя толковость сбילה меня с толку).

Польский генерал Рожнецкий рассказывал, что в 1812 г. около Гжатска был пойман крестьянин и допрашиваем о какой-то дороге. «*Не знаю*» было единственным ответом его, несмотря ни на угрозы, ни на побои, ни на обещания награды. Вот безымянный герой в истории 1812 г. Эта твердость, это упорство сильно поразили Наполеона и окружающих его.

Но Наполеон не хотел показать неприятное впечатление и разбил допрашивающих, упрекая их в том, что они не умеют хорошо объясниться с крестьянином по-русски.

* * *

Наполеон говорил князю Понятовскому в 1811 году: «Наше дело впрок не пойдет. Я рад всеми силами поддерживать вас, но вы от меня слишком далеки, а от России слишком близки. Что ни делай, а тем кончится, что она вас завоюет, мало того, завоюет всю Европу».

Князь Понятовский, возвратившись в Польшу, пересказывал эти слова многим из своих соотечественников и, между прочими, Грабовскому, который записал их в своей памятной книжке.

Плятер, передавая это, сказал, что судьба иногда каким-то непостижимым образом предрекает определения свои нашими устами. И в самом деле, не поразительно ли нескромное и как будто невольное признание Наполеона в такое время, когда он готовился на войну 1812 г. и подымал на дыбы Польшу силой несбыточных надежд, и поднял ее, и вместе с ней того же самого князя Понятовского.

Князь Понятовский позднее других своих соотечественников поддался обольщению Наполеона. В 1806 г. выезжал он к нему на встречу с прусским орденом на мундире, что было неприятно Наполеону и другим полякам, которые те-

лом и душой уже поработились обаянию счастливого завоевателя.

* * *

Крестьяне графа Мостовского, министра внутренних дел в Польше, говорят о его сельском хозяйстве: «Мы сеем траву, а покупаем хлеб».

* * *

Свечина, в проезд свой через Варшаву, говорила, что ей все кажется, что она смотрит на представление *Лодоиски* (известной в то время оперы польского содержания). Все ей казалось, даже и бытие народа, чем-то обманчивым, условленным и театральным.

* * *

Князь Сапега говорит, что мы живем в век конституции, филантропии и скуки.

* * *

В разговоре о Польше и о способах управлять поляками

NN сказал: «С поляками должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Подавайте руку поляку вежливо и ласково, но, вместе с тем, слегка прижмите ее так, чтобы он мог догадаться о силе вашей. Полякам некогда быть благодарными: они легко или падают духом, или увлекаются энтузиазмом, хотя часто не по разуму. Главное дело: их заговорить и охмелить». Так поступал с ними и Наполеон. Он никогда не думал вернуть им политическую независимость, а только в льстивых словах обольщал их легковверный патриотизм этой независимостью, и они лезли за него в огонь и тысячами погибали.

Наполеон в царствование свое надоел иным французам, как они ни легкомысленны, и был даже в тягость некоторым из своих приближенных и благодетельствованных им людей. Поляк же никогда не был разуверен и разочарован в отношении к Наполеону. Один поляк говорил очень серьезно, что Наполеон безрассудно вверил себя великодушию англичан: «Одни мы умели бы отстоять его, если бы прибег он к нам». И точно, Польша дала бы себя разрубить на куски и пролила бы до последней капли кровь свою, но не изменила бы Наполеону.

* * *

Граф Остерман сказал, кажется, маркизу Паулучи в 1812 году: «Для вас Россия мундир ваш: вы его надели и снимите

его, когда хотите. Для меня Россия кожа моя».

* * *

У. рассказывал Алексею Михайловичу Пушкину, как он в 1814 году ночью взят был в плен французами.

«Они очень невежливы (говорил он) и худо обращались со мной. Я им объяснял, что я генерал и что они должны уважать мое звание».

Они отвечали мне: «Зачем эти сказки: ну похож ли ты на генерала?»

«Что же (перебил его Пушкин), начинало уже рассветать?»

«Да, немножко», – отвечал тот простодушно и продолжал свое повествование.

* * *

Генерал Чаплиц, известный своей храбростью, говорил очень протяжно, плодovито и с большими расстановками в речи своей. Граф Василий Апраксин, более известный под именем Васеньки Апраксина, приходит однажды к великому князю Константину Павловичу, при котором находился он на службе в Варшаве, и просится в отпуск на 28 дней. Между тем ожидали на днях приезда в Варшаву Императора Алек-

сандра. Великий князь, удивленный этой просьбой, спрашивает его, какая необходимая потребность заставляет его отлучаться из Варшавы в такое время. «Генерал Чаплиц, – отвечает он, – назвался ко мне завтра обедать, чтобы рассказать мне, как попался он в плен в Варшаве во время первой Польской революции. Посудите сами, ваше высочество, раньше 28 дней никак не отделаюсь».

Разнесся слух, что папа умер. Многие старались угадать, кого на его место изберет новый конклав. «О чем тут и толковать? – перебил речь тот же Апраксин. – Разумеется, назначен будет военный». Это слово, сказанное в тогдашней Варшаве, строго подчиненной военной обстановке, было очень метко и всех рассмешило.

Его же спрашивали о некотором лице, известном по привычке украшать свои рассказы красным словцом, не едет ли он в Россию на винные откупы, которые только что открылись в Петербурге. «Нет, – отвечал он, – а еду, чтобы снять поставку лжи на всю Россию».

* * *

NN сказал о ***, впрочем, очень добром и почтенном человеке: «Он говорит пословицами, а действует виньетками».

Кстати о виньетках. Блюдов сказал о новом собрании басен Крылова, что вышли новые басни Крылова, с свиньей и с виньетками.

«Свинья на барской двор когда-то затесалась» и пр. Строгий и несколько изысканный вкус Блудова не допускал появления Хавроньи в поэзии. Какой-то французский критик, в таком же направлении, осуждал Крылова за то, что он выбрал гребень предметом содержания одной из своих басен, вероятно, на том основании, что есть французская поговорка: грязен как гребень (*sale comme un reigne*).

Выходя из театра после представления новой русской комедии, чуть ли не Загоскина, в которой табакерка играла важную роль, Блудов сказал: «В этой комедии более табаку, нежели соли».

Ему же однажды передали, что какой-то сановник худо о нем отзывался, говоря, что он при случае готов продать Россию. «Скажите ему, что если бы вся Россия исключительно была наполнена людьми на него похожими, я не только продал, но и даром отдал бы ее».

* * *

Козодавлев, будучи министром внутренних дел, очень заботился о развитии русской промышленности и о замене иностранных произведений своими домашними.

В газете *Северная Почта*, издаваемой при министерстве и при личном наблюдении и участии самого министра, часто и много толковали о кунжутном масле. Когда Козодавлев умер, NN спрашивал: «Правда ли, что его соборовали кун-

жутным маслом?»

* * *

Великий князь Константин Павлович всегда отличал графиню Розалию Ржевусскую, по красоте и по уму очень достойную его внимания. Цесаревич любил шутить над ее клерикальностью и часто обращался к ней с священными текстами. Однажды на бале она указала великому князю на одну даму, называя ее красавицей. «Вот что значит христианское смирение, – отвечал он ей. – Вы видите сучок в глазу у ближнего, а в своем бревна не замечаете».

* * *

Князь Юсупов (старик Николай Борисович) трунил над графом Аркадием Марковым по поводу старости его. Тот отвечал ему, что они одних лет.

«Помилуй, – продолжал князь, – ты был уже на службе, а я находился еще в школе».

«Да чем же я виноват, – возразил Марков, – что родители твои так поздно начали тебя грамоте учить».

* * *

У Ермолова спрашивали об одном генерале, каков он в сражении. «Застенчив», – отвечал он.

* * *

Дидеро витийствовал и гремел в кабинете императрицы Екатерины против льстецов, отсылая их прямо в ад. Екатерина переменила разговор. Спустя несколько времени спрашивает она у него: «Что говорят в Париже о последнем политическом перевороте, происходившем в России?» Дидеро запинается, отделяется общими выражениями, упоминает о случайностях государственной необходимости и т. д. Екатерина, улыбаясь, говорит ему: «Берегитесь, господин Дидеро: если не прямо в ад, то по крайней мере идете вы в чистилище».

Екатерина долго и с жаром говорила о достоинствах Сюлли и о счастье государя, который имел подобного министра. «Найдись другой Генрих, сыщется другой Сюлли», – будто сказал Панин. (Но это невероятно, и ответ только приписан был Панину; во всяком случае не графу Никите, а графу Петру Ивановичу Панину. Вообще нужно с большой осторожностью доверять этим историческим изречениям, появляю-

щимся задним числом.)

* * *

Бирон, как известно, был большой охотник до лошадей. Граф Остейн, венский министр при Петербургском Дворе, сказал о нем: «Он о лошадях говорит как человек, а о людях как лошадь».

* * *

Суворов писал князю Потемкину в 1790 году: «Истинная слава не может быть довольно оценена: она есть следствие пожертвования самим собой в пользу общего блага».

* * *

В одно из своих странствований по России Пушкин остановился обедать на почтовой станции в какой-то деревне. Во время обеда является барышня очень приличной наружности. Она говорит ему, что, узнав случайно о проезде великого нашего поэта, не могла удержаться от желания познакомиться с ним, отпускает различные приветствия, похвальные и восторженные.

Пушкин слушает их с удовольствием и сам с ней любез-

ничает. На прощанье барышня подает ему вязанный ею кошелек и просит принять его на память о неожиданной их встрече. После обеда Пушкин садится опять в коляску; но не успел он еще выехать из селения, как догоняет его кучер верхом, останавливает коляску и говорит Пушкину, что барышня просит его заплатить ей десять рублей за купленный им у нее кошелек. Пушкин, заливаясь звонким смехом, любил рассказывать этот случай авторского разочарования.

* * *

Карамзин рассказывал, что кто-то из малознакомых ему людей позвал его к себе обедать. Он явился на приглашение. Хозяин и хозяйка приняли его очень вежливо и почтительно и тотчас же сами вышли из комнаты, где оставили его одного. В комнате на столе лежало несколько книг. Спустя 10 минут или $\frac{1}{4}$ часа являются хозяева, приходят и просят его в столовую. Удивленный таким приемом, Карамзин спрашивает их, зачем они оставили его? «Помилуйте, мы знаем, что вы любите заниматься, и не хотели помешать вам в чтении, нарочно приготовили для вас несколько книг».

* * *

Дмитриев рассказывал, что какой-то провинциал, когда

заходил к нему, заставлял его за письменным столом с пером в руках. «Что это вы пишете? – часто спрашивал он его. – Нынче, кажется, не почтовый день».

Кто-то однажды навестил графа Ланжерона: он сидел в своем кабинете с пером в руках и писал отрывисто, с размахом, как многие подписывают имя свое в конце письма. После каждого подобного движения повторял он на своем ломаном русском языке: «Нье будет, нье будет!»

Что же оказалось? Он пробовал, как бы подписывал фельдмаршал граф Ланжерон, если когда-нибудь пожалован бы он был в фельдмаршалы, и вместе с тем чувствуя, что никогда фельдмаршалом ему не бывать.

Он был очень рассеян и часто от рассеянности мыслил вслух в присутствии других, что часто подавало повод к разным комическим сценам. К... обедал у него в Одессе во время его генерал-губернаторства. Общество было преимущественно составлено из иностранных негоциантов. За обедом выхвалял он удовольствия одесской жизни и, указывая на негоциантов, сказал, что с такими образованными людьми можно приятно провести время. На беду его, в то время был он особенно озабочен просьбой о прибавке ему столовых денег. «А не дадут мне прибавки, я этим господам, – стал мыслить он вслух, – и этого не дам!» (схватил с тарелки своей косточку, оставшуюся от котлетки).

В приезд императора Александра в Одессу был приготовлен для него дом, занимаемый Ланжероном. Встретив госу-

даря и проводив его до кабинета, после разговора, продолжавшегося несколько минут, откланялся он, вышел из кабинета и по привычке своей запер дверь на ключ. Государь оставался несколько времени взаперти, но наконец застучался, и освободили его от заточения.

Ланжерон был умный и вообще довольно деятельный человек, но ужасно не любил заниматься канцелярскими бумагами. Случалось, что, когда явятся к нему чиновники с докладами, он от них прятался, выходил из дому какими-нибудь задними дверьми и пропадал на несколько часов.

Кажется, граф Каменский (молодой), во время Турецкой войны, объяснял ему планы свои для будущих военных действий. Как нарочно на столе лежал журнал *Французский Меркурий*. Ланжерон машинально раскрыл его и попал на шараду, в журнале напечатанную. Продолжая слушать изложение военных действий, он невольно занялся разгадыванием шарады. Вдруг, перебивая речь Каменского, вскрикнул он: «Что за глупость!» Можно представить себе удивление Каменского: но вскоре дело объяснилось, когда он узнал, что восклицание Ланжерона относилось к глупой шараде, которую он разгадал.

В другой раз, чуть ли не в заседании какого-то военного совета, заметил он собачку под столом, вокруг коего сидели присутствующие члены. Сначала, неприметно для других, стал он движением пальцев призывать к себе эту собачку. Она подошла, он начал ее ласкать и вдруг, причмокивая,

обратился к ней с ласковыми словами.

Разумеется, все эти выходки не вредили Ланжерону, а только забавляли и смешили зрителей и слушателей, которые уважали в нем хорошего и храброго генерала. В армии известно слово, сказанное им во время сражения подчиненному, который неловко исполнил приказание ему данное. «Ви пороху нье боитесь, но затьо ви его нье видумали».

Однажды во время своего начальства в Одессе был он недоволен русскими купцами и собрал их к себе, чтобы сделать им выговор. Вот начало его речи к ним: «Какой ви негодьянт, ви маркитант; какой ви купец, ви овец». — и движением руки своей выразил козлиную бороду.

Однажды за обедом у императора Александра сидел он между генералами Уваровым и Милорадовичем, которые очень горячо разговаривали между собой. Государь обратился к Ланжерону с вопросом, о чем идет их живая речь. «Извините, государь, — отвечал он, — я их не понимаю: они говорят по-французски». Известно, что Уваров и Милорадович отличались своей несчастной любовью к французскому языку.

В молодости своей Ланжерон писал трагедии, как и все мало-мальски грамотные люди во Франции: у французов тогда была мода на трагедии, как у нас в то же время на торжественные оды. В начале Французской революции 1789 года участвовал он в журнале *Les actes des Apotres*, издаваемом, разумеется, в духе монархическом и в защиту коро-

левской власти. Сотрудниками журнала были очень умные и острые люди, так что журнал часто удачно соперничал с оппозиционными периодическими изданиями. В Одессе Ланжерон дал Пушкину трагедии свои на прочтение. Понимается, Пушкин их не прочел и, спустя несколько времени, на вопрос Ланжерона, которая из трагедий более ему нравится, отвечал ему наугад, именуя заглавие одной из них. В ней выведен был республиканец.

* * *

Дмитриев, жалуясь на скучного и усердного посетителя своего, говорил, что приходит держать его под караулом.

* * *

– За что многие не любят тебя? – кто-то спрашивал Ф. И. Киселева.

– За что же всем любить меня? – отвечал он. – Ведь я не золотой империал.

* * *

Граф Толстой, известный под прозвищем Американца, хотя не всегда правильно, но всегда сильно и метко говорит

по-русски. Он мастер играть словами, хотя вовсе не бегаёт за каламбурами.

Однажды заходил он к старой своей тётке. «Как ты кстати пришёл, – говорит она, – подпишись свидетелем на этой бумаге». – «Охотно, тетушка, – отвечает он и пишет: «При сей верной оказии свидетельствую тетушке мое нижайшее почтение». Гербовый лист стоил несколько сот рублей.

Какой-то родственник его, ума ограниченного и скучный, все добивался, чтобы он познакомил его с Денисом Давыдовым. Толстой под разными предлогами все откладывал представление. Наконец, однажды, чтобы разом отделаться от скуки, предлагает он ему подвести его к Давыдову. «Нет, – отвечает тот, – сегодня неловко: я лишнее выпил, у меня немножко в голове». – «Тем лучше, – говорит Толстой, – тут-то и представляться к Давыдову». Берёт его за руку и подводит к Денису, говоря: «Представляю тебе моего племянника, у которого немного в голове».

Князь*** должен был Толстому по векселю довольно значительную сумму. Срок платежа давно прошёл, и дано было несколько отсрочек, но денег князь ему не выплачивал. Наконец Толстой, выбившись из терпения, написал ему: «Если вы к такому-то числу не выплатите долг свой весь сполна, то не пойду я искать правосудия в судебных местах, а отнесусь прямо к лицу вашего сиятельства».

За дуэль или какую-то проказу был посажен он в Выборгскую крепость. Спустя несколько времени показалось ему,

что срок содержания его в крепости уже миновал, и начал он рапортами и письмами бомбардировать начальство, то с просьбой, то с жалобой, то с упреками. Это наконец надоело коменданту крепости, и он прислал ему строгое предписание и выговор с приказанием не осмеливаться впредь докучать начальство пустыми ходатайствами. Малограмотный писарь, переписывавший эту офицерскую бумагу, где-то и совершенно неуместно поставил вопросительный знак. Толстой обеими руками так и схватился за этот неожиданный знак препинания и снова принялся за перо. «Перечитывая (пишет он коменданту) несколько раз с должным вниманием и с покорностью предписание вашего превосходительства, отыскал я в нем вопросительный знак, на который вменяю себе в неприменную обязанность отвечать». И тут же стал он снова излагать свои доводы, жалобы и требования.

Шепелев (генерал Дмитрий Дмитриевич) говорит всегда несколько высокопарно. Однажды сказал он Толстому: «Послушайся, голубчик, моего совета: если у тебя будет сын, учи его непременно гидравлике». – «Почему же именно гидравлике?» – спрашивает Толстой. «А вот почему. Мы, например, гуляем с тобой в деревне твоей, подходим к ручью, я беру тебя за руку и говорю: Толстой, дай мне 100 тысяч рублей...» – «Нет, – с живостью прервал его тот, – подведи меня хоть к морю, так не дам». – «Не в том дело, – продолжает Шепелев, – но я увидел, что на этой речке можно построить

мельницу или фабрику, которая должна дать до 20 и 30 тысяч рублей ежегодного дохода».

Когда появились первые 8 томов *Истории Государства Российского*, он прочел их одним духом, и после часто говорил, что только от чтения Карамзина узнал он, какое значение имеет слово Отечество, и получил сознание, что у него Отечество есть. Впрочем, недостаток этого сознания не помешал ему в 12-м году оставить Калужскую деревню, в которую сослан он был на житье, и явиться на Бородинское поле: тут надел он солдатскую шинель, ходил с рядовыми на бой с неприятелем, отличился и получил Георгиевский крест 4-й степени.

* * *

Князь Чарторижский (старик, в конце прошлого столетия) распустил по Варшаве слух, что приехал знаменитый гадатель, обладающий удивительным дарованием узнавать прошедшее и угадывать будущее, что остановился он в Пражском предместье, в таком-то доме и в такие-то часы принимает посетителей. В эти часы отправлялся он сам в назначенное место, переряжался и в темной комнате давал свои аудиенции. Разумеется, что все общество хлынуло к нему, и в особенности дамы. Он знал всех жителей варшавских, более или менее все их действия, желания и помыслы, а потому и легко было ему удивлять всех своим чудесным

всеведением. Между тем узнал он и многие новые тайны, которые перед ним обнаружались и невольно были высказаны. И жена его попала в эту сеть. Может быть, и она проговорила, и всеведущий маг узнал иное, чего он не знал. Вот хороший сюжет для повести или для оперетки.

* * *

Генерал Лубинский, поляк в душе, но умеренный и благородный либерал, говорил, что полякам не должно забывать, что царь конституционный в Польше есть император самодержавный в России и что в борьбе свободы с властью должно всегда иметь эту истину перед глазами.

* * *

На вечере у княгини Заиончек (жены наместника) речь зашла о желаниях каждого, и каждый из присутствующих должен был выразить, чего просил бы он от судьбы, если она взялась бы исполнить желание. «Спасти Отечество», – сказал П. «Что же, – с живостью перебила его княгиня Заиончек, – вы имели бы тут общую участь с гусями Капитолия».

Это слово очень остроумно и очень уместно в официальном положении княгини. Она вообще мало разговаривает, но отрывисто и метко отпускает подобные выстрелы.



Канцлер Румянцев когда-то сказал, что Наполеон не лишен какого-то простодушия (*bonhomie*). Все смеялись над этим мнением и приписывали его недалёковидности ума Румянцева. А может быть, он был и прав. В частных сношениях Наполеона с приближенными и подчиненными ему людьми была некоторая простота, как оказывается из многих рассказов и отзывов. К тому же, по горячности своей, он был нередко нескромен и проговаривался.

Н. Н. Новосильцев рассказывал, что за столом у государя Румянцев, по возвращении своем из Парижа, сказал следующее: «В одном из моих разговоров с Наполеоном осмелился я однажды заметить ему: «Неужели, государь, при достижении подобного величия и высоты, не подумали вы, что, сколько вы ни всемогущи, но закон природы падет и на вас. Избрали ли вы достойного себе наследника и преемника вашей славы?» – «Поверите ли, граф, – отвечал Наполеон, удаляя себя по лбу, – что мне это и в голову не приходило! Благодарю. Вы меня надоумили».

Оставляю на произвол каждого решить, не солгал ли тут кто-нибудь из трех; а на правду что-то не похоже.

* * *

Князь Дашков, сын знаменитой матери, имел, говорят, в обращении и в приемах своих что-то барское и отменно-вежливое, что, впрочем, и бывает истинным признаком человека благородного и образованного. В доказательство этих качеств князя Дашкова, В. Л. Пушкин приводит следующий случай.

Он, т. е. Пушкин, и зять его Солнцев были коротко знакомы с князем и могли обедать у него когда хотели. Однажды приезжают они к нему в час обеда и застают у хозяина все отборное московское общество, всех сановников и всех наличных Андреевских кавалеров. Увидя, что на этот раз приехали они невпопад, уезжают домой. Неделю спустя получают они от князя приглашение на обед, приезжают и находят то самое общество, которое застали они в тот день.

* * *

В 1809 или 1810 г. приезжал в Москву, Бог знает откуда, какой-то чудаки, который выдавал себя за барона Жерамба, носил всегда черный гусарский мундир и вместо звезды на груди серебряную мертвую голову. Он уверял, что этот мундир и эта голова были присвоены полку, который он на сво-

ем иждивении поставил в Австрии во время войны. Все это казалось очень баснословно, но сам был он очень мил и любезен и хорошо принят в лучшие московские дома.

Сначала жил он очень широко, разъезжал по Москве в щегольской карете цугом, играл в карты, проигрывал довольно значительные суммы и т. п. Наконец денежные средства его, по-видимому, истощились. В подобной крайности написал он княгине Дашковой письмо такого содержания: что он видел Родосский колосс, Египетские пирамиды и подобные тому чудеса и не умрет спокойно, если не удостоится увидеть княгиню Дашкову. Старушка была тронута этим лестным приветом и пригласила его к себе. В первое же свое посещение попросил он у княгини дать ему взаем 25 000 рублей. Княгиня, разумеется, их не дала, и знакомство их на этом и кончилось.

Когда русские войска вступили в Париж, многие офицеры, знавшие Жерамба в России, нашли его траппистом в Париже и под именем отца Жерамба. Он, кажется, несколько был известен и литературными произведениями. Во время пребывания своего в Москве обратил он сердечное внимание свое на одну девицу и, не смея ей в том признаться, написал в альбом ее брата: *Prince, je vous adorerais, si Vous etiez Votre soeur.* (Я бы вас обожал, если бы вы были своей сестрой.)

За получением известия о кончине императора Александра последовало в Варшаве политическое и междуцарственное затишье; впрочем, более наружное и официальное; а умы, разумеется, были взволнованы молчанием правительства и не знали, как объяснять это молчание.

Депутация от Государственного Совета или других высших мест решила отправиться к генералу Куруте. Он спал. Поляки убедили камердинера разбудить его, потому что приехали по важному и неотлагательному делу. Курута принял их в постели. Они объяснили, что желают представиться новому императору и спрашивают, когда и как могут исполнить эту обязанность. «Cela ne cadre pas avec nos combinaisons» (это не соответствует нашим расчетам), – отвечал им Курута, повернулся на другой бок и тут же заснул.

Александр Голицын, известный под именем Рыжего, вследствие каких-то неудовольствий по службе и неприятных слов, сказанных ему великим князем, просился в отставку. Курута назначен был от цесаревича негоциатором, чтобы убедить Голицына отказаться от своего намерения. «Moi cher, – сказал ему благоразумный Улисс, – le Grand Due est un grand prince, e'est le frere de l'Empereur. Il faut etre magnanime avec les grands et savoir se survaincre». (Мой милый, великий князь – великая особа, он брат императора. Надо быть вели-

кодушным с великими особами и уметь себя преодолевать.)

* * *

Говоря о некоторых блестящих счастливицах, NN сказал: «От них так и несет ничтожеством».

* * *

Н. Н. Новосильцев – человек умный, хотя и в некотором размере, очень образованный, доброжелательный, способный иметь благородные движения, а иногда и силу выражать их на деле. Но при этом есть слабости в уме и характере его. Их должно приписывать среде, в которой он обращался. В нашем обществе нет надлежащего контроля, и общественное мнение не имеет довольно силы, чтобы подчинять нравственной дисциплине действия и привычки своих членов.

В Варшаве он не умеет обращаться с поляками. Он любит, ласкает, принимает и угощает своими роскошными обедами только тех поляков, которые и без того принадлежат России, как принадлежали бы они всякой другой господствующей державе (есть же натуры, которые, как вещи, должны непременно кому-нибудь принадлежать).

Политика должна делать уступки, заискивать и стараться разными обольщениями вербовать даже и недоброжелате-

лей. Этого способа завоевания Новосильцев никогда не испытывал. Своей невнимательностью, недоступчивостью он только раздражал людей, считавшихся в оппозиции. Немцевич за обедом у NN говорил соседу своему со слезами на глазах: «Вот первый кусок русского хлеба, который я ем в Варшаве».

Но, впрочем, много было в Новосильцеве сочувственного и привлекательного: большая простота и одинаковость в обращении. Разговор его мог быть разнообразен и интересен; но по какой-то лени он не любит упражнять свой ум, и по большей части разговор вертится около мелочей, событий и городских сплетен. Лени его до того доходит, что он даже не читает газет и признается, что узнает о важных европейских событиях от англичанина, камердинера своего, который прилежный читатель английских газет, выписываемых Новосильцевым.

Он до того беспечен, что однажды, и то нечаянно, отыскал в старой забытой им шкатулке многие важные и драгоценные бумаги, между прочими – собственноручные на французском языке письма от английского принца-регента, нынешнего короля: одно о ганноверских делах, другое с просьбой исходатайствовать ему позволение приехать на твердую землю и принять участие в войне против Наполеона. Было письмо и от Пита. И вместе с этими бумагами отыскались в шкатулке забытые ассигнации на 2000 рублей.

В молодости он писывал русские стихи и, кажется, осо-

бенно эпистолы, которые в царствование Екатерины были в большом ходу. Но и теперь художественные привычки отчасти остались при нем. Можно иногда застать его за переводом, белыми стихами, какой-нибудь оды Анакреона или за клавикордами, разыгрывающего сонату. Эти отдыхи и досуги в жизни официального человека имеют особенную прелесть.

Новосильцева можно назвать заколоченным колодцем многих исторических достопамятностей.

* * *

Князь Голицын прозван Jean de Paris (название современной оперы), потому что он в Париже, во время пребывания наших войск, выиграл в одном игорном доме миллион франков и, спустя несколько дней, проиграл их так, что не с чем было ему выехать из Парижа.

Он большой чудак и находится на службе при великом князе в Варшаве в должности – как бы сказать? – забавника. И в самом деле он очень забавен при какой-то сановитости в постановке и кудреватости в речах.

Надобно прибавить, что он от природы был немного трусоват. Однажды ехал он в коляске с великим князем, и скакали они во всю лошадиную прыть. Это Голицыну не очень нравилось. «Осмелюсь заметить, – сказал он, – и доложить вашему императорскому высочеству, что если малей-

ший винт выскочит из коляски, то от вашего императорского высочества может остаться только одна надпись на гробнице: здесь лежит тело Его Императорского Высочества Великого Князя Константина Павловича». – «А Михель?» – спросил великий князь (Михель был главный вагенмейстер при дворе великого князя). «Приемлю смелость почтительнейше повергнуть на благоусмотрение и прозорливое соображение вашего императорского высочества, что если, к общему несчастью, не станет вашего императорского высочества, то и Михель его императорского высочества бояться не будет».

В другой раз говорил он великому князю: «Вот, кажется, ваше высочество, и несколько привыкли ко мне, и жалуете, и достаиваете меня своим милостивым благорасположением, но все это ненадежно. Пришла бы на ум государю мысль сказать вам: «Мне хотелось бы съесть Голицына», – вы только бы и спросили: а на каком соусе прикажете изготовить его?»

Однажды захотелось ему иметь прибавку к получаемому им содержанию, казенную квартиру и еще что-то подобное в этом роде. Передал он свои желания генералу Куруте. Тот имел привычку никогда и никому ни в чем не отказывать. «Очень хорошо, mon cher, – сказал он Голицыну, – в первый раз, что мы с вами встретимся у великого князя, я при вас же ему о том доложу». Так и случилось. Начался между великим князем и Курутой, как и обыкновенно бывало, разговор на греческом языке. Голицын слышит, что несколько раз было упоминаемо имя его. Слышит он также, что на пред-

ложения Куруты великий князь не раз отвечал: «калос». Все принадлежащие варшавскому двору довольно были сведущи в греческом языке, чтобы знать, что слово *калос* значит по-русски: хорошо. Голицын в восхищении.

При выходе из кабинета великого князя Голицын только что собирался изъявить свою глубочайшую благодарность Куруте, тот с печальным лицом объявляет ему: «Сожалею, *mon cher*, что не удалось мне удовлетворить вашему желанию; но великий князь во всем вам отказывает и приказал мне сказать вам, чтобы вы впредь не осмеливались обращаться к нему с такими пустыми просьбами».

Что же оказалось после? Курута, докладывая о ходатайстве Голицына, прибавлял от себя по каждому предмету, что, по его мнению, Голицын не имеет никакого права на подобную милость; а в конце заключил, что следовало бы запретить Голицыну повторять свои домогательства. На все это великий князь и изъявлял свое совершенное согласие.

Надобно видеть и слышать, с каким драматическим и мимическим искусством Голицын передает эту сцену, которой искусный комический писатель мог бы воспользоваться с успехом.

* * *

На довольно многолюдном вечере у варшавского коменданта Левицкого Новосильцев имел неприятную стычку с

одним из адъютантов великого князя. Сгоряча дал он ему почувствовать, что власть, которой он официально уполномочен, может простираться и на него.

Разумеется, это было доведено до сведения цесаревича, который остался очень недоволен. Пошли переговоры, Новосильцев был не прочь и от поединка, но дело обошлось миролюбиво, хотя, может быть, и более неприятным образом для Новосильцева. Вследствие посредничества со стороны цесаревича, Новосильцев должен был сказать несколько извинительных слов адъютанту в том же доме и перед тем же обществом, которое было свидетелем стычки. Так и случилось.

С этой поры политическое и нравственное значение Новосильцева в Варшаве было несколько потрясено, и из независимого положения перешел он в другое, которое подчинило независимость его постороннему влиянию.

Спрашивали у Васеньки Апраксина, одного из зрителей (этой примирительной сцены, как обошлось все дело. «Очень хорошо, – отвечал он. – Байков (старший и ближайший к Новосильцеву чиновник) ввел его в комнату и сказал ему: Сын Святого Людовика, посмотри на солнце». Известно, что эти слова были сказаны духовником несчастного Людовика XVI, когда он всходил на эшафот.

Замечательна удачная находчивость Апраксина в подобных случаях. Он не знал истории, ничего никогда не читал, вероятно, как-то мельком слышал про это изречение и тут же

применил его так метко, остроумно и забавно.

Кроме саморощенного дарования на острые слова Апраксин имеет еще и другие таланты. Никогда не учась музыке, поет он прекрасно и разыгрывает на клавикордах лучшие места из слышанных им опер. Никогда не учась рисованию, он мастерски владеет карандашом и пишет прекрасные карикатуры. У генерала Синягина есть большой альбом, Апраксиным исписанный: тут, в смешных и метких изображениях, проходит все петербургское общество. Со временем этот альбом может сделаться исторической достопамятностью.

* * *

В дневнике NN записано: «Мое дело не действие, а впечатлительная осязательность; меня хорошо бы держать как термометр: он не может ни нагреть, ни освежить покоя, но ничто скорее и вернее его не почувствует и не укажет настоящую температуру. Часто замечал я за собой при событиях, что поражали меня иные признаки и свойства, которые ускользали от внимания других».

* * *

Многое может в прошлой истории нашей объясниться тем, что русский, т. е. Петр Великий, силился сделать из нас

немцев, а немка, т. е. Екатерина Великая, хотела сделать нас русскими.

* * *

Я желал бы славы себе, но не для себя, а с тем, чтобы озарить ею могилу отца и колыбель моего сына.

* * *

О Небо! Зачем при склонностях мирных дало ты мне и порывы мятежные? Тихое забвение, тихое убежище, тень двух-трех деревьев, светлый бег ручья, при вас мысль моя отдыхает. Вами, кажется, могла бы ограничиться вся алчность моих желаний; но страсти, обольщения света уносят меня далеко от вас. В волнении тоски беспредельной я вздыхаю по вас: на вашем безмятежном лоне порываюсь на новые движения. Я в всегдашней борьбе с самим собой и не знаю, что окончательно одержит верх. У других для этого тайного и глухого волнения пробуждается вечно бьющий источник поэзии; но не каждому судьбой дается он в удел. А, кажется, он один может утолить жажду души, равнодушной к так называемым земным благам, — души, которая готова иссохнуть на почве, где, по преданиям толпы, растет человеческое счастье и расцветают житейские выгоды.



Магницкий зашел однажды к Тургеневу (Александру) и застал у него барыню-просительницу, которая объясняла ему свое дело. Магницкий сел в сторону и ожидал конца аудиенции. Докладывая по делу своему, на какое-то замечание Тургенева барыня говорит: «Да помилуйте, ваше превосходительство, и в Евангелии сказано: на Бога надейся, а сам не плошай». – «Нет уж, извините, – вскочил со стула и. подбежав к барыне, с живостью сказал ей Магницкий. – Этого, милостивая государыня, в Евангелии нет». И он возвратился на свое место.

Когда в 1812 году Магницкий жил в ссылке, в Вологде, какой-то доморощенный вологодский поэт написал следующие стихи:

Сперанский высоко взлетел,
Россию предать хотел:
За то сослан в Сибирь
Копать имбирь.
Магницкий сидит,
Туда же глядит.

Стихи дают некоторое понятие об общем расположении к двум политическим ссыльным.

Следующий случай еще сильнее может служить тому при-

знаком. Рассказывали, что Магницкий пошел в лавку и, купив самовар, велел отнести его к себе на квартиру, сказав свою фамилию. Услышав ее, купец выгнал его из лавки и самовара не продал. Этот анекдот, может быть, и выдуман, но он ходил по Вологде и, следовательно, имеет свое значение.

* * *

Молодой князь Марцелин Любомирский был очень хорошо принят в лучшем петербургском обществе; но скоро своротил с пути, растерялся, наделал долгов и тайно скрылся. Во время расточительной жизни своей он все указывал заимодавцам на местечко *Дубно*, которое принадлежало отцу его и вскоре должно было поступить в продажу, и что тогда выплатит он все свои долги. NN при этом сказал: «Заимодавцы Любомирского могут изменить известную пословицу и говорить: «Славны *Дубны* за горами».

* * *

Нелединский говорит, что при дворе *сегодня* не есть последствие вчерашнего дня, и ненадежное указание на завтрашний. Каждый день при дворе имеет свою отдельную судьбу. Так на него и надо смотреть.

В 1812 году Нелединский оставил Москву за несколько

минут до вступления французов и так врасплох, что выехал в своей извозчичьей карете, как разъезжал по городу. В Ярославле представлялся он великой княгине Екатерине Павловне. На слова Нелединского, который смотрел довольно мрачно на совершающиеся события и на последствия, которыми могут они отозваться в России, великая княгиня с живостью возразила ему: «Но, однако же, брат мой любим народом». – «Конечно, – отвечал Нелединский, – государь любим, но любовь поддерживается доверием, а доверие рождается от успехов».

После выхода французов из Москвы и водворения в ней некоторого порядка он никак не мог решиться оставаться в ней на жительство, как прежде. Он говорил, что в глазах его неприятель опозорил Москву. Он продал свой большой дом на Мясницкой и переселился на жительство и на службу в Петербург.

В одной из зал его дома была во всю длину стена уставлена большими зеркалами. Во время пребывания французов в Москве он говорил, что понимает, с каким удовольствием квартирующие в доме его французы должны стрелять из пистолетов в эту зеркальную стену.

* * *

Во дни процветания Библейских обществ, манифестов Шишкова и злоупотребления, часто совершенно не у места,

текстами из Священного Писания, Дмитриев говорил: «С тех пор, как наши светские писатели просят в духовные, духовные стараются применить язык свой к светскому».

К нему ходил один московский священник, довольно образованный и до того сведущий во французском языке, что, когда проходил по церкви мимо барынь со кадилом в руках, говорил им: «Pardon, mesdames». Он не любил митрополита Филарета и критиковал язык и слог проповедей его. Дмитриев никогда не был большим приверженцем Филарета, но в этом случае защищал его. «Да помилуйте, ваше высокопревосходительство, – сказал ему однажды священник, – ну таким ли языком писана ваша *Модная жена!*»

* * *

В старой Москве жила один Левашов, очень образованный, приятного обхождения, славящийся актерским искусством своим на домашних театрах, но, по несчастью, донельзя пристрастный к пиву. Говорят, что он перед концом своим выпивал его по несколько десятков бутылок в сутки.

Дмитриев, который был с ним в приятельских отношениях, рассказывал, что в коротких ему домах он не стеснялся, но все-таки немного совестился частых требований любимого своего напитка; а потому и выражал свои требования разнообразными способами: то повелительным голосом приказывал слуге подать ему стакан пива, то просил впол-

голоса, то мельком и как будто незаметно в общем разговоре. Дмитриев применяет эти различные интонации к Василию Львовичу Пушкину, большому охотнику твердить и повторять свои стихи. «И он, – замечает Дмитриев, – то восторженно прочтет свое стихотворение, то несколькими тонами понизит свое чтение, то ухватится за первый попавшийся предлог и прочтет стихи свои, как будто случайно».

* * *

В Москве до 1812 г. не был еще известен обычай разносить перед ужином в чашках бульон, который с французского слова называли *consomme*.

На вечере у Василия Львовича Пушкина, который любил всегда хвастаться нововведениями, разносили гостям такой бульон, по обычаю, который он, вероятно, вывез из Петербурга или из Парижа.

Дмитриев отказался от него. Василий Львович подбегает к нему и говорит: «Иван Иванович, да ведь это *consomme*». – «Знаю, – отвечает Дмитриев с некоторой досадой, – что это не ромашка, а все-таки пить не хочу». Дмитриев, при всей простоте обращения своего, был очень щекотлив, особенно когда покажется ему, что подозревают его в незнании светских обычаев, хотя он большего света не любил и никогда не ездил на вечерние многолюдные собрания.

Было какое-то торжественное празднество в кадетском

корпусе в присутствии великого князя Константина Павловича и многих высших сановников. А. Л. Нарышкин подходит к великому князю и говорит: «J'ai aussi un cadet ici». – «Я и не знал, – отвечает великий князь, – представь мне его». Нарышкин отыскивает брата своего Дмитрия Львовича, подводит его к Константину Павловичу и говорит: «Voici mon cadet». Великий князь расхохотался, а Дмитрий Львович по обыкновению своему пуще расфыркался и встряхивал своей напудренной и тщательно завитой головой².

А. Л. Нарышкин был в ссоре с канцлером Румянцевым. Однажды заметили, что он за ним ухаживает и любезничает с ним. Спросили у него объяснить тому причину. Он отвечал, что причина в басне Лафонтена

Maitre-cordeau sur un arbre perche
Tenait en son bec un fromage:
Maitre-renard par l'odeur alleche
Lui tint a-peu-pre ce langage и пр.

(Вороне где-то Бог послал кусочек сыра и т. д.)

Дело в том, что у Румянцева на даче изготавливались отличные сыры, которые он дарил своим приятелям. Нарышкин был очень лаком и начал выхвалять сыры его в надежде, что он и его оделит гостинцем.

² По-французски слово *cadet* имеет значение и младшего брата.

Нарышкин говорил про одного скучного царедворца: «Он так тяжел, что если продавать его на вес, то на покупку его не стало бы и Шереметевского имения».

* * *

Беклешов говорил о некоторых молодых государственных преобразованиях, в начале царствования императора Александра I: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не удивишься: один ходит по самому краю высокой крыши, другой по оконечности крутого берега над бездной; но назови любого по имени, он очнется, упадет и расшибется в прах».

* * *

Каким должен был быть поучительным свидетелем для императора Павла, в час венчания его на царство, гость его, развенчанный и почти пленник его, король Станислав.

Впрочем, во всем поведении императора Павла в отношении к Станиславу было много рыцарства и утонченной внимательности. Эти прекрасные и врожденные в нем качества привлекали к нему любовь и преданность многих достойных людей, чуждых ласкательства и личных выгод. Они искупали частые порывы его раздражительного или, лучше сказать,

раздраженного событиями нрава.

Нелединский долго по кончине его говорил о нем с теплой любовью, хотя и над ним раздражались иногда молнии царского гнева. Во время государевой поездки в Казань Нелединский, бывший при нем статс-секретарем, сидел однажды в коляске его. Проезжая через какие-то обширные леса, Нелединский сказал государю: «Вот первые представители лесов, которые далеко простираются за Урал». – «Очень поэтически сказано, – возразил с гневом государь, – но совершенно неуместно: изволь-ка сейчас выйти вон из коляски». Объясняется это тем, что сие было сказано во время Французской революции, а слово *представитель*, как и круглые шляпы, было в законе у императора.

В эту поездку лекарь Вилие, находившийся при великом князе Александре Павловиче, был ошибочно завезен ямщиком на ночлег в избу, где уже находился император Павел, собиравшийся лечь в постель. В дорожном платье входит Вилие и видит перед собой государя. Можно себе представить удивление Павла Петровича и страх, овладевший Вилием. Но все это случилось в добрый час. Император спрашивает его, каким образом он к нему попал. Тот извиняется и ссылается на ямщика, который сказал ему, что тут отведена ему квартира. Посылают за ямщиком. На вопрос императора ямщик отвечал, что Вилие сказал про себя, что он анператор. «Врешь, дурак, – смеясь, сказал ему Павел Петрович, – император я, а он оператор». – «Извините, батюшка, – сказал

ямщик, кланяясь царю в ноги, — я не знал, что вас двое». (Рассказано князем Петром Михайловичем Волконским, который был адъютантом Александра Павловича и сопровождал его в эту поездку.)

* * *

NN говорит: «Если, сходно с поговоркой, говорится, что рука руку моет, то едва ли не чаще приходится сказать: рука руку марает».

* * *

При Павлове (Николае Филипповиче) говорили об общественных делах и о том, что не должно разглашать их недостатки и погрешности. «Сору из избы выносить не должно», — кто-то заметил. «Хороша же будет изба, — возразил Павлов, — если никогда из нее сору не выносить».

* * *

Похороны Ф. П. Уварова (ноябрь 1824) были блестящие и со всеми возможными военными почестями. Император Александр присутствовал при них, от самого начала отпевания до окончания погребения. «Славно провожает его один

благодетель, – сказал Аракчеев Алексею Федоровичу Орлову, – каково-то встретит его другой благодетель?» Историческое и портретное слово.

Кажется, с этих похорон Аракчеев пригласил Орлова сесть к нему в карету и довезти его домой. «За что меня так не любят?» – спросил он Орлова. Положение было щекотливо, и ответ был затруднителен. Наконец Орлов все свалил на военные поселения, учреждение которых ему приписывается и неясно понимается общественным мнением. «А если я могу доказать, – возразил с жаром Аракчеев, – что это не моя мысль, а мысль государя: я тут только исполнитель?»

В том-то и дело, каково исполнение – мог бы отвечать ему Орлов, но, вероятно, не отвечал.

* * *

Статфорд (знаменитый Канинг) приезжал в Россию от имени английского правительства для переговоров по греческим делам. Был он и в Москве на самую Пасху. Гуляя по Подновинскому, заметил он, что у нас, в противность английским обычаям, полиция везде на виду. «Это нехорошо; некоторые предметы требуют себе оболочки: природа нарочно, кажется, сокрыла от глаз наших течение крови».

Посетив Московский военный госпиталь, удивился он великолепию его и всем удобствам, устроенным для больных. «Если был бы я русским солдатом, – сказал он, – то, кажется,

желал бы всегда быть больным».

Канинг много уважает Поццо-ди-Борго и политическую прозорливость его. Он знал его в Константинополе: в самую пору славы и могущества Наполеона не отчаивался Поццо в низвержении его. Впрочем, и Петр Степанович Валуев, который не был никогда глубокомысленным политиком, как будто носил во чреве своем пророческое убеждение, что Наполеону несдобровать. Вскоре после рождения Римского королька, сказал он однажды Алексею Михайловичу Пушкину: «Не могу придумать, что сделают с этим мальчишкой». – «Какой мальчишка?» – «Наполеонов сын!» – «Кажется, – возразил Пушкин, – пристроиться ему будет нетрудно; он наследует французский престол». – «Какой вздор! Наполеон заживо погибнет, и все приведено будет в прежний порядок».

В прогулке по Подновинскому говорили мы с ним о великане, которого показывают в балагане и который, по замечанию врачей, должен умереть, когда перестанет расти. В тот же день за обедом с Канингом разговорились о Наполеоне; вспомнили, что он не умел довольствоваться тем, что казалось Фридриху верхом счастья. «Ничего человеку, – говаривал он, – присниться лучшего не может, как быть королем Франции». Канинг заметил, что Наполеону новые завоевания были нужны и необходимы, чтобы удержаться на престоле. Я применил к нему замечание, сделанное мной о великане: в натуре Наполеона, может быть, была потребность

или все расти, или умереть.

Канинг сказывал, что читал письмо Байрона, в котором он писал издателю и книгопродавцу своему: «Чтобы наказать Англию, я учусь итальянскому языку и надеюсь быть чрез несколько лет в состоянии писать на нем, как на английском. На итальянском языке напишу лучшее свое произведение, и тогда Англия узнает, кого она во мне лишилась». Она думает, что Байрон не мог бы играть значительной роли и овладеть событиями Греции. По словам его, он был человек великой души, но слабых нервов и слишком подвержен потрясению под силой внешних впечатлений. Однажды спросил он его, когда явится в свет книга приятеля его Гоб-Гуза, а именно путешествие его по Греции. «Гоб-Гуз, – отвечал Байрон, – одной природы со слониhoю».

О немецких переводах с древних языков, гекзаметрами, говорит он, что как они ни верны, но безжизненны. «Предпочтительно (продолжал он) знавать поэта в младенчестве его, чем знать черты его».

Следующее тоже из разговора Канинга.

Еще до напечатания книги своей о посольстве в Варшаве, Прадт изустно и часто упоминал о восклицании, которое влагал он в уста Наполеона: «Одним человеком менее, и я был бы властелином вселенной».

При первом свидании с Велингтоном, после первых и лестных приветствий касательно военных действий его в Испании, Прадт, в кружке слушателей, около них собравшихся,

отпустил Велингтону вышеупомянутое изречение Наполеона. Велингтон с достоинством и смирением опустил голову; но тот, не дав ему времени распрямиться, с жаром продолжал: «И этот человек я». Посудите о *сoup de theatre* (драматическом эффекте) и о неожиданности, выразившейся в лице Велингтона и других слушателей.

Вообще разговор Канинга степенен, но приятен и разнообразен. Речь его похожа на самое лицо его: при первом впечатлении оно несколько холодно, но ясно и во всяком случае очень замечательно. Даже не лишено оно некоторых оттенков простодушия, если не проникать слишком вглубь. Впрочем, разумеется, он в России не показывался нараспашку. Все же должна была быть некоторая дипломатическая драпировка.

* * *

В Твери, за столом у великой княгини Екатерины Павловны и в присутствии государя, разговорились о Екатерине Великой. Граф Алексей Иванович Пушкин, современник ее царствования, говорил о ней с жаром и так разнежился, что прослезился. На этом разговор пресекся. После обеда граф Пушкин с растревоженным лицом подходит к Ростопчину и говорит ему: «Кажется мне, что я за обедом некстати заплакал».

* * *

Безбородко говорил об одном своем чиновнике: «Род человеческий делится на *он* и *она*, а этот — *оно*».

* * *

Доклады и представления военных лиц происходили у Аракчеева очень рано, чуть ли не в шестом или седьмом часу утра.

Однажды представляется ему молодой офицер, приехавший из армии и мертво-пьяный, так что едва держится на ногах и слова выговорить не может. Аракчеев приказал арестовать его и свести на гауптвахту. В течение дня Аракчеев призывает к себе адъютанта своего князя Илью Долгорукова и говорит ему: «Знаешь ли, у меня не выходит из головы этот молодой пьяный офицер: как мог он напиться так рано, и еще пред тем, чтобы явиться ко мне! Тут что-нибудь да кроется. Потрудись съездить на гауптвахту и постарайся разведать, что это значит».

Молодой офицер, немного отрезвившись, признается Долгорукову: «Меня в полку напугали страхом, который граф Аракчеев наводит, когда представляются к нему; уверяли, что при малейшей оплошности могу погубить карьеру

свою на всю жизнь, и я, который никогда водки не пью, для придачи себе бодрости, выпил залпом несколько рюмок водки. На воздухе меня разобрало, и я к графу явился в этом несчастном положении. Спасите меня, если можно!»

Долгоруков возвратился к Аракчееву и все ему рассказал. Офицера приказано было тотчас выпустить из гауптвахты и пригласить на обед к графу на завтрашний день. Понимается, что офицер явился в назначенный час совершенно в трезвом виде. За обедом Аракчеев обращается с ним очень ласково. После обеда, отпуская его, сказал ему: «Возвратись в свой полк и скажи товарищам своим, что Аракчеев не так страшен, как они думают». (Рассказано князем Ильей Долгоруковым.)

* * *

После некоторого отсутствия великий князь, возвратившись в Варшаву, был на смотре недоволен своим любимым польским 4-м полком: полк что-то шагал не так, как следует. После многих вспышек гнева великий князь, отъезжая от полка, приказал Куруте заняться им и привести все в надлежащий порядок. «Слушаюсь, ваше императорское высочество, – отвечал Курута и, вынимая часы из кармана, прибавил: – Через полчаса шаг будет отыскан». К означенному времени цесаревич возвратился; ряды шагали как следует, и Куруте, и полку была изъявлена благодарность.

* * *

Какой-то шутник уверяет, что когда в придворной церкви при молитве «Отче наш» поют: «Но избави нас от лукавого», то князь Меншиков, крестясь, искоса глядит на Ермолова, а Ермолов делает то же, глядя на Меншикова.

* * *

Лукавство и хитрость очень ценятся царедворцами; но в прочем это мелкая монета ума: при одной мелкой монете ничего крупного и ценного не добудешь.

* * *

Говорят, что Растопчин писал в 1814 г. к жене своей: «Наконец его императорское величество милостиво согласился на увольнение мое от генерал-губернаторства в этом негодном городе» («*cette coquine de ville*»).

Во всяком случае нет сомнения, что *негодница Москва* была довольна увольнением Растопчина. При возвращении его в Москву, освобожденную от неприятеля, и когда мало-помалу начали съезжаться выехавшие из нее, общественное мнение оказалось к Растопчину враждебным. В дни опас-

ности все в восторженном настроении патриотического чувства были готовы на все возможные жертвы. Прошла опасность, и на принесенные жертвы и на понесенные убытки стали смотреть другими глазами. Хозяева сгоревших домов начали сожалеть о них и думать, что, может быть, и не нужно было их жечь. Они говорили, что одна из причин, которая погубила Наполеона, заключается в том, что он слишком долго зажился в Москве. Пожар Москвы мог бы испугать его и вынудить идти по пятам отступающей нашей армии, которая с трудом могла бы устоять перед его преследованием. Как бы то ни было, но разлад между Растопчиным и Москвой доходил до высшей степени. Растопчин был озлоблен неприязненным и, по мнению его, неблагодарным чувством московских жителей. Он, кажется, сохранил это озлобленное чувство до конца жизни своей.

На празднике, данном в Москве в доме Полторацкого после вступления наших войск в Париж, это недоброжелательство к Растопчину явилось в следующем случае. Когда пригласили собравшихся гостей идти в залу, где должно было происходить драматическое представление, князь Юрий Владимирович Долгоруков поспешил подать руку Маргарите Александровне Волковой и первый вошел с ней в залу. Вся публика пошла за ним. Граф Растопчин остался один в опустевшей комнате. Когда кто-то из распорядителей праздника пригласил его пойти занять приготовленное для него место, он отвечал: «Если князь Юрий Владимирович здесь

хозяйничает, то мне здесь и делать нечего, и я сейчас уеду». Наконец, после убедительных просьб и удостоверения, что спектакль не начнется без него, уступил он и вошел в залу.

* * *

Граф Ираклий Иванович Марков, командовавший московским ополчением, носил мундир ополченца и по окончании войны. Растопчин говорил, что он воспользовался войной, чтобы не выходить из патриотического халата.

* * *

Еще до написания *Дома Сумасшедших* Воейков написал в прозе *Придворный Парнасский Календарь*. В нем, между прочим, было сказано, что Кокошкин состоит на службе при Мерзлякове восклицательным знаком.

Кокошкин, переводчик *Мизантропа*, был отъявленный классик. В то время, когда начали у нас толковать о романтизме, он как от заразы остерегал от него литературную молодежь, которая находилась при нем. Как директор театра особенно восставал он против Шекспира и его последователей. «Ведь вы знаете меня, – говорил он молодым людям, – я человек честный, и какая охота была бы мне вас обманывать: уверяю вас, честью и совестью, что Шекспир ничего хо-

рошего не написал и сушая дрянь». (Рассказано Павловым, Николаем Филипповичем.)

* * *

Князь Димитрий Владимирович Голицын – настоящий московский градоначальник. Он любил Москву и с жаром всегда и везде отстаивает ее права. Однажды сказал он шутя: «Вот Петербург все хвастается пред нами, а случись какая-нибудь потребность, он к нам же обращается. Понадобилось Петербургу иметь при Дворе отличную певицу, и взяли из Москвы девицу ***. Понадобился Петербургу искусный врач, и вызвали из Москвы Маркуса. Понадобился вельможа, и переманили у нас Лазарева».

Старший из братьев Лазаревых, Иван Иоакимович, был долгое время коренным москвичом, известный своим простодушием и хлебосольством. Он любил задавать на славу обеды Андреевским и Александровским кавалерам и прочим предержавшим властям, пребывающим в Москве и проезжающим через Москву. К чести его должно прибавить, что он известен в Москве и щедрой заботливостью об Институте Восточных Языков, которого он состоял попечителем. Незадолго перед тем переехал он на житье в Петербург.

* * *

Шишков говорил однажды о своем любимом предмете, т. е. о чистоте русского языка, который позорят введениями иностранных слов. «Вот, например, что может быть лучше и ближе к значению своему, как слово *дневальный*? Нет, вздумали вместо него ввести и облагородить слово *дежурный*, и выходит частенько, что дежурный бьет по щекам дневального».

* * *

Адмирал Чичагов, после Березинской передраги, не взлюбил России, о которой, впрочем, говорят, отзывался он и прежде свысока и довольно строго.

Петр Иванович Полетика, встретившись с ним в Париже и прослушав его нарекания всему, что у нас делается, наконец сказал ему со своей квакерской (а при случае и язвительной) откровенностью: «Признайтесь, однако же, что есть в России одна вещь, которая так же хороша, как и в других государствах». – «А что, например?» – спросил Чичагов. «Да хоть бы деньги, которые вы в виде пенсии получаете из России».

Чичагов был назначен членом Государственного Совета. После нескольких заседаний перестал он ездить в Совет. До-

ведено было о том до сведения государя. Император Александр очень любил Чичагова, но, однако же, заметил ему его небрежение и просил быть впредь точнее в исполнении обязанности своей. Вслед за этим Чичагов несколько раз присутствовал и опять перестал. Уведомясь о том, государь с некоторым неудовольствием повторил ему замечание свое. «Извините, ваше величество, но в последнем заседании, на котором я был, – отвечал Чичагов, – шла речь об устройстве Камчатки, а я полагал, что все уже устроено в России, и собираться Совету не для чего».

Вот осьмистишие, ходившие по рукам:

Вдруг слышен шум у входа.
Березинский герой
Кричит толпе народа:
Раздвиньтесь предо мной!
– Пропустите его, тут каждый повторяет.
Держать его грешно бы нам.
Мы знаем, он других и сам
Охотно пропускает.

* * *

В какой-то элегии находятся следующие два стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной:

Все неприятности по службе
С тобой, мой друг, я забывал.

Пушкин, отыскавши эту элегию, говорил, что изо всей русской поэзии эти два стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные.

* * *

Денис Давыдов спрашивал однажды князя К***, знатока и практика в этом деле, отчего вечером охотнее пьешь вино, нежели днем? – «Вечером как-то грустнее», – отвечал князь с меланхолическим выражением в лице. Давыдов находил что-то особенно поэтическое в этом ответе.

* * *

Когда граф Марков был посланником в Стокгольме, назначен был к нему секретарем Д***, добрый и порядочный человек, но ума недалекого.

Однажды после обеда, который Марков давал в честь дипломатического корпуса, заметил он, что собрался кружок дипломатов около Д***, который с большим жаром твердил: «И вот так, и вот этак» (*et comme si et comme ça*) и размахивал руками. Марков почуял беду. Он подошел к кружку и спросил одного из слушателей, о чем идет речь. «Господин

секретарь, – отвечал тот, – изволит объяснять нам, как производится сечение кнутом в России».

* * *

Московский чудак К***, отличавшийся высокопарной речью, рассказывал, что когда войска наши при отступлении переходили через Москву, он подошел к одному из полковых командиров и спросил его: «Позвольте узнать, что знаменует сие быстрое движение наших войск?» – «А то, – отвечал ему тот, – что через полчаса французы будут в Москве, и советую вам скорее убираться прочь». «Тут, признаюсь, – продолжал К***, – опустил масштаб моих тактических понятий, и я не знал, на что решиться».

* * *

Карамзин искренно любит и уважает графа Растопчина, но признает в нем некоторое легкомыслие (которое так противоречит натуре Карамзина), особенно в критические дни, предшествовавшие сдаче Москвы.

Он жил тогда на даче у графа. Однажды разговорились они о событиях, совершающихся в России, и о тех, которых можно было опасаться в близком будущем. Оба говорили, разумеется, с жаром, и Карамзин глубоко сочувствовал пат-

риотическим убеждениям Растопчина. После долгого разговора граф ушел в свой кабинет; не прошло и пяти минут, Карамзин слышит громкий хохот графа. Удивленный такому скорому переходу, идет он к графу, чтобы узнать, что могло пробудить в нем порыв этой веселости. Оказалось, что доктор его Шнауберт что-то соврал по-французски.

Карамзин удивлялся и тому, что в эти дни граф мог ежедневно ездить на вечер к князю Хованскому, у которого собиралось довольно пустое общество. Вследствие этого курьеры, беспрестанно приезжавшие к нему в его загородный дом, должны были иногда далеко полночь ехать из-за Красных ворот отыскивать его на Пречистенке, для передачи бумаг или словесных сообщений.

* * *

Денис Давыдов уверял, что когда Растопчин представлял Карамзина Платову, атаман, подливая в чашку свою значительную долю рому, сказал: «Очень рад познакомиться; я всегда любил сочинителей, потому что они все пьяницы».

* * *

Императрица Екатерина отличалась необыкновенной тонкостью и вежливостью в обращении с людьми. Однажды

на бале хотела она дать приказание дежурному камер-пажу и сделала знак рукой, чтобы позвать его к себе. Но он того не заметил, а вице-канцлер Остерман вообразил, что этот знак к нему обращен. Опираясь на свою длинную трость, поспешил он к ней подойти. Императрица встала со своих кресел, подвела его к окну и несколько времени с ним говорила. Потом, возвратившись на свое место, спросила графиню Головину, довольна ли она ее вежливостью. «Могла ли я поступить иначе? – продолжала императрица. – Я огорчила бы старика, давши ему почувствовать, что он ошибся; а теперь, сказав ему несколько слов, я оставила его в заблуждении, что я в самом деле его подзывала. Он доволен, вы довольны, а следовательно, довольна и я».

В другой раз гофмаршал князь Барятинский ошибкой вместо девицы графини Паниной пригласил на вечер в Эрмитаж графиню Фитингоф, о которой императрица и не думала. Увидя неожиданную гостью, императрица удивилась, но не дала этого заметить, а только приказала тотчас послать приглашение графине Паниной; графиню же Фитингоф велела внести в список лиц, приглашаемых в большие эрмитажные собрания, с тем, чтобы не могла догадаться она, что на этот раз была приглашена ошибочно.

Императрица очень любила старика Черткова. Он был неприятный и задорный игрок. Однажды, играя с ней в карты и проиграв от нее игру, он так рассердился, что с досады бросил карты на стол. Она ни слова не сказала и, как

вечер уже кончился, встала, поклонилась присутствующим и ушла в свои покои. Чертков остолбенел и обмер. На другой день, в воскресенье, был обыкновенный во дворце воскресный обед. В это день обед был в Царскосельской колоннаде. Гофмаршал князь Барятинский вызывал лица, которые были назначены императрицей к собственному ее столу. Несчастный Чертков прятался и стоял в углу, ни жив, ни мертв. Вдруг слышит он, что подзывают и его, и сам не верит ушам своим. Когда подошел он, императрица встала, взяла Черткова за руку и прошла с ним по колоннаде, не говоря ни слова. Возвратясь к столу, сказала она ему: «Не стыдно ли вам думать, что я могла быть на вас сердита? Разве вы забыли, что между друзьями ссоры не должны оставлять по себе никаких неприятных следов?»

Во время путешествия императрицы в южную Россию, она ехала в шестиместной карете. Иван Иванович Шувалов и граф Кобенцель находились с ней бессменно. Лорд Сент-Эленс и граф Сегюр приглашались в карету поочередно. На императрице была прекрасная шуба, бархатом покрытая. Австрийский посол похвалил ее. «Один из моих камердинеров занимается этой частью моего туалета, – сказала императрица, – он так глуп, что другой должности поручить ему не могу». Граф Сегюр, в минуту рассеяния, расслышав только похвалы шубе, поспешил сказать: «*tel maitre, tel valet*» (каков барин, таков и слуга). Общий взрыв смеха встретил эти слова. За обедом в дороге граф Кобенцель сидел всегда воз-

ле нее. В тот же день императрица шутя сказала ему, что он, вероятно, начинает скучать своей постоянной соседкой. На этот раз нашла и на Кобенцеля минута рассеяния, подобно рассеянию графа Сегюра, и он отвечал, вздыхая: «On ne choisit pas ses voisins» (соседей своих не выбираешь). Эта вторая выходка возбудила такой же смех, как и первая. Наконец, в тот же день вечером императрица привлекла общее внимание каким-то интересным рассказом. Лорда Эленса тогда не было в комнате. Когда он возвратился, императрица по просьбе всего общества соизволила повторить для него свой рассказ. Лорд Сент-Эленс, утомленный с дороги, начал, слушая ее, зевать и скоро задремал. «Этого только недоставало, господа, чтобы довершить любезность вашу, — сказала императрица, — я вполне довольна».

Никто не мог быть величественнее императрицы во время торжественных приемов. Никто не мог быть ее приветливее, любезнее и снисходительнее в малом кругу приближенных к ней лиц. Перед тем, чтобы садиться за игру в карты, окидывала она общество взглядом, желая убедиться, что каждый пристроен. Она до того простирала внимание, что приказывала опускать шторы, когда замечала, что солнце кому-нибудь неприятно светит в глаза. Однажды играла она на биллиарде с кем-то из приближенных царедворцев. В это время вошел Иван Иванович Шувалов. Императрица низко ему присела. Присутствующие почли это насмешкой и засмеялись принужденным и угодливым смехом. Императри-

да приняла серьезный вид и сказала: «Вот уже сорок лет, что мы друзья с господином обер-камергером, а потому нам очень извинительно шутить между собою».

Все эти подробности о императрице Екатерине собраны из рассказов графини Головиной.

Князь Юсупов говорит, что императрица любила повторять следующую поговорку: «*Se n'est pas tout que d'etre grand seigneur, it faut encore etre poli*» (не довольно быть вельможею, нужно еще быть учтивым).

Князь Яков Иванович Лобанов говорит, что императрица имела особенный дар приспособлять к обстоятельствам выражение лица своего. Часто после вспышки гнева в кабинете подходила она к зеркалу, так сказать углаживала, прибирала черты свои и являлась в приемную залу со светлым и царственно приветливым лицом. Так, сказывают, было когда она получила известие о революционном движении и кровавом событии в Варшаве. Императрице доложили о приезде курьера. Она пошла в свой кабинет, прочла доставленные ей донесения и выслушала рассказы приезжего. Можно представить себе, как все это ее взволновало. Она очень вспылила и топала ногой. Пробыв несколько времени в кабинете, возвратилась она в комнату, где оставила свое общество, с великим князем Константином Павловичем под руку и, смеясь, сказала: «Не осуждайте меня, что являюсь с молодым человеком». Она досидела весь вечер, как будто ни в чем не бывало, и никто не мог догадаться, что у нее было на уме и

на душе.

Вот еще любопытные очерки из рассказов той же графини Головиной: «В 1790 году, муж мой, в чине полковника, получил полк и отправился в армию. Вскоре затем поехала я к нему. Квартира была в Бендерах. Тут нашла я княгиню Долгорукую и г-жу Витте, бывшую впоследствии графиней Потоцкой. Муж мой, по распоряжению начальства, отправился к осажденной Килии. Он командовал конным полком, но на этот раз дали ему пехотный полк. Я была очень огорчена отъездом его: мне было как-то неловко оставаться в этом военном лагере, где с часу на час ожидали князя Потемкина. Я отстала от общества и заперлась дома, чтобы избежать волнений и суматохи, которые обыкновенно бывали в ожидании князя. Наконец он приехал и прислал приглашение мне к себе на вечер. Мне советовали быть особенно внимательной и почтительной с князем, который здесь едва ли не царствует. «Я знакома с ним, – отвечала я, – и встречалась у дяди моего (Ивана Ивановича Шувалова); не знаю, почему мне быть с ним иначе, как и прежде бывала».

Князь встретил меня с отменной вежливостью. Большая комната полна была генералами, между коими заметила я князя Репнина: он держался так почтительно, что это неприятно меня удивило. Вечеринки у князя Потемкина часто возобновлялись. Роскошь и великолепие всей обстановки доходили до высшей степени. Это было азиатское волшебство. В те дни, когда не было бала, собирались обыкновенно в ди-

ванной комнате. Мебели обиты были тканью серебряной и розовой; таким же ковром был обит и пол. На красивом столе стояла филигранная курильница, в которой горели аравийские благовония. Князь обыкновенно носил платье с собольей опушкой, алмазную звезду и ленты, Георгиевскую и Андреевскую. За столом служили велико-рослые кирасиры, одетые в красные колеты. На головах были черные меховые шапки с султаном. Перевязи их были посеребрены. Они шли попарно и напоминали театральных солдат. В продолжении ужина, прекрасно устроенный оркестр, при пятидесяти роговых инструментах, исполнял лучшие симфонии. Но все это меня не веселило и не занимало, и жила я одной надеждой вырваться из этого круга.

Однажды пушечная пальба возвестила взятие Килии. Я, не помня себя от радости, узнав, что мой муж жив и здоров, поспешила к молебствию. Тут просила я князя приказать мужу моему возвратиться. Князь обещал исполнить мою просьбу и в самом деле тотчас же отправил ордер спросить графа Головина, хочет ли он того или нет. Муж был только в ста верстах от нас и приехал верхом на другой день. Мне хотелось немедленно возвратиться в Петербург. Но вскоре должны были праздновать день Св. Екатерины. Князь Потемкин был всегда так приветлив и благосклонен ко мне, что неловко было бы нам уехать до празднества, и мы выезд свой отсрочили.

В день празднества повезли нас в линейках мимо двух-

соттысячной армии, расставленной по обеим сторонам дороги. Войска нам салютовали. Подъехали мы к обширной подземной зале, богато и роскошно убранной. В верхней галерее были музыканты. Звуки инструментов, раздававшиеся в подземелье, были несколько глухи, но это самое придавало им какую-то пленительную таинственность. На обратном пути сопровождала нас непрерывная пальба. Бочки с зажженной смолой, расставленные по дороге, служили нам фонарями».

Читая эти описания, нельзя не вспомнить, что Державин метко сказал про Потемкина: «Великолепный князь Тавриды».

* * *

Князь Платон Степанович Мещерский был при Екатерине наместником в Казани, откуда приехал он с разными проектами и бумагами для представления их на благоусмотрение императрицы. Бумаги были ей отданы, и Мещерский ожидал приказания явиться к императрице для доклада. Однажды на куртаге императрица извиняется перед ним, что еще не призывала его. «Помилуйте, ваше величество, я ваш, дела ваши, губернии ваши; хоть меня и вовсе не призывайте, это совершенно от вас зависит». Наконец день назначен. Мещерский является к императрице и перед началом доклада кладет шляпу свою на столик ее, запросто подвигает стул се-

бе и садится. Государыня сначала была несколько удивлена такой непринужденностью, но потом, разобрав его бумаги и выслушав его, осталась им очень довольна и оценила его ум.

Павел Петрович, будучи еще великим князем, полюбил его. Однажды был назначен у великого князя бал в Павловске или Гатчине. Племянник Мещерского, граф Николай Петрович Румянцев, встретясь с ним, говорит ему, что надеется видеться с ним в такой-то день. «А где же?» – «Да у великого князя: у него бал, и вы, верно, приглашены». – «Нет, – отвечает Мещерский, – но я все-таки приеду». – «Как же так? Великий князь приглашает, может быть, только своих приближенных». – «Все равно, я так люблю великого князя и великую княгиню, что не стану ожидать приглашения». Румянцев для предупреждения беды счел за нужное доложить о том великому князю, который, много смеявшись тому, велел пригласить Мещерского.

Поговорка: *шарам стала, плохом стала*, ведется от этого Мещерского. Эти слова сказаны о нем казанским татаринном.

При проезде Мещерского через какой-то город Казанской губернии, городничий не велел растворять ворота какого-то здания, хотел провести его через калитку. «Это что? – говорит наместник. – Я-то пролезу, но чин мой не пролезет».

Император Павел, собираясь ехать в Казань, сказал ему: «Смотри, Мещерский, не проводи меня через калитку: мой чин еще повыше твоего». (Рассказано Петром Степановичем Молчановым.)

А право, напрасно закидали у нас бедного Тредьяковского такой грязью: его правила о стихосложении вовсе не дурны. Его мысль, что наш язык должен образоваться употреблением, что *научат нас им говорить благоразумные министры* и проч., очень справедлива. Он чувствовал, что один письменный язык есть язык мертвый. Здесь он как будто предчувствует и предугадывает Карамзина. Но как Моисей, он сам не успел и не умел достигнуть обетованной земли. Надобно когда-нибудь сличить Тредьяковского и Хвостова в переводе их поэмы Буало: *L'art poetique*.

Досужных дней труды, или трудов излишки,
 О, малые мои, две собранные книжки,
 Вы знаете, что вам у многих быть в руках,

сказал Тредьяковский в предисловии к одному из своих сочинений. Чем же это не нашего времени стихи? В них и ясность, и простота. *Наперстничество* употреблено у него в смысле *соперничество*. Жаль, что в наших словарях не приводят примеров различного употребления слов и выражений, какими являются они в разных литературных эпохах и у разных писателей. Наши словари доньше более или менее полное собрание слов, а не указатели языка, как француз-

ские словари, по коим можно пройти почти полный курс истории французского языка и французской литературы.

Кажется, мало известна эпиграмма Крылова на переведенную Хвостовым поэму Буало:

«Ты ль это, Буало? Скажи, что за наряд?
Тебя узнать нельзя; конечно, ты вздурился?»
– Молчи, нарочно я в Хвостова нарядился:
Я еду в маскарад.

* * *

Говорили о поколенном портрете О*** (отличающегося малоросл остью), писанном живописцем Варнеком. «Ленив же должен быть художник, – сказал NN, – немного стоило бы труда написать его и во весь рост».

* * *

Греч где-то напечатал, что Булгарин в мизинце своем имеет более ума, нежели все его противники.

«Жаль, – сказал NN, – что он в таком случае не пишет одним мизинцем своим».

Бенкендорф (отец Александра Христофоровича) был очень рассеян. Проезжая через какой-то город, зашел он на почту проведать, нет ли писем на его имя. «А как ваша фамилия?» – спрашивает его почтовый чиновник. «Моя фамилия?» – повторяет он несколько раз и никак не может ее вспомнить. Наконец говорит, что придет после и уходит. На улице встречается он со знакомым. «Здравствуйте, Бенкендорф». – «Как ты сказал? Да, да, Бенкендорф», – и тут же побежал на почту.

Однажды он был у кого-то на бале. Бал довольно поздно окончился, гости разъехались. Остались друг перед другом только хозяин и Бенкендорф. Разговор шел плохо, тому и другому хотелось отдохнуть и спать. Хозяин, видя, что гость его не уезжает, предлагает, не пойти ли им в кабинет. Бенкендорф, поморщившись, отвечает: «Пожалуй, пойдем». В кабинете было им не легче. Бенкендорф, по своему положению в обществе, пользовался большим уважением. Хозяину нельзя же было объяснить напрямик, что пора бы ему ехать домой. Прошло еще несколько времени, наконец хозяин решился сказать: «Может быть, экипаж ваш еще не приехал, не прикажете ли, я велю заложить вам свою карету». – «Как вашу карету? Да я хотел предложить вам свою». Дело объяснилось тем, что Бенкендорф вообразил, что он у себя дома,

и сердился на хозяина, который у него так долго засиделся. Бенкендорф был один из самых близких людей при дворе их высочеств Павла Петровича и Марии Федоровны. Отношения эти никогда не изменялись. В последние годы жизни своей переехал он на житье в Ригу. Ежегодно в день именин и в день рождения императрицы Марии Федоровны писал он ей поздравительные письма. Но он был чрезвычайно ленив на письма и, несмотря на всю преданность свою и на свои сердечные чувства, очень тяготился этой обязанностью. Когда подходили сроки, мысль написать письмо беспокоила и смущала его. Он часто говаривал: «Нет, лучше сам отправлюсь в Петербург с поздравлением. Это будет легче и *скорее*».

* * *

Граф Остерман, брат вице-канцлера, тоже славился своей рассеянностью.

Однажды шел он по паркету, по которому было разостлано посередине полотно. Он принял его за свой носовой платок, будто выпавший, и начал совать его в свой карман. Наконец общий хохот присутствующих дал ему опомниться.

В другой раз приехал он к кому-то на большой званый обед. Перед тем как войти в гостиную, зашел он в особую комнатку. Там оставил он свою складную шляпу и вместо нее взял деревянную крышку и, держа ее под руку, явился с

нею в гостиную, где уже собралось все общество.

За этим обедом или за другим, зачесалась у него нога, и он, принимая ногу соседки своей за свою, начал тереть ее.

* * *

В наше время отличается рассеянными своими граф Михаил Вельгорский. Против воли своей, но по необходимой обязанности, отправился он к кому-то с визитом. И когда лакей, возвратясь к дверцам кареты, сказал ему, что принимают, поспешно выговорил он ему: «Скажи, что меня дома нет».

* * *

К Державину навязался сочинитель прочесть ему произведение свое. Старик, как и многие другие, часто засыпал при слушании чтения. Так было и в этот раз. Жена Державина, возле него сидевшая, поминутно толкала его. Наконец сон так одолел Державина, что, забыв и чтение, и автора, сказал он ей с досадой, когда она разбудила его: «Как тебе не стыдно: никогда не даешь мне порядочно выспаться».



Толковали о несчастной привычке русского общества говорить по-французски. «Что же тут удивительного? – заметил кто-то. – Какому же артисту не будет приятнее играть на усовершенствованном инструменте, хотя и заграничного привоза, чем на своем домашнем, старого рукоделья?»

Французский язык обработан веками для устного и письменного употребления. Богатое родовое латинское наследство еще обогатилось многими благоприобретенными сокровищами, открытиями и удобствами деятельной умственной промышленности, доведенной и развитой до роскоши. Недаром французы слывут говорунами: им и дар слова, и книги в руки. Французы преимущественно народ разговорчивый. Язык их преимущественно язык разговорный. На других языках говорят, а не разговаривают. Слово *causerie* исключительно французское слово: оно не имеет равнозначительного выражения на других языках.

Шатобриан говорит где-то, что французские переселенцы в американских пустынях ходят за 30 и 40 миль и более, чтобы наговориться досыта со своими единоземцами, поселенными в других местах. Подобное преимущество французского языка рождает и владычество его. Пожалуй, оно и грустно, и досадно, а пока делать нечего. Тут кстати применить довольно непонятную русскую пословицу: нужда на-

учит калачи есть. Французский язык – калач образованного и высшего нашего общества.

* * *

Известно, что не только Бонапарт, но и Наполеон на вершине могущества своего, не пренебрегал журналистикой. И она была в руках его броненосным орудием, которое он обращал на противников своих, готовясь их поработить или застрашать. Он и сам нередко писал газетные статьи или заставлял писать других под своим вдохновением.

В Англии издавалась газета *Лондонский Курьер*, вероятно, на французские деньги. В № 14, в парижской корреспонденции, от 18 февраля 1802 г., напечатана статья против графа Маркова, бывшего тогда посланником в Париже. Из этой статьи видно, что какой-то Фульо (Foilleau) рассылал по Европе скорописные вести (*nouvelles a la main*), неблагоприятные первому консулу и французскому правительству. Он был арестован. В министерстве полиции производили следствие над ним. По следствию оказалось, что он получал денежные пособия за эти бюллетени, и справедливо или нет, но французское правительство подозревало, что тут замешаны и Марковские деньги.

Изложив ход всего дела, лондонская газета прибавляет, что «никто не мог ожидать, что имя графа Маркова будет упомянуто по этому делу. Смешно было бы серьезно опро-

вергать подобные небылицы и смотреть на них, как на государственные дела. Но нужно указывать на должность посла, соблюдая большую осторожность, строгое приличие и достоинство во всех поступках своих, чтобы не нарушить уважения и доверенности правительства, при коем он аккредитован».

Тут же рассказывается, что вскоре после этого дела первый консул, встретясь с Марковым, спросил его: не по бюллетеням ли дает он двору своему сведения о положении Франции? Марков, смущенный и пристыженный, не мог от замешательства ничего сказать на выходку Бонапарта. Спустя несколько секунд собрался он что-то сказать, но улыбка первого консула показала ему, что он не придает никакой важности этому делу.

Графа Маркова обвиняют некоторые в недостатке твердого и самобытного характера. Он очень умен и остер, но в дипломатии и вообще в государственных делах этого недостаточно. Главное дело: способность умно вести себя, что гораздо мудрее и реже встречается, чем способность умно говорить. Маркова еще в царствование Екатерины обвиняли в неудаче переговоров со шведским королем, перед помолвкой его с великой княжной Александрой Павловной. Во время посольства его в Париже упрекали его, что он иногда слишком мирволит Бонапарту, то досаждают ему вздорными и задорными выходками, вследствие коих и вынужден он был выехать из Парижа и за что, впрочем, награжден был

Андреевской лентой.

Стакельберг, старик царствования Екатерины, сказал о нем: «C'est un fat d'orgueil et de mechancete» (он нахал надменности и злости).

* * *

Меттерних говорил в Вене, во время конгресса, что он был бы совершенно счастлив, когда бы не долгие обеды Стакельберга и не широкие шаровары лорда Стюарта.

Гнев Меттерниха не был ли в нем бессознательным предчувствием, что из всего, что было и делалось на Венском конгрессе, едва ли не одни широкие панталоны Стюарта удержатся, получают авторитет и войдут в законную силу и в общее употребление. (Должно знать, что тогда панталоны не были еще в употреблении, что не иначе старики и молодежь являлись в общество, как в коротких штанах. Общее уничтожение головной пудры тоже состоялось уже после Венского конгресса.)

* * *

Кстати о пудре. Андрие был плохой актер и муж знаменитой по дарованию актрисы и певицы Филис Андрие. Император Александр и петербургская публика очень к ней бла-

говорили, а потому были снисходительны и к мужу.

Назначен был спектакль в Эрмитаже. Утром того дня Андриэ, встретясь с государем на Дворцовой набережной, спросил его, может ли он вечером явиться на сцене ненапудренный.

«Делайте, как хотите», – отвечал государь.

«Oh! Je sais bien, Sire, que Vous etes bon enfant; mais que dira la maman?» (О, я знаю, государь, вы добрый мальчик, но что скажет маменька?)

* * *

«Вы готовите себе печальную старость», – сказал князь Талейран кому-то, кто хвастался, что никогда не брал карты в руки и надеется никогда не выучиться никакой карточной игре.

Если определение Талейрана справедливо, то нигде не может быть такой веселой старости, как у нас. Мы с малолетства приучаемся и готовимся к ней окружающими нас примерами и собственными попытками. Нигде карты не вошли в такое употребление, как у нас: в русской жизни карты одна из непреложных и неизбежных стихий. Везде более или менее встречается в отдельных личностях страсть к игре, но к игре, так называемой азартной.

Страстные игроки были везде и всегда. Драматические писатели выводили на сцене эту страсть со всеми ее пагуб-

ными последствиями. Умнейшие люди увлекались ею. Знаменитый французский писатель и оратор Бенжамен Констан был такой же страстный игрок, как и страстный трибун.

Пушкин, во время пребывания своего в южной России, куда-то ездил на несколько сот верст на бал, где надеялся увидеть предмет своей тогдашней любви. Приехав в город, он до бала сел понтировать и проиграл всю ночь до позднего утра, так что прогулял и все деньги свои, и бал, и любовь свою.

Богатый граф Сергей Петрович Румянцев, блестящий вельможа времен Екатерины, человек отменного ума, большой образованности, любознатель по всем отраслям науки, был до глубокой старости подвержен этой страсти, которой предавался, так сказать, запоем. Он запирался иногда дома на несколько дней с игроками, проигрывал им баснословные суммы и переставал играть впредь до нового запоя.

Подобная игра, род битвы на жизнь и смерть, имеет свое волнение, свою драму и поэзию. Хороша и благородна ли эта страсть и эта поэзия, это другой вопрос. Один из таких игроков говаривал, что, после удовольствия выигрывать, нет большего удовольствия как проигрывать.

Но мы здесь говорим о мирной, так называемой коммерческой игре, о карточном времяпровождении, свойственном у нас всем возрастам, всем званиям и обоим полам. Одна русская барышня говорила в Венеции: «Конечно, климат здесь хорош; но жаль, что не с кем сразиться в преферанс».

Другой наш соотечественник, который провел зиму в Париже, отвечал на вопрос, как доволен он Парижем: «Очень доволен, у нас каждый вечер была своя партия».

Карточная игра в России есть часто оселок и мерило нравственного достоинства человека. «Он приятный игрок» – такая похвала достаточна, чтобы благоприятно утвердить человека в обществе. Примеры упадка умственных сил человека от болезни, от лет не всегда у нас замечаются в разговоре или на различных поприщах человеческой деятельности; но начни игрок забывать козыри, и он скоро возбуждает опасение своих близких и сострадание общества. Карточная игра имеет у нас свой род остроумия и веселости, свой юмор с различными поговорками и прибаутками. Можно бы написать любопытную книгу под заглавием: физиология колоды карт.

Впрочем, значительное потребление карт имеет у нас и свою хорошую, и нравственную сторону: на деньги, вырученные от продажи карт, основаны у нас многие благотворительные и воспитательные заведения.

* * *

После несчастных событий 14 декабря разнеслись и по Москве слухи и страхи возмущения. Назначили даже ему и срок, а именно день, в который вступит в Москву печальная процессия с телом покойного императора Александра I.

Многие принимали меры, чтобы оградить дома свои от нападения черни; многие хозяева домов просили знакомых им военных начальников назначить у них на этот день постоем несколько солдат.

В это время какая-то старуха шла по улице и несла в руке что-то съестное. Откуда ни возьмись мальчик, пробежал мимо нее и вырвал припасы из рук ее. «Ах ты бездельник, ах ты головорез, – кричит ему старуха вслед. – Еще тело не привезено, а ты уже начинаешь бунтовать».

* * *

Дмитриев съехался где-то на станции с барином, которого провожал жандармский офицер. Улучив свободную минуту, Дмитриев спросил его, за что ссылается проезжий?

– В точности не могу доложить вашему высокопревосходительству, но, кажется, худо отзывался насчет холеры.

* * *

По какому-то ведомству высшее начальство представляло несколько раз одного из своих чиновников то к повышению чином, то к денежной награде, то к кресту, и каждый раз император Александр I вымарывал его из списка.

Чиновник не занимал особенно значительного места, и ни

по каким данным он не мог быть особенно известен государю. Удивленный начальник не мог решить свое недоумение и наконец осмелился спросить у государя о причине неблаговоления его к этому чиновнику.

«Он пьяница», – отвечал государь. «Помилуйте, ваше величество, я вижу его ежедневно, а иногда и по несколько раз в течение дня; смею удостоверить, что он совершенно трезвого и добронравного поведения и очень усерден к службе; позвольте спросить, что могло дать вам о нем такое неблагоприятное и, смею сказать, несправедливое понятие?» – «А вот что, – сказал государь. – Одним летом, в прогулках своих я почти всякий день проходил мимо дома, в котором у открытого окошка был в клетке попугай. Он беспрестанно кричал: «Пришел Гаврюшкин – подайте водки».

Разумеется, государь кончил тем, что дал более веры начальнику, чем попугаю, и что опала с несчастного чиновника была снята. (Слышано от Петра Степановича Молчанова; но, может быть, фамилия чиновника немножко искажена.)

* * *

У многих любовь к отечеству заключается в ненависти ко всему иноземному. У этих людей и набожность, и религиозность, и православие заключаются в одной бессознательной и бесцельной ненависти ко власти папы.

Иной и не прямо лжет, и лжецом слыть не может, но мастерски умеет обходить правду. Некоторого рода обходы иногда нужны для вернейшего достижения цели; но опасно слишком вдаваться в эти обходы: кончишь тем, что запутаешься в проселках и на прямую дорогу никогда не выйдешь.

Один барин не имел денег, а очень хотелось ему деньги иметь. Говорят, голь на выдумки хитра. Наш барин запасся двумя или тремя подорожными для разъезда по дальним губерниям и на этих подорожных основывал он свои денежные надежды. Приедет он в селение, по виду довольно богатое, отдаленное от большого тракта и, вероятно, не имевшее никакого понятия о почтовой гоньбе и о подорожных; пойдет к старосте, объявит, что он чиновник, присланный от правительства, велит священнику отпереть церковь и созвать мирскую сходку. Когда все соберутся, он начнет важно и громко читать подорожную: «По указу его императорского величества», – при этих словах он совершит крестное знамение, а за ним крестится и весь народ. Когда же дойдет до слов: *выдавать ему столько-то почтовых лошадей за указные прогоны, а где оных нет, то брать из обывательских*, – тут скажет он, что у него именно оных-то и нет, т. е. прогонов, т. е. денег, а потому и требовал от обывателей такую-то сумму, которую назначал он по усмотрению своему. Получив такую

подать, отправляется он далее в другое селение, где повторяет ту же проделку.

* * *

Когда побываешь в Англии, то убедишься, что в нравах, обычаях и условиях английского общества и общежития есть довольно много *гнилых посадов*, буквальный перевод Rotten Boroughs, что, впрочем, и у французов переводится *bourg pourri*³.

Легкомысленно было бы признавать за несомненное следствие образованности все, что здесь видишь. Напротив, много ускользнуло от образованности и осталось в первобытной своей неуклюжести и дикости: потому что англичане упрямы, самолюбивы и сознательно, и умышленно односторонни. Они преимущественно консерваторы в домашнем быту и во внутренней политике. Позволяют они себе ломать и очень смелы в ломках своих только во внешней политике.

Французский писатель Сюар где-то рассказывает, что на Гебридских островах присутствие иностранного путешественника заражает воздух и дает кашель всем обывателям.

³ Гнилым посадом до избирательной реформы в Англии называлась местность, которая пользовалась старыми избирательными привилегиями, хотя народонаселение этой местности и значительно убавилось: таким образом ограниченное число обывателей, поддаваясь влиянию или подкупу, располагало назначением члена в нижнюю палату.

Нет сомнения, что и присутствие иностранца в английском обществе, пока он себя не совершенно *выанглизирует*, должно производить в англичанах раздражение, как присутствие разнородной и даже противородной стихии. Кашель не кашель, а должно кожу их морозом подирать: так все привычки жизни и весь день их тесно вложены в законную и тесную мерку и рамку. Оттого в английской жизни нет ничего нечаянного (*imprevu*), скоропостижного. Оттого общий результат должен быть скука. Недаром сказано: *l'ennui naquit unjour de l'uniformite*⁴.

Нечего и говорить, что некоторых слов и выражений нет ни в английском языке, ни в английских понятиях. Например, *как-нибудь, покуда, по-домашнему, по-дорожному, за-просто* и т. п. В Англии все вылито в одну форму или в известные формы. Англичанин в известные часы входит в эти формы, которые переносит с собой, или, лучше сказать, благодаря общему благоустройству в Англии, находит готовыми из одного края Англии до другого: дома, в Лондоне, у себя в деревне, в гостях, на больших дорогах, в гостиницах.

Между Парижем и провинцией лежат столетия. В некоторых отношениях вся Англия есть продолжение Лондона. Англичане никогда не скажут: «Что же нам теперь делать? За что приняться?» Давным-давно уже внесено в общее уложение, что делать в такой-то час и в такое-то время года.

«Прошу вас, не беспокойтесь» – для меня континенталь-

⁴ Скука некогда родилась от единообразия.

ное выражение, которое иностранцу не придется и не придет на ум сказать англичанину: ибо англичанин ни для кого не беспокоится и не женируется; а если он что и сделает похожее на учтивость, на уступчивость и общежитейское жертвоприношение, но вовсе не для вас, а для себя, как исполнение обязанности, и потому, что так заведено и так быть должно. Ваша личность перед ним всегда в стороне, и если вздумается вам ее выставить, то англичанин вытаращит глаза на вас и вас не поймет.

Англичанина никак не собьешь с родной почвы, как ни перенеси его на чужую, в Париж, Рим, Петербург. Француз податливее и сговорчивее. Русский, с легкой руки Петра I, легко поддается чужим обычаям, где бы он ни был. Англичанин везде одевается, завтракает, ходит и мыслит по-английски. Это почтенно, но вчуже досадно и обидно. Смотри на англичанина, особенно в Англии, чувствуешь его нравственное достоинство и силу. И этим, хотя и с грустью пополам, объясняешь себе превосходство и тяжеловесность английской политики в делах Европы и всего мира.

Английский деспотизм обычаев превосходит всякое понятие. В оперную залу не впускают иностранца, если у него серая шляпа в руках. Если едешь в omnibusе и поклонись знакомому на улице, он примет это за неприличие и за обиду. За обедом есть не как едят другие, ставить рюмку не на ту сторону где должно, резать, а не ломать свой ломоть хлеба: все это может погубить человека в общественном мнении;

и как ни будь он умен и любезен, а прослывет дикарем.

Что за прелесть английская езда! Катисься по дороге, как по бархату, не зацепишься за камушек. Колес и не слышать. Дорожную четырехместную карету, в которой покойно сидят шесть человек, везет пара лошадей, но зато каких! Около 35 верст проезжаешь в два часа с половиной. У нас ездят скорее, но часто позднее доезжаешь до места. Здесь минута в минуту приезжаешь в известный час. Здесь на деле сбывается пословица: тише едешь, дальше будешь. К тому же нет мучительства для лошадей. Не слышать кучерского ругательства и голоса. Бичом своим он лошадей не погоняет, лошади пользуются также личными и гражданскими правами. Огромная машина словно катится сама собою.

Из Брайтона ездили мы в близкий городок Левис. После моря и голых Брайтонских берегов глаза отдыхают на зелени пригорков, деревьев и лугов, окружающих Левис. В Англии зелень имеет особую свежесть и прелесть. Мы попали на скотский рынок или ярмарку. Коровы, бараны, свиньи и мясники все были налицо в движении. Английский скот имеет также свое особенное дородство и достоинство.

Во время нашего luncheon (завтрака) в гостинице подъезжает к крыльцу четвероместная карета, очень красивая, пара хороших лошадей, кучер одет порядочно. Вылезают четыре человека также весьма пристойной наружности по виду и по одежде. Кто это? Джентльмены ли они, или поселяне, т. е., по-нашему, мужики? Зашел о том спор между нами. На

поверку вышло мужики, но мужики вольные хлебопашцы, т. е. *фермеры*. Выпив по стакану портера, отправились они на свой скотский базар. Эти господа могли нам дать мерку и образчик всего того, чем Англия отличается от других государств.

Когда и видишь солнце в Англии, то не иначе, как сквозь туман и дым: словно парная и испаряющаяся репа.

* * *

Извлечение в переводе из неизданных на французском языке собственноручных записок польского короля Станислава Понятовского.

1) *Мой портрет*⁵

Вот что автор говорит в начале: «Писал я его в 1756 году, перечитал в 1760 году. Тогда прибавил я к нему несколько слов, записанных под этим числом. В продолжении моих записок укажу откровенно читателю моему на те изменения, которые годы и обстоятельства внесли в мой портрет, по крайней мере настолько, насколько дано человеку познавать себя».

Начитавшись много портретов, я захотел написать и свой. Был бы я доволен наружностью своей, если был бы ростом

⁵ В прошлом веке, а особенно во Франции, такие портреты были в большой моде и служили светской забавою в высшем и литературном обществе.

несколько повыше, если бы нога моя (la jambe) была стройнее, нос менее орлиный, зрение не столь близорукое, зубы более на виду. Нимало не думаю, что и при исправлении этих недостатков вышел бы я красавцем; но не желал бы быть пригожее, потому что признаю в физиономии своей благородство и выразительность; полагаю, что в осанке, движениях (jestes) моих есть что-то изящное и отличительное, которое может везде обратить внимание на меня. Моя близорукость дает мне однако же и не редко вид несколько смущенный и мрачный (imbarasse et sombre), но это не надолго. После минутного ощущения неловкости (должен сознаться и в погрешности) часто в осанке (contenance) моей обнаруживается излишняя гордость.

Отличное воспитание, полученное мной, много содействовало мне к прикрытию недостатков моих, как внешних, так и ума моего. Оно помогло мне извлечь возможную пользу из моих способностей и выказать их несоразмерно с их истинным достоинством! Достаточно имею ума, чтобы быть в уровень с каждым предметом разговора; но ум мой не довольно плодовит, чтобы надолго овладеть разговором и направить его, разве речь зайдет о таком предмете, в котором могут принять участие чувство и живой вкус, которым оарила меня природа ко всему, что относится до художеств. Скоро подмечаю и схватываю все смешное (le ridicule) и ложное и все людские странности и кривизны (travers). Часто давал я людям это чувствовать слишком скоро и резко. По

врожденному отвращению, ненавижу дурное общество.

Большая доля лени не дала мне возможности развить, сколько бы следовало, мои дарования и познания. Принимаюсь ли за работу, то не иначе как по вдохновению; делаю много за один раз и вдруг, или же ничего не делаю. Я не легко выказываюсь и высказываюсь (*je ne me compromets pas aisément*), и вследствие того кажусь я искуснее, нежели бываю на самом деле. Что же касается до управления делами (*la conduite des affaires*), то прилагаю к ним обыкновенно слишком много поспешности и откровенности, а потому нередко впадаю в промахи (*des pas de clerc*). Я мог бы хорошо судить о деле, заметить ошибку в проекте или недостаток в том, кто должен привести этот проект в исполнение; но мне к тому нужны еще и совет постороннего, и узда, чтобы самому не впасть в ошибку.

Я чрезмерно чувствителен, но живее чувствую скорбь, нежели радость. Горе слишком сильно овладевало бы мною, если бы в глубине сердца не таилось предчувствие великого счастья в будущем. Рожденный с пламенным и обширным честолюбием, питаю в себе мысли о преобразованиях, о пользе и славе отечества моего: эти мысли сделались как бы канвою всех действий моих и всей жизни моей.

Я не считал себя пригодным к женскому обществу. Первые опыты сближения моего с женщинами казались мне случайными и условными. Наконец познал я нежность любви: люблю так страстно, что малейшая неудача в любви моей

сделала бы из меня несчастнейшего человека в мире и повергла бы меня в совершенное уныние.

Обязанности дружбы для меня священны: простираю их далеко. Если мой друг провинится предо мной, то готов я сделать все возможное, чтобы отворотить разрыв между нами, долго после оскорбления, им мне нанесенного, помню только то, чем был я ему некогда обязан. Я признаю себя добрым и верным другом. Правда, дружен я не со многими, но всегда безгранично благодарен за всякое добро мне оказанное. Хотя очень скоро подмечаю недостатки ближнего, но очень охотно прощаю их, вследствие рассуждения, к которому часто прибегал, а именно: как ни почитай себя добродетельным, но если беспристрастно всмотришься в себя, то отыщешь в себе тайные соотношения (*affinites*), весьма унижительные с величайшими преступлениями, которым не достает только случая и сильного давления, чтобы распуститься. Беда, если не будешь строго сторожить за собой.

Люблю давать, ненавижу скряжничество, но зато не очень умею распоряжаться тем, что имею. Не так крепко храню тайны свои, как тайны чужие, на которые я очень соvestлив. Я очень сострадателен. Мне так приятно видеть себя любимым и одобряемым, что самолюбие мое возросло бы до крайности, если бы опасение казаться смешным (*la crainte du ridicule*) и навык светских приличий не научили бы меня умению обуздывать себя в этом отношении. Впрочем, я не лгу, столько же по нравственным правилам, сколько и по

врожденному отвращению ко всякому лицемерию.

Не могу сказать о себе, что я набожен, по общему значению этого слова, и далек я от того; но смею сказать, что люблю Бога и часто молитвою обращаюсь к Нему. Я не чужд утешительного убеждения, что Он оказывает нам милость Свою, когда мы о том просим его. Мне еще даровано счастье любить родителей моих, как по склонности, так и по обязанности. Хотя, под первым движением досады, мысль об отпущении и могла бы придти мне в голову, но полагаю, что не мог бы я осуществить ее на деле: жалость взяла бы верх. Случается, что прощаешь по слабости так же часто, как и по великодушию. Опасаюсь, что по этой причине многим из моих предположений на будущее время не дано будет обратиться в действительность. Охотно размышляю и достаточно наделен воображением, чтобы не скучать наедине и без книги, особенно с тех пор, что я люблю. (1756 год.)

Должен я ныне прибавить, что могу долго и постоянно желать одного и того же (*les memes choses*). Наблюдая за собой, пришел я к заключению, что, находясь уже три года среди людей отвратительных и гнусных (*detestables*), которые навлекли на меня ужасные страдания, я сделался менее способным ненавидеть (*moins haineux*). Не знаю, истощился ли мой запас ненависти, или кажется мне, что видал я и хуже этого. Если буду когда-нибудь счастлив, то желал бы я, чтобы все были счастливы, и никому не было бы повода сожалеть о счастья моем». (1760 год.)

История может, конечно, отказать несчастному Понятовскому в государственных качествах, которыми должен обладать правитель народа; но, прочитав сей портрет, который нельзя заподозрить в несходстве и в недостатке чистосердечия, нельзя, забывая венценосца, не сочувствовать человеку. Да и все современные свидетельства соглашаются в похвальном и лестном отзыве о нем. Сочувствуя, нельзя и не пожалеть об игралище и жертве каких-то оболстительных и счастливых обстоятельств, которые, почти мимо воли его, вознесли его на блестящую вершину, а потом низринули в смутные столкновения, заперли в безысходную засаду и устремили к окончательному падению.

Впрочем, и при большей твердости духа, и при лучшем умении вести державные дела, едва ли мог бы Понятовский или кто другой усидеть на шатком польском престоле. Исторические, географические и соседственные сервитюды и давление влекли роковою силою Польшу к неминуемой гибели и, так сказать, политическому самоубийству. Можно сказать, что внешние тяготения ослабили и *ампутировали* Польшу; но и Польша сама собою деятельно работала в смысле окончательного разложения своего.

Мы упомянули о географических условиях Польши, заимствуя мысль у князя Паскевича. Его спрашивали, почему поляки всегда раболепствуют или бунтуют. «Такова уже их география», – отвечал наместник.

Пойдем далее в выписках своих.

2) *Поручение, данное Ностицу в Варшаве.*

Сделанное мне предложение.

Вскоре по кончине Августа III, курфюрст, старший сын его, сделал в Польше попытки, чтобы наследовать ему. Супруга его частным образом действовала под рукой в этом же смысле. Камергер Ностиц прислан был в Варшаву с этой целью. Саксонский двор вздумал, между прочим, предложить мне денежную сумму и много других обещаний, с тем чтобы я отказался от подобного соискательства. Советник Шмидт, на которого возложены были эти переговоры, сам смеялся, все это мне передавая и угадывая заранее мой ответ. Но все эти саксонские проекты уничтожены были оспой, от которой курфюрст умер, и никто не хотел заменить его одним из братьев.

3) *Важное предложение, сделанное мне Кейзерлингом*

Около половины 1764 года, когда затруднительности к моему избранию на престол, по-видимому, более и более скоплялись, посол Кейзерлинг, который всегда оказывал мне самую приятную доверенность, спросил меня однажды: «Что скажете вы о мысли, которая пришла мне в голову и о которой желал бы я знать мнение ваше, а именно: нельзя ли было бы, вместо вас, призвать к престолу дядю вашего, русского палатина, князя Чарторыского? Скажите мне искрен-

но: что было бы полезнее для Польши? Вы дадите мне на это ответ через три дня».

В этот промежуток времени тысяча различных мыслей выказали мне вопрос сей со всех сторон. Главнейшая мысль, более всех меня озаботившая, была та, что рано или поздно императрица может обвенчаться со мной, если буду я королем; а если королем не буду, то и браку этому никогда не бывать. С другой стороны, три человека, которых я тогда наиболее любил, были: старший брат мой, Ржевуский (в то время писарж, а после маршал) и Браницкий, с которым друженно сблизился я в России. Нужно сказать, что дядя мой палатин явил этим трем лицам чувствительные доказательства недоброжелательства своего. Наконец, знал я деспотический и неукротимый нрав моего дяди. Все это, по истечении трех дней, побудило меня сказать: «Какой ни имел бы я повод полагать, что дядя лично дружески расположен ко мне, но не могу не сознаться, что, по мнению моему, царствование дяди моего было бы крутым и жестким, и по этой причине думаю, что для блага народа лучше было бы мне быть королем, а не ему».

Как скоро Кейзерлинг выслушал мой ответ, он воскликнул с живостью: «Боже упаси нас от жестокосердного царствования, – и прибавил, – чтобы не было впредь и в помине о том».

Это обстоятельство, столь важное в жизни моей, более всего утвердило меня в убеждении, что из всех человеческих

заблуждений менее всех простительное есть гордость. Тот, кто хвалится тем, что он в таком или другом случае хорошо сказал или хорошо действовал, не принимает в соображение, что человек не в силах дать себе мысль, что все мысли – и преимущественно те, которые впоследствии наиболее обольщают нас одержанным успехом, – исходят от Того, Кому благоугодно было нам их ниспослать.

Только спустя восемь лет после этого ответа представился уму моему тот, который надлежало бы мне сделать, а именно: «Не хочу быть королем без уверенности, что буду супругом императрицы. Если будет мне в том отказано, то прошу одного удостоверения в благорасположении будущего короля к трем друзьям моим; я же останусь частным лицом. Корона без императрицы не имеет для меня никакой прелести». Таким образом все примирил бы я. В первом случае, до какой степени блеска и благоденствия возвысилась бы Польша! В другом случае снискал бы я себе новое право на уважение и признательность императрицы. Вместе с тем обеспечил бы я фортуна трех друзей моих, а равно мог бы я быть уверенным в особой ко мне милости дяди моего и во всех возможных выгодах и приятностях, коими пользоваться может частный человек. Я отвратил бы от себя все скорби и от отечества моего все бедствия, на которые будет указано в продолжении сих Записок.

А первоначальная причина всех этих неблагоприятных последствий заключается в том, что дядя мой никогда про-

стить не мог, что не он, а я сделался королем. Я уверен, что доходило до сведения его (если не сам он внушил его) предложение, сделанное мне Кейзерлингом. Сужу о том потому, что, спустя несколько месяцев, когда речь зашла о противодействиях, даже до пролития крови, которые может встретить избрание мое на престол, и я отвечал, что скорее откажусь от короны, нежели потерплю, чтобы избрание мое стоило единой капли польской крови, то княгиня Стражница (Straznik?), впоследствии маршалыша, горячо сказала немногие следующие слова: «Да ведь зависело только от...» (mais il n'a dependu que...), и тут в смущении прервала речь свою и обратила разговор на другие предметы.

Почти то же повторилось, хотя и не в таких размерах, при назначении императором Александром в наместники Зайончека, тогда же пожалованного в княжеское достоинство. Это назначение было для всех совершенно неожиданное и всех удивило. Второй князь Адам Чарторыский и вся Пулавская⁶ партия желали и полагали, что выбор императора падет на него. Зайончек был храбрый генерал (как почти и все поляки храбры на войне), лишился ноги в сражении, ходил на костылях, был человек честный, но вовсе не был на виду и не имел тех блестящих качеств, которые вызывают на честолюбие. Он не имел ни партии, ни клеветов, ни трубачей за себя; мало имел даже и связей в варшавском аристократи-

⁶ Пулавы – великолепное, недалеко от Варшавы, поместье Чарторыских, посещаемое путешественниками и воспетое поэтами.

ческом обществе. По старости лет своих не имел и поклонниц и усердных ходатайниц в прекрасном поле (а в Польше непременно нужно иметь свою партию и свой вспомогательный летучий женский отряд). По всему этому император именно и обратил внимание свое на него. Однажды в Варшаве призывает он генерала Зайончека в свой кабинет и спрашивает мнения его, кого бы назначить наместником царства. Выслушав его, государь говорит ему: «А мой выбор уже сделан: я вас назначаю». Старик, никогда о том и не мечтавший, не менее публики удивлен был, когда, вошедши в царский кабинет рядовым генералом, вышел он из него царским наместником. Разумеется, не одно это назначение посеяло в обществе семена раздора и оппозиции; но, по всем соображениям, оно не мало могло тому и содействовать. Впрочем, для соблюдения истины должно прибавить, что, по общему мнению, сильно разыгралось тут не столько обманутое честолюбие князя Чарторыского, сколько деятельное и суетливое честолюбие семейства его.

4) *Отрывок из письма императрицы 2 августа 1762 г.*

«Согласно с желанием его, отправляю графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем (pour vous faire roi). А если он в том не успеет, то пусть будет избран князь Адам» (Чарторыский).

Зимой 1763 – 1764 годов писал я императрице: «Не делайте меня королем, а снова призовите к себе». Не одни сердеч-

ные чувства побуждали меня выразить эту просьбу. Я был убежден, что могу принести в таком случае более пользы отечеству моему как частное лицо при ней, нежели здесь как король. Но просьбы мои не получили удовлетворения.

5) *Анекдот, касающийся до избрания моего*

За несколько недель до дня, назначенного для моего избрания, в императрице возникло сильное опасение, что избрание мое может вовлечь ее в большие затруднения и даже в войну с Портою. Вопреки Панину, писала она к Кейзерлингу, что, опасаясь многих неудобств за Россию и за себя от слишком упорного настаивания на избрание мое в короли, она повелевает ему не доходить до формального предствательства за меня (*de ne pas risquer une recommandation formelle*), но ограничиться действием, которое он почтет влекущим за собой наименее худых последствий (*les consequences les moins facheuses*).

Панин осмелился написать Кейзерлингу: «Не знаю, что пишет вам императрица; но после всего что мы донныне сделали, честь императрицы и государства нашего так связана с этим вопросом, что, отступая от него, мы много повредили бы себе. Итак, продолжайте как следует, чтобы довершить это дело. Смело вам это высказываю» (*C'est moi qui vous le dis hardiment*).

И Кейзерлинг не побоялся послушаться своей государыни и последовать совету ее первого министра. Он изложил фор-

мальный акт представительства за меня от имени императрицы. А как был он в то время болен и не мог лично представить его примасу (как то обыкновенно делалось в прежних избраниях), то и представил бумагу свою через посольского секретаря, барона Аша.

Избрание мое совершилось единогласно и в таком порядке и мире, что большое число дам присутствовало на избирательном поле, посреди дворянских эскадронов. Только и был при этом один несчастный случай: лошадь лягнула в господина Трояновского и раздробила ему ногу. Многие дамы сливали голоса свои за избирательными кликами воеводств, когда примас на колеснице своей проезжал и собирал от маршалов воеводских конфедераций избирательные записки за скрепою тех, которые состояли налицо. По общему мнению, около 25 тысяч человек окружало избирательное поле, и в этом числе ни один голос не восстал против меня.

Что ни говори, а если смотреть беспристрастно, то в этой отрывочной исповеди не обрисовывается пошлый и своекорыстный честолюбец. Тут честолюбие есть, но оно очищено и облагорожено более возвышенными побуждениями; оно питается двойной любовью. В исповеднике видим хотя и грешника, но честного человека; видим здравый ум, который хорошо и верно судит о настоящем положении и также верно предвидит опасения в будущем. Он раскаивается в том, что увлекся, что не следовал видам, которые сам исчислил и

оценил; но раскаивается поздно. Впрочем, когда же в делах житейских раскаяние не бывает поздней добродетелью?

Вместе с тем виден здесь и поляк-мечтатель. Польская политика всегда сбивается на фантазию. Романтической литературы еще и в помине не было, а благодаря полякам была уже романтическая политика, пренебрегающая единствами времени, места и действия. У них нет классического воззрения на вещи и события. Все перед ними освещается фальшфейерами, которые принимают они за маяки.

В своей романтической мечтательности, в своей *галлюцинации* Понятовский строит свой воздушный замок, свой воздушный престол на несбыточном браке с императрицей. Его не пугает, не отрезвляет вся несообразность подобной надежды; его не пробуждает от сновидения вся историческая, политическая и русско-народная невозможность такого события. Для романтической политики нет ни граней, ни законов: для нее нет никаких невозможностей. В покушениях своих, в политических стремлениях поляки не признают роковой силы слова *невозможность*.

Не видали ли мы много примеров тому и после Понятовского? Кому из поляков не грезилось хотя раз в жизни, что Европа почтет для себя обязанностью и удовольствием предложить ему руку и сердце свое и принести в приданое все силы и войска свои? И легковерный и несчастный поляк, рассчитывая на это будущее, губит свое настоящее. Он пускается во вся тяжкая, ставит ребром свой последний

злотый, свои последние усилия и надежды и окончательно разоряется впредь до нового самообольщения, до нового мараева и новых жертвоприношений неисправимой мечте своей. Разумеется, государственной политике должно, при таких периодических увлечениях и припадках, быть всегда настороже. Это периодически-хроническое расположение угрожает спокойствию и безопасности соседей. Все это так; но сердиться на поляков не за что, а ненавидеть мечтателей и по-давно. Вспомним слово князя Паскевича: вся их романтическая политика грешит роковыми условиями непреложной географии.

Странная и какая-то таинственно-роковая игра запечатлела судьбу Понятовского. Будущее царствование его случайно возродилось в Петербурге: в Петербурге же и погасло это посмертное царствование. По движению великодушия и рыцарства императора Павла, развенчанный венценосец был призван в Петербург. Царской тени его воздаваемы были почести, подобающие неизгладимому величию царского достоинства. Он жил в Мраморном дворце, окруженный придворным штатом. На всех праздниках, во всех торжествах император Павел уделял ему царское место. Он постоянно был к нему внимателен и приветлив, с той врожденной и утонченной вежливостью, которая отличала императора Павла, когда он к кому благоволил и не был под раздражением неприятных впечатлений. Одним словом. Понятовский жил и умер в Петербурге польским королем, но толь-

ко без польского королевства. Впрочем, едва ли в Варшаве владел он этим королевством.

Как много драматических движений и неожиданностей в этой участи; как много глубокого исторического и нравственного смысла! Здесь история в романе, и роман в истории.

* * *

«Какое несчастье пошло у нас на баснописцев, – говорил граф Сакен. – Давно ли мы лишились Крылова, а вот теперь умирает Данилевский!» (сочинитель военной истории 12-го и последовавших годов).

* * *

Известно, что император Александр Павлович в последние годы царствования своего совершал частые и повсеместные поездки по обширным протяжениям России. В это время дорожная деятельность и повинность доходили до крайности. Ежегодно и по несколько раз в год делали дороги, переделывали их и все-таки не доделывали, разве под проезд государя; а там опять начнется землекопание, ломка, прорытие канав и прочее. Эти работы, на которые сгонялись деревенские населения, возрастали до степени народного бед-

ствия.

Разумеется, к этой тягости присоединялись и злоупотребления земской администрации, которая пользовалась, промышляла и торговала дорожными повинностями. Народ кричал, жаловался и приписывал все невзгоды Аракчеву, который тут ни душой, ни телом не был виноват. Но в этом отношении Аракчев пользовался большой *популярностью*: он был всеобщим козлом отпущения на каждый черный день. В Саратовской губернии деревенские бабы певали в хороводах:

Аракчев дворянин
Аракчев.....,
Всю Россию разорил,
Все дорожки перерыл.

В Московской губернии, в осеннюю и дождливую пору, дороги были совершенно недоступны. Подмосковные помещики за 20 и 30 верст отправлялись в Москву верхом. Так ездил князь Петр Михайлович Волконский из Суханова; так ездили и другие. Так однажды въехал в Москву и фельдмаршал Сакен. Утомленный, избитый толчками, он на последней станции приказал отпрячь лошадь из-под форейтора, сел на нее и пустился в путь. Когда явились к нему московские власти с изъявлением почтения, он обратился к губернатору и спросил его, был ли он уже губернатором в 1812 году; и на ответ, что не был, граф Сакен сказал: «А жаль, что не были!

При вас Наполеон никак не мог бы добраться до Москвы».

* * *

Карамзин говорил, что если бы отвечать одним словом на вопрос: что делается в России, то пришлось бы сказать: *крадут*. Он был непримиримый враг русского лихоимства, расточительности, как частной, так и казенной. Сам был он не скуп, а бережлив; советовал бережливость друзьям и родственникам своим; желал бы иметь возможность советовать ее и государству.

Ничего так не боялся он, как долгов, за себя и за казну. Если никогда не бывал он что называется в нужде, то всегда должен был ограничиваться строгой умеренностью, впрочем (как сказано выше), чуждою скупости: напротив, он всегда держался правила, что если уж нужно сделать покупку, то должно смотреть не на цену, а на качество, и покупать что есть лучшее.

В первые времена письменной деятельности его, да и позднее, литература наша не была выгодным промыслом. Цены на заработки стояли самые низкие. Журналы, сборники, им издаваемые (*Аониды* и пр.), не представляли ему большого барыша и едва давали возможность сводить концы с концами. В молодости, в течение двух-трех лет, прибегал он, как к пособию, к карточной коммерческой игре. Играл он умеренно, но с расчетом и с умением. Можно сказать, что

до самой кончины своей он не жил на счет казны. Скромная пенсия в 2000 рублей ассигнациями, выдаваемая историографу, не была для казны обременительна.

Впоследствии времени близкие отношения к императору Александру, милостивое, дружеское внимание, оказываемое ему монархом, не изменили этого скромного положения. В сношениях своих с государем он дорожил своей нравственной независимостью, так сказать, боялся утратить и затронуть чистоту своей бескорыстной преданности и признательности. Он страшился благодарности вещественной и обязательной.

Можно подумать, что и государь, с обычной ему мечтательностью, не хотел придать сношениям своим с Карамзиным характер официальный, характер относительности государя к подданному. Впрочем, приближенные к императору Александру замечали не раз, что он не имел ясного понятия о ценности денег: иногда вспоможение миллионом рублей частному лицу не казалось ему чрезвычайным; в другое время он задумывался над выдачей суммы незначительной.

Карамзин за себя не просил: другие также не просили за него, и государь, хотя и довольно частый свидетель скромного домашнего быта его, мог и не догадываться, что Карамзин не пользуется даже и посредственным довольством.

Как уже сказано, Карамзин заботился не о себе. Но в меланхолическом настроении духа, к которому склонен он был даже и в дни относительного счастья, не мог он внутренне

не думать с грустью о том, что не успел он обеспечить материально участь довольно многочисленного и нежно и горячо любимого им семейства. Провидение, в которое он покорно и безгранично веровал, оправдало эту веру и между тем поберегло бескорыстие и добросовестность его. Пока бодрствовал он духом и телом, обстоятельства не искушали его и не приводили в опасение быть в противоречии с самим собой.

Только на смертном одре и за несколько часов до кончины получил он поистине царскую награду, возмездие за чистую и доблестную жизнь, за долгую и полезную деятельность и за заслуги его перед Отечеством. Это была, так сказать, заживо, но уже посмертная награда. Оказал ее не император Александр, а в память его достойный и великодушный преемник его. Глубоко, умилительно растроганный подобной милостью, Карамзин оставался верен правилам и убеждениям своим: он находил, что милость чрезмерна и превышает заслуги его. Последние строки, написанные его ослабевшей и уже остывающей рукой, рукой, которая некогда так деятельно и бодро служила ему, были выражением глубокой благодарности тому, который прояснил предсмертные часы его. Он умирал спокойно, зная, что участь детей его обеспечена.

* * *

Как по проезжим дорогам, так и в свете, на поприще поче-

стей и успехов, человек, едущий с богатой внутренней кладью, часто обгоняем теми, которые едут порожними. Это напоминает четверостишие, найденное в какой-то тетради:

С ним звездословию не трудно научиться,
Честей им крайняя достигнута межа:
До этих почестей как мог он дослужиться?
– А очень просто: не служа.

* * *

В этой же тетради записаны довольно забавные стихи Марина:

Не Дмитрий ты Донской,
Не Дмитрий ты Ростовский,
А Дмитрий ты простой:
Ты Дмитрий Павлиновской.

Марин был в свое время гвардейским поэтом и острошловом. Приятное и не слишком взыскательное время! Тогда жилось легко и в свое удовольствие. Ум без притязаний на гениальность был в чести и везде гостеприимно встречен. Марин не отличался стихотворческим дарованием: оно не выходило из пределов гвардейского и светского объема. В особенном ходу были пародии его на стихи Ломоносова: «С

белыми Борей власами».

Замечательно и странно, что при такой склонности к легким стихам он принадлежал не к новой школе, а к старорусской школе Шишкова. Он был большой поклонник Хераскова и знал наизусть целые страницы *Россиады*.

Французский язык был ему мало знаком, если и не вовсе, что, впрочем, не помешало ему перевести трагедию Вольтера *Меропея*. Перевел он ее довольно плохо с подстрочного русского перевода, довольно плохой прозой. Красота, слава и талант Семеновой, трагической актрисы, увлекали в то время многих на трагическое поприще. Эта была своего рода поэзия бенефисов.

Гнедич, с дарованием, разумеется, неизмеримо выше дарования Марина, но также не сильный в знании французского языка, перевел также около того времени, и тоже ради прекрасных глаз Семеновой, другую трагедию Вольтера, *Танкред*.

Пушкин имел всегда на очереди какой-нибудь стих, который любил он твердить. В года молодости его и сердечных припадков было время, когда он часто повторял стих из этого перевода:

Быть может, некогда восплачешь обо мне!

* * *

Странные бывают люди! Есть, например, такие, которые

на том основании, что они переносятся из места в далекое место по железным дорогам, а Лейбниц и Вольтер медленно тащились по выбоинам и рытвинам в неуклюжих почтовых рыдванах, твердо убеждены, что они выше и умнее Лейбница и Вольтера.

При каждом удобном, а часто и неудобном случае они на лету и с высоты вагона своего смеются над этими жалкими недорослями, выражают презрение к минувшему времени, рисуются и любят себя в настоящем. Как бы растолковать этим господам, что хотя век наш материально и обогатился многими изобретениями и вспомогательными средствами, но все же не дошел еще до того, что выдумал паровой аппарат, который придавал бы ума тем, которые ума не имеют.

Терпение! Пускай обождут они немного; может быть, такой аппарат и осуществится, и тогда разрешается им смеяться над Лейбницем и Вольтером.

* * *

А. М. Пушкин спрашивал путешествующего англичанина: правда ли, что изобрели в Англии машину, в которую вводят живого быка, и полтора часа спустя подают из машины выделанные кожи, готовые бифштексы, гребенки, сапоги и проч. «Не слыхал, – простодушно отвечает англичанин. – При мне еще не было; вот уже два года, что я разъезжаю по

твердой земле: может быть, эта машина изобретена без меня».

* * *

Приятель князя Дашкова выражал ему удивление, что он ухаживает за госпожой ***, которая не хороша собой, да и не молода. «Все это так, – отвечал князь, – но если бы ты знал, как она благодарна!»

* * *

Княгиня Ц. говорила, что она не желала бы овдоветь, а желала бы родиться вдовой.

* * *

N.N. говорит: «Жаль, что нет третьего пола для третейского и мирового суда в тяжбе между мужским и женским полом; а то судят и решат между собою дело сами подсудимые».

* * *

В одном из сражений 1813 г. Бернадот поручал старому

генералу (немцу или шведу, не помнится) занять одно возвышение. Тот худо понимал, что Бернадот говорил ему на французском языке; а Бернадот не понимал расспросов генерала. Выведенный из терпения, обратился он к князю Василию Гагарину, состоявшему при нем ординарцем, и сказал своим гасконским выговором: *Ayez la complaisance, prince, d'expliquer au general ce que c'est qu'une montagne*, (сделайте милость, князь, объясните генералу, что такое гора); тот пришпорил лошадь и ускакал.

* * *

Денис Давыдов во время сражения докладывал князю Багратиону, по поручению начальствующего отдельным отрядом, что неприятель на носу. «Теперь, – говорит князь Багратион, – нужно знать, на каком носу: если на твоём, то откладывать нечего и должно идти на помощь; если на моём, то спешить ещё ни к чему».

* * *

Е*** говорит, что в жизни должно решиться на одно: на жену или на наемную карету. А если иметь ту и другую, то придется сидеть одному целый день дома без жены и без кареты.

Р. любил выражаться округленными фразами и облекать их в форму афоризмов. Приятель его Киселев (Павел Дмитриевич) сказал ему однажды: «Знаешь ли что? Когда напишу книгу, обещаю тебе, что ты изобразишь эпитафии на каждую главу».

Дяде Киселева (Федору Ивановичу) предлагали, во время оно, войти в масонское общество. «Благодарю, – отвечал он, – знаю, что общество делится на две ступени: на одной *датусы*, на другой *биратусы*. *Датусом* быть не хочу, а *биратусом* не способен».

* * *

Новые порядки – дело хорошее и естественное явление в ходу и постепенном развитии общества. Но есть люди, которые хотят и требуют новых порядков во что бы то ни стало и не справляясь, есть ли под рукой материалы и зачатки для устройства новых порядков. Это лица такого рода, что они не усомнились бы взять на себя формировку конных полков в Венеции.

* * *

Проезжающий поколотил станционного смотрителя. Подобного рода путевые впечатления не новость. Смотритель

был с амбицией. Он приехал к начальству просить дозволения подать на обидчика жалобу и взыскать с него бесчестие. Начальство старалось убедить его бросить это дело и не давать ему огласки. «Помилуйте, ваше превосходительство, – возразил смотритель, – одна пощечина, конечно, в счет не идет, а несколько пощечин в сложности чего-нибудь да стоят».

* * *

На одном из придворных собраний императрица Екатерина обходила гостей и к каждому обращала приветливое слово. Между присутствующими находился старый моряк. По рассеянию случилось, что, проходя мимо него, императрица три раза сказала ему: «Кажется, сегодня холодно?»

«Нет, матушка, ваше величество, сегодня довольно тепло», – отвечал он каждый раз.

«Уж воля Ее величества, – сказал он соседу своему, – а я на правду черт».

* * *

«Никогда я не могла хорошенько понять, какая разница между пушкой и единорогом», – говорила Екатерина II какому-то генералу.

«Разница большая, – отвечал он, – сейчас доложу вашему величеству. Вот извольте видеть: пушка сама по себе, а единорог сам по себе».

«А, теперь понимаю», – сказала императрица.

* * *

Слепой Молчанов (Петр Степанович) слышит однажды у себя за обедом, что на конце стола плачет его маленький внучек и что мать бранит его. Он спрашивает причину тому. «А вот капризничает, – говорит мать, – не хочет сидеть тут, где посадили его, а просится на прежнее место». – «Помилуй, – отвечает Молчанов, – да вся Россия плачет о местах. Как же ему не плакать? Посади его, куда он просится».

Я не знал Молчанова, когда он был, как говорится, в случае и силе. Слышно было, что он считался всемогущим дельцом при князе Н. И. Салтыкове; а князь, в пребывание императора за границей во время войны, был чуть ли не регентом в России. Касательно этой эпохи ничего положительного о Молчанове сказать не могу: я вовсе не знал его, а худого понаслышке ничего сказать не хочу.

Сблизился я с ним уже позднее, когда был он в отставке и слеп. Нашел я в нем человека умного, обхождения самого вежливого и приятного. Отставку и слепоту переносил он бодро и ясно. Был словоохотлив, говорил и рассказывал с большой живостью и увлекательностью. Много и многих

знал он близко; знал хорошо и сцену света, и актеров, и закулисные тайнства и все сохранил он в своей твердой и зеркальной памяти. Искал он беседы с людьми, почему-нибудь известными и достойными внимания. С ними он. так сказать, кокетничал, заискивая их доброе к себе расположение. Он говаривал, что можно всем прикинуться и богатым, и знатным, но умным уж никак не прикинешься, если нет ума.

Между прочими рассказами его особенно значителен один. Он свидетельствует о недоброжелательном и недоверчивом расположении императора Александра к Кутузову и поэтому принадлежит истории. Когда Наполеон в 1812 году шел к Москве, Петербург также был не очень покоен и безопасен. В нем также принимались правительством меры, чтобы заблаговременно вывезти из столицы все драгоценности, государственные дела и проч. Не был забыт и памятник Петра Великого: и он предназначался к упаковке и отправлению в безопасное место водой. И подлинно, слишком было бы грустно старику видеть, как через *прорубленное им окно* влезли в дом его недобрые люди.

Государь поручил спасение памятника особенной распорядительности Молчанова: секретно выдана ему на то из казначейства и надлежащая сумма. Когда, по выходе Наполеона из Москвы, действия наши приняли благополучный оборот и неприятель преследуем был нашими войсками, Молчанов при одном докладе государю напомнил о вверенной ему сумме и спросил, не прикажет ли его величество отдать

ее обратно в казначейство. «Ты Кутузова не знаешь, – с живостью прервал его государь, – было бы у него все хорошо, а о других заботиться он не станет. Держи деньги пока у себя на всякий случай».

Когда Дмитриев был министром юстиции, он часто бывал недоволен Молчановым за противодействие его по делам, которые Дмитриев вносил в Комитет Министров. Оно было так для него чувствительно, что он отпросился в отпуск во время отсутствия государя. Позднее, когда он снова поступил в управление министерством, а государь возвратился из Парижа, эти неудовольствия отразились на холодном приеме, оказанном ему императором. Приближенная к государю особа выразила ему сожаление по этому поводу, заметя, что Дмитриев честный человек и пользуется общим уважением. Государь, вероятно, предубежденный князем Салтыковым, сказал на это: «Он слишком горд: не худо дать ему урок». Вскоре после того прекратились и личные министерские доклады государю. Дмитриев тогда вышел в отставку.

Много лет спустя, когда Молчанов и Дмитриев, то есть временный победитель и побежденный, были в отставке, случай свел их в Москве. Жихарев, некогда служивший при Молчанове и преданный Дмитриеву, дал им примирительный обед, при проезде первого через Москву. По крайней мере при последнем пороге жизни очистились они друг перед другом от неприязненных чувств, которые, может быть, пережили в сердцах их и самую пору, и самые причины вза-

имного недоброжелательства: политические и даже просто служебные разномыслия и пререкания гораздо злопамятнее, нежели сердечные и любовные размолвки.

В то время холера начинала разыгрываться. Молчанов очень боялся ее. По возвращении своем в Петербург он наглухо заперся в своем доме, как в крепости, осажденной неприятелем. Но крепость не спасла. Неприятель ворвался в нее и похитил свою жертву.

* * *

Страх холеры действовал тогда на многих; да, впрочем, по замечанию Д. П. Бутурлина, едва ли на какое другое чувство и могла бы она надеяться.

Граф Ланжерон, столько раз видавший смерть перед собою во многих сражениях, не оставался равнодушным перед холерой. Он так был поражен мыслью, что умрет от нее, что, еще пользуясь полным здоровьем, написал он духовное завещание, так начинающееся: *умирая от холеры* и проч.

На низших общественных ступенях холера не столько страха внушала, сколько недоверчивости. Простолудин, верующий в благость Божию, не примиряется с действительностью естественных бедствий: он приписывает их злобе людской или каким-нибудь тайным видам начальства. Думали же в народе, что холера есть докторское или польское наущение.

При первом появлении холеры в Москве один подмосковный священник, впрочем, благоразумный и далеко не безграмотный, говорил: «Воля ваша, а, по моему мнению, эта холера не что иное, как повторение 14 декабря».

* * *

Мы говорили о недоверии императора Александра к Кутузову: вот еще разительный тому пример.

По назначении его главнокомандующим над войсками государь приказал ему приехать к себе в такой-то час в Каменноостровский дворец. Назначенный час пробил, а Кутузова нет. Проходит еще минут пять и более. Государь несколько раз спрашивает, приехал ли он? А Кутузова все еще нет. Рассылаются фельдъегеря во все концы города, чтобы отыскать его. Наконец получается сведение, что он в Казанском соборе слушает заказанный им молебен.

Кутузов приезжает. Государь принимает его в кабинете и остается с ним наедине около часа. Отпуская, провожает его до дверей комнаты, следующей за кабинетом. Тут прощается с ним. Возвращаясь, проходит он мимо графа Комаровского, дежурного генерал-адъютанта, и говорит ему: *Le public a voulu sa nomination; je l'ai nomme: quant a moi, je m'enx lave les mains* (публика хотела назначения его; я его назначил: что до меня касается, умываю себе руки).

Этот рассказ со слов графа Комаровского был передан

мне Д. П. Бутурлиным. Правдивость того и другого не подлежит сомнению. Как подобный отзыв ни может показаться сух, странен и предосудителен, но не должно останавливаться на внешности его. Проникнув в смысл его внимательнее и глубже, отыщешь в этих словах чувство тяжелой скорби и горечи. Когда поставлен был событиями вопрос «быть или не быть России», когда дело шло о государственной судьбе ее и, следовательно, о судьбе самого Александра, нельзя же предполагать в государе и человеке бессознательное равнодушие и полное отсутствие чувства, врожденного в каждом, — чувства самосохранения. Государь не доверял ни высоким военным способностям, ни личным свойствам Кутузова. Между тем он превозмог в себе предубеждение и вверил ему судьбу России и свою судьбу, вверил единственно потому, что Россия веровала в Кутузова. Тяжела должна была быть в Александре внутренняя борьба; великую жертву принес он Отечеству, когда, подавляя личную волю свою и безграничную царскую власть, покорил он себя общественному мнению.

Можно обвинять Кутузова в некоторых стратегических ошибках, сделанных им во время Отечественной войны; но это подлежит разбирательству и суду военных авторитетов. Это вопрос науки и критики. Отечество и народ не входят в подобные исследования. Они видят в Кутузове освободителя родной земли от иноплеменного нашествия: весь суд свой о нем заключают в одном чувстве благодарности.

Нет сомнения, что окончательно и Александр не отказал

ему в этом чувстве. Государю не было повода раскаяться, что он послушался народного голоса, который на этот раз, и, может быть, не в пример другим, был точно голос Божий. Еще задолго до 12-го года император, разговаривая о Наполеоне с сестрой своей, великой княжной Марией Павловной, сказал эти замечательные слова: *Il n'y a pas de place pour nous en Europe: tot ou tard, l'un i'autre doit se retirer* (нам обоим нет места в Европе: одному из нас, рано или поздно, должно отступить).

Государь носил в себе предчувствие ее «войны» неминуемости. Все мелкие события, ей предшествовавшие и будто ее вынудившие, были только побочными принадлежностями, каплей, которой переполняется сосуд. В людских суждениях часто останавливаются на этих каплях, забывая о сосуде, который уже полон. Кутузов содействовал императору Александру выйти победителем из первого действия того поединка на жизнь и смерть, который Александр предвидел. Вот место, которое должен занять Кутузов в истории и в благодарной народной памяти.

* * *

Граф Растопчин рассказывает, что в царствование императора Павла Обольянинов поручил Сперанскому изготовить проект указа о каких-то землях, которыми завладели калмыки или которые у них отнимали (в точности не пом-

ню).

Дело в том, что Оболянинов остался недоволен редакцией Сперанского. Он приказал ему взять перо, лист бумаги и писать под диктовку его. Сам начал ходить по комнате и наконец проговорил: «Пишите: «По поводу калмыков и по случаю оные земли»... – тут остановился, продолжал молча ходить по комнате и заключил диктовку следующими словами: – Вот, сударь, как надобно было начать указ. Теперь подите и продолжайте».

Вполне ли верен сей рассказ или немного разукрашен воображениями рассказчика, решить трудно. В правдивости графа Растопчина нет повода сомневаться; но известно, что анекдотисты, рапсоды, изустные хроникеры, нередко увлекаются словоохотливостью своей: они раскрашивают первобытный рисунок, импровизируют вариации на заданную тему. Оболянинов мог быть небольшой грамотей, но, как слышно, был он человек благоразумный и не лишенный хороших свойств.

* * *

Генерал Головин и барон Розен говорили однажды в Москве А. П. Ермолову, что они собираются в Петербург. «Знаете ли что, любезнейший, – сказал он, – не обождать ли Нейгардта? Он, вероятно, не замедлит приехать: тогда найдем четверместную карету и так вчетвером и отправимся

в Петербург».

При нем же говорили об одном генерале, который во время сражения не в точности исполнил данное ему приказание и этим повредил успеху дела. «Помилуйте, – возразил Ермолов, – я хорошо и коротко знал его. Да он, при личной отменной храбрости, был такой человек, что приснишь ему во сне, что он в чем-нибудь ослушался начальства, он тут же во сне с испуга бы и умер».

При преобразовании Главного штаба и назначении начальника Главного штаба, в царствование императора Александра, он же сказал, что отныне военный министр должен бы быть переименован в министра провиантских и комиссариатских сил.

* * *

В конце минувшего столетия сделано было распоряжение Коллегией Иностранных Дел, чтобы впредь депеши наших заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них, в разгар Французской революции, писал: гостиницы гозбят безштанниками, что должно было соответствовать французской фразе: *les auberges abondent en sanscullothe*.

Кстати. Один из наших посланников писал: *J'ai jete ma*

sonde Госоап se la politique (Я бросил свой лот в океан политики). Граф Растопчин был тогда главноуправляющим по иностранным делам; он отвечал ему: A la suite de votre depeche, j'ai l'honneur de vous annoncer, monsieur, que l'Empereur me charge de vous ordonner de retirer votre sonde et de rentrer dans la coquille du repos (Вследствие донесения вашего, имею честь уведомить вас, милостивый государь, что его величеством поручено мне повелеть вам вытащить свой лот и возвратиться в раковину спокойствия). (Слышано от графа Растопчина.)

* * *

Кем-то было сказано: «Стихи мои, обрызганные кровью». – «Что ж, кровь текла у него из носу, когда писал он их?» – спросил Дмитриев.

* * *

Хвостов сказал: «Суворов мне родня, и я стихи плету». «Полная биография в нескольких словах, – заметил Блудов, – тут в одном стихе все, чем он гордиться может, и стыдиться должен».

Графиня Толстая, урожденная Протасова, была женщина умная, образованная, но особенно известна своими причудами и оригинальностью. Эти своеобразные личности более и более стираются с общественного полотна. Жаль: они придавали картине блеск и оживление. Новое поколение смотрит с презрением на эти остатки

Времен Очаковских и покоренья Крыма.

Оно замыкается в однообразной важности своей и слышать не хочет о частных исключениях, не подходящих под определенную меру и раму. Что же из этого выходит? По большей части одна плоская скука, и только.

Графиня Толстая говорила, что не желала умереть скоропостижной смертью: как неловко явиться перед Богом запыхавшись. По словам ее, первой заботой ее на том свете будет разведать тайну о железной маске и о разрыве свадьбы графа В. с графиней С, который всех удивил и долго был предметом догадок и разговоров петербургского общества. Наводнение 1824 года произвело на нее такое сильное впечатление и так раздражило ее против Петра I, что, еще задолго до славянофильства, дала она себе удовольствие проехать мимо памятника Петра и высунуть перед ним язык! Когда была воздвигнута колонна в память Александру I, она крепко запретила кучеру своему возить ее в близости колон-

ны: «Неровен час (говорила она), пожалуй, и свалится она с подножия своего».

Так равно, за много лет до учреждения обществ покровительства животным, она на деле выражала им свою любовь и деятельное покровительство. Дома окружена она была множеством кошек и собак. Наконец они так расплодились, что уже не было им достаточного помещения в домашнем ковчеге. Тогда разместила она излишество своего народонаселения по городским будкам, уплачивая будочникам известную месячную плату на содержание и харч переселенцев. В прогулках своих объезжала она свои колонии, приказывала вносить в карету к себе колонистов, и когда казалось ей, что они не довольно чисто и сытно содержаны, она будочникам делала строгий выговор и грозила им, что переведет своих приемышей на другую застольщину.

Муж ее, граф Варфоломей Васильевич, был не так оригинален, как жена, но тоже чудак в своем роде. Он имел для приятелей и вообще для слушателей своих несчастную страсть к виолончели; а в прочем человек не злой и необидчивый. Имел он привычку просыпаться всегда очень поздно. Так было и 7 ноября 1824 года. Встав с постели гораздо за полдень, подходит он к окну (жил он в Большой Морской), смотрит и вдруг странным голосом зовет к себе камердинера, велит смотреть на улицу и сказать, что он видит на ней. «Граф Милорадович изволит разъезжать на двенадцативесельном катере», – отвечает слуга. – «Как на катере?» –

«Так-с, ваше сиятельство: в городе страшное наводнение». Тут Толстой перекрестился и сказал: «Ну слава Богу, что так; а то я думал, что на меня дурь нашла».

* * *

Одно время жил в Москве поляк-пианист. Запас музыкальных способностей его был невелик; зато неистощим запас анекдотов. Каждое слышанное им слово ловил он на лету, чтобы кстати, а часто и вовсе некстати, подвернуть под него анекдот. Сначала это нас забавляло, но под конец сделалось утомительным.

Мицкевич, живший тогда в Москве и, помнится, наградивший нас землячком своим, решился однажды сделать ему предостережение и присоветовать воздержаться себя от своей анекдотомании. Тот принял совет смиренно и с благодарностью; потом, помолчав немного, сознался, что чувствует сам слабость свою и обещает преодолеть ее: «Тем более, – продолжает он, – что это кстати напоминает мне...»

«Ну, – прервал его тут Мицкевич, – я вижу, любезнейший, что вы неизлечимы. Делать нечего: продолжайте!»

* * *

Всегда и везде сталкиваются старое и новое поколение.

К сожалению, люди не подобны древесным листьям, которые почти одновременно падают и снова почти одновременно распускаются. На дереве жизни являются рядом желтые и засохшие листья и другие, свежие, зеленые и едва начинающиеся прозябать. Так ведется со времен Адама. Вероятно, между ним и сыновьями его возникали разногласия по делам домашним и по вопросам о молодом мироздании: политических, национальных и церковных вопросов, благодаря Бога, тогда, вероятно, не было.

Единообразия в понятиях и чувствах быть не может; краски и оттенки мнений различны. Есть истины общие, вечные, врожденные человеку: искони и до нашего времени они свойственны и присущи всем благоразумным и честным людям. Они, так сказать, основные государственные законы всего человечества. Но при них есть еще много временных и прилагательных истин или узаконений, которые изменяются с обстоятельствами, их породившими. Тут-то умы и мнения выходят в рукопашный бой.

Старость обыкновенно ворчит на молодежь; молодость смеется над стариками или обращается к ним спиной. Но при этом не должно бы забывать, что старость, т. е. долговременная жизнь, если не выжила она из ума, имеет за себя опытность. Опытность также наука, добытая часто многими трудами и страданиями. Молодость дорожит наукой и сведениями: почему же пренебрегать ей наукой жизни?

Как указано выше, разумеется, речь может здесь идти

только о тех, которые чему-нибудь научились от жизни, а не о тех, которые прошли сквозь нее, так сказать, безграмотно. Но ведь и в молодости не все орлы, не все рождаются Пик-Мирандолями; да и эти скороспелки и скорознайки нередко увядают до поры умственной зрелости: преждевременно-пышно нальются и расцветут, да и остановятся на половине дороги, ничего нового более не приобретают, а опошляют то, что имели.

Часто между пожилыми людьми встречается упрямство мнений, пожалуй, некоторая окостенелость; в молодежи выказывается самонадеянность, какое-то воспаление убеждений. То и другое вредно; но свойства последнего возраста, может быть, вреднее. Приверженность к прежним мнениям, коренная оседлость в них может затормозить ход новой мысли, новых порядков; но это не надолго: время и мысль, если она здравая, зиждительная, возьмет свое: она ускользнет из-под тормоза и пойдет дорогой своей. Испытания молодой самонадеянности начинают прежде всего разрушением; успеет ли она выстроить из развалин своих нечто новое, полное и прочное – на этот вопрос бабушка, т. е. опытность или история, отвечает пока надвое.

* * *

Генерал Костенецкий почитает русский язык родоначальником всех европейских языков, особенно французского.

Например *domestique* явно происходит от русского выражения *дом мести*. *Кабинет* не означает ли *как бы нет*: человек запрется в комнату свою, и кто ни пришел бы, хозяина как бы нет дома. И так далее.

Последователь его, а с ним и Шишкова, говорил, что слово *республика* не что иное, как *реж публику*.

* * *

Шамфор в своих *Анекдотах и Характерах* рассказывает, между прочим, следующее. Императрица Екатерина пожелала иметь в Петербурге знаменитую певицу Габриели. Та запросила пять тысяч червонцев на два месяца. Императрица велела сказать ей, что она подобного жалованья не дает ни одному из фельдмаршалов своих. «В таком случае, – отвечает Габриели, – пускай ее величество своих фельдмаршалов и заставляет петь».

* * *

«Почему не напишете вы романа? – спрашивали NN. – Вы имели столько случаев узнать коротко свет, жизнь и людей, ознакомились с обществом на разных ступенях: имеете наблюдательность и сметливость». – «А не пишу романа, – отвечал NN, – потому что я умнее многих из тех, которые пи-

шут романы. Мой ум не столько произрасти-тельный, сколько сознательный и отрицательный. Подобные умы знают положительно, чего сделать они не могут».

Ум и умение две вещи разные. У одного лежат дома ткани, но он не умеет кроить, и ткани остаются без употребления. Другой кое-как набил руку и сделался закройщиком; но у него нет под рукой ткани, и он забирает в лоскутном ряду всякую. Ветошь сшивает на живую нитку и изготавливает пестрые платья, которые ни на что не похожи и никому не в пору.

* * *

Дельвиг говаривал с благородной гордостью: «могу написать глупости, но прозаического стиха никогда не напишу».

* * *

«Нет круглых дураков, – говорил генерал Курута, – посмотрите, например, на В.: как умно играет он в вист!»

* * *

А. Л. Нарышкин не любил государственного канцлера графа Румянцева и часто трунил над ним. Сей последний но-

сил до конца своего косу в причёске своей. «Вот уж подлинно скажешь, – говорил Нарышкин, – нашла коса на камень».

* * *

В царствование императора Павла, когда граф Пален был петербургским военным генерал-губернатором, он обыкновенно ссужал двумя-тремя бутылками портвейна высылаемых из столицы в дальний путь, так что в домашнем кругу его это вино было прозвано: *Vin des voyageurs* (вино путешественников).

Однажды за обедом государь предлагает ему рюмку портвейна и говорит, что это вино очень хорошо в дороге. Пален внутренне смутился, подозревая в этих словах намек и предсказание. Но дело обошлось благополучно. Слова сказаны были случайно. Отправка портвейна продолжалась по-прежнему и, к сожалению, слишком часто. (Слышано от графа Петра Петровича Палена.)

* * *

Я. А. Дружинин, долговременно известный по министерству финансов, был в ранней молодости и почти в отрочестве чем-то вроде кабинетного секретаря при Павле Петровиче. Он каждый день и целый день дежурил в комнате перед цар-

ским кабинетом.

Эмигрант из королевской фамилии, принц де-Конде, приехал в Петербург. Однажды, на праздник Рождества, император пригласил его в сани для прогулки по городу. Молодой Дружинин на свободе задремал на стуле. Вдруг спросонья слышит он знакомый голос императора, который кричит: «Подайте мне сюда эту свинью!»

Сердце Дружинина дрогнуло. Он побоялся беды за свой неуместный и неприличный сон, но и тут обошлось благополучно. Оказалось, что Павел Петрович возил принца на рынок, чтобы показать ему выставку разной замороженной живности, купил большую мерзлую свинью и велел привезти ее во дворец. (Слышано от самого Дружинина.)

* * *

Один директор департамента делил подчиненных своих на три разряда: одни могут не брать, другие могут брать, третьи не могут не брать. Замечательно, что на общепринятом языке у нас глагол *брать* уже подразумевает в себе взятки. Секретарь в комедии *Ябеда* поет:

Бери, тут нет большой науки;
Бери, что только можешь взять:
На что ж привешены нам руки,
Как не на то, чтобы брать, брать, брать?

Тут дальнейших объяснений не требуется: известно, о каком бранье речь идет. Глагол *пить* также сам собою равняется глаголу пьянствовать. Эти общеупотребляемые у нас подразумевания не лишены характерного значения. Другой начальник говорил, что когда приходится ему подписывать формулярные списки и вносить в определенные графы слова *достойн* и *способен*, часто хотелось бы ему прибавить: «способен ко всякой гадости, достоин всякого презрения».

* * *

Когда назначили умного Тимковского Бессарабским губернатором, кто-то советовал ему беречься чумы. «При мне чумы не будет, – отвечал он, – чума любит раздавать ленты и аренды; а мне ни лент, ни аренд не нужно». NN говорил про него, что в Петербурге есть Тимковский Катонценсор, а этот просто Тимковский-Катон.

* * *

Говоруны (не болтуны, это другое дело, а разговорщики, рассказчики) выводятся не только у нас, где их всегда было не много, но и везде. Даже во Франции, которая была их родиной и обетованной землей, бывают они редки. Un bon conteur, un aimable causeur были там прежде в большом поче-

те. Перед ними раскрывались настежь двери всех аристократических и умных салонов; везде теснился около них кружок отборных и внимательных слушателей. Раскройте французские мемуары последней половины минувшего столетия и вы увидите, какой славой, в придачу к их литературной известности, пользовались в парижских салонах Дидеро, Дюкло, Шамфор и др. Талейран говорил, что кто не знал парижских салонов за пятнадцать и двадцать лет до революции, тот не может иметь понятия о всей прелести общежития. Талейран и сам был корифеем в этом кругу представителей 18 века. У нас, в конце прошлого века и в начале нынешнего, даром слова и живостью рассказа отличался и славился князь Белосельский. Вот один из его рассказов.

Проездом через Лион в Турин, куда был назначен он посланником, пошел он бродить по городу. В прогулке своей заблудился он в городских улицах и никак не мог отыскать гостиницу, в которой остановился. Не зная ни названия гостиницы, ни названия улицы, на которой она стоит, не мог он даже справиться у прохожих, как бы до нее добраться.

Усталый и раздосадованный, остановился он перед домом, блистательно освещенным, откуда долетали до него звуки речей, хохот и музыка оркестра. Он решился войти в дом, назвал себя и просил дозволения участвовать в веселом торжестве. Хозяин, высокого роста и дюжий мужчина, вежливо принял его и сказал ему, что очень рад неожиданному посещению его. Князь принял участие в танцах, а после при-

глашен был сесть за ужин между хозяином и другими гостями такого же плотного сложения.

Посреди самой веселости в этом обществе отзывалось что-то суровое и тяжелое. Невольно сдавалось, что собеседники силятся развлечь себя от каких-то мрачных дум и неприязненных воспоминаний: казалось, они не веселятся, а стараются временно позабыться из-под гнета вчерашнего и завтрашнего дня. Все это подстрекало любопытство князя и занимало его. Добродушно чокался он рюмками с соседями своими и внутренне радовался, что случайно набрел на такую картину.

Между тем провожатый его, или лон-лакей, который где-то потерял его из виду и долго искал, напал, наконец, на следы его. Он вошел в дом и показался в дверях столовой. Начал он делать князю разные знаки, но князь не замечал их. Наконец, всё стоя в дверях, провожатый громко просил князя выйти к нему.

– Ваше сиятельство! – сказал он ему с расстроенным лицом и дрожащим голосом. – Вы не знаете, где вы находитесь!.. Этот человек, который сидит рядом с вами, по правую руку, он...

– Кто же он?

– Лионский палач.

Князь отскочил от него.

– А другой, сидящий налево... – продолжал лон-лакей.

– Ну, а он кто?

– Палач из Монпелье. Эти два исполнителя закона обвенчали детей своих и празднуют их свадьбу.

Хотя это было и ночью, но князь, добравшись до гостиницы, велел тотчас запрячь лошадей в свой дормез и поспешно выехал из города. Но долго еще после того мерещились ему два соседа его и обезглавленные тени несчастных, которых они на своем веку казнили. (Рассказ этот помещен в Записках графа Далонвиля.)

Что-то подобное случилось в Петербурге с Н. И. Огаревым, которого любили и уважали Карамзин и Дмитриев, назначивший его обер-прокурором в Правительствующий Сенат. Он был небогат и очень скромн в образе жизни своей. По утрам отпраплялся он к должности своей, наняв первого извозчика, который попадал ему навстречу.

Однажды, во время такого проезда, на повороте улицы, прохожий человек что-то закричал извозчику, который тотчас остановился. Прохожий, не говоря ни слова, сел на дрожки и приказал ехать далее. Огарев, большой флегма и к тому же рассеянный, еще немного посторонился, чтобы дать ему возможность покойнее усестья. Проехав некоторое расстояние, незнакомец остановил извозчика и слез с дрожек.

Тут Огарев, опомнившись, спросил извозчика: «Как смел ты без спроса взять еще седока?»

– Помилуйте, ваше благородие, – отвечал ванька, – нельзя же было не взять его, ведь это заплечный мастер!

* * *

Русский язык похож на человека, у которого лежат золотые слитки в подвале, а часто нет двугривенника в кармане, чтобы заплатить за извозчика. Поневоле займешь у первого встречного знакомца.

* * *

По занятии Москвы французами граф Мамонов перешел в Ярославскую губернию с казацким полком, который он сформировал. Пошли тут требования более или менее неприятные, и кляузные сношения, и переписка с местными властями, по части постоя, перевозки низших чинов и других полковых потребностей. Дошла очередь и до губернатора. Тогда занимал эту должность князь Голицын (едва ли не сводный брат князя Александра Николаевича).

Губернатор в официальном отношении к графу Мамонову написал ему: «Милостивый государь мой!» Отношение взорвало гордость графа Мамонова. Не столько неприятное содержание бумаги задрало его за живое, сколько частичка *мой*. Он отвечал губернатору резко и колко. В конце письма говорит он: «После всего сказанного мною выше, представляю вашему сиятельству самому заключить, с каким истин-

ным почтением остаюсь я, милостивый государь мой, мой, мой (на нескольких строках) вашим покорнейшим слугой».

Граф Мамонов был человек далеко не дюжинного закала, но избалованный рождением своим и благоприятными обстоятельствами. Говорили, что он даже приписывал рождению своему значение, которого оно не имело и по расчету времени иметь не могло. Дмитриев, который всегда отличал молодых людей со способностями и любил давать им ход, определил обер-прокурором в один из московских департаментов Сената графа Мамонова, которому было с небольшим двадцать лет. Мамонов принадлежал в Москве обществу так называемых Мартинистов. Он был в связи с Кутузовым (Павлом Ивановичем), с Невзоровым и другими лицами этого кружка. В журнале последнего печатал он свои духовные оды. Вообще в свете видали его мало и мало что знали о нем. Впрочем, вероятно, были у него свои нахлебники и свой маленький дворик. Наружности был он представительной и замечательной: гордая осанка и выразительность в чертах лица. Внешностью своей он несколько напоминал портреты Петра I.

По приезду в Москву императора Александра в 1812 году, он предоставлял свой ежегодный доход (и доход весьма значительный) на потребности государства во все продолжение войны; себе выговаривал он только десять тысяч рублей на свое годовое содержание. Вместо того было предложено ему через графа Растопчина сформировать на свой счет кон-

ный полк. Переведенный из гражданской службы в военную, переименован он был в генерал-майоры и назначен шефом этого полка. Все это обернулось в беду ему.

Он всегда был тщеславен, а эти отличия перепитали гордость его. К тому же он никогда не готовился к военному делу и не имел способностей, потребных для командования полком. Пошли беспорядки и разные недоразумения. Еще до окончательного образования полка он дрался на поединке с одним из своих штаб-офицеров, кажется, Толбухиным. Сформированный полк догнал армию нашу уже в Германии. Тут возникли у графа Мамонова неприятности с генералом Эртелем. Вследствие уличных беспорядков и драки с жителями немецкого городка, учиненных нижними чинами, полк был переформирован: Мамоновские казаки были зачислены в какой-то гусарский полк. Таким образом патриотический подвиг Мамонова затерян. Жаль!

Полк этот, под именем Мамоновского, должен бы сохраниться в нашей армии в память 1812 года и патриотизма, который воодушевлял русское общество. Нет сомнения, что уничтожение полка должно было горько подействовать на честолюбие графа Мамонова; но он продолжал свое воинское служение и был, кажется, прикомандирован к генерал-адъютанту Уварову. По окончании войны он буквально заперся в подмосковном доме своем, в прекрасном поместье, селе Дубровицах, Подольского уезда.

В течение нескольких лет он не видел никого, даже из при-

слуги своей. Все для него потребное выставлялось в особой комнате; в нее передавал он и письменные свои приказания. В спальней его были развешаны по стенам странные картины, каббалистического, а частью соблазнительного содержания.

Один Михаил Орлов, приятель его, имел смелость и силу, свойственную породе Орловых, выбить однажды дверь кабинета его и вломиться к нему. Он пробыл с ним несколько часов, но, несмотря на все увещания свои, не мог уговорить его выйти из своего добровольного затворничества.

По управлению именем его оказались беспорядки и притеснения крестьянам, разумеется, не со стороны помещика-невидимки, а разве со стороны управляющих. Рассказывают, что один из дворовых его, больно высеченный приказчиком и знавший, что граф обыкновенно в такой-то час бывает у окна, выставил на показ ему, в виде жалобы, если не совсем *поличное*, то очевидное доказательство нанесенного ему оскорбления. Неизвестно, какое последовало решение на эту оригинальную жалобу; но вскоре затем крестьяне и дворовые жаловались высшему начальству на претерпеваемые ими обиды. Наряжено было и пошло следствие; над именем его и над ним самим назначена была опека.

Его перевезли в Москву. Тут прожил он многие годы в бедственном и болезненном положении. Так грустно тянулась и затмилась жизнь, которая началась таким блистательным и многообещающим утром. Есть природы, которые, при

самых благоприятных и лучших задатках и условиях, как будто не в силах выдерживать и, так сказать, переваривать эти задатки и условия. Самая благоприятность их обращается во вред этим исключительным и загадочным натурам. Кого тут винить? Недоумеваешь и скорбишь об этих несчастных счастливицах.

* * *

Говорили однажды о неудобстве и неприличности выстав-лять целиком в истории, особенно отечественной, события, которые могут породить в читателях и в обществе невыгодные впечатления и заключения: например, суд Петра Великого над сыном, во всей обстановке и со всеми подробностями.

«Конечно, – сказал NN, – исполнение исторической обязанности может в некоторых случаях быть тяжело для добросовестного и мягкосердечного историка. Но что же делать! Что было, то было, а следовательно, и есть. Нельзя же очищать, полоть историю как засеянную гряду. Перед нами пример Библии. Конечно, очень прискорбно для человечества, что, так сказать, на другой день мироздания, когда всего было только четыре человека на земле, в числе четырех уже нашелся братоубийца; но однако же первый летописец человеческого рода не признал нужным утаить это события от сведения потомства».

* * *

Американец Толстой говорит о ***. «Кажется, он довольно смугл и черноволос, а в сравнении с душой его он покажется блондином».

Однажды в английском клубе сидел перед ним барин с красно-сизым и цветущим носом. Толстой смотрел на него с сочувствием и почтением; но, видя, что во все продолжение обеда барин пьет одну чистую воду, Толстой вознегодовал и говорит: «Да это самозванец! Как смеет он носить на лице своем признаки им незаслуженные?»

* * *

Г-жа Б. не любила, когда спрашивали ее о здоровье. «Уж увольте меня от этих вопросов, – отвечала она, – у меня на это есть доктор, который ездит ко мне и которому плачу 600 рублей в год».

* * *

На берегу Рейна предлагали А. Л. Нарышкину взойти на гору, чтобы полюбоваться окрестными живописными картинами. «Покорнейше благодарю, – отвечал он, – с горами об-

ращаюсь всегда, как с дамами: пребываю у их ног».

* * *

В старые годы один иностранный министр был от двора своего аккредитован при Гамбургском Сенате. Ему понадобились деньги. Он просил от Сената дать ему займы довольно круглую сумму. Сенат отказал. «Да какое же я при вас аккредитованное лицо, – сказал он с упреком президенту Сената, – если не пользуюсь никаким кредитом?»

* * *

Чудак, но умный и образованный чудак, Балк-Полев был министром нашим при Бразильском дворе. Он рассердился на сапожника своего, который подал ему несообразный счет. Вслед за тем просил он аудиенцию у императора, явился к нему, изложил свою жалобу и хотел вручить императору счет сапожника для рассмотрения. Счет, разумеется, не был принят. Тогда раздосадованный Балк швырнул императору счет в ноги и вышел из кабинета. Вскоре затем был он отозван и уволен в отставку. Вот что можно назвать приключением *a propos de bottes*.

Он был очень горяч с прислугой своей и доходил с нею до рукоприкладства. Однажды на бале его в Москве у Григо-

рия Корсакова пошла кровь из носу. Он отправился в Петербург!» Коляска помчалась. Доехав до Невского проспекта, Константин Павлович приказал кучеру остановиться, а Раевскому сказал: «Теперь милости просим, изволь выходить!» Можно представить себе картину: Раевский в халате, пробирающийся пешком сквозь толпу многолюдного Невского проспекта.

Какую мораль вывести из этого рассказа? А вот какую: не должно никогда забываться перед высшими и следует строго держаться этого правила вовсе не из порабощения и низкоклонства, а напротив – из уважения к себе и из личного достоинства.

Майор старого времени дивился в начале нынешнего столетия развязности молодых офицеров в отношении к начальству. «В наше время, – говорил он, – было не так. Однажды представлялся я фельдмаршалу графу Румянцеву-Задунайскому. «Что скажешь новенького?» – спросил он меня. А я поклонился да молчу. Граф, чем-то, по-видимому, озабоченный, изволил задумчиво ходить по комнате. Проходя мимо меня, он несколько раз повторял тот же вопрос, а я все по-прежнему: поклонюсь да и молчу. Наконец он сказал: если будешь все молчать, то можешь и убираться прочь. Я поклонился и вышел».

Пример этого майора и пример Раевского вдаются в крайности; но если непременно выбирать один из двух, то лучше следовать первому, чем второму: в поклонах и молча-

нии майора более благоразумия, даже личного достоинства, нежели в халатной бесцеремонности Раевского.

* * *

Великий князь Константин Павлович очень любил театр. Охотно и часто присутствовал он в Варшаве на спектаклях польских и французских. Как на одной, так и на другой сцене были превосходные актеры. Великий князь особенно благоволил к ним и вообще милостиво с ними обращался.

Французский комик Мере (Mairet) был увлекателен: нельзя было быть умнее и глупее его в ролях простачков. Он часто смешил своей важностью и серьезностью. Шутка его никогда не доходила до шутовства и скоморошества. Он схватывал натуру живьем и передавал ее зрителям в истинном, но вместе с тем и высокохудожественном выражении.

Вот настоящее искусство актера: быть истинным до обмана или обманчивым до истины. Великий князь очень ценил дарование Мере и любил его личность.

Однажды бедный Мере, по недогадке, очутился между рядами солдат на Саксонской площади, во время парада, в присутствии великого князя. На парадном плацу и во время развода его высочеству было не до шутки. Всеобъемлющим взглядом своим усмотрел он Мере и, как нарушителя военного благочиния, приказал свести его на гауптвахту. Разумеется, задержание продолжалось недолго: после развода

великий князь велел выпустить его.

На другой день Мере разыгрывал в каком-то водевиле роль солдата национальной гвардии, которому капитан грозит арестом за упущение по службе. «Нет, это уже чересчур скучно (говорит Мере, разумеется, от себя): вчера на гауптвахте, сегодня на гауптвахте; это ни на что не похоже!»

Константин Павлович смеялся этой шутке, но, встретясь с актером, сказал ему: «Ты, кажется, напрашиваешься на третий арест».

* * *

Жулкевский был отличный актер. Особенно удавались ему роли старопольские. Он с особенным, национальным выражением носил кунтуш и шапку, например, в комедии *Schkoda wacow* (*Жаль усов*). Игра его в этих ролях доходила почти до политического заявления.

На польской сцене не только в разговорах, но и в одежде, в ухватках, в танцах, например, польском, мазурке, прорываются иногда сами собой предания, отголоски Речи Посполитой; между представлениями на сцене и зрителями пробегают таинственные, неуловимые токи национального электричества. Все это воодушевляет сцену и дает сценическому представлению самобытный, народный характер.

Жулкевский, актер сочувственный варшавской публике, был вместе с тем сочувственным ей издателем маленькой

газетки, шутовой и сатирической. Тут, разумеется, труднее было ему пропускать свою народную струю; но изредка освежал он ею свою жаждущую газетку.

Однажды напечатал он, что «Польша погибнет без Познанья», т. е. без Прусской Познани (игра слов). Великий князь призвал его к себе и цензурно помыл ему голову, хотя цензуры тогда в Царстве Польском, по буквальному значению конституции, не было. Отпуская его, внушил он ему вперед не задирать соседей. Когда после спросили Жулкевского, зачем призывал его Великий князь, тот отвечал: «Мы имели переговоры о Познани; великий князь предлагал мне взамен Киев (опять игра слов: т. е. *koiw*, палок), но сделка не состоялась, и все кончилось миролюбиво».

* * *

Однажды донесли великому князю, что какой-то французский актер произнес где-то в *каве* (кофейном доме) или *огрудке* (публичном саду) предосудительные политические слова. Его высочество посылает за ним, делает ему порядочную и на будущее время предостерегательную нотацию и с тем и отпускает его. Тот, вышедши, возвращается через несколько секунд и высовывает голову в дверь.

«Чего тебе еще надобно?» – спрашивает великий князь. «А не может ли ваше высочество сказать мне имя негодяя, который донес на меня?» – «А зачем тебе знать?» – «Чтобы

мог я дать ему хорошую потасовку».

* * *

Ум великого князя склонен был к шутливости. Он сам бойко и остро говорил на русском языке и на французском. Он понимал шутку и охотно принимал ее, даже и тогда, когда была обращена она к нему самому.

В прежнее время дежурные адъютанты всегда бывали приглашаемы к обеду его. После эти приглашения прекратились. В числе польских адъютантов его был Мицельский, образованный и умный молодой человек, неистощимый на меткие и забавные слова. Великий князь очень ценил ум его и любезность. «Нет ли у тебя, Мицельский, чего-нибудь новенького? Расскажи!» – «Есть, ваше высочество; но долго рассказывать: ужо за обедом сообщу».

Великий князь расхохотался и позвал его обедать.

* * *

Когда граф Бенкендорф явился в первый раз к великому князю в жандармском мундире, он встретил его вопросом: «Savary ou Fouche?» – «Savary, honnete homme», – отвечал Бенкендорф. «Ah, sa ne varie pas!» – сказал Константин Павлович. (Непереводимая игра слов. Савари и Фуше были оба

министрами полиции при Наполеоне I. Савари пользовался общим уважением, Фуше напротив.)

* * *

Польский генерат Гельгуд носил стеклянный глаз. Перед каким-то праздником Васинька Апраксин говорит, что ему пожалуют глаз с вензелем. При этом же случае говорил он, что Куруте будет пожаловано прекрасное издание в великолепном переплете *Жизней* знаменитых мужей Плутарха.

* * *

Женское сердце – темная книга; как ни читай, ни перечитывай ее в разных и многочисленных изданиях, а до всего не дочитаешься. Все, кажется, идет и читается просто, вдруг встретятся такие неожиданности, такие неправдоподобия, что разом срежет: становишься в тупик, и переворачиваются вверх дном все прежние испытания и нажитые сведения.

Была в Петербурге в начале двадцатых годов красивая, богатая, высокорожденная невеста, яркая звезда на светском небосклоне. Влюбился в нее молодой человек, принадлежавший также высшему обществу. Он стал ухаживать за ней и, казалось, не совсем безуспешно: молодая девица отличала

его между другими. На балах долгие танцы, как бесконечный котильон, о котором граф Фикельмон сказал:

Cette image mobile
De rimmobile eternite⁷

– почти всегда их соединяли. Частые котильоны двух молодых людей были в своем роде предварительные помолвки. Однажды весной, теплой ночью, окна в одной большой зале были открыты на улицу. Счастливая чета сидела у одного из этих окон. Может быть, этот бал был решительный, и близок уже был обмен признаний и сердечных заверений. Вдруг проезжает по улице ночная колесница, которой приближение еще скорее угадывается обонянием, нежели слухом. На лице девушки скоропостижно выразились смущение и неприятное чувство. С этой минуты разговор с ее стороны постепенно падал и впал в совершенное молчание.

В изумлении своем молодой человек не мог истолковать себе причину подобной перемены. Спрашивать объяснения у нее он не смел. В следующие дни он грустно убедился, что эта перемена совершилась безвозвратно. Она все более и более чуждалась его, и наконец все отношения между ними как наотрез прекратились.

Приятельница ее, которая следила за первыми главами

⁷ Стихи Ж. Б. Руссо о времени: это подвижное изображение недвижной вечности.

романа, спросила ее с удивлением, чему должно приписать такой неожиданный и крутой перерыв.

«Брезгливости и впечатлительности обоняния моего, – отвечала она смеясь. Тут рассказала она ночной проезд злощастной колесницы. – Что же мне делать, – прибавила она, – если с той самой минуты образ его и воспоминания о нем неразлучно связались с запахом, который так неприятно поразил меня в тот вечер?»»

Года два спустя вышла она замуж, разумеется, за другого; но вскоре после того скончалась во цвете лет и в полном блеске светской обстановки. Он умер гораздо позднее холостяком, не зная до самой кончины своей, что именно расстроило счастье, которое ему так приветливо улыбалось.

Будет ли ему загробная разгадка? Не уповательно. Если и верить, что некоторым земным тайнам будет разъяснение за рубежом земным, как-то трудно предполагать, что двум действующим лицам недоконченного романа придется войти в объяснение по такому неблагоприятному и неблагоприятному вопросу.

* * *

А вот причуда мужского сердца. Молодой поляк, принадлежавший образованной общественной среде, проезжал через Валдай. В то блаженное время не было еще ни железной дороги, ни даже шоссе, не было ни дилижансов, ни почтовых

карет.

Коляску проезжего обступила толпа женщин и девиц и назойливо навязывала свои баранки. Поляк влюбился в одну из продавщиц. Не думав долго, решился он остановиться в Валдае. Медовый месяц любви его продолжался около двух лет. Родные, не получая писем его, начали беспокоиться и думали, что он без вести пропал. Узнав, в чем дело, писали они с увещеваниями возвратиться домой. Письма не действовали. Наконец приехали за ним родственники и силой вырвали его из объятий этой Валдайской Калипсо.

Вот любовь так любовь: роман на большой дороге, выходящий из ряда обыкновенных приключений. При встречах моих с ним в Варшаве, я всегда смотрел на него с особенным уважением и сочувствием.

* * *

Есть лгуны, которых совестно называть лгунами: они своего рода поэты, и часто в них более воображения, нежели в присяжных поэтах. Возьмите, например, князя Ц. Во время проливного дождя является он к приятелю. «Ты в карете?» – спрашивают его. «Нет, я пришел пешком». – «Да как же ты вовсе не промок?» – «О, – отвечает он, – я умею очень ловко пробираться между каплями дождя».

Императрица Екатерина отправляет его курьером в Молдавию к князю Потемкину с собольей шубой. Нечего уже и

говорить о быстроте, с которой проехал он это пространство: подобные курьерские рассказы впадают в обыкновенную и пошлую прозу. Он приехал, подал Потемкину письмо императрицы. Прочитав его, князь спрашивает: «А где же шуба?» – «Здесь, ваша светлость!» – и тут вынимает он из своей курьерской сумки шубу, которая так легка была, что уложилась в виде носового платка. Он встряхнул ее раза два и подал князю.

В трескучий мороз идет он по улице. Навстречу ему нищий, весь в лохмотьях, просит у него милостыню. Он в карман, ан денег нет. Он снимает с себя бекеш на меху и отдает ее нищему, сам же идет далее. На перекрестке чувствует он, что кто-то ударил его по плечу. Он оглядывается. Господь Саваоф перед ним и говорит ему: «Послушай, князь, ты много согрешил; но этот поступок твой один искупит многие грехи твои: поверь мне, я никогда не забуду его!»

Польский граф Красинский был также вдохновенным и замысловатым поэтом в рассказах своих. Речь его была жива и увлекательна. Видимо, он сам наслаждался своими импровизациями.

Бывают лгуны как-то добросовестные, боязливые, они запинаются, краснеют, когда лгут. Эти никуда не годятся.

Как говорится, что *надобно иметь смелость мнения своего* (le courage de son opinion), так нужно иметь и смелость своей лжи; в таком только случае она удаётся и обольщает.

Две приятельницы (рассказывал Красинский) встрети-

лись после долгой разлуки где-то неожиданно на улице. Та и другая ехали в каретах. Одна из них, не заметив, что стекло поднято, опрометью кинулась к нему, пробила стекло головой, но так, что оно насквозь перерезало ей горло и голова скатилась на мостовую перед самой каретой ее искренней приятельницы.

Одного умершего положили в гроб, который заколотили и вынесли в склеп в ожидании отправления куда-то на семейное кладбище. Через несколько времени гроб открывается. Что же тому причиной? – «Волосы, – отвечает граф Красинский, – и борода; так разрослись у мертвеца, что вышибли покрывку гроба».

Граф был блестящей храбрости, но вдохновение было еще храбрее самого действия. После удачного и смелого нападения на неприятеля, совершенного конным полком под его командой, прискакивает к нему на месте сражения Наполеон и говорит: «*Vincent je te dois la croix*» (Винцент, я награждаю тебя звездой), и тут же снимает с себя звезду Почетного Легиона и на него надевает. «Как же вы никогда не носите этой звезды?» – спросил его один простодушный слушатель. Опомнившись, Красинский сказал: – «Я возвратил ее императору, потому что не признавал действия моего достойным подобной награды».

Однажды занесся он в рассказе своем так далеко и так высоко, что, не зная как выпутаться, сослался для дальнейших подробностей на Вылежинского, адъютанта своего, тут

же находившегося. «Ничего сказать не могу, – заметил тот. – Вы, граф, вероятно забыли, что я был убит при самом начале сражения».

* * *

В старину Лунин (Петр Михайлович) был известен в Москве и Петербурге своим краснословием, тоже никому не обидным, а только каждому забавным. Но этот к слову прилагал иногда и дело.

После многолетнего пребывания за границей возвращается он в Москву. Генерал-губернатор, давнишний приятель его, князь Д. В. Голицын приглашает его на большой и несколько официальный обед. Перед обедом кто-то замечает хозяину дома, что у Лунина какая-то странная орденская пряжка на платье. Князь Голицын, очень близорукий, подходит к нему и, приставя лорнетку к глазу, видит, что на этой пряжке звезды всех российских орденов, не исключая и Георгиевской. «Чем это ты себя, любезнейший, разукрасил?» – спросил его князь со своим известным отрывистым смехом. «Ах, это дурак Николашка, камердинер мой, все это мне пришил». – «Хорошо, – сказал князь, – но все же лучше снять». Разумеется, так и было сделано.

* * *

Лев Пушкин (брат Александра) рассказывал, что однажды зашла у него речь с Катениным о Крылове. Катенин сильно нападал на баснописца и почти отрицал дарование его. Пушкин, разумеется, опровергал нападки. Катенин, известный самолюбием своим и заносчивостью речи, все более и более горячился.

«Да у тебя, верно, какая-нибудь личность против Крылова». – «Нисколько. Сужу о нем и критикую его с одной литературной точки зрения». Спор продолжался. «Да он и нехороший человек, – сорвалось у Катенина с языка. – При избрании моем в Академию этот подлец, один из всех, положил мне черный шар»

* * *

Александр Пушкин был во многих отношениях внимательный и почтительный сын. Он готов был даже на некоторые самопожертвования для родителей своих, но не в его натуре было быть хорошим семьянином: домашний очаг не привлекал и не удерживал его. Он во время разлуки редко писал к родителям, редко и бывал у них, когда жила с ними в одном городе.

«Давно ли видел ты отца?» – спросил его однажды NN. «Недавно». – «Да как ты понимаешь это? Может быть, ты недавно видел его во сне?»»

Пушкин был очень доволен этой уверткой и, смеясь, сказал, что для успокоения совести усвоит ее себе.

Отец его, Сергей Львович, был также в своем роде нежный отец, но нежность его черствела в виду выдачи денег. Вообще был он очень скуп и на себя, и на всех домашних. Сын его, Лев, за обедом у него разбил рюмку. Отец вспылил и целый обед проворчал. «Можно ли, – сказал Лев, – так долго сетовать о рюмке, которая стоит двадцать копеек?» – «Извините, сударь, – с чувством возразил отец. – не двадцать, а тридцать пять копеек!»»

* * *

«Я недаром презираю людей, – говорил кто-то, – это стоит мне несколько сот тысяч рублей, которые роздал я неблагодарным».

* * *

Графиня Хотек, бабушка нынешнего принца Клари, который владеет Теплицем и женат на нашей полусоотечественнице графине Фикельмон, оставила по себе записки. Глав-

нейшее содержание их относится до поездки из Вены в Венецию в 1782 г. их императорских высочеств великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны, или графа и графини Северных. Граф Хотек был назначен австрийским императором к их высочествам, а жена его последовала за ним.

Извлекаем из этих доселе остающихся в рукописи записок (сообщенных нам принцем Клари) некоторые подробности, не лишенные занимательности. К сожалению, в этих записках мало нескромностей, которыми прилакомили нас новейшие летописи, в этом роде изданные. Вообще в старое время было более совестливости, застенчивости и опасения проговориться; чем выше было поставлено лицо, тем осторожнее и сдержаннее отзывались о нем даже и в дневниках, не писанных для публики, а единственно для себя. Вот тому пример.

«Не помню названия того местечка, где мы обедали (говорит между прочим графиня Хотек), но очень помню замечательный разговор наш с великой княгиней. Я была удивлена доверенностью, с которой она обращалась ко мне после восьмидневного знакомства. Доверенность эта не будет обманута: слышанное мною в этот день никогда не выйдет из памяти моей и никому другому известно не будет (*jamais ce que j'entendis ce jourla ne sortira de ma memoire, ni ne sera su que de moi*)».

Это очень почтенно, оно и очень досадно. Открывается обширное поле догадок, но нигде нельзя с достоверностью

остановиться.

Графиня Хотек с большим уважением и сочувствием говорит о великом князе и особенно о великой княгине, с которой она и чаще была, и ближе имела случай ознакомиться.

«Великий князь благоволил прочесть нам несколько отрывков из дневника своего, замечательно хорошо написанных».

«Однажды великая княгиня прервала, по счастью, чтение газет и рассказала нам много в высшей степени занимательных подробностей о своей молодости, воспитании, о своем образе мыслей, о легкости и понятливости своей, так что девяти лет она знала геометрию».

«Перед ужином великая княгиня читала нам вслух некоторые места *Похвального слова* Плиния Траяну. Выбор отрывков и выразительность, с которой она читала, равно говорили в пользу ума ее и сердца».

В России императрица оставила по себе память о своей благотворительности и строгой точности, с которой исполняла она добровольно принятые ею на себя обязанности по управлению воспитательными и богоугодными заведениями; она была администратор в высшем и полном значении этого слова, пример и образец всем администраторам. Но мы мало знаем частные свойства ума ее, образованность его и богатые начала, на которые этот ум опирался. Приведенные заметки несколько пополняют этот пробел. Лести здесь быть не может.

«За обедом сидела я возле великого князя: речь зашла о жизни и разных возрастах ее. «Затвердите в памяти своей слова мои, – сказал он мне, – я не достигну до сорока пяти лет». В словах его, думаю, не было никакого намека и задней мысли, а просто имел он в виду слабость сложения своего».

«После обеда заговорили о музыке. Император Австрийский и великий князь пропели дилетантами (*dilettants de lualite*) арию из оперы *Орфей и Альцеста*».

Не знаем, что за голос был у Иосифа II, но, по преданиям, голос великого князя был, вероятно, не очень музыкален.

В свите их высочеств находились майор Плещеев, Бенкендорф с женой, доктор Крузе, девица Teodossi Basilio (вероятно, какая-нибудь Федосья Васильевна), Брюнетта (*Brunette*), камер-юнкера Бермоте, парикмахер, фрейлины Нелидова и Борщова. К свите принадлежали, но отправлялись всегда днем позже, Салтыков с женой, князя Куракин и Юсупов, и Вадковский.

Из слов графини Хотек можно предполагать, что великая княгиня не очень жаловала эту дополнительную свиту, со включением Нелидовой и Борщовой. Вот что говорит графиня Хотек: «приезд их (т. е. выше поименованных лиц), видимо, был неприятен великой княгине. Она всегда хотела быть с одной г-жой Бенкендорф. Не желая ужинать с ними, она велела подать себе что-нибудь закусить, сказав, что за ужин не сядет. Но есть не было никакой возможности: мы обедали в три часа, а было не позднее шести часов, так что

я в этот день легла в постель голодная».

Вот несколько подробностей о пребывании в Венеции.

«Рано отправилась я к графине Северной, чтобы иметь честь сопровождать ее в Арсенал. Мы пробыли в нем шесть часов, осматривая в подробности все достойное замечания. Более всего поразила нас кузница. Она очень обширна и при нас была озарена сиянием раскаленного якоря в 5000 фунтов, на который врезали крест. Работами в Арсенале занимаются ежедневно 2000 человек. Они редко выходят из арсенальной ограды, задельную плату получают умеренную, но зато вдоволь вина, смешанного с двумя третями воды. Раздача эта делается в большом порядке: что нечаянно перейдет через край, спускается в большой чан и тоже выпивается. Большие залы были украшены трофеями, орудиями, прекрасными и редкими свежими цветами в честь великой княгини, которая очень их любит. Кавалеру Эмо было поручено объяснить их высочествам все предметы, возбуждавшие любознательность их. Он – во главе морского управления и очень уважаем в Венеции за познания свои по этой части.

После спустили в воду бученторе, на котором мы находились. Движение было чуть заметное, так что одни крики и восклицания народа дали нам почувствовать, что мы сдвинулись с места. Бученторе покрыт позолотой и ваяниями. На краю корабля изображен св. Марко, покровитель и угодник Венеции. Против него, на другой стороне, кресло, на котором восседает дож в праздник Вознесения Господня; спинка

спускается, и оттуда дож бросает кольцо в море. При нас кидали одни устричные раковины, потому что угощали нас арсенальскими устрицами, пользуясь общей известностью. Особенно удивило меня в тот день уважение, которое внушает толпе каждый служитель полиции. В ту минуту, когда мы взошли на бученторе, пробежал по толпе шум, который итальянцы называют *sussuro* (шушуканье). Один из *fant dell'inquisitione* надел на голову красный колпак, украшенный червонцем и вынутый из кармана, и мгновенно воцарилась такая тишина, что можно бы услышать полет мухи».

Праздники, данные для высочайших гостей, отличались роскошью и пышностью, а по местным условиям Венеции и поразительной своеобразностью. Венеция город декорационный, словно нарочно выстроенный для празднеств, особенно ночных. Синее небо, вода, палаццы, храмы, подвижное, пестрое народонаселение так и просятся в эту роскошную раму волшебной картины. Был великолепный бал в театре святого Венедикта. В Италии и театры сооружаются под покровом святых. Что сказал бы высокопреосвященный Филарет, если бы в Москве обозначили новое здание театра именем, взятым из святцев? Он, который не хотел освятить Триумфальные ворота, потому что на них изображены какие-то аллегорические баснословные фигуры, и ходатайствовал о запрещении оперы *Mouсей* и о снятии с магазина надписи на вывеске: *au pauvre diable* (известной французской поговорки), так что на вывеске долго оставалось *au pauvre* и

точки.

Была регата, гонка гондол и легких судов. Венецианская аристократическая молодежь снаряжает щегольские, красивые восьмивесельные лодки. Матросы одеты с большим разнообразием и вкусом; хозяин барки – на коленях на подушках или лежит на них. В руках имеют они маленькие луки, из которых стреляют катышками теста, чтобы удалять барки, не принадлежащие к регате. Для их императорских высочеств (рассказывает графиня Хотек) устроена была особенная крытая лодка, которую называют peotte, очень красиво убранная. Вдоль большого канала все окна домов были обвешаны богатыми коврами; из всех окон выглядывали лица. Народа везде было множество; на крышах стояли люди в красных плащах. Гондолы и барки, наполненные дамами в масках, скользили и шмыгали вдоль и поперек. Веселость народа, восклицания, крики мальчишек-шалунов, гул, гам, все это вместе порождает впечатление, которое выразить нельзя: нужно самому быть зрителем такой живой и воодушевленной картины, чтобы понять всю ее самобытную и странную прелесть.

Оригинальнейший из всех был праздник, устроенный на площади св. Марка, месте единственном в своем роде. Ни величавый Рим, ни живописный Царьград не имеют ничего подобного. Зала, обведенная стенами стройных и высоких зданий под открытым небом, а в глубине ее величественная громада храма св. Марка. Впрочем, эта площадь, начиная

с вечера и далеко за полночь, имеет ежедневно праздничный вид. Это сборное место всех венецианских полуночников и полуночниц. Тут и высшая аристократия, и полуодетая чернь, аббаты и красавицы со всех ступеней общественной лестницы, и строгая мать с целомудренной дочерью, и все возможные дочери без матерей и без целомудрия. Эта площадь может сказать с Державиным:

А я, проспавши до полудня,
Курю табак и кофе пью;
Преображая в праздник будни,
Кружу в химерах мысль мою.

Но возвратимся к графине Хотек. Вот что говорит она об этом вечернем и ночном празднике. «Перед зданием прокураторов построили прекрасное деревянное помещение с тремя комнатами, богато убранными, с позолотой и зеркалами, как будто все это построено на продолжительное время, а не на несколько часов. Остальная часть площади была обставлена амфитеатром и приготовлена для иллюминации и фейерверка. Праздник начался проездом пяти аллегорических колесниц. После был бег быков, преследуемых собаками. Это продолжалось довольно долго и было довольно посредственно и скучно; но нужно было чем-нибудь занять зрителей до темноты, т. е. до освещения и сожжения потешных огней. Вид площади был очаровательный и восхитительный. В известный час народ был впущен на арену; в течение

нескольких минут нахлынуло до пятнадцати тысяч человек. Все они гуляли, не толпясь, не теснясь, без малейшего шума, нимало не беспокоя сидящих на скамейках. Непонятно было при подобном наплыве и движении, как могли обойтись без солдат, чтобы сдерживать такую толпу. Венецианцы очень гордятся этим добровольным порядком, свидетельствующим о кротости правительства; но подобные тишина и спокойствие в народе, который от природы так подвижен и жив, могут быть и следствием страха, и в таком случае служит свидетельством совершенно противоположным.

Великая княгиня уезжала домой ужинать. В отсутствии ее был дан великолепный ужин всему дворянству. Когда великая княгиня возвратилась, начались танцы. Вообще с трудом можно привыкнуть к манерам и кокетству (чтобы не сказать более) венецианских дам. Особенно же в танцах разные их ужимки и ухватки таковы, что и на театре показались бы очень неуместными. Но со стороны смотреть на это очень любопытно и забавно. В особенности есть у них национальная пляска *furlana*, которая не очень благопристойна.

На этом бале имела я честь откланяться ее высочеству. Она и великий князь удостоили меня самыми лестными и ласковыми выражениями. Великой княгине очень хотелось, чтобы я оставалась при ней во время дальнейшего путешествия, и она намеревалась писать о том императору; но обстоятельства не позволяли мне согласиться на это предложение. Граф и графиня Северные отправились в Падую».

Дуэт, пропетый великим князем Павлом Петровичем и Австрийским императором (о котором говорено выше), напоминает мне другой дуэт, еще более оригинальный и который отклонил от России войну против Англии. Следующий рассказ передается со слов графа Растопчина, лично слышанных.

Император Павел очень прогневался однажды на английское министерство. В первую минуту гнева посылает он за графом Растопчиным, который заведовал в то время внешними делами. Он приказывает ему изготовить немедленно манифест о войне с Англией. Растопчин, пораженный как громом такой неожиданностью, начинает, со свойственной ему откровенностью и смелостью в отношениях к государю, излагать перед ним всю несвоевременность подобной войны, все невыгоды и бедствия, которым может она подвергнуть Россию. Государь выслушивает возражения, но на них не соглашается и им не уступает. Растопчин умоляет императора по крайней мере несколько обождать, дать обстоятельствам возможность и время принять другой, более благоприятный оборот. Все попытки, все усилия министра напрасны: Павел, отпуская его, приказывает ему поднести на другой день утром манифест к подписанию.

С сокрушением и скрепя сердце, Растопчин вместе с сек-

ретарями своими принимается за работу. Приехав, спрашивает он у приближенных, в каком духе государь. При дворе хотя тайны, по-видимому, и хранятся герметически закупоренными, но все же частичками они выдыхаются, разносятся по воздуху и след свой в нем оставляют. Все приближенные к государю лица, находившиеся в приемной перед кабинетом комнате, ожидали с взволнованным любопытством и трепетом исхода этого доклада. Он начался.

По прочтении некоторых бумаг государь спрашивает: «А где же манифест?» – «Здесь», – отвечает Растопчин (он уложил его на дно портфеля, чтобы дать себе время осмотреться и, как говорят, ощупать почву). Дошла очередь и до манифеста. Государь очень доволен редакцией. Растопчин пытается опять отклонить царскую волю от меры, которую признает пагубной; но красноречие его так же безуспешно, как и накануне. Император берет перо и готовится подписать манифест...

Тут блеснул луч надежды зоркому и хорошо изучившему государя глазу Растопчина. Обыкновенно Павел скоро и как-то порывисто подписывал имя свое. Тут он подписывает медленно, как бы рисует каждую букву. Затем говорит он Растопчину: «А тебе очень не нравится эта бумага?» – «Не умею и выразить, как не нравится». – «Что готов ты сделать, чтобы я ее уничтожил?» – «А все, что будет угодно вашему величеству. Например, пропеть арию из итальянской оперы». Тут он называет арию, особенно любимую государем, из оперы,

имя которой не упомяну.

«Ну так пой!» – говорит Павел Петрович. И Растопчин затягивает арию с разными фиоритурами и коленцами. Император подтягивает ему. После пения он раздирает манифест и отдает лоскутки Растопчину.

Можно представить себе изумление тех, которые в соседней комнате ожидали с тоскливым нетерпением, чем разразится этот доклад.

* * *

В одном маленьком французском журнале рассказываются два следующие анекдота из царствования Павла.

Паж Копьев бился об заклад с товарищами, что он тряхнет косу императора за обедом. Однажды, будучи при нем дежурным за столом, схватил он государеву косу и дернул ее так сильно, что государь почувствовал боль и гневно спросил, кто это сделал. Все в испуге. Один паж не смутился и спокойно отвечал: «Коса вашего величества криво лежала, я позволил себе выпрямить ее». – «Хорошо сделал, – сказал государь, – но все же мог бы ты сделать это осторожнее». Тем все и кончилось.

В другой раз Копьев бился об заклад, что он понюхает табак из табакерки, которая была украшена бриллиантами и всегда находилась при государе. Однажды утром подходит он к столу возле кровати императора, почивающего на ней,

берет табакерку, с шумом открывает ее и, взяв щепотку табаку, с усиленным фырканьем сует в нос. «Что ты делаешь, пострел?» – с гневом говорит проснувшийся государь. «Нюхаю табак, – отвечает Копьев. – Вот восемь часов что дежурю; сон начинал меня одолевать. Я надеялся, что это меня освежит, и подумал лучше провиниться перед этикетом, чем перед служебной обязанностью». – «Ты совершенно прав, – говорит Павел, – но как эта табакерка мала для двух, то возьми ее себе».

Анекдот о косе известен в России; но, кажется, смелую шалость эту приписывали князю Александру Николаевичу Голицыну. Другой анекдот не очень правдоподобен, но, вероятно, и он перешел к французам из России. Не ими же выдуман он. Откуда им знать Копьева? Копьев был большой проказник, это известно. Что он не сробел бы выкинуть такую шутку, и это не подлежит сомнению; но был ли он в том положении, чтобы подобная проказа была доступна ему? Вот вопрос. И ответ, кажется, должен быть отрицательный. Сколько нам известно, Копьев никогда не был камер-пажом и по службе своей не находился вблизи ко Двору.

Копьев был столько же известен в Петербурге своими остротами и проказами, сколько и худобой своей крепостной и малокормленной четверни. Однажды ехал он по Невскому проспекту, а Сергей Львович Пушкин (отец поэта) шел пешком по тому же направлению. Копьев предлагает довести его. «Благодарю (отвечал тот), но не могу; я спешу»

* * *

Уваров (Федор Петрович) иногда удачно поражал французов на поле сражения, но еще удачнее и убийственнее поражал французский язык в разговоре. Охота была смертная, а участь горькая. Известен ответ его Наполеону, когда тот спросил его, кто командовал русской конницей в блестящей атаке в каком-то сражении: – Je, sire.

Граф Головкин, родившийся и воспитывавшийся за границей, плохо говорил по-русски, но любил иногда щеголять своим отечественным языковедением. Когда собирался он ехать послом в Китай, кто-то подслушал разговор двух этих личностей. Уваров: «Je vous en prie, mon neveu a la Kitay». Головкин: «Непременно, непременно приму его на Хину».

* * *

Нелединский не был исключителен в оценке человеческих побуждений и в разрешении психических задач. Однажды говорили о лихоимстве и взятках. Разумеется, никто их не защищал; «о вот что сказал Нелединский: «Мне часто бывает совестно, когда, допрашивая себя, приговариваю к законному наказанию подсудимого взяточника. Я имею твердое и сознательное убеждение, что миллионами рублей не

подкупить ни в каком деле голоса моего в Сенате; но приди ко мне красавица и умоляй она меня со слезами подать голос в пользу ее по делу, подлежащему рассмотрению Сената: я не уверен, что могу всегда устоять против сердечного обольщения. А такое обольщение не та же уступка совести и посягательства на правосудие?»

* * *

В царствование императора Павла, вследствие какого-то беспорядка при разъезде карет, граф Кутайсов требовал, чтобы кучер Неелова был немедленно отправлен в полицию. «Помилуйте, ваше сиятельство, – возразил Неелов, – дайте мне хотя домой доехать; а после отдам кучера в полное ваше распоряжение: можете, пожалуй, ему и лоб *забрить*».

* * *

Говорили в Москве (в начале 1820 годов) о полицмейстере, и кто-то заметил, что он не знает французского языка. «Как не знает, знает очень хорошо, – сказал Неелов. – Каждое утро, когда соберутся у него полицейские чиновники, и дает он им приказания свои, он всегда оканчивает французским романсом и поет им:

Vous me quittez pour a la gloire

Mon tendre coeur suivra partout vos pas.
Alles, volez au temple de memoire:
Alles, volez, mais ne m'oubliez pas.

(Вы покидаете меня ради славы; мое нежное сердце будет всегда с вами.)».

Неелов – основатель стихотворческой школы, последователями которой были Мятлев и Соболевский; только вообще он был скромнее того и другого. В течение едва ли не полувека малейшее житейское событие в Москве имело в нем присяжного песнопевца. Шуточные и сатирические стихи его были почти всегда неправильны, но зато всегда забавны, остры и метки. В обществе, в Английском клубе, на балах, он по горячим следам импровизировал свои четверостишия. Попробуем выручить у своевольной Музы его хоть что-нибудь, чтобы дать не знавшим ее понятие о том, чем забавляла она современников. Вот что писал он родственнице, у которой намеревался остановиться по приезде своем в Москву:

Племянница моя, княгиня Горчакова,
Которая была всегда страх бестолкова,
Пожалуйста, пойми меня ты в первый раз
И на стихи мои ты вытаращи глаз.
Приеду я один, без моего семейства,
Квартира мне нужна не как адмиралтейство;
Но комната одна, аршина в три длины,

Где б мог я ночью спать, не корчивши спины.
А вот и любовные его стихи:
Если Леля взглянет,
Из жилета тянет
Мое сердце вон.

Солнцев был представлен Юсуповым в камергеры. В Петербурге нашли, что по чину его достаточно ему и звания камер-юнкера. Но Солнцев, кроме того, что уже был в степенных летах, пользовался еще вдоль и поперек таким объёмистым туловищем, что юношеское звание камер-юнкерства никак не подходило ни к лицу его, ни к росту. NN говорил, что он не только сановит, но и слоновит. Князь Юсупов сделал новое представление на основании физических уважений, которое и было утверждено: Солнцев наконец пожалован ключом. Вся это проделка не могла ускользнуть его летописца, подобного Неелову. Он записал в свой *Московский Временник* следующее четверостишие:

Чрез дядю, брата или друга
Иной по службе даст скачек:
Другого вывезет сестра или супруга.
Но он стал камергер через собственный пупок.

* * *

Отчего, после несчастного приключения своего, Х. стал еще спесивее и более думает о себе, чем прежде?

«На основании русской пословицы, – сказал NN, – за битого двух небитых дают».

* * *

В старых комедиях французских встречаются благотворительные дяди из Америки, которые неожиданно падают золотым дождем на бедных родственников и тем дают им возможность соединяться браками с предметами их любви. В старой Москве являлись благодетельные дяди: известные дотоле богатые помещики, которые как снег на голову падали из какой-нибудь дальней губернии. Они поселялись в Москве и угощали ее своим хлебосольством, увеселениями и праздниками.

Один из последних таковых дядей был Позняков. Он приехал в первопрестольную столицу потешать ее своими рублями и крепостным театром. Он купил дом на Никитской (ныне принадлежащий князю Юсупова), устроил в нем зимний сад, театральную залу с ложами и зажил, что называется, домом и барином: пошли обеды, балы, спектакли, маска-

рады. Спектакли были очень недурны, потому что в доморощенной труппе находились актеры и певцы не без дарований.

Часто смеялись и смеются и ныне над этими полубарскими затеями. Они имели свою и хорошую сторону. Уж если есть законное крепостное состояние, то устройство из дворни своей певческих хоров, инструментальных оркестров и актеров не есть еще худшее самовластительное злоупотребление помещичьего права. Эти затеи прививали дворне некоторое просвещение, по крайней мере грамотность; если не любовь к искусствам, то по крайней мере ознакомление с ними. Это все-таки развивало в простолюдинах человеческие понятия и чувства, смягчало нравы и выводило дворовых людей на Божий свет; они затверживали наизусть слова и мысли Фон-Визина или Коцебу, сливались хотя на минуту с лицами из другой среды, на минуту воплощали в себя лица, так сказать, другого мира. От этого скоморошества должны были неминуемо западать в них некоторые благие семена, которые в иных оставались не произрастительными, а в других, хотя и редко, отзывались впоследствии плодоносной жатвой. Эти полубарские затеи могли иметь и на помещиков благодетельное влияние: музыка, театральные представления отвлекали их отчасти от псовой охоты, карт и попок. Но пора возвратиться к Познякову.

Нечего и говорить, что на балах его, спектаклях и маскарадах не было недостатка в посетителях: вся Москва так и рвалась и навязывалась на приглашения его.

Да и кому в Москве не зажимали рты
Обеды, ужины и танцы?

говорит Чацкий. Только напрасно сваливает он это исключительно на голову Москвы.

Таков, Фелица, я развратен,
Но на меня весь свет похож,

сказал Державин, которого взгляд на свет и на людей был беспристрастнее и рассудительнее взгляда Чацкого. Как бы то ни было, Позняков самодовольно угощал Москву в своих покоях и важно на маскарадах своих расхаживал наряженный не то персианином, не то китайцем. Нет сомнения, что о нем говорится в *Горе от Ума*:

На лбу написано: театр и маскарад.

Не забыл Грибоедов и бородача, который во время бала, в тени померанцевых деревьев, щелкал соловьем:

Певец зимой погоды летней.
Все это очень забавно, но что же тут худого?

Если кому Бог даровал способность свистать и щелкать соловьем, почему же ему не пользоваться этим даром, как певцу голосом своим, скрипачу смычком? Но вот что

ускользнуло от эпиграмм и злоречия Чацкого, а в этом есть высоко-комическая черта.

К московскому хлебосольству и увеселителю добровольно прикомандировал себя некто г-н Лунин (не из фамилии известных Луниных). Он был при нем вроде гофмаршала или камергера: хозяйничал при дворе его, приглашал на празднества и пр. В Москву ожидали турецкого или персидского посла. Разумеется, Позняков не мог пропустить эту верную оказию. И занялся приготовлением к великолепному празднику в честь именитого восточного гостя. К сожалению, смерть застала его в приготовлениях к этой тысячи и одной ночи. Посол приезжает в Москву, и Лунин к нему является. Он докладывает о предполагаемом празднике и о том, что Позняков извиняется перед послом: за приключившуюся смертью его праздник состояться не может.

* * *

Когда перед 1812-м годом был выстроен в Москве Большой театр, граф Ростопчин говорил, что это хорошо, но недостаточно: нужно купить еще 2000 душ, приписать их к театру и завести между ними род подушной повинности, так чтобы по очереди высылать по вечерам народ в театральную залу: на одну публику надеяться нельзя.

Страсть к театру развилась в публике позднее; но и тогда уже были театралы и страстные сторонники то русских акте-

ров, то французских. В числе первых был некто Гусятников, человек зрелых лет и вообще очень скромный. Он вышел из купеческого звания, но мало-помалу приписался к лучшему московскому обществу и получил в нем оседлость. Он был большой поклонник певицы Сандуновой. Она тогда допевала в Москве арии, петые ею еще при Екатерине II, и увлекала сердца, как во время оно она заколдовала сердце старика графа Безбородки, так что даже вынуждена была во время придворного спектакля жаловаться императрице на любовные преследования седого волокиты. Гусятников был обожатель более скромный и менее взыскательный.

В то время, о котором говорим, приехала из Петербурга в Москву на несколько представлений известная Филис-Андрие. Русская театральная партия взволновалась от этого иноплеменного нашествия и вооружилась для защиты родного очага. Поклонник Сандуновой, Гусятников, стал, разумеется, во главе оборонительного отряда. Однажды приезжает он во французский спектакль, садится в первый ряд кресел, и только что начинает Филис рулады свои, он всенародно затыкает себе уши, встает с кресел и с заткнутыми ушами торжественно проходит всю залу, кидая направо и налево взгляды презрения и негодования на недостойных французолюбцев (как нас тогда называли с легкой руки Сергея Глинки, доброго и пламенного издателя *Русского Вестника*).

* * *

Муж Сандуновой был тоже актер, публикой любимый. Одновременно брат его был известный обер-секретарь. Братья были дружны между собой, что не мешало им подтрунивать друг над другом. «Что это давно не видать тебя?» – говорит актер брату своему. «Да меня видеть трудно, – отвечал тот, – утром сижу в Сенате, вечером дома за бумагами; вот тебя, дело другое, каждый, когда захочет, может увидеть за полтинник». – «Разумеется, – говорит актер, – к вашему высокородию с полтинником не сунешься».

* * *

Кто-то говорил, что он желает умереть не в надежде, что будет лучше, а что по крайней мере будет иначе. Молодой стихотворец приносит к опытному критику два стихотворения свои с просьбой сказать ему, которое из них можно напечатать. По прослушивании первого стихотворения критик не раздумывая говорит стихотворцу: печатайте второе!

* * *

Австрийский посол при Оттоманской Порте (бывший то-

варищ нашего графа Бальмена на острове Святой Елены) граф Стюрмер рассказывал, что однажды явился к нему в Константинополе австрийский подданный, очень хорошей фамилии и зажиточный помещик. В разговоре объяснил он, что намерен поселиться в Турции, принять турецкое подданство и обратиться в магометанскую веру. На это граф Стюрмер сказал ему, что не считает себя вправе противодействовать намерению его, что если он покушается на подобную меру из видов честолюбия, то может крепко ошибиться в расчете своем: редко удается ренегатам достигнуть желанной цели; правительство мало им доверяет, а турки ревнуют к ним и смотрят на них неприязненно.

«Да я и не ищу честолюбивой цели, – отвечает приезжий, – я даже в службу вступать не думаю». – «Из чего же заете вы все это дело?» – «Из религиозного убеждения». – «Против этого возражать мне нечего», – сказал посол.

* * *

Можно родиться поэтом, оратором; но родиться критиком нельзя. Поэзия, красноречие – дары природы, критика – наука; ее следует изучать. И у диких народов есть своя песня и свое красноречие, но критического исследования у них не найдешь. У нас есть критики или критиканы, но критики нет. Редкие попытки, редкие исключения в счет не входят. У нас завелись и развелись критиканы, потому что, по при-

меру европейской журналистики, понадобилось и в наших журналах иметь отделение критики. Вот издатели и вербуют на эту работу горячих борзописцев, которым и море, и науки по колено. А на деле выходит, что они почти ничего не знают, мало читали не только из иностранной литературы, но равно и из своей, кроме текущей, и то с исключениями, смотря по погоде и приходу, к которому они принадлежат. Лучшие писатели наши еще не исследованы, не оценены. О них идет говор, но решающего, окончательного голоса нет.

Кроме науки и многоязычного чтения, для критика нужен еще вкус. Это свойство и врожденное, родовое и благоприобретенное. Вкус, изящное чувство, какое-то тайное чутье, своего рода литературная совесть. В ином она более чутка и впечатлительна; в другом черства и огрубела. Впрочем, и вкус изощряется, совершенствуется учением, сравнением и опытностью. Теперь ставят ни во что критики Мерзлякова; в полном самодовольстве невежества пренебрегают ими, смеются над ними. Можно и должно не поработаться суеверно критическим взглядам и законам Мерзлякова; но все же нельзя не признать в нем критика образованного, который говорит не наобум. В голосе и мнениях его отзывается изучение образцов, с которыми знакомился он в самом источнике. Есть чему научиться от него, потому что и сам он учился.

Во Франции Лагарп, как критик, устарел, но *Курс Литературы* его, как летопись, как справочная классическая кни-

га, – не совершенно утратил свое значение и достоинство. У нас теперь знают о нем по отзывам литературных выскочек, которые на лабазном языке своем, как говорит Дмитриев, или, вернее, на холопском, толкуют с презрением о лагарповщине. Во Франции, в некотором отношении, критика ушла вперед от Лагарпа; у нас она до Лагарпа еще не дошла.

* * *

Луи-Филипп часто сетовал с огорчением о нерасположении к нему одного из могущественнейших европейских владык. Тьер старался успокоить его и наконец сказал ему: «Да делайте то, что академик Сюар делал с женой своей». – «А что же он делал?»

«Она была очень брюзглива и часто изыскивала средства тормошить и мучить его. Бывало ночью, когда он спит, она разбудит его и скажет: «Сюар, я не люблю тебя». – «Ничего, – отвечал он, – полюбишь после», – перевернется на бок и тут же заснет. Часа два спустя она снова будит его и говорит: «Сюар, я другого люблю». – «Ничего, – отвечает он, – после разлюбишь», – перевернется на бок и опять засыпает.

* * *

Кто-то спрашивал у сельского священника, отчего вос-

прещается отцу быть при крещении ребенка своего. Священник немного призадумался и наконец сказал: «Полагаю, от того, что совесть убивает».

* * *

Дмитриев много читает и большой скопидом на книги свои. Когда которой из них не окажется, и он не помнит, кто зачитал ее, он посылает слугу по списку всех своих знакомых, к каждому из них, с настойчивым требованием возвратить взятую у него книгу. При поголовном обыске виноватый отыщется.

Другой библиофил и библиоман, граф Бутурлин, которого библиотека в Москве до 1812 года пользовалась европейской известностью, держался другого правила: он никогда не выпускал из дома ни единой книги. Когда, по каким-либо уважениям, он не признавал возможным отказать лицу, просившему его одолжить книгу для прочтения, он покупал другой экземпляр этой книги и отдавал на жертву просителю, свято соблюдая неприкосновенность своего книгохранилища.

В страсти его к книгам была и другая отличительная черта: он сам читал их и на разных языках. Книжная память его была изумительна: он помнил, на какой странице находились мало-мальски любопытные и замечательные слова. До 1812 года он не выезжал из России, но знал твердо разнообразно

разные местные наречия итальянского и французского народонаселения, знал наизусть, до малейшей подробности, топографию Рима, Неаполя, Парижа. Он удивлял иностранцев своим энциклопедическим всеведением: слушая его, они думали, что он много времени прожил в той или другой местности, и едва верили, когда граф признавался им, что он не выезжал еще из России.

* * *

Из дорожного дневника одного путешественника выписываем следующее:

1) На целебных водах, на берегу известных озер в Швейцарии, на всех летних пребываниях, посещаемых празднующимися европейцами, местная полиция, обязанная унимать шум и бесчинства на улице, должна бы обращать внимание и на домашние шумы и бесчинства, коим предаются англичанки и американки, употребляя во зло данные им неуклюжие руки и фальшивые голоса. Нигде нет спасения от этих злосчастных *Лаур за клавесином* (смотри злосчастное стихотворение Державина.) С утра до вечера, целый день, где ни живи, по какой улице ни ходи, везде слышишь, как пищат, мячуют, скрипят, дребезжат эти голоса и нестройно прыгают и перестукиваются зазубренные клавиши. Воля ваша, а это прямое и нестерпимое посягательство на общественное спокойствие и личную безопасность: это

неминуемо вредит здоровью, за которым обыкновенно съезжаются из разных и дальних стран в эти благодатные убежища, осчастливленные солнцем и лаской природы.

2) Немецкие кучера удивительные мастера отыскивать горы там, где на взгляд простого смертного никакой горы в виду не имеется. Если почва подымается на дюйм, то они уже заблаговременно везут шагом, а если придется спуститься на один дюйм, тормоз начинает уже действовать. Как все это далеко от русского крика: С горки на горку! Катай-валяй!

* * *

И nous faut la guerre, il nous faut la guerre, mon cher Denis, – говорит Давыдову генерал Еммануель, – voyez un peu, en temps de paix, Vitt meme, devient colossal (нам нужна война, нам нужна война, мой любезный Денис: в мирное время, посмотри, и Витт становится колоссальным).

* * *

Глубокая характеристическая черта выражается в крутом переносе одного местоимения на другое.

В разгар холеры в Петербурге Л. говорил приятелю своему: «А скверная вещь эта холера! Неожиданно нагрянет и все покончит. Того и смотри, что завтра зайдешь ты ко мне,

и скажут тебе, что я... То есть, я зайду к тебе завтра, и скажут мне, что ночью умер ты от холеры».

Но этот предохранительный, грамматический поворот не спас бедного Л... Несколько дней спустя после сказанных слов был он холерою похищен.

* * *

При А. М. Пушкине говорили о деревенском поверий, что тараканы залезают в ухо спящего человека, пробираются до мозга и выедают его.

«Как я этому рад, – прервал Пушкин, – теперь не буду говорить про человека, что он глуп, а скажу: обидел его таракан».

* * *

Необразованный человек особенно выдает себя в высокомерии и самохвальстве своем. Бывают самолюбивы и люди с умом и дарованием, но они из благоприличия стараются сдерживать себя. Воспитание, обхождение с людьми, принадлежащими высшей среде, в умственном и общественном отношении, умеряют и обуздывают эти дикие порывы собственного идолопоклонства. Восточные народы самохвальны, потому что они невежественны. Литература, которая с

презрением и свысока отзывается о литературах иностранных, принадлежит, по этнографическим условиям, к восточной полосе земного шара.

* * *

Один отец, весьма остроумный и практический, говорил с умилением и родительским самодовольством: «Мой сын именно на столько глуп, на сколько это нужно, чтобы успеть и на службе, и в жизни: менее глупости было бы недостатком, более – было бы излишеством. Во всем нужны мера и середка, а сын мой на них и напал».

* * *

Однажды Пушкин между приятелями сильно руссофильствовал и громил Запад. Это смущало Александра Тургенева, космополита по обстоятельствам, а частью и по склонности. Он горячо оспаривал мнения Пушкина, наконец не выдержал и сказал ему: «А знаешь ли что, голубчик, съезди ты хоть в Любек».

Пушкин расхохотался, и хохот обезоружил его.

Нужно при этом напомнить, что Пушкин не бывал никогда за границей, что в то время русские путешественники отправлялись обыкновенно с Любскими пароходами и что

Любек был первый иностранный город, ими посещаемый.

* * *

Один французский писатель, помнится, Жофре (Jauffret), в книге *Екатерина II и царствование ее*, рассказывает следующее: Екатерина часто повторяла: «Глаз хозяина откармливает лошадей (Тоeil du maitre engraisse les chevaux)». Она умела расспрашивать и выслушивать. «Разговор с невеждами, – говорила она, – иногда более научит, нежели разговор с учеными. Этим господам стыдно было бы не дать ответа и по таким вопросам, о которых они понятия не имеют. Они никогда не решатся выговорить эти два слова, столь удобные нам, невеждам: не знаю».

Однажды, путешествуя по берегам Волги, она спросила жителей: довольны ли они своим положением? Большая часть из них были рыбаки. «Мы очень были бы довольны заработками своими, – отвечали они, – если бы не обязаны были отсылать в конюшни вашего величества значительное количество стерлядей, а стерляди очень дороги». – «Хорошо сделали вы, – отвечала императрица, улыбаясь, – что уведомили меня об этом; а я до сей поры и не знала, что лошади мои едят стерлядей. Постараемся это дело поправить».

Вот и другой случай под стать стерлядям. У кого-то из царской фамилии, кажется, у великого князя Павла Петровича, был сильный насморк. Ему присоветовали помазать се-

бе нос на ночь салом, и были приготовлена сальная свеча. С того дня было в продолжение года, если не долее, отпускаемо ежедневно из дворцовой конторы по пуду сальных свечей – «на собственное употребление его высочества».

Кажется, А. А. Нарышкин рассказывал, что кто-то преследовал его просьбами о зачислении в дворцовую прислугу. «Нет вакансии», – отвечали ему. «Да пока откроется вакансия, – говорит проситель, – определите меня к смотрению хотя бы за какой-нибудь канарейкой». – «Что же из этого будет?» – спросил Нарышкин. «Как что? Все-таки будет при этом чем прокормить себя, жену и детей».

Он же рассказывал, что один камер-лакей, при выходе в отставку, просил, за долговременную и честную службу отставить его, «не в пример другим», арапом.

В противоположность американским республикам, во дворце выгоднее быть черным, чем белым. Ради Бога, не ищите здесь ни игры слов, ни косвенной эпиграммы: здесь просто сказано, что жалованье, получаемое арапами, превышает жалованье прочей прислуги.

* * *

Ермолов рассказывал, что в Турецкую войну старик князь Прозоровский, уже и после Аустерлицкого похода, все еще считал Кутузова мальчиком, а этот мальчик (прибавил Алексей Петрович) и сам уже ходил как на лыжах.

По мнению Ермолова, наши две армии, отдельно действующие в начале войны 1812 года, не иначе как чудом успели соединиться под Смоленском. При всем уважении к храбрости и блистательным воинским дарованиям Багратиона, Ермолов полагает, что нельзя было поручить ему предводительство всеми войсками. Он того мнения, что и после соединения двух армий мы не в силах были предпринять наступательные действия. При малочисленности нашей, ввиду больших сил неприятеля, была на нашей стороне одна невыгода: несогласие и даже неприязнь (по крайней мере в Багратионе) двух начальников. Ермолов писал о том к государю откровенное и смелое письмо.

На одном из военных советов Ермолов предлагал какую-то решительную меру. На это, кажется, Тучков, заметил, что не лучше ли обождать вечера. Хорошо, возразил Ермолов, если ваше превосходительство заключите с Наполеоном условие, что он вас оставит в живых до вечера.

Каждый разговор с Ермоловым есть историческая, анекдотическая, военная лекция. Не говорим уже о вставочных, острых и резких словах, которыми он обстреливал, ни о характеристике многих государственных лиц, о верном взгляде его на вещи и события. В доме своем на Пречистенке принимал он посетителей обыкновенно вечером. В кабинете своем сидел он перед столом. В рассказах своих выдвигал он ящик стола и вынимал из него, смотря по предмету речи, доказательные и объяснительные акты: письма велико-

го князя Константина Павловича, Багратиона и проч. Самой внешностью своей, несколько суровой и величавой, головой львообразной, складом ума, речью, сильно отеканенной, он был рожден действовать над народными массами, увлекать их за собой и господствовать ими. Ему было бы место в древней Римской истории. В истории новейшей, многосложной, подчиняющейся строю административного порядка, он иногда сбивался с надлежащей почвы.

В последние годы служения своего он сделал несколько промахов. Главнейший состоял в том, что он, в выражениях уничижения паче гордости, просил об увольнении своем от звания члена Государственного Совета. Это звание ни в чем его не обязывало, он мог даже оставаться на жительстве в Москве, но в минуты решения важных государственных вопросов имел бы он возможность подавать свой голос. Но со всем тем, если, под раздражением неблагоприятных и щекотливых обстоятельств, мог он быть в рядах оппозиции и даже казаться стоящим во главе ее, то это было одно внешнее явление, которое многих обманывало; в сущности он был человеком власти и порядка. В нем была замечательная тонкость и даже хитрость ума, но под конец он слишком перетонил и перехитрил. Этим самым дал он против себя оружие противникам своим.

Но как бы то ни было, он выделяется высоким историческим лицом в числе сверстников своих. Будущему историку, художнику такая личность будет драгоценной находкой

в изображении русской картины действий и деятелей и закулисных проделок на театре текущего столетия.

* * *

Милорадович и Багратион были не только сослуживцы, но и совместники еще со времен суворовских. Милорадович не любил Багратиона и не скрывался в том. Во время Отечественной войны графиня Орлова-Чесменская вышла хоруговь и отправила ее в подарок к Милорадовичу.

Он, как известно, был рыцарь и сердечкин. Когда в 1815 году приехал он в Москву, NN шутя сказал ему: «Конец дело венчает, вы геройски дрались, теперь воспользуйтесь миром и предложите сердце и руку графине Орловой, которая помнила вас, когда вы были на полях сражения». – «Никогда, – отвечал он с некоторой досадой, – я не Багратион».

Графиня Скавронская была невеста знатного происхождения и очень богатая. Багратион женился на ней. Брак этот не был счастлив. Вскоре супруги разъехались. Княгиня жила постоянно за границей: славилась в европейских столицах красотой, алебастровой белизной своей, причудами, всегда не только простительными, но особенно обольстительными в прекрасной женщине, романтическими приключениями и умением *держатъ салон*, как говорят французы. Умение это преимущественно принадлежит французскому, то есть парижскому общежитию, а потому нужно оставить за ним и

французскую терминологию.

Это умение или искусство переходит в предания. Замечательно, что последними представительницами этого искусства в Европе, едва ли не по преимуществу, были русские дамы: княгиня Ливен, княгиня Багратион, Свечина. Салон первой был политический: многие европейские вопросы, сделки, преобразования, сближения дипломатических личностей тут намечывались на живую нитку разговора с тем, чтобы позднее обратиться в плотную ткань события. Салон второй нашей соотечественницы был салон более чисто-светский, так сказать, эклектический, без исключительного характера, а так, всего хорошего понемножку. Свечина председательствовала в салоне духовном с оттенком догматическим, но и литературным.

При всей бескорыстности своей, Милорадович был ужасный губитель денег: расточительность и щедрость его доходили до крайности; оттого и был он всегда в долгах. Во время генерал-губернаторства его в Петербурге, в один из приемных дней, подходит к нему, между прочими, француженка. *Monsieur le comte*, – говорит она, – *je viens vous d'ordonner et a moi d'obeir...* (я пришла к вашему сиятельству, умоляя вас.) – «Вам, милостивая государыня, повелевать, мне повиноваться».

Дело так объяснилось, что эта барыня приходила к Милорадовичу с просьбой заплатить давно взятые им у нее деньги взаймы. Оборачиваясь тогда к адъютанту своему, гово-

рит он при просительнице: «Arrangez moi, je vous prie, cette affaire» (Устройте мне, прошу вас, это дело), – и вежливо откланивается даме.

* * *

Князь Иван Голицын (Jean de Paris) рассказывал следующее слышанное им от князя Платона Зубова. Императрица Екатерина была недовольна английским министерством за некоторые неприязненные изъявления против России в парламенте. В то время английский посол просил у нее аудиенции и был призван во дворец. Когда вошел он в кабинет, собачка императрицы с сильным лаем бросилась на него, и посол немного смутился. «Не бойтесь, милорд, – сказала императрица, – собака, которая лает, не кусается и неопасна».

Вот и другой рассказ из того же источника. В день восшествия на престол Екатерины II прискакала она в Измайловскую церковь для принятия присяги. Второпях забыли об одном: об изготовлении манифеста для прочтения перед присягой. Не знали, что и делать. При таком замешательстве кто-то в числе присутствующих, одетый в синий сюртук, выходит из толпы и предлагает окружающим Царицу помочь в этом деле и произнести манифест. Соглашаются. Он вынимает из кармана белый лист бумаги и, словно по писаному, читает экспромтом манифест, точно заранее изготовленный. Императрица и все официальные слушатели в восхищении

от этого чтения.

Под синим сюртуком был Волков, впоследствии знаменитый актер. Екатерина в признательность пожаловала импровизатору значительную пенсию с обращением ее и на все потомство Волкова. Император Павел прекратил эту пенсию.

Нужно удостовериться в истине этого рассказа. Я большой Фома неверный в отношении к анекдотам. Люблю слушать и читать их, когда они хорошо пересказаны, но не доверяю им до законной пробы. Анекдоты, даже и настоящие, часто оказываются не без лигатуры и лживого чекана. Анекдотисты когда и ну лгут, редко придерживаются буквальной и математической верности. Анекдоты их, в продолжении времени, являются в новых изданиях, исправленных или измененных и значительно умноженных.

В истории люблю одни анекдоты, говорит Проспер Мериме. Наша русская история, к сожалению, малоанекдотична, особенно с тех пор, что хотят демократизировать историю. Полевой думал, что он создает новую русскую историю, потому что назвал худо сваренное творение свое *Историей Русского народа*; на деле же все являются отдельные лица. Народ в истории то же, что хоры в древней греческой трагедии; действие и содержание сосредотачиваются в действующих лицах, которые возвышаются над народом и господствуют над ним, хотя бы из него истекли.

* * *

NN говорит, что писатель X. дарованием своим напоминает русскую песню:

Белый, кудреватый,
Холост, не женатый.

Ум его белый, слог кудреватый, стреляет он холостыми зарядами, а о потомстве и помину быть не может.

* * *

Некто говорил о ком-то: он моя правая рука. «Хороша же, в таком случае, должна быть его левая», – сказал на это едкий граф Аркадий Морков.

* * *

Дмитриев – беспощадный подглядатай (почему не вывести этого слова из соглядатай?) и ловец всего смешного. Своими заметками делится он охотно с приятелями. Строгая физиономия его придает особое выражение и, так сказать, пряность малейшим чертам мастерского рассказа его.

Однажды заехал он к больному и любезному нашему Ва-

силию Львовичу Пушкину. У него застал он провинциала. «Разговор со мной, – говорит он, – обратился, разумеется, на литературу. Провинциал молчал. Пушкин, совесть, что гость его остается как бы забытый, вдруг выпучил глаза на него и спрашивает: а почему теперь овес? Тут же обернулся он ко мне и, глядя на меня, хотел как будто сказать: не правда ли, что я находчив и как хозяин умею приноровить к каждому речь свою?»»

Кто не слышал Дмитриева, тот не знает, до какого искусства может быть доведен русский разговорный язык. Впрочем, и он при случае употреблял французские слова. Можно полагать, что говорил он исключительно по-русски не из принципа, а из опасения не иметь довольно правильный и чистый французский выговор.

* * *

Д. П. Бутурлин рассказывал, что в отроческих летах ездил он с отцом своим по соседству в деревню к известному Новикову. У него был вроде секретаря молодой человек из крепостных, которому дал он некоторое образование. Он и при гостях всегда обедал за одним столом с барином своим.

В одно лето старик Бутурлин, приехав к Новикову, заметил отсутствие молодого человека и спросил, где же он? «Он совсем избаловался, – отвечал Новиков, – и я отдал его в солдаты».

Вот вам и либерал, мартинист, передовой человек! А нет сомнения, что Новиков в свое время, во многих отношениях, был передовым либералом в значении нынешнего выражения. Что же следует из того вывести? Ничего особенного и необыкновенного. Поступок Новикова покажется чудовищным, а потому и невероятным нынешним поколениям либералов. Он и в самом деле неблагоприятен и бросает некоторую тень «на личность Новикова». Но в свое время подобная расправа была и законна, и очень просто вкладывалась в раму тогдашних порядков и обычаев.

Дело в том, что можно быть передовым человеком по тому или другому вопросу, каковым был Новиков, например по вопросу печати и журналистики, а вместе с тем быть, по иным вопросам, строгим охранителем и сторонником порядков и учреждений не только нынешних, но и вчерашних.

Подобные примеры часто встречаются в Англии, в сей стране законной и общедоступной свободы. Тори, например, стоит за такое-то либеральное преобразование, а виг отстаивает законную меру старую, именно потому, что она старая. Многие этого не понимают, и им кажется, что уже если быть передовым, то надобно захватывать на лету каждую новизну и пускаться с нею или за нею в скачку с препятствиями, без оглядки и без передышки. Уж если быть либералом, говорят они, то быть круглым дураком, а что круглых умников не видеть. Человеческий ум не бывает со всех сторон правильно обточен, все же где-нибудь отыщется угловатость или зазуб-

рина.

Вот еще пример того, что каждая медаль имеет свою оборотную сторону, каждая лицевая – свою изнанку.

Лопухин (Иван Владимирович), мартинист, приятель и сподвижник Новикова, был также в свое время передовым человеком. Чувство благочестия и человеколюбия было ему сродно. Он был милостив и щедролюбив до крайности, именно до крайности. Одной рукой раздавал он милостыню, другой занимал он деньги направо и налево и не платил долгов своих; облегчая участь иных семейств, он разорял другие. Он не щадил и приятелей своих, и товарищей по мартинизму. Вдова Тургенева, мать известных Тургеневых, долго не могла выручить довольно значительную сумму, которую Лопухин занял у мужа ее. Нелединский, товарищ его по Сенату и ездивший с ним на ревизию в одну из южных губерний, так объяснял нравственное противоречие, которое оказывалось в характере его. По мистическому настроению своему, Лопухин вообразил себе, что он свыше послан на землю для уравнивания общественных положений: он брал у одного и отдавал другому.

* * *

А. М. Пушкин, острый, образованный человек, был плохой стихотворец, но при том настолько умен, что не был смешон при этой слабости. Вообще был он очень парадоксален

и думал, что можно всякому писать стихи и без особенного призвания. Он говорил, что Расин скотина (любимое его выражение, которое, в устах и голосе его и при выразительной мимике, имело особенно смехотворное действие на слушателей), а между тем перевел *Афелию* и принимался за перевод *Федры*.

Однофамилец и приятель его, Василий Львович (тоже особняк в своем роде), отличавшийся правильным и плавным стихом, не лишенным иногда изящности и художественности, смотрел с гордой жалостью на рифмокропание родственника своего и только пожимал плечами в классическом пренебрежении, но тот сокрушал его своим метким и беспощадным словом. А если искать в памяти это сокрушительное и вызывающее общий хохот слово, то едва ли найдешь, что припомнить и передать любопытному внимания.

После Пушкина нельзя собрать бы *Пушкинианы*, надобно было собственными ушами и глазами следить за ним, как за игрой актера на сцене, чтобы вполне понять и оценить действие его. Игры, искусства великого комического актера, даже и в незначительных ролях, не расскажешь. Так и шутки Пушкина не повторишь с верностью и свойственной им живостью.

Еще одна заметка. Это слово *скотина*, которое не сходило у него с языка, или, правильнее, поминутно сходило, может дать подумать не знавшим его, что он был несколько грубой и цинической натурой. Вовсе нет: он во всем прочем отли-

чался изящной вежливостью, мог быть бы образцовым маркизом при старом Версальском дворе. Эти противоположности придавали заманчивое своеобразие всей постановке его.

В то время, то есть до 1812 года, политические события не поглощали еще общественного внимания: люди были более на виду, более было общежительности и обмена понятий, характеров и личных свойств; малейшие оттенки личности выдавались напоказ и были оценены. А. М. Пушкин перевел *Тартюфа*, под именем *Ханжеева*. Этот перевод комедии Мольера едва ли не был первый, по крайней мере в стихах. Перевод, конечно, был плоховат, но знаменитость подлинника, известность переводчика, за недостатком дарования, придавали готовящемуся представлению на сцене прелесть любопытной новизны. Зала Петровского театра была полна. Комедия кое-как сошла. Приятели и знакомые Пушкина рукоплескали и по окончании представления дружно и громко стали вызывать его. Благодарно кланяясь, явился он перед публикой в директорской ложе. Вслед за тем и неизбежный Неелов подал свой голос в следующих стихах:

Не тот герой, кто век сражался,
Разил Отечества врагов,
Победы лавром увенчался
И к славе вел ряды полков.
Но тот, кто искажил Мольера
И смело пред судом партера,
Признал сей слабый труд за свой:

Вот мой герой, вот мой герой!

Другой приятель Пушкина приветствовал перевод его таким образом:

«Тартюфа видел я». – Что ж много ли смеялся? –
«Ах нет, мне Пушкин друг: слезами заливался».

Наша публика довольно шумна в театре, но не отличается, подобно парижской, остроумными и забавными выходками. Вот исключение. Роль *Тартюфа* или *Ханжеева* разыгрывал Злов, актер с большим дарованием. При вызовах раздались из партера голоса: «Злова Пушкина!» И дружный хохот заявил, что каламбур был понят.

* * *

На приятельских и военных попойках Денис Давыдов, встречаясь с графом Шуваловым, предлагал ему всегда тост в память Ломоносова и с бокалом в руке говорил:

Не право о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов.

Он же рассказывал, что у него был приятель и сослуживец, большой охотник до чтения, но книг особенного рода. Бывало, зайдет он к нему и просит, нет ли чего почитать. Да-

выдов даст ему первую книжку, которая попадет под руку. – «А что, это запрещенная книга?» – спросит он. «Нет, я купил ее здесь в книжной лавке». – «Ну, так лучше я обожду, когда получишь запрещенную».

Однажды приходит он с взволнованным и торжественным лицом. «Что за книгу прочел я теперь, – говорит он, – просто чудо!» – «А какое название?» – «Мудренное, не упомяну». – «Имя автора?» – «Также забыл». – «Да о чем она толкует?» – «Обо всем, так наповал все и всех ругает. Превосходная книга!»

Из-за этого потребителя бесцензурного товара так и выглядывает толпа читателей. Кто не встречал их? Хороша ли, дурна ли контрабанда, им до того дела нет. Главное обольщение их – контрабанда сама по себе.

Одна зрелая дама из русских немок также принадлежала к разряду исключительных читателей. Она все требовала книг, где есть про любовь. Приходит она однажды к знакомой и застаёт ее за чтением. «Что вы читаете?» – «Древнюю историю». – «А тут есть про любовь?» – «Есть, но только в последнем томе, а их всего двадцать». – «Все равно, дайте мне, я на досуге их прочту».

* * *

Один пастор венчал двух молодых весьма невзрачной и непривлекательной наружности. По совершении обряда ска-

зал он им напутственную речь и, между прочим, следующее: «Любите друг друга, мои дети, любите крепко и постоянно, потому что если не будет в вас взаимной любви, то кой черт может вас полюбить».

Это приветствие мне всегда приходит на мысль, когда Z выхваляет X, а X выхваляет Z.

* * *

Карамзин говорит о В. В. Измайлове, что он и письменно так же шепелявит, как устно.

* * *

– У меня из ума не выходит... (кто-то начал так свой рассказ). – Ты хочешь сказать, из головы, – перебил его NN.

* * *

Князь А. Ф. Орлов (тогда еще граф) был послан в Константинополь с дипломатическим поручением. Накануне аудиенции у великого визиря доводят до сведения его, что сей турецкий сановник намеревается принять его сидя. Состоящие чиновники при князе предполагают войти по этому предмету в объяснение с Портою, чтобы отвратить это

неприличие. Нет, отвечает Орлов, никаких предварительных сношений не нужно: дело само собой как-нибудь обделается.

На другой день он отправляется к визирю, который в самом деле не трогается с места при входе нашего уполномоченного посла. Алексей Федорович знаком был с ним и прежде. Будто не замечая сидения его, он подходит к нему, дружески здоровается с ним и, как будто шутя, мощной орловской рукой приподнимает старика с кресел и тут же опять опускает его на кресла. Вот что называется практическая и положительная дипломатия. Другой пустился бы в переговоры, в письменные сношения по пустому вопросу церемонии. Все эти переговоры, переписки могли бы не достигнуть до желанной цели, а тут просто и прямо все решила рука-владыка.

Орлов никогда не готовился к дипломатической деятельности. Поприще его было военная и придворная служба. Позднее обстоятельства и царская воля облекли его дипломатическим званием. Конечно, не явил он в себе ни Талейрана, ни Меттерниха, ни Нессельрода; но светлый и сметливый ум его, тонкость и уловчивость, сродне русской натуре и как-то дружно сливающиеся с каким-то простосердечием, впрочем, не поддающимся обману, заменяли ему предания и опытность дипломатической подготовки. Прибавьте к тому глубокое чувство народного достоинства, унаследованное им от орла из стаи той высокой, которую воспел Державин, и отменно красивую и богатырскую на ружность, которая,

что ни говори, всегда обольстительно действует на других, и можно будет прийти к заключению, что все это вместе возмещало пробелы, которые остались от воспитания и учения недостаточно развитых.

Граф Фикельмон с особым уважением отзывался о способностях, изворотливости и мудрой осторожности дипломата-самоучки. По мнению его, он при случае мог заткнуть за пояс присяжных и заматерелых дипломатов, как он, впрочем, в свое время и заткнул великого визиря.

Дипломатия все же еще придерживается какого-то педантизма в приемах своих. Сырая сила простого здравомыслия может иногда с успехом озадачить ее.

Орлов знал, так сказать, наизусть царствования императоров Александра I и Николая I; знал он коротко и великого князя Константина Павловича, при котором был некогда адъютантом. Сведения его были исторические и преимущественно анекдотические, общие, гласные, частные и подноготные. Жаль, если кто из приближенных к нему не записывал рассказов его. Он рассказывал мастерски и охотно, даже иногда нараспашку. Ни записок, ни дневника по себе он, вероятно, не оставил: он для того был слишком ленив и не довольно литературен.

* * *

Поццо ди Борго, в тридцатых годах, спрашивал приезже-

го из Петербурга, что делается нового в русской правительственной среде. В то время были на очереди учреждения министерства государственных имуществ и все преобразования, которые ожидались от него.

«Это все очень хорошо, – сказал наш посол, – но боюсь торопливости, с которой покушаются у нас на государственные нововведения. На все нужно (говорил он) законное и плодотворное содействие времени; иначе будешь походить на человека, которому желательно быть отцом и который говорил бы беременной жене своей: у меня не станет терпения выждать девятимесячного срока, сделай милость, постарайся родить пораньше».

Поццо очень скучал пребыванием в Лондоне. Он на старости никак не мог свыкнуться и ужиться с английскими обычаями и обществом. В Англии все высшее общество живет много в поместьях своих или кочует по европейскому материку. Англичане и большие домоседы, и большие туристы и космополиты. В Лондоне, что называется, high-life съезжается только на сезон, который продолжается несколько летних недель. Осенью все лорды, весь fashion отправляется опять путешествовать, или в поместья на охоту. Лондон пустеет. Особенно эта пора тяжела для Поццо: ему нужен Париж с его гостеприимными салонами под председательством умной и образованной хозяйки.

Поццо был, что называется, un aimable et brillant causeur, любезный и блестящий разговорщик. Ему нужна парижская

аудитория, он по ней тосковал и напрасно искал ее в Лондоне. Утром занимался он европейскими делами (а может быть, и своими, но не в ущерб России). Вечером же не находил он салона, в котором мог бы дать волю своей живой и остроумной речи; не находил слушателей, которые понимали бы его и своими отзывами умели подстрекать его и выкликать воспоминания из его богатой и словоохотливой памяти. Лишенный всего этого, говорил он с меланхолической забавностью: «Хоть козу одели бы в женское платье и засадили в салоне, я знал бы, по крайней мере, куда деваться с вечерами своими». С горя играл он по вечерам в вист по самой ничтожной цене и забавно сердился, когда проигрывал.

Однажды сданные карты показались ему так плохи, что он бросил их на стол, говоря, что проиграл партию. Николай Киселев (советник при посольстве) сказал, что карты вовсе не так худы, и что даже легко леве останется за ним. Надобно было видеть, с какой детской радостью и торопливостью кинулся он подбирать разбросанные по столу карты и продолжал игру.

Он очень был любим своими подчиненными: обращался с ними просто и дружелюбно, никаких начальнических приемов и повадок у него не было. В жизни своей он более делал дело, чем исправлял службу, а потому мало и знал он канцелярские порядки и вообще официальную обстановку с ее обрядами и буквальными принадлежностями. Однажды приглашен он был к обеду во дворец с Киселевым, только

что поступившим в посольство. Не зная лондонских обычаев, Киселев спросил графа, как следует ему одеться? Черный фрак, белый галстук, отвечал он, и с орденской лентой по жилету. – «Да у меня никакой ленты нет», – возразил Киселев. «Ну, так что же, – сказал Поццо, – все-таки наденьте какой-нибудь орден (un decoration quelconque)».

Это напоминает одного богатого американца, который в 1830-х годах приезжал в Петербург с дочерью-красавицей. Красота ее открыла им доступ в высшее общество. Это было летом: в это время года законы этикета ослабевают. Отец и дочь приглашаемы были и на Петергофские балы. В особенных официальных случаях являлся он в морском американском мундире, поэтому когда из вежливости обращались к нему, то говорили о море, о флотах Соединенных Штатов и так далее. Ответы его были всегда уклончивы, и отвечал он как будто неохотно. «Почему вы меня все расспрашиваете о морских делах? Все это до меня не касается, я вовсе не моряк». – «Да как же носите вы морской мундир?» – «Очень просто, мне сказали, что в Петербурге нельзя обойтись без мундира. Собираясь в Россию, я на всякий случай заказал себе морской мундир, вот в нем и щеголяю, когда требуется».

* * *

После первого представления оперы *Жизнь за Царя*, спра-

шивали Д. П. Татищева (бывшего посла нашего в Вене), что скажет он о новой опере? – «Ничего сказать не могу, – отвечал он, – знатоки уверяют, что нужно прослушать ее несколько раз, чтобы понять и оценить достоинство ее, а мною такая скука овладела при первом представлении, что слуга покорный, на второе меня не заманят».

Профаны, не посвященные в таинства музыкальной науки, чувствуют, любят ее, но не дают себе отчета в своем наслаждении. Магистры, доктора музыки разбирают ее как алгебраическую задачу. Грамотеи музыкальной речи разлагают, рассекают ее с грамматической точки слуха. В них душа не поет с Моцартом и Россини, а вычисляет звуки созвучия, головоломно проверяет правила и законное развитие контрапункта и, если нет грамматической ошибки, нет пропуска в музыкальном исчислении, профессора контрапункта и расставщики кавык и звучных препинаний остаются очень довольны, потому что все обстоит благополучно.

* * *

Д. В. Дашков говорил в 1830-х годах об одном государственном человеке: *c'est un ministre sans souci et un philosophe sans le savoir* (он министр без заботы и философ сам того не ведая). – Фридерик Великий печатал произведения свои под именем: *Le philosophe sans souci*. Французский комик Седен написал комедию: *Le philosophe sans le savoir*.

* * *

Граф Канкрин говорил: «Порицают такого-то, что встречаешь его на всех обедах, балах, спектаклях, так что мало времени ему заниматься делами. А я скажу: слава Богу! Другого хвалят: вот настоящий государственный человек, нигде не встретите его, целый день сидит он в кабинете, занимается бумагами. А я скажу: избави Боже!»

* * *

NN. говорит, что ему жалки люди, которые книгу жизни прочитывают от доски до доски с напряженным вниманием и добросовестным благоговением: они обыкновенно остаются в дураках. Жизнь надобно слегка перелистывать, ловко и вовремя выхватывать из нее что найдешь в ней хорошего и по вкусу, а прочее пропускать, не задумываясь на нем.

* * *

Наталья Кирилловна Загряжская, урожденная графиня Разумовская, по всем принятым условиям общежитийским и по собственным свойствам своим, долго занимала в петербургском обществе одно из почетнейших мест. В ней было

много своеобразия, обыкновенной принадлежности людей (а в особенности женщин) старого чекана. Кто не знал этих барынь минувшего столетия, тот не может иметь понятия об обольстительном владычестве, которое присваивали они себе в обществе и на которое общество отвечало сознательным и благодарным покорством. Иных бар старого времени можно предать на суд демократической истории, которая с каждым днем все выше и выше поднимает голос свой, но не трогайте старых барынь! Ваш демократизм не понимает их. Вам чужды их утонченные свойства, их язык, их добродетели, самые слабости их недоступны вашей грубой оценке.

Во многих отношениях Н. К. Загряжская не чужда была современности, но в других сохранила отпечаток свой старины, отпечаток, так часто и легко сглаживаемый у других действием общественных преобразований и просвещения, или того, что называется просвещением. Упорная, упрямая натура нехороша, но нельзя не любоваться натурами, которые, при законных и нужных уступках господству времени, имеют в себе довольно сил и живучести, чтобы отстоять и спасти свою внутреннюю личность от требований и самовластных притязаний того, что называется новыми порядками или просто модой.

В новом обществе, в доме родственников своих, князя и княгини Кочубеевых, у которых она жила, Загряжская была какой-то исторической представительницей времен и царствий давно прошедших. Она была как эти старые семей-

ные портреты, писанные кистью великого художника, которые украшают стены салонов новейшего поколения. Наряды, многие принадлежности этих изображений давным-давно отжили, но черты лица, но сочувственное выражение физиономии, обаяние творчества, которое создало и передало потомству это изображение, все вместе пробуждает внимание и очаровывает вас. Вы с утонченным и почтительным чувством удовольствия вглядываетесь в эти портреты, вы засматриваетесь на них; вы, так сказать, их заслушиваетесь. Так и Пушкин заслушивался рассказов Натальи Кирилловны: он ловил при ней отголоски поколений и общества, которые уже сошли с лица земли; он в беседе с ней находил необыкновенную прелесть историческую и поэтическую, потому что и в истории много истинной и возвышенной поэзии, и в поэзии есть своя доля истории. Некоторые драгоценные частички этих бесед им сохранены, но самое сокровище осталось почти непочатым.

Все мы, люди старого поколения, грешили какою-то беззаботностью, отсутствием скопидомства. Мы проживали, тратили вещественные наследства наших отцов; не умели сберечь и умственные наследства, ими нам переданные. Сколько капиталов устной литературы пропустили мы мимо ушей! Мы любили слушать стариков, но не умели записывать слышанное нами, то есть не думали о том, чтобы записывать. Поневоле и приходится сказать, с пословицей: *глупому сыну не в помощь богатство*. Теперь и рады бы мы за-

писывать текущую жизнь, но, по выражению типографическому, не хватает оригиналу, или не хватает оригиналов по житейскому значению.

В числе старинных примет, отличавших покойную Загряжскую, можно привести и отношения ее к прислуге своей. Она очень боялась простуды и, в прогулках ее пешком по городу, старый лакей нес за ней несколько мантилий, шалей, шейных платочков; смотря по температуре улицы, по переходу с солнечной стороны на тенистую и по ощущениям холода и тепла, она надевала и скидывала то одно, то другое. Однажды, возвратясь домой с прогулки, она смеясь рассказала разговор свой с лакеем. Этот, на требование ее, как-то замешкался в подаче того, что она просила. «Да подавай же скорее! – сказала она с досадой. – Как надоел ты мне». – «А если бы знали вы, матушка, как вы мне надоели», – проворчал старый слуга, перебирая гардероб, которым был он навьючен.

Мы знали Загряжскую уже сторбленной старушкой; не думаем, чтобы в молодости своей была она красавицей, но не менее того и она могла воспламенять сердца. Граф Андрей Шувалов, блестящий царедворец двора Екатерины, приятель Вольтера и Лагарпа (французского писателя), который и сам писал французские стихи, часто приписываемые лучшим французским современным поэтам, был ее почтительным обожателем. Так по крайней мере можно заключить из стихов его, к ней обращенных. В них много страсти и вме-

сте с тем много сдержанности и рыцарской преданности. Кажется, нигде не были они напечатаны и сохранились только переданные из памяти в память одним поколением в другое. Вот они:

Cet invincible amour que je porte en mon sein,
Dont je ne parle pas, mais que tout Vous atteste,
Est un sentiment pur, une flamme celeste,
Que je nourris, hélas, mais c'est en vain.

De la seduction je ne suis pas l'apotre:
Je serai fortune possedant Vos appas,
Je vivrai malheureux, si Vous ne m'aimez pas,
Je mourrai de douleur, si Vous aimez un autre.

Нелединский, этот наш Петрарк, своими песнями, дышащими нежностью и глубокого и тонкого чувства, особенно восхищался постепенностью и верностью трех последних стихов. Кажется, стихи Шувалова не переводимы на русский язык стихами. Доказательством тому, между прочим, служит и то, что Нелединский, так сочувствовавший этим стихам и так набивший руку на переводы, не пытался их перевести. Можно приблизительно передать следующим образом смысл этих стихов (повторяем, смысл, а не душу, не прелесть):

«Эта непобедимая любовь, которую ношу в груди, о которой не говорю, но о которой все вам свидетельствует, есть

чувство чистое, пламень небесный. Питаю ее в себе, но, увы! Напрасно. Не хочу быть апостолом обольщения: я был бы благополучен, встречая вашу взаимность, проведу свой век несчастным, если вы меня не полюбите, умру со скорби, если полюбите другого».

Иностранные биографические словари обыкновенно смешивают этого графа Андрея Шувалова с Иваном Ивановичем, который не был графом. Случается эта ошибка и у нас. Во французской литературе особенно славилось его *Epitre a Ninon* (послание к известной Ниноне де-Ланкло). Она умерла в 1706 г., а послание написано в 1774. Оно теперь мало известно и сделалось литературной редкостью. Не худо было бы перепечатать его в одном из наших сборников. Оно все же изъявление русской умственной деятельности, так сказать, барометрическое указание на температуру общества, ей современной. Мы нынче смотрим свысока на эти игрушки старых детей старого времени, но игрушки игрушкам рознь, и если на игрушке есть отпечаток мысли и художества, то следует хранить ее в музее, как хранят мельчайшие утвари и безделки, выгребаемые из-под помпейских развалин. По этим безделкам судят об исторической и общественной обстановке того времени.

Что же касается до того, что Шувалов писал французские, а не русские стихи, то по мне хорошая французская поэзия русского человека гораздо сочувственнее и даже более ласкает мое народное самолюбие, нежели пошлые русские сти-

хи, написанные уроженцем одной из наиболее великоросских губерний. Патриотизм есть чувство, которое многие понимают по-своему. Надобно быть патриотом своего отечества, говорил один почтенный старичок; другой говорил, что в Париже порядочному человеку жить нельзя, потому что в нем нет ни кваса, ни калачей.

Еще одна заметка о графе Андрее Шувалове. Известно, что императрица Екатерина очень умно и своеобразно писала по-французски и по-русски, равно известно, что она писала очень неправильно на том и другом языке. Храповицкий часто обмывал ее русское черное белье, или черновую бумагу. Граф Шувалов был такой же прачкой по части французского белья, по крайней мере, одной из прачек. Между прочим, исправлял он грамматические письма императрицы к Вольтеру. Даже когда бывал он в отсутствии, например в Париже, получал он черновую от Императрицы, очищал ошибки, переписывал исправленное и отправлял в Петербург, где Екатерина, в свою очередь, переписывала письмо и, таким образом, в третьем издании посылала его в Ферней.

Это рассказывал Сперанский, который одно время занимался по имениям покойного графа Шувалова. Он же рассказывал следующие подробности про редакционные занятия государыни: она обыкновенно писала на бумаге большого формата, редко зачеркивая написанное, но если приходилось ей заменить одно слово другим или исправить выражение, она бросала написанное, брала другой лист бумаги и за-

ново начинала редакцию свою.

* * *

В первых годах текущего столетия можно было видеть визитную карточку следующего содержания: такой-то (немецкая фамилия) *временный главнокомандующий бывшей второй армии.*

О нем же рассказывали и это: он был очень добрый человек, любил подчиненных своих и особенно приласкивал молодых офицеров, которые поступали под начальство его, но слаб и сбивчив был он памятью. Например: явится к нему вновь назначенный юноша, из кадетского корпуса. Он спросит фамилию его. – «Павлов». – «А не сын ли вы истинного друга моего Петрова? Вы на него и очень похожи». – «Нет, ваше превосходительство: я Павлов». – «А, извините, теперь припоминаю, вероятно, батюшка ваш, мой старый сослуживец и друг, Павел Никифорович Сергеев?» И таким образом, в течение нескольких минут переберет он пять или шесть фамилий и кончит тем, что нареченного Павлова пригласит, под именем Алексеева, к себе откусать запросто, чем Бог послал.

Кстати о визитных карточках. За границей попадаются такие с вольными или невольными ошибками, например: какой-нибудь *надворный советник* переводит на французский язык чин свой: *conseiller de la cour de Russie*, вместо *conseiller*

de cour. И добрые французы приветствуют в нем советника императорского двора, или государственного кабинета, и нередко с большой наивностью говорят ему: по возвращении вашем в Россию, вы должны были бы присоветовать правительству такую-то или другую меру. *Губернский секретарь* непременно возводит себя в *secrétaire du gouvernement*, и так далее! Поди объясняй иностранцам весь условный и кабалистический язык нашей табели о рангах.

Фельдмаршал граф Гудович крепко стоял за свое звание. Во время генерал-губернаторства его в Москве приезжает к нему иностранный путешественник. Граф спрашивает его, где он остановился. – *Au pont des Marechaux*. – *Des marchants ferrants, vous voulez dire*, – перебивает граф довольно гневно: *en Russie, il n'y a de marechal que moi*.

Он говаривал, что, с получением полковничьего чина, он перестал метать банк сослуживцам своим. Неприлично, продолжал он, старшему подвергать себя требованию какого-нибудь молокососа-прапорщика, который, понтируя против вас, почти повелительно вскрикивает: *attande!*

В Москве был он настойчивый гонитель очков и троечной упряжи. Никто не смел являться к нему в очках, даже и в посторонних домах случалось ему, завидя очконосца, посылать к нему слугу с наказом: нечего вам здесь так пристально разглядывать, можете снять с себя очки. Приезжие в город из подмосковных на дрожках, в телегах или в легких колясках, запряженных тройками, должны были, под опасением

попасть в полицию, выпрягать у заставы одну лошадь и, привязывая ее сзади, ехать таким образом по улицам, что было очень некрасиво и неудобно для пешеходов, в которых эти лошади могли свободно лягать.

Но вот наступил 1812 год. Меры благочиния, принимаемые против злоупотребления очков и третьей лошади, показались правительству недостаточными. Оно признало нужным вызвать в Москву новую, свежую, более энергическую силу. Граф Растопчин заменил графа Гудовича, при котором, между прочим, был домашний врач, кажется, Сальваторе. Этого последнего подозревали в неблагонадежности и в некоторых сношениях с неприятелем. Граф Гудович гнал очки, а граф Растопчин говорил в одной из своих газет, что *он смотрит в оба*, что, впрочем, не помешало ему просмотреть Москву, хотя и по обстоятельствам, от него не зависевшим.

* * *

Один из московских полицмейстеров того времени говорил перед вступлением неприятеля в белокаменную: «Вот оказия! Сколько лет нахожусь я на службе в этой должности. Мало ли чего не было! Но ничего подобного этому не видал я».

* * *

При переводе К. Я. Булгакова из московских почтдиректоров в петербургские, обер-полицмейстер Шульгин говорил брату его Александру: «Вот мы и братца вашего лишились. Все это комплот против Москвы. Того гляди и меня вызовут. Ну уж если не нравится Москва, так скажи прямо: я берусь выжечь ее не по-французски и не по-растопчински, а по-своему, так после меня не отстроят ее во сто лет».

Он же говорил: «Французы ужасные болтуны и очень многословны. Например, говорят они: *Коман ву порте ву?* К чему эти два *ву*? Не проще ли сказать: *Коман порте?* И так каждый поймет».

* * *

При выборах в Московском дворянском собрании князь Д. В. Голицын в речи своей сказал о выбранном совестном судье: сей, так сказать, неумытный судья. Ему хотелось высказать французское значение *la conscience est un juge inexorable* и сказать *неумолимый* судья, но Мерзляков не одобрил этого слова и предложил *неумытный*. «И поневоле неумытный, – сказал Дмитриев, – он умываться не может, потому что красит волосы свои».

* * *

Русский, пребывающий за границей, спрашивал земляка своего, прибывшего из России: «А что делает литература наша?» – «Что сказать на это? Буду отвечать, как отвечают купчихи одного губернского города на вопрос об их здоровье: не так, чтобы так, а так, что не так что не очень так».

* * *

Полевой написал в альбоме г-жи Карлгоф стихи под заглавием: «Поэтический анахронизм, или стихи в роде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева, писанные в 19-м веке». И какие же это стихи в роде Дмитриева! Вот образчик:

Гостиная – альбом,
Паркет и зала с позолотой
Так пахнут скукой и зевотой.

Паркет *пахнет зевотой!* Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличий, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными и образцовыми стихами Дмитриева. А есть люди, которые смотрели, есть такие, которые смотрят и ныне на Полевого как на критика и на

литературного судью. Полевой был просто смысленный русский человек. Он завел литературную фабрику на авось, как завел бы ситцевую или всякую другую мастерскую. Не очень искусный и совестливый в работе своей, он выказывал товар лицом людям, не имеющим никакого понятия о достоинстве товара. Опять, как русский человек, надувал он их немножко, как следует надувать русских потребителей. Почему же и нет? Это в порядке и шло благополучно. Товар по мастеровому, и покупатель по товару. Так вообще идут две трети всякой торговли.

* * *

Когда Магницкий второй ссылкой своей был сослан в Ревель, Сперанскому были приписаны следующие слова:

«Как можно посылать Магницкого в Ревель? Туда ездят за здоровьем, а он присутствием своим и воздух заразит».

Вот как нередко развязываются политические дружбы и связи!

Неизвестно, до какой степени Магницкий способен был заразить воздух, но, по слухам, несомненно, что он в ссылочных пилигримствах своих затронул не одно женское сердце. Он и в Ревеле был еще видный, статный и красивый мужчина. Черты лица правильные, лицо выразительное, взгляд уклончивый и вместе с тем вкрадчивый. Внешние приемы его отличались изящностью, щегольством, вежливостью и

навыком к избранному обществу. Какие ни были бы политические замыслы его, наружность и обращение его постоянно носили отпечаток аристократический, свойственный всем благовоспитанным людям того времени. Одним словом, был виден в нем светский человек, в хорошем и полном значении, чего не было в Сперанском ни в первой поре возвышения, ни во второй поре восстановления его.

Родовая оболочка Сперанского всегда более или менее выказывалась. Впрочем, должно заметить, что по крайней мере в последнем периоде своем он был отменно вежлив и предупредителен. С людьми, отличающимися умственными способностями или дарованиями, пускал он в ход даже некоторое искусное заискивание и обольщение. Во время первой силы его, говорили, что при разговоре о вельможах екатерининских времен сказал он: «В наше время вельмож нет и быть не может. Вельможа разве один я». Сказал ли он это или нет, ни утвердительно, ни отрицательно решить теперь нельзя, но во всяком случае можно признать за истину, что школа испытания, через которую он прошел, была ему в пользу, что, впрочем, и весьма естественно в человеке умном и отрезвившемся от хмеля счастья и фортуны.

Магницкого не знавал я на поприщах государственной деятельности: ни в Петербурге, где он вращался спутником или отблеском светила, то есть Сперанского, ни в Симбирске, где был он губернатором, ни в Казани, где управлял он университетом и учебным округом. Узнал я только Магницкого со-

сланного, и то видел его всего два раза, или, точнее, один раз: первый, мельком в постороннем доме, другой, у себя, накануне отъезда моего из Вологды. Посещение его продолжалось около двух часов. Он показался мне человеком умным и образованным, с некоторыми оттенками литературы, хотя, впрочем, не знаю почему. *Певец во стане русских воинов*, который тогда прислан мне был из Петербурга, напоминал, по мнению его, английского поэта Драйдена в его *Торжестве Александра*. Говорил он правильно и бойко как по-русски, так и по-французски. Озлобления и желчи в нем я не заметил, а также и чванства прежнего блеска и чванства падения своего. (Есть люди, которые, так сказать, щеголяют и пыль пускают в глаза опалю своей.) Ничего не было в нем ссыльного: он казался, как и все мы, москвичи, временно высленными из Москвы, по независимым от нас обстоятельствам. И только! На первых порах знакомства, и, так сказать, при первой встрече со мной, он был довольно откровенен, хотя, разумеется, не вполне разоблачил тайнства деятельности Сперанского, которого был он подмастерьем и, так сказать, приказчиком. Не объяснил он подробно и причины крутого падения обоих.

Общее впечатление, оставшееся во мне после этой беседы, следующее. В замыслах Сперанского не было ничего преступного и, в юридическом смысле, государственно-изменнического, но было что-то предательское в личных отношениях Сперанского к Государю. Неограниченная доверен-

ность Александра не встречала в любимце и сподвижнике его полной взаимности. Напротив, могла встретить она по-ползновение употребить, если не во зло, то, нередко, через край, эту царскую доверенность. Кажется, не подлежит сомнению, что в окончательных целях не было единства между императором и министром; сей последний хотел идти далее и в особенности скорее. С другой стороны, в приятельских разговорах, чуть ли даже не в переписке, пускаемы были шутки, насмешливые прозвища, заимствованные, между прочим, из сказок Вольтера. Все это, когда сделалось известным, не могло не иметь прискорбного отголоска в чувствах государя. Несколько мнительный и, при всей кротости своей, самолюбивый Александр чувствовал себя нравственно и лично оскорбленным в этом тайном неуважении к нему Сперанского. В этом мог он видеть даже предательство и, во всяком случае, имел полную причину признать это неблагодарностью. Прибавьте к тому почти общее недовольство при оглашении государственных мер, вымышляемых Сперанским, неудовольствие, имевшее в Карамзине красноречивого обличителя, а в Великой княгине Екатерине Павловне, в графах Ростопчине и Армфельдте, в Балашове и, может быть, во многих других, – деятельных и сильных и уже не просто теоретических поборников; примите притом в соображение, что на Россию надвигалась туча, разразившаяся грозой 1812 года, и известны были наполеоновские и вообще французские сочувствия Сперанского; совокупите все

эти обстоятельства, подведите их под один итог, и тогда, если еще не вполне, то по крайней мере несколько объяснится и оправдается неожиданное и всех изумившее падение могучего счастливица.

В рассказе своем Магницкий живописно изображал некоторые подробности этого падения и роковой аудиенции, на которой совершился разрыв. Сперанский прямо из дворца отправился к Магницкому, чтобы уведомить его о случившемся, но у подъезда дома, им занимаемого, узнал он, что Магницкий вывезен был под полицейским надзором. Не мудрено было догадаться ему, что та же участь ожидает и его. Подъехав к себе и выходя из кареты, увидел он, через окно, *силуэтку Балашова, которая рисовалась на стене кабинета его*: подлинные слова, сказанные Магницким, который, вероятно, передавал их из письма к нему Сперанского.

Изо всего разговора моего с Магницким осталось во мне впечатление, что в нем не было основы государственного человека. Впрочем, едва ли и сам Сперанский был таковым в полном значении этого выражения. Нечего и говорить, что он был человек, значительно возвышающийся над уровнем человеческих рядов. Стоит только прочесть послужной список его и проверить некоторые вехи, значащиеся на пути, им пройденном от сельского священнического дома до высших государственных должностей и почестей, чтобы убедиться, что перед нами натура избранная, сильная, жгучая. Тут одним счастьем не объяснишь подобного перерождения и пре-

образования. Разумеется, счастье нужно и тут, и очень нужно, но притом нужны еще ум честолюбивый, врожденные способности и дарования, напряженная сила воли, ничем не отвлекаемая и постоянно бьющая в одну цель.

Талейран сказал о Тьере: *il n'est pas un parvenu, il est un arrivé*. Можно сказать и о Сперанском: он не выскочил, а дошел. Если хорошенько взглядеться в жизнь, способности и сокровенные свойства подобных государственных счастливицев, то убедишься, что их счастье не есть одно прихотливое создание самовластного произвола; убедишься, что в них самих уже и ранее таились зародыши и залогов успехов их и возвышения. Разумеется, выборы власти, как и все человеческие действия, могут оказаться ошибочными, но власть вообще прозорлива: на стороне ее, и при выборах не совсем удачных, встречаются, при тщательном изыскании и дознании, побуждения и причины, которые могут в некоторой степени оправдывать эти выборы.

Сперанский был ум светлый, гибкий, восприимчивый, может быть, слишком восприимчивый, но, с другой стороны, ум его был более объемистый, нежели глубокий, ум более сообразительный, нежели заключительный. При всей склонности своей к нововведениям, он мало имел в себе почину и творчества. В нововведениях своих был он более подражатель, часто трафаретчик. Может быть, по свойствам своим и характеру, по быстроте перехода из положения более чем скромного к положению почти господствующему над все-

ми, он, при всем уме своем, при всей сметливости, не успел опомниться, осмотреться и хладнокровно оценить счастье свое. Он слепо и с упоением предался ему. Во время силы своей и лихорадочной преобразовательной деятельности он, разумеется, находил в людях усердные и порабощенные орудия себе; в ласкателях, в потакателях также недостатка не было и быть не могло. Но ни в среде правительственной, ни в среде общественной не имел он ни чистосердечных союзников, ни единомышленников. Он ни на что и ни на кого опереться не мог.

Здесь не может быть и речи об опоре, которую он имел в самом государе: опоре, разумеется, чересчур достаточной, чтобы поддержать и вполне застраховать его. Но по стечению и по роковой силе обстоятельств наконец и эта опора изменила ему. Он пал, никем не оплаканный, разве один государь искренно и прискорбно сочувствовал падению, которого был он, так сказать, невольным виновником. Есть свидетельства, на это указывающие. Нет сомнения, что государь любил Сперанского более, нежели Сперанский любил его. Есть и на это неопровержимые свидетельства.

Кем-то сказано, что Сперанский был преимущественно *чиновник огромного размера*.

Есть люди, которые веруют во всемогущество и все-творчество редакции. Они в пере своем видят рычаг Архимеда, а в листе бумаги – точку опоры, о которой он тосковал. Едва ли не приближается Сперанский к этому разряду людей.

Он оставил по себе много письменных памятников: проекты, уложения, регламентации, издательские, многотомные и весьма полезные как справки, труды по части кодификации. Все это вообще, если не строго и придирчиво вникать в подробности, незабвенные и многоценные заслуги. Но все это мог оставить по себе и ученый профессор, не выходявший из кабинета своего. Государственной личности все еще тут не выказывается. Как бы то ни было, Сперанский займет видное место в нашей современной гражданственной истории. Но существенных, прочных, вполне государственных следов его отыщется немного на отечественной почве.

Не говорим уже о Пензе, где он просто милостиво, дружелюбно губернаторствовал по обыкновенным порядкам и общепринятому покрою; круг действия его в этих пределах был слишком ограничен, слишком тесен для властолюбивого ума его, требующего более простора и привыкшего к большому простору.

Но как могла Сибирь не возбудить государственной деятельности его? Как эта земля обетованная, эта новь, обещающая такую богатую и плодоносную жатву руке трудолюбивой и созидательной, которая посвятила бы себя обработке ее, как не прилепила она его к себе? Как не овладела она всеми его умственными способностями и сочувствиями, чтобы он на ней, на почве ее, в самые недра этой почвы, а не только на бумаге, поселил и водворил свои государственные понятия и мысли, если они в самом деле были ему присущи?

Тут расстилалось перед ним бесконечное и беспрепятственное поприще для многих действительных, а не только канцелярских преобразований. Как не высказал, не выказал себя тут истинный нововводитель, прокладыватель новых путей, зачинщик новых порядков?

Вот вопросы, которые, к сожалению нашему, напрасно возникают в уме при рассмотрении и оценке государственных способностей и призваний Сперанского. Истинный государственный человек (а впрочем, такого рода люди и у самой всеобщей истории на счету) полюбил бы Сибирь, подавил бы в себе сетования мелочной суетности и посвятил бы охотно несколько лет жизни своей обработке и воссозданию этой страны. Сибирь раскрывалась перед ним, как перед новым Ермаком. Сперанский мог вторично завоевать ее и покорить России. Но нет: он скучал Сибирью, он тяготился обязанностями и мыслью о подвиге, который предстоял ему, он на скорую руку отделялся бумажной деятельностью. Как изгнанный Овидий писал в Рим свои черноморские элегии, так Сперанский отправлял по почте в свой Рим, в Петербург, свои сибирские *Tristia*. Он суетно рвался в Петербург. Ему нужна была кипучая, в обширных размерах, писчебумажная, скороспелая канцелярская производительность. Канцелярия была форум его. Приложительная, полезная деятельность, в определенном круге действия, была не по нем.

При начале возвышения своего он чувствовал, что в

этом отношении совершенно единомысленно с императором Александром, что многое у нас не так и что многое требует исправления и подновления. Но одно сознавать недостатки и зло, а третье – замещать эти недостатки правильными силами, а зло – надежным добром. Недаром вошел в общую пословицу стих Буало: критика легка, но искусство мудрено. Крылов говорил о Шишкове как литераторе: следовать примерам его не должно, а пользоваться иными критиками его может быть полезно. Крылов обычно одевал мысль свою обликом аполога. Шишков в этом отношении, продолжал он, похож на человека, который доказывал бы, как опасно употреблять недостаточно луженую кухонную посуду, и стал бы советовать чаще лудить ее суриком. Мы видим из общей истории, что встречаются преобразователи, к которым можно вполне применить аполог Крылова.

По нашему мнению, Сперанский, при других порядках, при других или иначе условленных обстоятельствах, мог бы сделаться очень полезным деятелем на гражданском поприще: например: при Екатерине. Он был бы для нее драгоценная находка. Она любила реформы, но постепенные; преобразования, но не крутые. Ломки не любила она. Она была ум светлый и смелый, но положительный. Любимый внук ее был ума более отвлеченного и несколько романтического; вместе с тем был он натуры отменно-доброжелательной и благонамеренной. Надежды, виды его на преобразовательное воспитание России и на благоденствие ее были чисты и возвы-

шенно благородны. Он предавался им с любовью. Но, может быть, не всегда изыскивал он твердую и благонадежную почву, чтобы положить прочную основу под предпринимаемые им постройки. Сперанский не имел в себе ничего романтического: вероятно, было в нем мало и филантропического, в общем значении этого слова. Он был то, что позднее стали называть идеологом и доктринером, то есть человеком, который крепко держится нескольких предвзятых понятий и правил и хочет без разбору подчинять им действительность, а не их согласовать с нею и с условиями и требованиями ее.

В этих оттенках и сошелся с ним Александр. Не желая быть только *счастливым случаем*, как выразился он в разговоре с м-м Сталь, но, по чувствам своим и внутреннему обету, решившийся упрочить на твердом и законном основании благоденствие и могущество России, он обрадовался, встретив Сперанского. Он ухватился за него, как за свежую силу, новое орудие, посланное ему Провидением для осуществления заветных дум и желаний, которые заботили и волновали его в юношеские лета. Многие свойства и качества Сперанского были таковы, что вполне оправдывали сочувствие и пристрастие Александра.

Сперанский был ловкий и скорый редактор и приятный, то есть светлый и вразумительный докладчик. Началась спешная работа. Государь увлекался благовидно-либеральными предначертаниями, которых смысл и дух носил он долго в груди своей. С другой стороны, Сперанский увлекался

своей *редакционной* легкостью и способностью. Настоящие нужды России, истинные выгоды ее, то, что в нововведениях могло оказать вредное влияние на эти выгоды, – все это, за скоростью работы, *за верой в редакцию*, о которой мы говорили выше, все это более или менее оставлялось без надлежащего и испытующего внимания.

Между тем наступающий 12-й год, со своим предыдущим и опасениями за будущее, круто пресек все эти попытки и почины. Что вышло бы из них, если бы Сперанский, так или иначе, не утратил бы доверенности государя и не разразилась бы над Россией Наполеоновская гроза, гроза, которая перенесла заботы, деятельность и честолюбивые цели Александра на совершенно иную почву? Что вышло бы? На сей вопрос отвечать трудно. О том знает разве один Русский Бог. Судьбы России поистине неисповедимы. Можно полагать, что у нас и выдуман Русский Бог, потому что многое у нас творится совершенно вне законов, коими управляется все прочее мироздание. Как знать, может быть, и Сперанскому суждено было оставить по себе память не только как издателя Полного Собрания Законов и Свода Законов, как ныне, но и главного сотрудника в деле коренного государственного преобразования России. Но точно так же, как Русский Бог выдвинул Сперанского вперед, так он и отодвинул его. История падения Сперанского остается в летописи нашей одной из загадок, и едва ли не останется и навсегда загадкой. По возможности навели мы здесь некоторые проблески света на

нее; но, разумеется, далеко не достаточны они, чтобы вполне объяснить все таинственные стороны возвышения, могущества и падения Сперанского.

Для конца очерка нашего сберегли мы одно обстоятельство: оно вовсе не поясняет дела; может быть, и пуще еще запутывает его; но оно указывает, между прочим, на личные отношения Александра к Сперанскому, которые пережили и разрыв с ним, и падение его. Это обстоятельство, кажется, мало известно, может быть, известно разве двум или трем лицам.

«Мы ехали (говорил князь Петр Михайлович Волконский графу Павлу Дмитриевичу Киселеву) с государем из Москвы в Петербург. На переезде от одной станции к другой, по Новгородской губернии, император вдруг приказал ямщику своротить в сторону. Я удивился этому приказанию и обратился лицом к нему. Он заметил удивление мое и спросил меня, знаю ли я, куда мы едем? На ответ мой, что не знаю, он, улыбаясь, сказал мне: «Ну, недалновиден же ты, любезнейший мой, сколько времени ты при мне, мог бы, кажется, успеть узнать меня, а не догадываешься, что едем к Сперанскому». Этот рассказ, переданный мне Киселевым из уст самого князя Волконского, имеет, в глазах моих и по убеждению моему, историческую достоверность. Правдивость обоих лиц не может подлежать сомнению. Слышал я это от Киселева в 1818-м или 1819-м году: следовательно, как полагать нужно, вскоре после события. Свежая память не могла изменить Ки-

селеву. В исторических и анекдотических рассказах нужно, сколько есть возможности, по французской поговорке ставить *les points sur les i*: то есть всякое лыко в строку.

Возвратимся на несколько минут к Магницкому, который одно время был отблеском, отражением Сперанского. Многие привыкли видеть в нем только лешего казанских лесов или Казанского университета. Как бы то ни было, но имел он некоторые и человеческие черты. Зачем же не приводить и их в известность? Он, кажется, был воспитанником благородного пансиона при Московском университете, и воспитанником, кончившим курс свой с блестящим успехом. Вообще в нем было много блеска и представительности. В начале своей служебной деятельности проходил он через дипломатические должности при посольствах наших в Вене и в Париже. В молодости писал он стихи, которые Карамзин печатал в *Аонидах* своих. В некоторых поэтических попытках его прорывается стремление усвоить себе иные лирические замашки Державина. Вообще эти попытки могли быть задатками, надеждами на будущее. Долго была в ходу песня его:

Изменил и признаюся,
Виноват перед тобой:
Но утешься: я влюбился,
Изменю еще и той.
Кончалась она следующими стихами:
Лучше, лучше не влюбляться,
Понемножку всех любить,

Всех обманывать стараться,
Чтоб обманутым не быть.

Песенка эта, видите вы, не отличается строгим нравоучением. Вероятно, попадись она писанная студентом во времена Казанского попечительства, куратор торжественно предал бы ее публичному костру.

В первых годах столетия Нелединский написал ему шуточное и приятельское послание. Нелединский был старше его годами и выше по общественному положению, он вообще был разборчив и воздержан в сношениях своих с людьми. Это обстоятельство также служит благоприятным свидетельством в пользу обвиненного, то есть Магницкого, *qui depuis... mais alors il etait vertueux*. (Который потом... но тогда он был добродетелен.)

Ну если и не совсем *vertueux*, то по крайней мере в то время был он человек, как водится, не только *так себе*, как говорится, но и в некотором отношении отличающимся от толпы и даже сочувственный. Честолюбие и одностороннее стремление, доводящее до фанатизма, могут исказить и подавить лучшие внутренние качества, умственные и нравственные. С другой стороны, развивают они и воплощают недобрые зародыши, которые, в том или другом виде, в той или другой степени силы, гнездятся в глубоком тайнике каждого человека. Вот, кажется, история и Магницкого.

Мы, вообще, очень любим бичевать и добивать заби-

тых. Мы злорадуем, когда безответственно и безнаказанно предадут нам кого-нибудь на заедение. Вот, например, Магницкий. Он уже при жизни своей испытал кару власти и общественного мнения. Зачем еще предавать его и загробным пыткам? Не требуем, чтобы прикрывали молчанием и забвением все темное и недоброе в минувшем, но можно и должно требовать суда хладнокровного, нелицеприятного. Уж если где должны быть принимаемы в соображение *les causes atténuantes* (облегчающие обстоятельства), то именно в суде и приговорах над деятелями минувшего времени, уже сошедшими с лица земли. Они не могут оправдывать себя, не могут пояснить многое, которое, может быть, не вполне оправдало бы их, но, по крайней мере, уменьшило бы их вину, часто плод обстоятельств, общественной температуры и других трудно одолеваемых условий. Перед виновными или над виновными людьми бывают и виновны обстоятельства и влияния. Обязанность и дело судьи распутывать и определять эти сложные и нередко многосложные узлы. Наши судьи часто лицеприятны, они выдвигают на отдельную скамью обвинения лицо, которое они подозревают или которого не возлюбили, и устремляют на него все улики, все возможные натяжки, не возлагая на себя труда проверить, прояснить среду, окружающую его.



Мы говорили о романтических оттенках свойств и характера Императора Александра. Это приводит на память сказанное нам Н. Н. Новосильцевым.

Известно из разных источников и из писем самого Александра, что в молодости своей питал он намерение отречься от предстоящего ему престола и поселиться где-нибудь вне России, в тихом и уединенном пристанище. Тогдашние друзья его, Новосильцев, граф Строганов, Кочубей, не одобряли в нем подобного направления, нередко в разговорах оспаривали его, но переубедить его не могли. Наконец, положили они между собой прибегнуть к следующей уловке. Они решились приступить письменно к этой задаче и распорядились в переписке своей таким образом: в первом письме извлялось почти согласие с мнением Александра Павловича и одобрялось намерение его; во втором письме допускались некоторые сомнения о правильности и нравственном достоинстве подобного поступка, в следующих письмах, постепенно, разбиралась подлежащая тема все крещендо и крещендо в том же духе отрицания. Наконец, в последнем письме вопрос был разобран со всей возможной строгостью с воззрения нравственного и государственного. Молодые оппоненты со всех батарей логики и красноречия своего открыли огонь и громили засаду, в которой упорно держался противник.

Победа осталась за ними: осажденный сдался.

В наше время этот способ убеждения и вся эта письменная проделка могут показаться странными, если даже не смешными. Эти приемы отзываются школьной скамьей, на которой ученики, по задаче магистра, разрабатывают разные риторические хрии. Но покорнейше просим отступить за многие десятки лет и смотреть на минувшее глазами минувшего, а не настоящего. Этот способ был, так сказать, в нравах этого времени. Тогда писатели любили писать диссертации, а читающая публика не пугалась этой схоластики, не скучала ею. Два величайшие писатели того века, Ж. Ж. Руссо и Дидеро, были большие диссертаторы, что не мешало им быть красноречивыми и увлекательными писателями.

Любопытно отыскать эти письма. Вероятно, были они преимущественно писаны Новосильцевым, который был и грамотнее, и литературнее товарищей своих.

Несправедливо было бы, хотя и довольно правдоподобно, обвинять наставника Лагарпа в привитии этих идилических наклонностей своему царскому воспитаннику. Лагарп, хотя и земляк знаменитого Сен-Прё («Новая Гелоиза»), был природы вовсе не романтической. Он был человек степенного и холодного темперамента, человек преимущественно политический. Он мог, пожалуй, недостаточно знать Россию, но он был умен, образован и честен. Нет сомнения, что он, сколько мог и умел, вел воспитанника своего не к царской хижине, а к престолу одного из могущественнейших госу-

дарств в Европе. Отдадим ему заслуженную им и полную справедливость. Его, так сказать, нравственная опека над державным отроком, влияние на него сколько преподаванием, столько и постоянным сообщением, много, без сомнения, содействовали развитию тех врожденных и прекрасных качеств, коими позднее любовались современники как в России, так и в чужих странах. Мечтательные думы Александра образовались в нем, может быть, из другого и собственного его источника. Темные и, вероятно, довольно зыбкие желания Александра отречься от престола едва ли не возродились в глубоком тайнике нравственной организации его. Он с ранней молодости своей пламенно, искренно, но, может быть, не совсем сознательно любил добро. Положение его, окружавшая его атмосфера не могли содействовать раннему и полному созреванию понятий, правил и характера его. При этом, по другим мягким свойствам его, по недостатку твердой воли, некоторой постылости к постоянному и напряженному труду, он, может быть, не признавал в себе достаточных способностей и сил, чтобы править такой державой, как Россия. Много лет спустя говорил он графине Софье Владимировне Строгановой: *notre education avec mon frere Constantin a ete mal emmanchee*. (Наше воспитание с братом Константином было худо прилажено, завинчено; трудно передать буквально французское выражение: корень его, вероятно, рукоятка – худо принялись за рукоятку воспитания нашего.)

Он в молодости своей, так сказать, не предвидел, не предчувствовал в себе Александра 12-го года, Александра Москвы и Парижа. Тут явились в нем и сила, и постоянство воли. Не следует также забывать, что эта *мечтательность* была тоже в нравах века того. Везде господствовала некоторая *философическая сентиментальность*, отрицательные умы и вожди Энциклопедии поддавались обаянию этой сентиментальности. С одной стороны, важнейшие общественные вопросы были на очереди: их перевертывали на все стороны, ставили их, так сказать, на дыбы. Дело шло о том: быть или не быть порядкам закрепленным, освященным многими столетиями. Испарения, поднимающиеся от этих столкновений, сшибок мнений и страстей, сгущали в атмосфере пока еще невидимые, но уже зреющие грозы, которые должны были, в скором времени, разразиться над европейским обществом. А между тем, в то же время, умы любили отдыхать в сентиментальном самозабвении. Только и говорили, только и толковали что о природе, о счастье сельской уединенной жизни. Опять тот же Ж. Ж. Руссо, красноречивый и повелительный оракул века своего, был и Самсоном, потрясающим столпы общественного здания, и чуть ли не пастушком, который созывает всех идти за ним в новую Аркадию Пасти овецек и восхищаться восхождением и закатом солнца. Не думая, не гадая, Руссо создал по себе многих кровожадных метафизиков Французской революции и многих Шаликовых с посошком в руке и полевыми цветами на шляпе, непорочно пита-

ющихся одним медом и молоком.

Странная, но любопытная, занимательная и поучительная эпоха. В том или другом виде, значении и направлении, все последовавшие за ней поколения – ее чада и носят наследственное родимое пятнышко ее.

Не мудрено, что в то время еще живая эпоха эта отразилась на впечатлительной натуре Александра. С другой стороны, чистая юношеская душа его, в сочувствии с возвышенной душой избранной им подруги, как это видно из писем, возмущалась зрелищем, окружавшим его. Он еще мало знал людей: он думал, что нравственные немощи и прискорбные явления, которые пугали внутреннее и еще не испытанное чувство его, исключительно принадлежали той среде, которая вращалась перед глазами его. Он думал, что стоит только выйти за дверь, чтобы освежиться и насытиться вольным воздухом. Ему было тут душно: он в лес хотел. Вот, вероятно, разгадка стремлений его в Швейцарию. Все это внутреннее брожение отвлекало его от людей, от желания господствовать над ними: все это было в разрез с правильным и более практическим воззрением на жизнь и на частные и общественные условия ее. Но вместе с тем от всего этого веет свежей поэзией, которая тем упоительнее и милее, что распустилась она и благоухает под кровлей царского дворца.

Позднее новые впечатления, не менее тяжкие и прискорбные, должны были все более и более нарушать и приводить в смущение душевные и нравственные настроения его.

Трудно найти в истории личность более величественную, сочувственную и во многом более загадочную, чем личность Александра. Но для исследования подобного характера нужны свойства ума высокого и беспристрастного, нужна психическая пронизательность глубокого сердцеведа. Тут журнальными статейками не отделаешься, не совершишь подобной задачи. Особенно промахнешься, если примешься за него с узкой точки зрения так называемого автократизма или так называемого либерализма. Нет, для этого нужно стать на более чистую и широкую высоту. Нужно отречься от пошлых и дюжинных соображений, почерпнутых из первого попавшегося на глаза учебника или букваря. Тут является человек, и следует судить его по-человечески, то есть судом живым, а не по мертвой букве политического требника.

Александр начал Лагарпом, а кончил Аракчевым. (Спешу заявить при сем, что по моей личной системе, я не одержим безусловной аракчевоефобией, которой страдают многие, считаю, что и Аракчева должно всецело исследовать и без пристрастия судить, а не то прямо начать с четвертования его. Но во всяком случае совесть моя и оптимизм мой не доходят до того, чтобы не видеть разности между Лагарпом и Аракчевым.) Эти два имени, две противоположности, две крайности, так сказать, обставливают имя Александра. Надобно изучить того и другого.

Их нельзя смешивать, но следует объяснить их взаимным сопоставлением, и если тот, кто примется за этот труд, дви-

жим независимыми побуждениями и свободной любовью к истине, тот и в первоначальном периоде, и в заключительном, может быть, отыщет того же верного себе Александра. Такой биограф, такой судья разберет оттенки; если не совсем их и объяснит теми испытаниями, которым подвергался Александр в трудном подвиге жизни своей.

Подобный труд мог бы совершить Карамзин. Он всегда желал и надеялся, по доведении Истории своей до воцарения Дома Романовых, окинуть взором новейшую нашу историю до наших дней в сжатом, но полном очерке. Смерть не позволила ему достигнуть и первой грани предпринятого им труда. Он был под очарованием высоких и любезных свойств Александра, но он не был им ослеплен. Он судил его и не скрывал от него суда своего. Он говорил ему смелую правду прямо в глаза. К тому же государь, которому приписывали некоторую скрытность, был, по всем вероятностям и по многим свидетельствам, более откровенен с Карамзиным, чем с другими. Карамзин, и по обстоятельствам, и по характеру своему, всегда находился перед ним в независимом положении. Сношения царя и подданного могли быть и были нравственно свободны и бескорыстны. Расследования Карамзина были бы тем беспристрастнее, что он часто оспаривал мнения, которые могли быть посеяны в государе ранним влиянием Лагарпа и, разумеется, не мог сочувствовать крутым мерам Аракчеева и его, так сказать, механическому способу вести государственные дела и управлять людьми. Несмотря на эти

разногласия, Карамзин глубоко, нежно и сознательно любил Александра. Следовательно, сквозь оттенки двух личностей, противоречащих друг другу, как личности Лагарпа и Аракчеева, которые отражались на нем, отделялась светлая, самородная и высоко сочувственная личность Александра.

* * *

Анекдот о Иване Эрнсте герцоге Бироне (Anecdote sur le sieur Jean Ernest due de Viron). Под этим названием, в бумагах графа Никиты Ивановича Панина, управлявшего внешними делами при Екатерине II, найден следующий на французском языке рассказ. Подлинник поступил в собственность графа Ивана Григорьевича Чернышева, и список с него передан мне сыном его графом Григорием Ивановичем. Достоверен ли рассказ, или вымышлен, или, по крайней мере, искажен, решить не беремся. Во всяком случае, он не согласуется с известными сведениями и преданиями о происхождении Бирона. С другой стороны, думать, что рассказ совершенно вымышлен, также не правдоподобно: найденный в бумагах графа Панина, он имеет за себя некоторый дипломатический авторитет. Во всяком случае он любопытен по содержанию и, может быть, наведет на затерянные следы для объяснения и определения истины.

Сей столь известный муж, который играл такую значительную роль в царствование императрицы Анны, был сын

золотых дел мастера. Отец готовил его к званию нотариуса. Он приобрел все знания, нужные для исполнения этой должности. Но он соскучился пребыванием в маленьком городке. Вскоре представился ему случай предложить услуги свои барону Герцу (baron de Goertz), который пробыл несколько времени в этом местечке, за скоропостижной смертью секретаря своего. Молодому Бирону, благодаря приличной наружности и ловкости, удалось снискать согласие барона определить его на упраздненное место. Он поехал с ним в Стокгольм. Знакомство его с разными языками и умение разбирать и списывать всевозможные почерки вскоре оправдали выбор и доверие, ему оказанное.

По привычке его с детства иметь в руках старые договоры и документы, писанные большей частью на пергаменте, он незаметно поваялся, переписывая подлинники, держать во рту оторванные с полей их лоскутки, так что, наконец, он находил в этом особенное удовольствие, подобно тем, которые приучают себя жевать табак. Эта привычка обратилась в страсть: он постоянно имел во рту такие бумажные отрезки, которые тщательно отделял от листа; а как занятия его по письменной части заключались в обращении со множеством бумаг, то он мог лакомством своим вдоволь наслаждаться.

Однажды, в кабинете начальника, он задержан был доле обыкновенного, по работе важной и спешной. Из побуждения аппетита своего он открыл ветхую и закопченную бумагу, которая лежала на краю стола. Бессознательно и, так

сказать, машинально положил он ее в рот и начал сосать. Весь погруженный в занятие свое и единственно озабоченный работой, он так разлакомился находкой, что не подумал о том, чего должен был опасаться. Только после четырех часов усидчивого труда опомнился он и заметил, что бумага не только все еще во рту его, но что она вся изжевана, так что совершенно обезображена. Изумление его еще возросло, когда он поспешил развернуть ее и кое-как разобрал по оставшимся в целости словам, что содержание ее было особенной важности и относилось до спорного дела, которое горячо отстаивалось, с одной стороны, шведским правительством, с другой – императором Петром I. Он почувствовал, что погиб безотменно. Ничего не мог придумать он к оправданию своему. Отчаяние овладело им, и в ту же минуту вошел барон. Он нашел его с этой злополучной бумагой в руке и с первого взгляда заметил в глазах его, на всем лице признаки необычайного смущения. Достаточно было одного любопытства, чтобы возбудить в бароне желание разведать эту тайну. Но что было с ним, когда, взглянув на бумагу, он убедился, что она нужнейшая и драгоценнейшая из всех деловых документов, хранившихся в кабинете его. В первом порыве гнева он не дал себе времени разобрать дело, не слушал никаких оправданий и объяснений: он не сомневался в измене и вероломстве секретаря своего, будто бы подкупленного русским посланником. Тут же приказал он отправить несчастного в тюрьму и держать его под строжайшим присмотром.

В заточении своем молодой человек как ни рассматривал беду свою со всех сторон и как ни чувствовал себя невинным, а все приходил к тому заключению, что для оправдания его нет никакого средства, потому что все наружные улики против него. В подобном расположении духа он менее думал о защите своей, нежели о приготовлении себя к смерти. Однако же, как объяснение обстоятельств неумышленной вины его не могло ни в каком случае быть для него предосудительным, то он решился рассказать откровенно все, что было, хотя мало надежды имел убедить судей в чистосердечии признаний своих. Вскоре призвали его к допросу. Четверо из важнейших стокгольмских сенаторов обвиняли его в преступлении и вынуждали сознаться в тайных сношениях с Россией. Он отвечал им со слезами на глазах одним изложением обстоятельств, которые вкоренили в нем привычку жевать бумагу и старый пергамент. Как ни слаба могла казаться такая защита, но простота, с которой он выразил ее, произвела особое впечатление на одного из старых сенаторов: долгая опытность в судебных делах давала ему возможность угадывать признаки правоты и невинности. Всматриваясь более и более в подсудимого, сенатор заметил, что пока писал он свои показания и был углублен в чтение допросных пунктов и в обдуманное изложение ответов, он часто протягивал руку к чернильнице, бывшей на столе, вырывал кусочки пергамента, коим была она обита, и явно, по невольному движению, брал в рот эти обрывки. (Заметим здесь мимохо-

дом от себя, что эта проделка могла бы быть и умышленной уловкой, чтобы убедить судей своих в непобедимой привычке, которой он оправдывал свой проступок.)

Это наблюдение заставило сенатора находить некоторое правдоподобие в показаниях подсудимого. Он обратился к нему с вопросами о зачатии и постепенном усилении привычки его. Он потребовал оправдывающих доказательств. По счастью подсудимого, в них недостатка не было; он вытащил из кармана множество бумажных и пергаментных свертков. Склад их, запах, все согласовалось с его показаниями. Сенатор из судьи сделался защитником; другие собранные справки о поведении и связях его были все ему благоприятны. Барон первый исходатайствовал возвращение ему свободы. Несмотря на то, опасение, что снисхождение может вовлечь его в новые неприятности, или что огласка, данная этому событию, может обратиться ему во вред и во всяком случае должна изменить отношение его к секретарю, он уволил его с выдачей ему приличного вознаграждения.

Мало было вероятия, что человек, почти выключенный из службы самим министром, мог найти случай определиться к новому месту в Швеции. Несчастный Бирон решился выехать из нее и перебраться в Курляндию, где приключение его не было известно. Он поступил к первому деловому человеку, который согласился принять его. Фортуна, которая вела Бирона за руку, приблизила его к главному сборщику податей в Митаве. Это был человек преданный развлечени-

ям и удовольствиям, давно искавший смышленного дельца, который мог бы освободить его от бремени занятий и трудов, лежавших на нем по должности. Одаренный необычайным умом и прилежностью новый секретарь оказал способности, которых от него требовали. Он скоро снискал любовь начальника своего, но не мог отучиться от привычки, которая угрожала ему гибелью в Швеции.

Главный сборщик, покончив счета, возвратился домой с распиской, собственноручно подписанной герцогом Курляндским. Он очень дорожил этой распиской, потому что недоброжелатели, пользуясь известной молвой о нем, что он предан сладострастию и мотовству, готовы были обвинить его и в недобросовестном соблюдении общественных денег. Потому и отдал он расписку секретарю с наказом хранить ее бережно и тщательно. Эта бумага не имела свойств, которые могли бы возбудить обыкновенный позыв его на еду: это не был лакомый ему пергамент; но по силе привычки Бирон неотлагательно приблизил ее к губам своим. К тому же, по прошествии нескольких лет, в нем ослабло впечатление, оставшееся от прежней невзгоды. Как бы то ни было, он, по несчастью, предал бумагу эту прожорливости зубов своих, и вскоре они врезались до того, что уничтожили вовсе подпись герцога, — подпись, которая составляла всю важность помянутого документа. Недолго спустя убедился он в беде, но беда была уже неисправима. Она показалась ему еще опаснее последствиями своими, чем стокгольмская, и он вообразил

себе, что ему предстоит та же гибель. Наконец, обдумав хорошенько положение свое, он немного успокоился. Подозрение в измене и предательстве не могло в этом случае пасть на него, а в этом подозрении была бы сильнейшая для него опасность.

Потому и решился он заблаговременно предупредить начальника своего о своей неосторожности и, чтобы задобрить и разжалобить его, он начал рассказом про свое стокгольмское приключение, которое вынудило его оставить Швецию. После того с трепетом обратил он речь на новую беду свою. Сборщик податей хорошо понял смущение и страх его, но, надеясь поправить дело без большого затруднения, он дал себе удовольствие продлить сцену и забавлялся тревогой подчиненного своего. Наконец от шуток перешел он к успокоению и утешению провинившегося и уверил его в продолжении благорасположения своего.

Между тем принял он нужные меры, чтобы обеспечить себя в отношении к придворным расчетам. Герцогу рассказал он откровенно все обстоятельства настоящего дела и с такой похвалой отозвался о способностях и достоинствах секретаря своего, что возбудил в герцоге желание лично узнать его. Наружность его и несколько минут разговора с ним достаточны были, чтобы расположить герцога в пользу его. Милость, оказываемая ему, возрастала с каждым днем: он был уже на очереди сделаться любимцем его. Сборщик, оценивая отличные качества его, видя, что привязанность к нему гер-

цога лишит его хорошего помощника, и опасаясь, что, с другой стороны, несчастная и укрепившаяся привычка может вовлечь его в новый просак, решил испытать средство для исцеления его от этой слабости. Он вообразил себе, что эта привычка, род недуга, заключалась в жилках неба во рту и в губах, привыкших к некоторому раздражению; вследствие того он намеревался устранить это предрасположение, приучив секретаря своего к другому ощущению, более сильному и вместе с тем более приятному, которое надеялся возбудить в нем хмельным напитком.

Придумав этот способ, решил он привести его в действие в тот же день. Он пригласил секретаря своего с ним отужинать, примером своим побуждал он его к осушению такого числа бокалов, что с первого раза поставил его в невозможность помышлять во всю ночь о пергаменте. В следующие дни возобновлял он испытания свои сколько собственных сил его на то хватало. Лучшие вина сменялись сильнейшими ликерами. По исходе нескольких недель пергамент не было уже в помине: вкус и потребность новых ощущений решительно взяли верх. Но что было еще и того счастливее для секретаря, застольная свобода и благотворное действие увеселительного вина развязывали ум и язык его. Он явил в себе способности, которых в нем и не подозревали. Молва о совершившемся чуде дошла до герцога. Он захотел лично убедиться в достоверности доходящих до него слухов, и таким образом секретарь сделался предметом общего вни-

мания. Положение его совершенно изменилось; фортуна его постепенно возрастала по мере благоприятных впечатлений, которые он производил на всех, оправдывая мнение о уме своем и ловкой смышленности. Сделавшись фаворитом герцога, Бирон не замедлил еще более понравиться герцогине. Эта привязанность, которая продлилась до кончины герцога, еще более обнаружилась и усилилась после смерти его. И вот первые ступени, которые вознесли Бирона на высоту, которую он занял впоследствии.

* * *

В девятом или десятом году нынешнего столетия была издана на французском языке книга: *Les petites miseres de la vie humaine* (*Бедушки человеческой жизни*). Кажется, переведена она с английского, да и носит на себе отпечаток английского юмора. Тут, в двух больших томах, исчислены и изложены все промахи, которые может сделать человек, все просаки, в которые может он попасть, все возможные недочеты и перечеты, ошибки, недосмотры, одним словом, все маленькие придирки, притеснения, которыми враждебная и лихая судьбина может врасплох озадачить, одурачить и вывести человека из терпения.

NN. говорил, что эта книга списана с него и что он мог бы еще значительно пополнить ее им испытанными и автору не пришедшими на ум разного рода дрязгами и булавоч-

ными уколами. Он говорил, что судьба приставила к нему бессменного чиновника по особым поручениям, а эти поручения заключаются в беспрестанном кидании камушек под ноги ему и палок в колеса его, в осечке разных предприятий, от больших до мельчайших. Всего не исчислить, а вот два примера.

Он, т. е. чиновник по особым поручениям, дернул его однажды идти любезничать с молодой дамой. Между тем NN. страдал жестоким насморком. В самом пылу нежных разговоров, сидя на диване рядом с молодой и светской красавицей, он расчихался со всеми последствиями насморочного чихания и только тут догадался, что дома забыл он свой носовой платок. Вот картина!

В другой раз он же дернул его съездить из Рима в Неаполь единственно с тем, чтобы услышать Малибран, которой он еще не слышал. Приехав в Неаполь, он, при выходе из коляски, узнает, что певица накануне переломила руку себе и в течение нескольких недель не будет в состоянии явиться на сцене. И дня не проходит, говорит NN., чтобы сей *он* не сыграл с ним какой-нибудь шутки и штуки.

Он же, NN., говорит что судьбу иных людей и участь многих жизней иначе объяснить себе нельзя, как с помощью легенды о добрых и злых феях. Первые приносят к колыбели новорожденного, на зубок ему, многие прекрасные дары, каждая из них по своей части. Так и кажется, что только стоит пользоваться этими дарами. Но под конец раздачи под-

крадывается лихая фея и исподтишка подрезает все эти дары, так что впоследствии ни один из них вполне развиться не может. Или, пожалуй, вслед за добрыми феями приходит кривая, кривобокая и злая старая ведьма. Она оставляет дары неприкосновенными, но изувечивает, расслабляет в новорожденном и на всю жизнь волю его, так что такой господин, со всеми способностями своими, остается навсегда во всем и везде *дилетантом*, а в виртуозы ему ни на каком инструменте не попасть. NN. добавляет, что он мог бы в пример тому указать на подобного человека, но как-то совестно ему назвать его.

* * *

Денис Давыдов, говоря с Меншиковым о различных поприщах службы, которые сей последний проходил, сказал: «Ты, впрочем, так умно и так ловко умеешь приладить ум свой ко всему по части дипломатической, военной, морской, административной, за что ни возьмешься, что поступи ты завтра в монахи, в шесть месяцев будешь ты митрополитом».

* * *

Шведский посланник Пальменштерн многие годы занимал в Петербурге место свое. Он был умный и образованный

человек. В сравнении с другими сослуживцами его, аккредитованными при русском дворе, можно сказать, что он довольно обрусел. Он очень порядочно выучился нашему языку, ознакомился с литературой нашей и со вниманием следил за движениями ее. За такую внимательность литература наша, не избалованная (особенно в то время) ухаживанием иностранцев за нею, должна помянуть его добром и признательностью. На его дипломатические обеды бывал даже приглашаем Греч, что совершенно вне посланнических обыкновений и дипломатических преданий.

Пальменштерн был очень вежлив и общителен, хотя и пробивалась в нем некоторая скандинавская угловатость и суровость. Но вежливость совершенно изменяла ему за игорным столом. Карты, особенно когда он проигрывал, пробуждали в нем страсти, воинственность и свирепость поклонников Одина. Одно время дом графини Гурьевой (тещи графа Нессельроде) был по вечерам любимым сборным местом петербургского избранного общества и, разумеется, дипломатического корпуса.

Однажды, при постоянно дурных картах и по проигрыше нескольких роберов виста, он поэтически воскликнул во всеуслышанье: «Да этот дом был, наверно, построен на кладбище бешеных собак!» Можно представить себе действие подобного лирического порыва на салонных слушателей.

В другой раз заезжает он к той же графине Гурьевой с визитом. Швейцар докладывает ему, что графиня очень из-

виняется, но принять его не может, потому что она нездорова. Между тем несколько карет стояло у подъезда. Пальменштерн отправляется в Английский клуб, а оттуда в разные знакомые дома и всюду разглашает, что графиня Гурьева больна и, вероятно, опасно больна, потому что у нее консилиум докторов, которых кареты видел он перед домом ее. Весть разнеслась по городу. Со всех сторон съезжаются к подъезду наведаться о здоровье графини, пишут ей и приближенным ее записочки с тем же вопросом. Половина города лично или посланными перебивала у нее в течение суток. Графиня понять не может, каким образом и совершенно напрасно подняла она такую тревогу в городе. Наконец узнали, что это была отплата Пальменштерна за отказ принять его.

Вот еще одна отличительная черта его. В гостях, при выходе из салона, он постоянно сбивался дверьми. Будь их три или четыре в комнате, он не преминет стукнуться во все прежде, нежели попадет в настоящую дверь.

Он очень любил итальянскую оперу, но не любил восторженных, шумных изъявлений петербургской публики. Когда, бывало, при громких рукоплесканиях и вызовах Рубини или г-жи Виардо, нетерпеливые и горячие зрители начинали топтать ногами, он со злой насмешкой говорил: «Вот и конница наступает!»

* * *

Одному знатному и богатому польскому пану пеняли, что он мало денег дает сыновьям своим на прожиток. «Довольно и того, – отвечал он, – что я дал им свое имя, которое им не следует».

Кто-то говорил молодой графине Х.: «Понимаю, что связь ваша с Z продолжается, но не понимаю, как могла она начаться». – «А я, – отвечала она, – понимаю, что началась она, но не понимаю, как может она продолжаться».

* * *

Вдовый, чадолюбивый отец говорил о заботах, которые прилагает к воспитанию дочери своей. «Ничего не жалею, держу при ней двух гувернанток, француженку и англичанку; плачу дорогие деньги всем возможным учителям: арифметики, географии, рисования, истории, танцев, – да бишь Закона Божия. Кажется, воспитание полное. Потом повезу дочь в Париж, чтоб она *канальски схватила парижский прононс*, так чтобы не могли распознать ее от парижанки. Потом привезу в Петербург, начну давать балы и выдам ее замуж за генерала». (Все это исторически достоверно из московской старины.)

Другой отец, также москвич, жаловался на необходимость ехать на год за границу. «Да зачем же едете вы?» – спрашивали его. «Нельзя, для дочери!» – «Разве она нездорова?» – «Нет, благодаря Бога, здорова, но видите ли, теперь ввелись на балах долгие танцы, например котильон, который продолжается час и два. Надобно, чтобы молодая девица запаслась предметами для разговора с кавалером своим. Вот и хочу показать дочери Европу. Не все же болтать ей о Тверском бульваре и Кузнецком мосте». (И это исторически верно.)

Есть же отцы, которые пекутся о воспитании дочерей своих.

* * *

Принц де Конти (брат великого Конде) должен был жениться на одной из двух племянниц кардинала Мазарини и не хотел сам выбрать из них невесту себе. Он говорил: «Мне все равно, та или другая; я женюсь на кардинале, а вовсе не на племяннице его».

* * *

Л. спрашивал Ф., видел ли он невесту его. – «Видел». – «Как нравится тебе она?» – «Очень мила: ведь ты на младшей женишься?» – «Нет, помолвлен я на средней сестре. А

что же, ты думаешь, что меньшая лучше? Зачем же прежде не сказал ты мне? Я посватался бы за нее. А впрочем, переменить еще можно».

* * *

А. М. Пушкин забавно рассказывает один анекдот из своей военной жизни. В царствование императора Павла командовал он конным полком в Орловской губернии. Главным начальником войск, расположенных в этой местности, был лицо, высокопоставленное по тогдашним обстоятельствам, и немецкого происхождения. Пушкин был с ним в наилучших отношениях, как по службе, так и по условиям общежительности.

Однажды и совершенно неожиданно получает он, за подписью начальника, строжайший выговор, изложенный в выражениях довольно оскорбительных. Пушкин тут же пишет рапорт о сдаче полка, по болезни своей, старшему по нем штаб-офицеру и просит о совершенном своем увольнении. Начальник посылает за ним и спрашивает о причине подобного поступка. «Причина тому, – говорит Пушкин, – кажется, довольно ясно выражена в бумаге, которую я от вас получил». – «Какая бумага?» – Пушкин подает ему полученный выговор. Начальник прочитывает его и говорит: «Так эта-то бумага вас огорчила? Удивляюсь вам! Служба одно, а канцелярия другое. Какую бумагу подаст мне она, я ту и подписываю».

ваю. Службой вашей я совершенно доволен и впредь прошу вас, любезнейший Пушкин, не обращать никакого внимания на подобные глупости».

В одно из пребывания Александра Павловича в Москве он удостоил частное семейство обещанием быть у него на бале. За несколько дней до бала хозяин дома простудился и совершенно потерял голос. «Само Провидение, – говорил тот же Пушкин, – благоприятствует этому празднику: хозяин не может выговорить ни одного слова, и государь избавляется от скуки слушать его».

* * *

NN. говорит: «Я ничего не имел бы против музыки *будущего*, если не заставляли бы нас слушать ее в настоящем».

Вводить реализм в музыку – то же, что вводить поэзию в алгебру.

* * *

Кто-то сказал: царедворцы вообще ближе и тверже изучают нравственные немощи и недостатки владык своих, чем благородные и доблестные свойства их. Это понятно и в порядке вещей. Они подобны врачам: и этим от здоровья и от здоровых ожидать нечего; они промышляют и наживаются

болезнями. Как болезни для врачей, так и царские слабости для царедворцев составляют благонадежные *доходные статьи*.

С., говоря об одном из подобных царедворцев, метко и счастливо сказал: «Он знает государя своего, как пианист знает свой инструмент. Один изучил звук каждого клавиша, другой изучил каждое чувство, каждый нерв господина своего: он знает наперед, какой отголосок отзовется от прикосновения к нему».

* * *

Приятель наш Лазарев женитьбой своей вошел в свойство с Талейраном. Возвратясь в Россию, он нередко говаривал: «Мой дядя Талейран». – «Не ошибаешься ли ты, любезнейший? – сказал ему князь Меншиков. – Ты, вероятно, хотел сказать: «Мой дядя Тамерлан».

Известно, что когда приехал в Россию Рубини, он еще сохранял все пленительное искусство и несравненное выражение пения своего, но голос его уже несколько изменял ему. Спрашивали князя Меншикова, почему не поедет он хоть раз в оперу, чтобы послушать Рубини. «Я слишком близорук, – отвечал он, – не разглядеть мне пения его».

У князя Меншикова с графом Клейнмихелем была что называется или называлось *контра*; по службе ли, или по другим поводам, сказать трудно. В шутках своих князь не щадил

ведомства путей сообщения. Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост через Неву и Московская железная дорога, он говорил: «Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши; мост мы увидим, но дети наши не увидят; а железной дороги ни мы, ни дети наши не увидят». Когда же скептические пророчества его не сбылись, он при самом начале езды по железной дороге говорил: «Если Клейнмихель вызовет меня на поединок, вместо пистолета или шпаги предложу ему сесть нам обоим в вагон и прокатиться до Москвы. Увидим, кого убьет!»

Он же рассказывал: «Я ездил во внутренние губернии и заболел в одном уездном городе. Плохо становилось, и я думал, что приходит мой конец. Посылаю за священником. Он исповедует меня и под конец спрашивает: а нет ли еще какого-нибудь грешка на душе? Отвечаю, что, кажется, ничего не утаил и все чистосердечно высказал. Он настаивает и все с большим упорством и с каким-то таинственным значением допытывается, не умалчиваю ли чего. – Да что вы еще узнать от меня хотите? – спросил я. – Вот, например, насчет казенных интересов... как? – Казенных интересов! Что вы этим сказать хотите? – То есть, попросту сказать, не грешны ли вы в лихоимстве? – О, в этом отношении я совершенно чист, и совесть моя спокойна. – Я выздоровел и поехал далее в деревню свою. На обратном пути, проезжая через тот же уездный городок, вспомнил я священника, исповедь его и хотел добраться, почему так напирал он на своем духовном

допросе. – Великодушно простите меня, ваша светлость: не знаю, с чего взял я, что вы офицер путей сообщения».

При одном многочисленном производстве генерал-лейтенантов в следующий чин (полного генерала) Меншиков сказал: «Этому можно порадоваться; таким образом многие худые генералы наши пополнеют».

* * *

Настасья Дмитриевна Офросимова была долго в старые годы воеводой на Москве, чем-то вроде Марфы Посадницы, но без малейших оттенков республиканизма. В московском обществе имела она силу и власть. Силу захватила, власть приобрела она с помощью общего к ней уважения. Откровенность и правдивость ее налагали на многих невольное почтение, на многих страх. Она была судом, пред которым докладывались житейские дела, тяжбы, экстренные случаи. Она и решала их приговором своим. Молодые люди, молодые барышни, только что вступившие в свет, не могли избегнуть осмотра и, так сказать, контроля ее. Матери представляли ей девиц своих и просили ее, мать-игуменью, благословить их и оказывать им и впредь свое начальническое благоволение.

Что ни говори, это имело свою и хорошую сторону. В обществе нужна некоторая подчиненность чему-нибудь и кому-нибудь. Многие толкуют о равенстве, которого нет ни в

природе, ни в человеческой натуре. Ничего нет скучней и томительней плоских равнин: глаз непременно требует, чтобы что-нибудь, пригорок, дерево, отделялось от видимого однообразия и несколько возвышалось над ним. Равенство перед законом дело другое. Но равенство на общественных ступенях – нелепость. Тут, для самой пользы общества и даже для приятности его, необходимы неровности, преимущества, вследствие прихоти судьбы, рождения, случайных, но узаконенных условий и обстоятельств. Для водворения этого равенства, о котором многие толкуют и тоскуют, за невозможностью сделать всех умными, надлежало бы сделать всех глупыми, чего, впрочем, многие бессознательно и прямо *инстинктивно*, может быть, и добиваются. В старой Москве *живали* и *умирали* тузы обоого пола. Фамусов прав был, когда гордился ими. Неужели лучше иметь в игре своей одни двойки да тройки?

У Офросимовой был ум не блестящий, но рассудительный и отличающийся русской врожденной сметливостью. Когда генерал Закревский назначен был финляндским генерал-губернатором, она сказала: «Да как же будет он там управлять и объясняться? Ведь он ни на каком языке, кроме русского, не в состоянии даже попросить у кого бы то ни было табачку понюхать!»

Она имела несколько сыновей. Все они истые и кровные москвичи. Один из них, Александр Павлович, кажется, старший из братьев, был большой чудака и очень забавен. Он в

мать был честен и прямодушен. Речь свою пестрил он разными русскими прибаутками и загадками. Например говорил он: «Я человек бесчасный, человек безвинный, но не бездушный». – «А почему так?» – «Потому что часов не ношу, вина не пью, но духи употребляю». Он прежде служил в гвардии, потом был в ополчении и в официальные дни любил щеголять в своем патриотическом зипуне с крестом непомерной величины Анны второй степени. Впрочем, когда он бывал и во фраке, он постоянно носил на себе этот крест вроде иконы. Проездом через Варшаву отправился он посмотреть на развод. Великий князь Константин Павлович заметил его, узнал и подозвал к себе. – «Ну, как нравятся тебе здешние войска?» – спросил он его. «Превосходны, – отвечал Офросимович. – Тут уж не видать клавикордничанья». – «Как? Что ты хочешь сказать?» – «Здесь не прыгают клавиши одна за другой, а все движется стройно, цельно, как будто каждый солдат сплочен с другими». Великому князю очень понравилась такая оценка, и смеялся он применению Офросимова.

В 18-м или 19-м году, в числе многих революций в Европе, совершилась революция и в мужском туалете. Были отменены короткие штаны при башмаках с пряжками, отменены и узкие в обтяжку панталоны с сапогами сверх панталон; введены в употребление и законно утверждены либеральные широкие панталоны с гульфиком впереди, сверх сапог или при башмаках на балах. Эта благодетельная реформа в то время еще не доходила до Москвы. Приезжий NN. первый

явился в Москву в таких невыразимых, на бал М. И. Корсаковой. Офросимович, заметя его, подбежал к нему и сказал: «Что ты за штуку тут выкидываешь? Ведь тебя приглашали на бал танцевать, а не на мачту лазить; а ты вздумал наряжаться матросом».

Говорили о ком-то: что ему за охота всегда за девчонками, ведь из этого ничего не выйдет, и смешно. – «Ничуть не смешно, – перебил Офросимович, – он хочет быть министром, он смотрит и метит в даль. Девчонки выйдут замуж и вспомнят тогда, что он обращал на них внимание, да и отблагодарят его».

Он уморительно смешно рассказывал о сношениях своих с Кокошкиным (Ф.Ф.). У них была общая родственница, старая дева. Была она при смерти. Та и другая сторона имели в виду наследовать ей. Проживала она у Кокошкина. Офросимов отправляется к нему. Едва вошел он в комнату, явился и Кокошкин. Больная лежала на кровати, выпуча глаза, и не давала почти никаких признаков жизни.

Офросимов: Матушка моя прислала меня к вам узнать о здоровье.

Больная протяжно хрипит.

Кокошкин: Сестрица очень благодарит матушку вашу и вас за внимание к ней.

Офросимов еще ближе подходит к кровати больной и говорит:

– Матушка приказала мне спросить вас. не желаете ли вы

и не нужно ли вам, чтобы она вас навестила.

Больная еще протяжнее хрипит.

Кокошкин: Сестрица очень благодарит матушку вашу за доброе предложение, но просит ее заехать к ней попозже, когда ей будет легче.

Офросимов: Да помилуйте, Федор Федорович, что это переводите вы мне по-своему мычание и хрипение сестрицы? Она ничего не слышит и не понимает, и ни одного слова выговорить не может, а вы сочиняете за нее ответы.

Сестрица вскоре затем скончалась, а между наследниками началась тяжба.

Рассказ Офросимова, целиком в лицах переданный на сцене, мог бы придать живое и мастерское явление комедии нравов. Он говорил оригинально, чистым, крепко отчеканенным русским словом, говорил несколько отрывисто и с особенным ударением, так сказать, подчеркивал выражение, которым хотел дать усиленное значение и выпуклость.

Старая Москва была богатая руда подобных оригиналов-самородков. Когда живал я в ней, я их всегда отыскивал и привязывался к ним.

На всех московских есть особый отпечаток. То-то и беда, что не на всех, а только на некоторых. И за то спасибо! Оригинальность, когда она не напускная, не изученная, не поддельная, не подкрашенная, есть всегда более или менее признак независимости характера, а подобная независимость есть своего рода мужество, своего рода доблесть. Дон

Кихот может быть смешон, но прежде всего он рыцарски благороден. Иногда уже и то вменяется в достоинство, что бываешь не похож на других.

Мы не касаемся здесь исторических оригиналов, этих почтенных обломков другого века, другого славного царствования. Они на почве Москвы, хотя и старой, но которую все же начинало уже проветривать свежее влияние новых времен, составляли, так сказать, особый, заматерелый слой: он не смешивался с другими. Для изображения подобных археологических оригиналов надобно приступить к начертанию исторической картины. Здесь довольствуемся тем, что накидываем беглым карандашом отдельные очерки, рисунки для альбома или политипажи.

Вот еще несколько отдельных лиц, которые выглядывают из памяти моей.

Старик Приклонский, едва ли не единственный на твердой земле, добросовестно и по глубокому убеждению не признавал за Наполеоном императорского титула. До конца жизни своей честил он его не иначе как первым консулом, к которому питал сочувствие. Он горячо отстаивал мнение свое и не менее горячо негодовал на слабодушие правительств и журналов, которые величали Наполеона императором.

Был еще оригинал, повсеместный, всюду являющийся, везде встречаемый. Он не был оригинал тонкой и примечательной грани; все было в нем довольно грубо и аляповато; со всем тем все любили его. Он вхож был во все лучшие

дома. Дамский угодник, он находился в свите то одной, то другой московской красавицы. Откуда был он? Какое было предыдущее его? Какие родственные связи? Никто не знал, да никто и не любопытствовал узнать. Знали только, что он дворянин Сибилев, и довольно. Аристократическая, но преимущественно гостеприимная Москва не наводила генеалогических справок, когда дело шло о том, чтобы за обедом иметь готовый прибор для того и для другого. Сибилев имел в Москве, вероятно, двадцать или тридцать таких ежедневно готовых для него приборов. Хотя и нахлебник, не был он, так сказать, дворовым ни в одном доме, а держал себя пристойно и даже с некоторой независимостью. Бедный или по крайней мере весьма ограниченный в средствах своих, никогда не был он подлипалой пред богатой знатью. Еще одно достоинство: несмотря на проживание его то там, то здесь, или там и здесь, он не был сплетником и не переносил сору из одного дома в другой. Вообще был он нрава веселого и большой хохотун. У него были кошачьи ухватки. Он часто лицо свое словно облизывал носовыми платками, которых носил в карманах по три и по четыре. Князь Юсупов говорил про него: он не только московский ловелас, но и московский ложелаз. Так прозвал он его потому, что, бывая во всех спектаклях, он никогда ничего не платил за вход, а таскался по ложам знакомых своих барынь.

Забавно, что, не зная французского языка и не понимая на нем ни полслова, он попался в театральную француз-

скую историю, которая в свое время наделала много шума в Москве, как сама по себе, так и по своим последствиям. Русская барыня (Карцева) содержала некоторое время труппу французских актеров. Лучшее московское общество охотно посещало ее театр. По каким-то закулисным или внекулисным обстоятельствам содержательница не возлюбила молодую актрису, которая была любимицей публики. Однажды в ее роль на сцену явилась другая актриса. Публика встретила ее дружным шиканьем: не давали ей пикнуть. Вслед затем стали требовать прежней актрисы. Шум и разные наступательные заявления поминутно разрастались. Публика начала вызывать к ответу директрису театра. Завелась гласная и крупная полемика между креслами и сценой. Пересылались с одной стороны к другой колкости и разные поджигательные вызовы. Полиция была в недоумении и не знала на что решиться, тем более что спектакль не принадлежал императорской дирекции, а совершенно частный. Казус выходил неслыханный в летописях полиции и театра. Разумеется, донесли о нем в Петербург, и, вероятно, с некоторыми преувеличениями и вышивками. Из Петербурга не замедлило приказание арестовать зачинщиков театрального скандала и рассадить военных или военно-отставных по гауптвахтам, а статских – по съезжим домам. Наш бедный ложелаз, не повинный тут не единым словом, попал в сей последний разряд. В числе временных жильцов съезжей был и богатый граф Потемкин. Сей великолепный Потемкин, если не Та-

вриды, а просто Пречистенки, на которой имел он свой дом, перенес из него в съезжий дом всю роскошную свою обстановку. Здесь давал он нам лакомые и веселые обеды. В восьмой день заточения приехал, во время обеда, обер-полицмейстер Шульгин 2-й и объявил узникам, что они свободны. Все это было довольно драматически и забавно, и замоскворецкий съезжий дом долго не забудет своих неожиданных и необычайных арестантов. Сибилев получил новый оттенок известности своим в чужом пиру похмельем.

В числе оригиналов как не помянуть Новосильцева, приятеля графа Растопчина! Он слыл каким-то таинственным нелюдимом, запертым в своем недоступном доме. Москва только и знала его как какого-нибудь стамбульского пашу. С трубкой во рту разъезжал он по городским улицам на красивом коне, покрытом богатым и золотом вышитым черпаком и увешанном богатой цепочной сбруей. Народ, встречаясь с ним, снимал шапки, недоумевая, как величать его.

Разве все это не живописно? Встречаются ли еще подобные оригиналы-самородки в нашей белокаменной, или и они переплавлены в общем литейном горниле в одну сплошную и безличную массу? Жаль, если так!

* * *

Вскоре после учреждения жандармского ведомства Ермолов говорил об одном генерале: «Мундир на нем зеленый, но

если хорошенько поискать, то наверно в подкладке найдешь голубую заплатку».

«Что значит это выражение *армяшка*, которое вы часто употребляете?» – спросил Ермолова князь Мадатов. – «По нашему, – отвечал Ермолов, – это означает обманщика, плута». – «А, понимаю, – подхватил Мадатов, – это то, что мы по-армянски называем *Алексей Петрович*».

* * *

Во время Польской кампании 1831 года и неудачных с той и другой стороны сшибок между бароном Розеном и генералом мятежников Розмарино, Денис Давыдов говорил, что они между собой детски разыгрывают какую-то жалкую басню: *Розан и Розмарин*.

Он же говорил о генерале, который претерпел в море ужасную бурю: *Pauvre homme, comme il a du souffrir. Lui qui craint l'eau, comme le feu.* (Бедняжка, что он должен был выстрадать; он, который боится воды, как огня.)

* * *

В числе невинных шалостей и шуток Арзамаса находится и следующая:

Шишков не даром корнеслов;

Теорию в себе он с практикою вяжет:
Писатель, вкусу шиш он кажет,
А логике он строит ков.

* * *

В старой тетради одного из покойных Молчалиных отыскались нижеписанные стихи.

I. После отставки

Друзья, опять я ваш! Я больше не служу,
В отставку чистую и чист я выхожу.
Один из множества рукой судьбы избранный,
Я чести девственной могу идти в пример.
Я даже и святые Анны
Не второклассный кавалер.

II.

Княжнин! К тебе был строг судеб устав,
И над тобой шутил он необычно:
Вадим твой был сожжен публично,

А публику студит холодный твой Рослав.

Вот и шарада, относящаяся также к старой нашей литературной эпохе.

Что *первое* мое? Пожалуй, род мешка,
В который всунула, про нас, судьбы рука
Последних множество и всех возможных качество;
А в *целом* смотришь: бич пороков и дурачеств.

Когда в некоторых журналах наших встречаются (а встречаются часто) французские слова и поговорки, вкривь и вкось употребляемые, это всегда приводит мне на память рассказ Толстого. Он ехал на почтовых по одной из внутренних губерний. Однажды послышалось ему, что ямщик, подстегивая кнутом коней своих, приговаривает: «Ой вы, Вольтеры мой!» Толстому показалось, что он обслушался, но ямщик еще два проговорил те же слова. Наконец Толстой спросил его: «Да почему ты знаешь Вольтера?» – «Я не знаю его», – отвечал ямщик. «Как же мог ты затвердить это имя?» – «Помилуйте, барин: мы часто ездим с большими господами, так вот кое-чего и понаслушались от них».

* * *

Была и царствовала в Варшаве знакомая и Петербургу женщина, от природы и от обстоятельств поднятая на высо-

кую общественную ступень. Она не была красавица ни по греческому образцу, ни по каким другим пластическим образцам. Живописец и ваятель, может быть, не захотели бы посвятить ей ни кисти своей, ни резца: могущество и очарование прелестей ее остались бы для них неуловимыми.

Можно сказать, что красота сама по себе, а прелесть сама по себе. Есть яркие, роскошные цветы без благоухания; есть цветы, не бросающиеся в глаза, не поражающие своей стройностью, своим блеском, но привлекающие к себе и пропитывающие кругом себя воздух невыразимым благоуханием. Приближаясь к ним, уже ощущаешь силу очарования их, и чем долее остаешься в этой атмосфере, тем более чувством, умом, душой проникаешься ею и предаешься ей. Даже заочно, даже вдали, и по пространству и по времени, это влияние, это таинственное наитие не совершенно теряет силу свою. Перебирая в памяти былое время, случайно наткнешься на один из этих знакомых образов, и вдруг обдаст тебя душистым веянием. Так в старой шкатулке своей найдешь неожиданно забытую, но заветную вещицу, женскую записочку, женскую перчатку, платок, еще сохранивший запах духов, употребляемых той или другой владычицей твоей, и при этом запах восколеблется и воскреснет целый мир воспоминаний и преданий сердечных. Есть польское выражение, которым вознаграждается в женщине недостаток полномостной красоты, а именно говорят о ней, что она *bardzo zgrabna*: и многие полячки довольствуются, и хорошо дела-

ют, что довольствуются этой приметой, особенно и почти исключительно свойственной польской женской натуре. Эта примета господствующим и очаровательным образом выдавалась в княгине и графине, о которой завели мы речь.

Говорим *княгине и графине*, могли бы сказать и *шляхтянке*, потому что она перебивала, не на долгом веку своем, под этими тремя видами. По общей молве, или, что называется, в свете, знали ее по трем мужьям, которых последовательно носила она имя, по романическим приключениям жизни ее, вообще вполне независимой, несколько своевольной и нередко шедшей наперекор и перерез некоторым статьям устава об общественном благочинии.

Но кто знал ее ближе, видел в ней и другие свойства, испугающие, по крайней мере, в глазах постороннего, отступления от общественной дисциплины. Она была отменно добрая, благотворительная и честная, если не жена, то женщина, даже набожная в своем роде. И набожность ее, несмотря на ее увлечения и, скажем прямо, слабости, не была в ней ни ханжеством, ни обманом, ни лицемерием. Она была набожна, потому что в слабости своей имела нужду в опоре, в убежище покаяния, может быть, и скоротечного, но не менее того, на данную минуту, успокоительного и освежающего.

Ригористы, строгие духовные законоучители не могут признавать подобную набожность за настоящую и требуемую церковным и нравственным уставом, и они вполне правы со своей точки зрения и с точки зрения истины. Но мы не

предпринимаем здесь фенологического рассуждения на эту тему. Мы просто списываем или фотографируем подлинник, который имели под глазами, и подлинник, несмотря ни на что, особенно сочувственный.

Итак, как бы то ни было, она имела про себя набожность мягкосердечную, так сказать, общедоступную, домашнюю, ручную, к которой прибегала она во всех обстоятельствах жизни и в которой находила минутное успокоение волнению своему, а может быть, и минутное очищение своей внутренней атмосферы.

Как бы ни провела она день свой накануне, ей нужно, ей было необходимо ехать утром в церковь. Так начинала она день свой. Как проводила и кончала его, это не наше дело. Она рассказывала мне, что в молодости ее молитва, на всякий обиход дня, была ей так нужна и так привычна, что, готовясь быть вечером на бале, она поутру молила Бога в костеле, чтобы такой-то кавалер, который занимал ее думы, пригласил ее на котильон. Это странная молитва, но она не страннее той, которую два воинские враждебные стана воссылают к небу перед сражением с тем, чтобы удалось тому и другому положить на месте поболее ближних своих по человечеству, и перед Небом, которое призывается в союзники к этому побиению.

В Варшаве рассказывали про нее следующий случай из первой молодости ее. В это время обладателем сердца ее или воображения (в точности определить трудно) был князь

Р. Они ехали верхами по мосту над Вислой. Не знаем, по какому поводу, а князь сказал ей: «Вот вы говорите, что любите меня, а в воду для меня не броситесь». Не отвечая на то ни слова, она тут же ударила хлыстом коня своего и перескочила с ним перила моста, прямо в реку. В достоверности этого рассказа ручаться не могу, как-то не случилось мне проверить его собственным свидетельством ее, к тому же не знават я лошади ее и ее способностей, но что сама всадница была способна, в данную минуту, совершить подобный скачок, в том никакого сомнения не имею и иметь не могу.

К довершению портрета ее скажем, что, по собственному признанию ее, в физическом организме ее не было врожденных свойств, объясняющих ее увлечения. Зародыши этих увлечений прозябали в сердце ее, вырастали и созревали в голове и окончательно развивались на почве польской натуры.

Ключки разговоров, мимоходом схваченных

Х.: В этом человеке нет никаких убеждений.

С: Как никаких? Есть одно неизменное и несокрушимое убеждение, что *всегда* должно плыть по течению, куда несла бы тебя волна, всегда быть на стороне силы, к какой цели не была бы она направлена, всегда угождать тому или тем, от которого и от которых можно ожидать себе пользы и барыша.

Х.: Можно ли было предвидеть, что он так скоро умрет! Еще третьего дня встретился я с ним, он показался мне совершенно здоровым.

Р.: А я уже несколько времени беспокоился о нем. Он был не по себе, как говорят, не в своей тарелке.

Х.: Что же, вы заметили что по делам, в присутствии?..

Р.: Нет, тут не замечал я ничего особенного. Все шло как следует, и никакой перемены в нем не оказывалось. Он слушал и подписывал бумаги безостановочно, но в последние три-четыре дня он делал такие ошибки в висте, по которым можно было заключить, что начинается какое-то расстройство во внутреннем его механизме.

Г.: (хозяин за обедом): А вы любите хорошее вино?

ММ.: Да, люблю.

Г.: У меня в погребе отличное вино, еще наследственное:

попотчую вас в первый раз, что пожалуете ко мне обедать.

МН.: (меланхолически и вполголоса): Зачем же в первый раз, а не в этот?

*Князь**** (хозяин за ужином): А как вам кажется это вино?

Пушкин (запинаясь, но из вежливости): Ничего, кажется, вино порядочное.

*Князь***:* А поверите ли, что, тому шесть месяцев, нельзя было и в рот его брать.

Пушкин: Поверю.

Другой хозяин (за обедом): Вы меня извините, если обед не совсем удался. Я пробую нового повара.

Граф Михаил Вельгорский (наставительно и несколько гневно): Вперед, любезнейший друг, покорнейше прошу звать меня на испробованные обеды, а не на пробные.

Третий хозяин: Теперь поднесу вам вино историческое, которое еще от деда хранится в нашем семейном погребе.

Граф Михаил Вельгорский: Это хорошо, но то худо, что и повар ваш, кажется, употреблял на кухне масло историческое, которое хранится у вас от деда вашего.

МН. говорит о Вельгорском: *Personne n'est plus aimable que lui, mais a un mauvais diner il devient feroce.* (Нельзя быть любезнее его, но за дурным обедом он становится свирепым.)

Зрелая девица (гуляя по набережной в лунную ночь): Максим, способен ли ты восхищаться луной?

Слуга: Как прикажете, ваше превосходительство.

Х.: Сами признайтесь, ведь Пальмерстон не глуп, вот что он на это скажет.

ММ. (перебивая его): Нет, позвольте, если Пальмерстон что-нибудь скажет, то решительно не то, что вы скажете.

Вальтер Скотт основал в свое время не только историко-романтическую школу, но школу эпиграфов. Каждая глава романа его носила приличный, а иногда замысловатый и остроумный ярлычок. Разумеется, и у нас бросились на исторические романы и особенно на эпиграфы. Вальтер Скотт брал свои из старых народных легенд и старых комедий. У нас мало этого запаса. Вообще эпиграфы носят более или менее индивидуальный характер, а у нас и в литературе есть какое-то общинное начало.

Просматривая старый Российский Феатр, я отыскал кое-где отдельные изречения, которые могли бы пригодиться в эпиграфы.

Например, в комедии *О время!* (Императрицы Екатерины): «Чудно! Нашлась и в Москве молчаливая девица».

Именины 2-жи Ворчалкиной (тоже сочинение Екатерины). Тут есть роль прожектера Некопейкина, который предлагает проект *об употреблении крысыных хвостов с пользой*. Тут много забавных выходов и поживов для эпиграфиста. «Казна только что грабит, и я с нею никакого дела иметь не хочу». Кто тут не узнает царского пера, которое не страшится цензуры?

«Тьфу, пропасть какая! Да как тебе не скучно столько бедную бумагу марать чернилами?»

«Только позвольте мне всегда, когда захочу, ездить в комедии, на маскарады, на балы, где бы они ни были: в этом только дайте мне свободу, и не прекословьте никогда; впрочем, я век ни за кого не хочу, и с вами не расстанусь».

Олимпиада – матери своей Ворчалкиной: «Пропустим через кого-нибудь слух, что скоро выйдет от правительства запрещение десять лет не венчать свадеб, и что в это время, следственно, никто ни замуж выйти, ни жениться не может». – «Да и указ есть такой, чтоб дураков и дур не венчать, да этот указ из моды вышел». (*Пустая ссора* Сумарокова).

«Я его еще не зашипнул» (говорит Дорант в комедии Сумарокова *Лихоимец*).

Изяслав: «Что ты в доме здесь лакей или шут?» (*Три брата-совместника* Сумарокова).

Много еще можно было бы выкопать эпитафий из старых наших комедий и старых сатирических журналов. Но кому теперь охота и время рыться в них? Подавай нам все изготовленное а la minute, все прямо с журнальной сковороды.

* * *

Donna Sol

Oh! Je voudrais savoir, ange au Ciel reserve,
Ou vous avez marche, pour baiser le pave.

(О ангел, предоставленный Небу!
Желал бы я знать, где ты ходила, чтобы целовать ту
землю.)

Драма В. Гюго, Эрнани.

В начале тридцатых годов драма Гюго *Эрнани* наделала много шума в Париже. Этот шум откликнулся и в Петербурге. В самом деле, в ней много свежей поэзии, движения и драматических нововведений, в которых, может быть, нуждалась старая французская трагедия, не Расиновская, не Вольтеровская, имевшие достоинство свое, а трагедия времен Наполеона. Стихи из нового произведения поэта переходили из уст в уста и делали поговорками.

В то самое время расцветала в Петербурге одна девица, и все мы, более или менее, были военнопленными красавицы; кто более или менее уязвленный, но все были задеты и тронуты. Кто-то из нас прозвал смуглую южную черноокую девицу *Donna Sol*, главной действующей личностью испанской драмы Гюго. Жуковский, который часто любит облекать поэтическую мысль выражением шуточным и удачно-

пошлым, прозвал ее небесным дьяволенком. Кто хвалил ее черные глаза, иногда улыбающиеся, иногда огнестрельные; кто – стройное и маленькое ушко, эту аристократическую женскую примету, как ручка и как ножка; кто любовался ее красивой и своеобразной миловидностью. Иной готов был, глядя на нее, вспомнить старые, вовсе незвучные стихи Востокова и воскликнуть:

О, какая гармония
В редкий сей ансамбль влита!

И заметим мимоходом, что она очень бы смеялась этим стихам: несмотря на свое общественное положение, на светскость свою, она любила русскую поэзию и обладала тонким и верным поэтическим чутьем. Она угадывала (более того, она верно понимала) и все высокое, и все смешное. Изящное стихотворение Пушкина приводило ее в восторг. Пережатая и масленичная поэзия певца Курдюковой находила в ней сочувственный смех. Обыкновенно женщины худо понимают плоскости и пошлости, она понимала их и радовалась им, разумеется, когда они были не плоско плоски и пошло пошлы. Женщины брезгливы и в деле искусства, у них во вкусе есть своя исключительность, свой педантизм, свой чин чина почитай. Наша красавица умела постигать Рафаэля, но не отворачивалась от Терьера, ни от карикатуры Хогарта и даже Кома. Вообще увлекала она всех живостью

своей, чуткостью впечатлений, остроумием, нередко поэтическим настроением.

Прибавьте к этому, в противоположность не лишенную прелести, какую-то южную ленивость, усталость. В ней было что-то севильской женственности. Вдруг эта мнимая бесстрастность расшевелится или теплым сочувствием всему прекрасному, доброму, возвышенному, или (да простят мне барыни выражение) *ощетинится* скептическим и язвительным отзывом на жизнь и на людей. Она была смесь противоречий, но эти противоречия были как музыкальные разнозвучия, которые, под рукой художника, сливаются в какое-то странное, но увлекательное созвучие. В ней были струны, которые откликались на все вопросы ума и на все напевы сердца. Были, может быть, струны, которые звучали пронзительно и просто неприятно, но это были звуки отдельные, обрывистые, мимолетные. Впрочем, и эта разноголосица имеет свою раздражительную прелесть: когда сердиться на женщину, это несомненный знак, что ее любишь.

Хотя не было в чулках ее ни малейшей синей петли, она могла прослыть у некоторых *академиком в цепце*. Сведения ее были разнообразные, чтения поучительные и серьезные, впрочем, не в ущерб романам и газетам. Даже богословские вопросы, богословские прения были для нее заманчивы. Профессор духовной академии мог быть не лишним в дамском кабинете ее, как и дипломат, как Пушкин или Гоголь, как гвардейский любезник, молодой лев петербургских

салонов. Она выходила иногда в приемную комнату, где ожидали ее светские посетители, после урока греческого языка, на котором хотела изучить восточное богослужение и святых отцов. Прямо от беседы с Григорием Назианзином или Иоанном Златоустом влетала она в свой салон и говорила о делах парижских со старым дипломатом, о петербургских сплетнях, не без некоторого оттенка дозволенного и всегда остроумного злословия, с приятельницей, или обменивалась с одним из своих поклонников загадочными полусловами, т. е. по-английски *flirtion* или *отношениями*, как говорилось в то время в нашем кружке. Одним словом, в запасе любезности ее было если не всем сестрам по серьгам, то всем братьям по *сердечной загвоздке*, как сказал бы Жуковский.

Молодой русский врач С. был также в числе прихваченных гвоздем. Когда говорили о ней и хвалили ее, он всегда прибавлял: «А заметьте, как она славно кушает! Это верный признак здоровой природы и правильного пищеварения». Каждый смотрел на нее со своей точки зрения: Пушкин увлекался прелестью и умом ее; врач С. исправностью ее желудка.

Вот шуточные стихи, которые были ей поднесены:

Вы – Донна Соль, подчас и Донна Перец!

Но все нам сладостно и лакомо от вас,

И каждый мыслями и чувствами из нас

Ваш верноподданный и ваш единоведец.

Но всех счастливей будет тот,

Кто к сердцу вашему надежный путь проложит
И радостно сказать вам может:
О, Донна Сахар! Донна Мед!

* * *

Выше привели мы довольно нестройные и смешные стихи Востокова, но спешим оговориться. Кроме того, что он искупил их, а может быть, и другие стихотворные промахи, своей глубокой и многополезной ученостью, он и как поэт, в начале нынешнего столетия, явил несомненные признаки дарования.

Он был нередко поэтом мысли и чувства. Если ухо не могло заслушиваться музыкальности стиха, то стих его часто поражал читателя внутренним достоинством. Недостаток мелодии происходил у него, вероятно, от непомерного косноязычия его: он только глазами мог следить за стихом своим, а слухом не мог проверять его. Сильное заикание мешало ему судить даже и приблизительно, плавен ли и певуч ли или нет стих, вырвавшийся из груди его. Поэтическое чувство было в нем богато развито, но инструмент его был расстроен. *Недодан мне язык смертных, но дан язык богов*, сказал он где-то.

В поэзии Востокова отзывается немецкое происхождение его. В ней преобладает германская стихия, хотя почти везде выражающая себя правильной русской речью. Он часто и

нередко удачно покорял русскую просодию разнообразным метрам древних языков. Жуковский высоко ценил одно из стихотворений его, кажется, *Майское видение* и внес его в *Образцовые стихотворения*, им изданные. Дмитриев рассказывал, что однажды, при докладе, император Александр, не знаю по какому поводу, припомнил два или три философских стиха Востокова из стихотворения его на новый год, или на окончание старого.

* * *

На всех никто и ничто не угодит. Вот и весна нашла хулиателя своего.

Весна, весна, душа природы,
Как некогда сказал поэт;
А если слезть с высокой оды:
То грязь везде, что мочи нет,
Насморки от гнилой погоды
И ломка дрожек и карет.
Вот в прозаическом объеме,
Как Май рисуется глазам:
И в кузницах, и в каждом доме
Идет починка, здесь и там.
Май ненавистный всем! О, кроме
Каретникам и докторам.



16 июня 1853 г. узнал я о смерти Льва Пушкина. С ним, можно сказать, погребены многие стихотворения брата его неизданные, может быть, даже и не записанные, которые он один знал наизусть. Память его была та же типография, частью потаенная и контрабандная. В ней отпечатывалось все, что попадало в ящик ее. С ним сохранились бы и сделались бы известными некоторые драгоценности, оставшиеся под спудом; и он же мог бы изобличить в подлоге другие стихотворения, которые невежественными любителями соблазна несправедливо приписываются Пушкину. Странный обычай чтить память славного человека, навязывая на нее и то, от чего он отрекся, и то, в чем часто не повинен он душой и телом. Мало ли что исходит из человека! Но неужели сохранять и плевки его во веки веков в золотых и фарфоровых сосудах!

Пушкин иногда сердился на брата за его стихотворческие нескромности, мотовство, некоторую невоздержанность и распущенность в поведении, но он нежно любил его родственной любовью брата, с примесью родительской строгости. Сам Пушкин не был ни схимником, ни пуританином; но он никогда не хвастался своими отклонениями от торной дороги и не рисовался в мнимом молодечестве. Не раз бунтовал он против общественного мнения и общественной дис-

циплины, но, по утешении в себе временного бунта, он сознавал законную власть этого мнения. Как единичная личность, как часть общества, он понимал обязанности, по крайней мере внешне, приноровляться к ней и ей повиноваться гласной жизнью своей, если не всегда своей жизнью внутренней, келейной. И это не была малодушная уступчивость. Всякая свобода какой-нибудь стороной ограничивается той или другой обязанностью, нравственной, политической или взаимной. Иначе не быть обществу, а будет дикое своеволие и дикая сволочь.

Лев Пушкин, храбрый на Кавказе против чеченцев, любил иногда и сам, в мирном житии, гарцевать чеченцем и нападать врасплох на обычаи и условия благоустроенного и взыскательного общества. Пушкин старался умерять в младшем брате эти порывы, эти избытки горячей природы, столь противоположные его собственной аристократической натуре: принимаем это слово и в общепринятом значении его, и в первоначальном этимологическом смысле. Не во гнев демократам будь сказано, а слово *аристократия* соединяет в себе понятия о *силе* и о чем-то *избранном* и *лучшем*, т. е. о *лучшей силе*.

Лев, или, как слыл он до смерти, Левушка, питал к Александру некоторое восторженное поклонение. В любовь его входила, может быть, и частичка гордости. Он гордился тем, что был братом его, и такая гордость не только простительна, но и естественна и благовидна. Он чувствовал, что лучи

славы брата несколько отсвечиваются и на нем, что они освещают и облегчают путь ему. Приятели Александра, Дельвиц, Баратынский, Плетнев, Соболевский, скоро сделались приятелями Льва. Эта связь тем легче поддерживалась, что и в нем были некоторые литературные зародыши. Не будь он таким гулякой, таким *гусаром коренным*, или драгуном, которому Денис Давыдов не стал бы попрекать, что у него на уме *все Жомини да Жомини*, может быть, и он внес бы имя свое в летописи нашей литературы. А может быть, задерживала и пугала его слава брата, который забрал весь майорат дарования.

Как бы то ни было, но в нем поэтическое чувство было сильно развито. Он был совершенно грамотен, вкус его в деле литературы был верен и строг. Он был остер и своеобразен в оборотах речи, живой и стремительной. Как брат его, был он несколько смуглый араб, но смахивал на белого негра. Тот и другой были малого роста, в отца. Вообще в движениях, в приемах их было много отцовского. Но африканский отпечаток матери видимым образом отразился на них обоих. Другого сходства с нею они не имели. Одна сестра их, Ольга Сергеевна, была в мать и, кстати, гораздо благообразнее и красивее братьев своих.

Первые годы молодости Льва, как и Александра, были стеснены, удручены неблагоприятностью окружающих или подавляющих обстоятельств. Отец, Сергей Львович, был не богат, плохой хозяин, нераспорядительный помещик. К тому

же, по натуре своей, был он скуп. Что ни говори, как строго ни суди молодежь, а должно сознаться, что нехорошо молодому человеку, брошенному в водоворот света, не иметь по крайней мере несколько тысяч рублей ежегодного и верного дохода, хотя бы на ассигнации. Деньги, обеспечивающие положение в обществе, это необходимый балласт для правильного плавания. Сколько колебаний, потрясений, крушений бывает от недостатка в уравновешивающем и охранительном балласте.

Когда-то Баратынский и Лев Пушкин жили в Петербурге на одной квартире. Молодости было много, а денег мало. Они везде задолжали: в гостиницах, лавочках, в булочной; нигде ничего в долг им более не отпускали. Один только лавочник, торговавший вареньями, доверчиво отпускал им свой товар, да где-то промыслили они три-четыре бутылки малаги. На этом сладком пропитании продовольствовались они себя несколько дней.

Последние годы жизни своей Лев Пушкин провел в Одессе, состоя на службе по таможенному ведомству. Под конец одержим он был водяной болезнью, отправился по совету врачей в Париж для исцеления, возвратился в Одессу почти здоровым, но скоро принялся опять за прежний образ жизни; болезнь возвратилась, усилилась, и он умер.

После смерти брата, Лев, сильно огорченный, хотел ехать во Францию и вызывать на роковой поединок барона Геккерна, урожденного Дантес, но приятели отговорили его от

этого намерения.

Водяная болезнь Льва напоминает сказанное Костровым Карамзину, незадолго до смерти. Костров страдал перемежающейся лихорадкой. «Странное дело, – заметил он, – пил я, кажется все горячее, а умираю от озноба».

* * *

Кто-то сказал про Давыдова: «Кажется, Денис начинает выдыхаться». – «Я этого не замечаю», – возразил NN. «А может быть, у тебя нос залег?»

* * *

Когда Михаил Орлов, посланный в Копенгаген с дипломатическим поручением, возвратился в Россию с орденом Даненброга, кто-то спросил его в Московском Английском клубе: «Что же, ты очень радуешься салфетке своей?» – «Да, – отвечал Орлов, – она мне может пригодиться, чтобы утереть нос первому, кто осмелится позабыться передо мной».

* * *

Графиня Радолинска говорит о людях, промышляющих

чужими мыслями: «Ум их занимается каботажным (прибрежным) судоходством, an esprit de cabotage». Она же говорила: *ecrire c'est delayer*, т. е. писать значит разжижать.

* * *

Свечина называет записочки, написанные карандашом, разговором вполголоса.

NN. говорит: «Есть люди, которые, чтобы доказать тонкость своего умственного и политического чутья, часто пронохивают в высокопоставленных лицах какие-то задние мысли, а я часто ищу в них передних, и за неимением передних – хоть средних, но и тех не нахожу. Задние мысли могут еще выпрямиться и пригодиться к делу, а от голого безмыслия ожидать нечего».

* * *

Батюшков говорил об А. С. Хвостове: «Он сорок лет тому сочинил книгу ума своего и до нынешнего дня все еще читает по ней».

Впрочем, А. С. Хвостов был остер, и некоторые из его шуток были весьма удачны. Видя на бале, как граф Дмитрий Иванович Хвостов проходил в польском неловко и неуклюже, он сказал:

Однофамилец мой, сказать-то не в укор,
Танцует как Вольтер, а пишет как Дюпор.

Дюпор, знаменитый французский танцор, был тогда в составе петербургского балета.

* * *

«Иные боятся ума, – говорит NN.. – а я как-то все больше боюсь глупости. Во-первых, она здоровеннее и оттого сильнее и смелее; во-вторых, чаще встречается. К тому же ум часто одинок, а глупости стоит только свистнуть, и к ней прибежит на помощь целая артель товарищей и однокашников».

* * *

«NN., в одном письме, говорит: «Думаем пробить здесь еще недели две, потом?» Неминуемый и темный вопросительный знак, со многими знаками восклицания!!!! Человек знает одно слово: *здесь*, и то знает плохо и неверно. Там – слово не человеческое, а Божье.

* * *

Кто-то говорил аббату Терре (Terray), генеральному кон-

тролеру (то же, что министру финансов) во Франции, в последней половине минувшего столетия: «Да вы хотите брать деньги даже из наших карманов!» – «А откуда же мне брать их, как не из карманов?» – отвечал он простодушно.

* * *

Николай Федорович Арендт был не только искусный врач, но и добрейший и бескорыстнейший человек. Со многих из своих пациентов, даже достаточно зажиточных, он не брал денег, а лечил и вылечивал их из дружбы.

Один из них писал ему однажды: «В болезнь мою, я поручил жене моей передать вам после моей смерти мои Брегетовы часы; но вы умереть мне не дали, и я нахожу гораздо приличнее и приятнее еще заживо просить вас, почтеннейший и любезнейший Николай Федорович, принять их от меня и хранить на память о ваших искусных и дружеских обо мне попечениях и на память о неизменной благодарности телесно и душевно вам преданного и обязанного NN».

На другой день Арендт приехал к нему, торопливо (как делал он все) всунул ему в руки часы и просил о дозволении удержать одну записку.

Выздоровливающих он не баловал. «Вам лучше, – говаривал он, – я к вам более ездить не буду: у меня есть другой, опасно больной, который меня теперь гораздо более интересуется, чем вы. Прощайте!»

* * *

На бедный русский чиновный люд пало нареkanie во взяточничестве. Это любимый конек нашей бессребренной публицистики и журналистики. Они на этом коньке разъезжают, гарцуют, рисуются, подбоченясь, с презрением и отвагой. Оно, пожалуй, и так: греха таить нечего. Взятничество у нас один из способов пропитания, а пропитать себя нужно, потому что каждому жить хочется и дать жить жене и детям.

Но что же в самом деле взяточничество? Один из видов недуга, известного под именем любостяжания и сребролюбия. Но разве этот недуг исключительно русский? Не есть ли он поветрие, общее всем народам и всем обществам; да и болезнь-то не новая, не плод испорченности новых нравов и распущенности. Еще Апостол сказал: «Корень бо всем злым сребролюбие есть». При Адаме денег еще не было, а были яблоки, а Адам, искусившись яблоком, был первый взяточник.

* * *

NN говорит, что дипломатия дело хорошее и нужное, но она хороша, пока о ней, как о Кесаревой жене, ничего не говорят, а заговорит ли она вслух или о ней громко заговорят,

то уж быть беде: значит, собираются громовые тучи, а дипломатия редко бывает благонадежный громовой отвод. Часто перья дипломатов приводят к войне, а пушки к миру. Первые иногда так запишутся, что иначе разнять их нельзя, как допустив руки до драки; другие до того выпалются и так много перебьют народа на той и другой стороне, что и побежденные, и побеждающие нуждаются в мире.

* * *

Руссо употребляет где-то выражение *mal-etre*, в противоположность *bien-etre*. И у нас можно бы допустить слово *злосостояние* по примеру *благосостояние*. Какой-то шутник в Москве переводил французское выражение *bien-etre general en Russie* (всеобщее благосостояние России) следующим образом: *хорошо быть генералом в России*.

В Москве много ходячего остроумия, этого ума, *qui court la rue*, как говорят французы. В Москве, и вообще в России, этот ум не только бегаёт по улицам, но вхож и в салоны; зато как редко заглядывает он в книги. У нас более устного ума, нежели печатного.

* * *

Многие человеческие возвышенности, известности, зна-

менитости, как и высшие горы, бывают величественнее и поразительнее, когда смотришь на них издали, а не вблизи. Это также своего рода декорации, которыми должно любоваться из партера, а не в кулисах. Белая гора (Mont-Blanc) пленяла меня более и приковывала мои глаза, когда глядел я на нее из Женевы, нежели когда глядел из долины Шамуни.

* * *

Талейран, во время посольства своего в Лондоне, был очень любим и уважаем. Он умел подделаться под англичан, а вместе с тем, умом и прославленным острословием своим, внушал им почтительный страх.

Однажды на вечере у леди Пальмерстон собрался он уехать ранее обыкновенного. «Куда же вы так спешите?» – спросила хозяйка. «Мне хочется завернуть к леди Гохланд». – «Зачем?» – «Pour savoir se que vous pensez» (чтобы узнать, что у вас на уме). Талейран не только высказал свое знаменитое слово: *La parole a ete donnee a l'homme pour deguiser sa pensee* (дар слова дан был человеку, чтобы прятать и переряжать мысль свою), но видно, что он применял его и на практике в отношении к другим.

Талейран подарил Пальмерстону собственноручную записку Наполеона (разумеется I-го), которую предписывалось уполномоченному от него, во время Амиенских переговоров (1802 года), *что* и буквально *как* сказать в таком или другом

случае, и в том и другом принять за оскорбление все, что ни сказал бы английский министр; после того встать со стула, откланяться, подойти к дверям и, взявшись за ручку, остановиться и сказать: «Мне приходит в голову мысль; не знаю, будет ли она одобрена и утверждена моим правительством, но беру на себя ответственность...» (Рассказано мне в Баден-Бадене Бунсеном, который был долгое время прусским посланником в Лондоне, а познакомился я с ним в Риме в 1834 – 1835 годах.)

Бунсен, дипломат, теолог и немецкий ученый, не имел ни чопорности и потаенности первого, ни сухости и проповедничества второго, ни глубокомысленной и кафедральной скуки третьего. Он просто был приятный собеседник, занимательный и часто поучительный. Между прочим, говорил он мне, что Герцен со своей пропагандой и со своим журналом не пользовался в Лондоне не только уважением, но даже и известностью.

* * *

Кто-то говорил об одной барыне, которой он не видал: «Она, должно быть, лицом дурна, потому что приятели ее говорят о ней, что она очень стройна».

Это напоминает слово князя Козловского. Чадолубивая мать показывала ему малолетних детей своих, которые были одно некрасивее другого, и спрашивала его: как они ему ка-

жутся. «Они должны быть очень благонравные дети», – отвечал он.

* * *

Когда Карамзин был назначен историографом, он отправился к кому-то с визитом и сказал слуге: «Если меня не примет, то запиши меня». Когда слуга возвратился и сказал, что хозяина дома нет, Карамзин спросил его: «А записал ли ты меня?» – «Записал». – «Что же ты записал?» – «Карамзин, граф истории».

* * *

Коллегия докторов, в которой избираются, то есть испытываются, в Китае лица, назначаемые на высшие государственные должности, именуется, кажется, *Ган-Лин*, то есть лес чернильниц.

NN говорит, что когда он входит в свой департамент, ему всегда снится, что он входит в китайскую коллегия докторов, то есть в дремучий лес чернильниц.

* * *

Мятлев, Гомер Курдюковской Одиссеи, служил некогда

по министерству финансов. Директора одного из департаментов прозвал он *целовальником*, и вот почему: бывало, что графиня Канкринина ни скажет, он сейчас: «Ах, как это мило, графиня! Позвольте за то поцеловать ручку вашу».

Когда Сабуров определен был советником в Банк, Мятлев сказал:

Канкрин наш, право, молодец!
Он не министр, родной отец:
Сабурова он держит в банке.
Ich danke, батюшка, ich danke.

* * *

Известно, что Ермолов любил отпускать шутки на немцев. Проезжая через Могилев, он говорил, что в главной квартире Баркляя он нашел только одного чужестранца, и то Безродного.

* * *

Князь Меншиков не любил графа Канкринина. Во время опасной болезни сего последнего кто-то встречает князя на Невском проспекте и говорит ему: «Сегодня известие о болезни Канкринина гораздо благоприятнее». – «А до меня, – от-

вечает князь, — дошли самые худые вести: ему, говорят, лучше».

* * *

Александр Тургенев был довольно рассеян. Однажды обедал он с Карамзиным у графа Сергея Петровича Румянцева. Когда за столом Карамзин подносил к губам рюмку вина, Тургенев сказал ему вслух: «Не пейте, вино прескверное, это настоящий уксус». Он вообразил себе, что обедает у канцлера графа Румянцева, который за глухотой своей ничего не расслышит.

* * *

Другой забавный случай по поводу глухоты Канцлера. Граф***, рассудительный, многообразованный, благородный, но до высшей степени рассеянный, приезжает однажды к графу Николаю Петровичу, уже страдавшему почти совершенной глухотой. На первые слова посетителя канцлер как-то случайно отвечает правильно. «Мне особенно приятно заметить (говорит граф), что ваше сиятельство изволите лучше слышать».

Канцлер: Что?

Граф ***: Мне особенно приятно заметить, что ваше си-

ятельство изволите лучше слышать.

Канцлер: Что?

Граф: Мне особенно приятно заметить...

Канцлер: Что?

Таким образом перекинулись они еще раза два теми же словами с одной и другой стороны. Канцлер, указывая на аспидную доску, которая всегда лежала перед ним на столе, просит написать на ней сказанное. И граф*** с невозмутимым спокойствием пишет на доске: «Мне особенно приятно заметить, что ваше сиятельство изволите лучше слышать».

* * *

Граф Сергей Румянцев говорил о допожарной Москве, что в ней жить нельзя, и не знаешь, где провести вечер. «Куда ни приедешь, только и слышишь: барыня очень извиняется, что принять не может», или потому, что полы моют, или потому, что служат мефимоны.

* * *

В каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру, в одно из многочисленных путешествий его по России. Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему: «Поз-

вольте спросить, ваша фамилия?» – «Осталась в деревне, ваше величество, – отвечает он, – но, если прикажите, сейчас пошлю за нею».

* * *

В холодный зимний день при резком ветре, Александр Павлович встречает г-жу Д***, гуляющую по Английской набережной. «Как это не боитесь вы холода?» – спрашивает он ее. «А вы, государь?» – «О, я, это дело другое: я солдат». – «Как! Помилуйте, ваше величество, как! Будто вы солдат!»

* * *

NN писал к приятелю своему, который был на одной из высоких ступеней общественной лестницы: «В свете и чем выше поднимаешься, тем более человеку, признающему за собой призвание к делу, выходящему из среды обыкновенных дел, должно быть неуязвимым с ног до головы, непроницаемым, непромокаемым, несгораемым, герметически закупоренным, и к тому же еще иметь способность проглатывать лягушек и при случае переваривать ужей. Воля ваша, но я не полагаю, что ваше сложение и ваш желудок достаточно крепки для подобного испытания».

Тоже из письма. «В старой Европе говорили: вежлив, как

вельможа; нагл, нахален, как холоп. Старой Европы уже нет: она приказала долго жить, и мы живем в новой Европе. Ныне многие вельможи говорят: мало быть вельможей, нужно еще быть наглым».

Ничто так не служит вывеской ума ограниченного и пошлого, как высокомерие и невежливость, возрастающие постепенно с возрастанием чинов и почестей. В таком высокомерии есть и большое унижение. В этом случае человек как будто сознает, что как личность он ничтожен, а придает себе вес только по благоприобретенным, а часто злоприобретенным внешним принадлежностям своим.

* * *

Откровенные и исповедные разговоры

Чиновник полицейского ведомства (в начале 20-х годов, или ранее, в Петербурге): Начальство поручило мне объясниться с вами. Оно заметило, что живете вы не по средствам своим, что издерживаете много денег, ведете даже жизнь роскошную, а по собранным справкам оказывается, что не имеете ни деревень, ни капиталов, ни родственников, которые помогали бы вам. Начальство желает знать, какие источники доходов ваших.

*Страт. *** (с некоторой запинкой)*: Если начальству непременно нужно знать, какие источники доходов моих, то обязываюсь откровенно признаться, что пользуюсь женскими слабостями.

*Барыня Г****: Какой несносный у меня духовник с любознательностью своей! Настоящая пытка!

НН.: Как это?

Барыня: Да мало ему того, что приносишь чистосердечное покаяние во грехах своих: он еще допытывается узнать, как, когда и с кем. Всего и всех не припомнишь. Тут еще невольно согрешишь неумышленным умалчиванием.

* * *

В тетрадке одного из Молчалиных записана следующая *выходка, вспышка* (жаль, что не имеем на русском языке слова *boutade*, которое так выразительно на французском и было бы здесь кстати):

Природа всем нам мать родная,
Слыхал и я. Но для чего ж,
Детей дарами наделяя,
Не ровен так ее дележ.

Там мирт и виноград, и розы,
Там солнце, вечная весна:
А здесь туманы, да морозы,
Капуста, редька и сосна.

* * *

Есть люди, которые огорчаются чужой радостью, обижаются чужим успехам и больны чужим здоровьем. Добро бы еще, если б действовали в них соперничество, ревность, совместничество, что французы называют *jalousie de metier*. Нет, эта платоническая, бескорыстная зависть. Они несколько не желали бы поступить на место, которое занял другой.

Нет, им бесцельно и просто досадно, что этот другой занял это место или получил такую-то награду. Я знавал подобного барина, несчастно впечатлительного и раздражительного. Он был молод, красив собой, богат, не был на службе и не хотел служить, мог пользоваться всеми приятностями блестящей независимости. Вдобавок не был он и автор и даже был достаточно безграмотен. Когда же Карамзину, в чине статского советника, была пожалована Анна первой степени, его взорвало. «Вот, – говорил он в исступлении, – прямо сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив!»

У него была и другая равнохарактерная особенность, но эта прямо по его части. Он ревновал ко всем женщинам, даже и к тем, к которым не чувствовал никакого сердечного влечения. Подметит ли он, что молодая дама как-то особенно нежно разговаривает с молодым мужчиной, он сейчас заподозрит, что тут снуется завязка романтической тайны; он вспылит и готов подбежать к даме с угрозой, что тотчас пойдет к мужу ее и все ему откроет. Не ручаюсь, чтоб такая угроза не была иногда приводима в действие.

Был еще в Петербурге субъект той же породы: умный, образованный, не из русских, но вполне обрусевший по этой части. Он сам был довольно высоко поставлен на лестнице, известной под именем *табели о рангах*, а потому и не смущался он от мелочных служебных скачков. Его внимание обращено было выше. От этих астрономических и звезд-

дочетных наблюдений случались с ним приливы крови к голове. Особенно были для него трудны и пагубны для здоровья дни Нового Года, Пасхи, высочайших тезоименитств. Это было хорошо известно семейству его: в эти роковые дни, по возвращении из дворца, ожидали уже его на дому доктор и фельдшер и, по размеру розданных Александровских и Андреевских лент и производств в высшие чины, ставили ему соответственное количество пиявок, или рожков.

Был еще мне хорошо и приятельски знаком третий образчик этого физиологического недуга, но он был так простосердечен, так откровенен в исповедании слабостей своих, что обезоруживал всякое осуждение. Он не только не таил их под лицемерным прикрытием равнодушия и презрения к успехам и почестям, но охотно обнаруживал их с самоотвержением и, что всего лучше, с особенной забавностью и на этот случай с особенной выразительностью и блистательностью речи. И он состоял всегда под лихорадочным впечатлением приказов как военных, так и гражданских, но преимущественно военных. Он был уже в отставке, но и отставной сохранил он всю свежесть и всю чувствительную раздражительность служебных столкновений и местничества.

«Как хорошо знает меня граф Закревский, – говорил он мне однажды. – Раз зашел я к нему в Париже. – Что ты так расстроен и в дурном духе? – спросил он меня. – Ничего, – отвечал я. – Как ничего, ты не в духе, и скажу тебе отчего: ты верно, шут гороховый, прочел приказ в *Инвалиде*, сегодня

пришедшем. Не так ли? – И точно, я только что прочел военную газету и был поражен известием о производстве бывшего сверстника моего по службе».

Он когда-то состоял при князе Паскевиче, но по неосторожности, или по другим обстоятельствам, лишился благорасположения его, которым прежде пользовался, и вынужден был удалиться. Этот эпизод служебных приключений его бывал частой темой его драматических, эпических, лирических и особенно в высшей степени комических рассказов. Мы уже заметили, что раздражительность давала блестящий и живой оборот всем речам его. Он тогда становился и устным живописцем, и оратором, и актером, и импровизатором. Между прочим, рассказывал он свидание свое с князем Паскевичем, несколько лет спустя после размолвки их. «В один из приездов князя в Петербург, повстречавшись с братом моим, спрашивает он его, почему он меня не видит. Принял он меня отменно благосклонно и в продолжении разговора вдруг спросил меня: А что выиграла вы, не умевши поладить со мной и потерявши мое доверие? Остались бы вы при мне, вы были бы теперь генерал-лейтенантом, может быть, генерал-адъютантом, кавалером разных орденов. – Каково же было мне все это слышать? И с какой жестокостью, вонзив в сердце мое нож, поворачивал он его в ране моей. Вероятно, для этого заклания и желал он видеть меня». Сцена в высшей степени драматическая.

Был у меня приятель доктор, иностранец, водворившийся в России и если не обрусевший (от инокровного и иноверного никогда ожидать нельзя и не нужно совершенного обрусения), то, по крайней мере, вполне *омосквичившийся*. Он был врачом и приятелем всего нашего московского кружка, до 1812 года и долго после того. Он был врач не из ученых, хотя и питомец итальянских медицинских факультетов, когда-то очень знаменитых, но он был из тех врачей, которые нередко исцеляют труднобольных. Глаз его был верен, сметлив и опытен. Если не было в нем много глубоких теоретических и книжных познаний, но зато не было и тени шарлатанства и беганья, во что бы то ни стало и часто не на живот, а на смерть, за всеми хитросплетенными новыми системами. Он не пренебрегал ими, знакомился с ними, но не подчинялся им слепо и суеверно, он над больным не развертывал их знамени, чтобы доказать, что и он доктор-либерал, отрекшийся от старого учения и преданий старого авторитета. К тому же (что еще кроме науки нужно врачу) он имел душу, сердоболие, неутомимое внимание за ходом и разносторонними видоизменениями болезни, веселые приемы и совершенно светское обращение. Могу говорить о нем с достоверностью и досконально, потому что два раза, в труднейших и опаснейших болезнях, был я в руках его, и оба раза я, как го-

варивал К. (по словам Сонцова), *оттолкнул мрачную дверь гроба и остался, как вы видите, на земле, чтобы прославлять имя моего земного спасителя.* Он был не лишний и у постели больного, и за приятельским обеденным столом. Во всяком случае, мы выпили с ним более вина, нежели микстур, им прописанных.

Один из больных, страдавший более внешней болью, чем внутренней, настойчиво требовал, чтобы он прописал ему какое-нибудь лекарство. Врач отказывался, говоря, что не нужно, и что боль скоро сама собой пройдет. Наконец, чтобы отделаться от докучливых требований, сел он за письменный стол и начал писать рецепты. Тут больной испугался и стал просить, чтобы он дал ему лекарство не слишком крепкое. «Будьте покойны, – отвечал он, – пропишу такое лекарство, которое ничего вам не сделает».

Однажды жаловался он мне на свои домашние невзгоды с женой. «Сами виноваты вы, – сказал я ему. – Доктору никогда не нужно вступать в брак: каждый день и целый день не сидит он дома, а рыскает по городу; случается и ночью: жена остается одна, скучает, а скука – советница коварная». – «Нет, совсем не то, что вы думаете», – перебил он речь мою. «Во всяком случае, повторяю: что за охота была вам жениться?» – «Какая охота? – сказал он. – Тут охоты никакой не было, а вот как оно случилось. Девушка N., помещица С-кой губернии, приехала в Москву лечиться от грудной болезни. Я был призван, мне удалось помочь ей и поставить ее на но-

ги. Из благодарности влюбилась она в меня: начала преследовать неотвязной любовью своей, так что я не знал, куда деться от нее и как отделаться. Наконец расчел я, что лучшее и единственное средство освободиться от ее гонки за мной есть женитьба на ней. По моим докторским соображениям и расчетам, я пришел к заключению, что хотя, по-видимому, здоровье ее несколько поправилось, год кое-как вытерплю; вот я и решился на самопожертвование и женился. А на место того, она изволит здравствовать уже пятнадцатый год и мучить меня своим неприятным и вздорным характером. Поди, полагайся после на все патологические и диагностические указания науки нашей! Вот и останешься в дураках». Доктор и докторша давно почивут в мире.

* * *

Один перчаточник развесил перед лавкой своей огромную красную ручищу. Он просил у городского начальства позволения выписать на вывеске известный стих, из трагедии *Дмитрий Донской: Рука Всеvyšнего Отечество спасла*. Известно, разрешена ли была просьба его.

* * *

Праздничная поэзия имеет также свою прозаическую и

будничную изнанку. Когда знаменитая трагическая актриса Жорж (похищенная у парижского театра и привезенная в Россию молодым тогда гвардейским офицером. Бенкендорфом) приехала в Москву, я, тоже тогда молодой и впечатлительный, совершенно был очарован величием красоты ее и не менее величественной игрой художницы в ролях Семирамиды и Федры. Я до того времени никогда еще не видел олицетворения искусства в подобном блеске и подобной величавости. Греческий, ваяльный, царственный облик ее и стан поразили меня и волновали.

Воспользовавшись объявлением бенефиса ее, отправился я к ней за билетом. Мне, разумеется, хотелось полюбоваться ею вблизи и познакомиться с ней. Она жила на Тверской у француженки мадам Шеню, которая содержала и отдавала комнаты внаймы с обедом, в такое время, когда в Москве не имелось ни отелей, ни ресторанов. Взобравшись на лестницу и прикоснувшись к замку дверей, за которыми таился мой кумир, я чувствовал, как сердце мое прытче застучало и кровь сильнее закипела. Вхожу в святилище и вижу перед собой высокую женщину, в зеленом, увядшем и несколько засаленном капоте; рукава ее высоко засучены; в руке держит она не классический мельпоменовский кинжал, а просто большой кухонный нож, которым скоблит деревянный стол. Это была моя Федра и моя Семирамида. Нисколько не смущаясь моим посещением врасплох и удивлением, которое должно было выражать мое лицо, сказала она мне: «Вот

в каком порядке содержатся у вас в Москве помещения для приезжих. Я сама должна заботиться о чистоте мебели своей». Тут, понимается, было мне уже не до поэзии, кухонный нож выскоблил ее с сердца до чистой прозы.

В издаваемом им в то время *Вестнике Европы* Жуковский печатал мастерские и превосходные отчеты о представлениях *Девушки Жорж*, как он называл ее. В этих беглых статьях является он тонким и проницательным критиком, как литературным, так и сценическим; нет в них ни сухости, ни пошлой журнальной болтовни, ни учительского важничания. Это просто живая передача живых и глубоких впечатлений, проверенных образованным и опытным вкусом. Перечитывая их и читая новейшие оценки театрального искусства и движения, нельзя не сознаться, что журналы и газеты наши, по крайней мере в этом отношении, ушли далеко, но только не вперед.

Лет тридцать спустя, в Париже, захотелось мне подвергнуть испытанию мои прежние юношеские ощущения и сочувствия. Девушка Жорж уже не царствовала на первой французской сцене, сцене Корнеля, Расина и Вольтера: она спустилась на другую сцену, мещанско-мелодраматическую. Я отправился к ней. Увидев ее, я внутренне ахнул и почти пожалел о зеленом, измятом капоте и кухонном ноже; во всяком случае, тогда была, по крайней мере, обоюдная молодость. Теперь предстала передо мной какая-то старая баба-яга, плотно оштукатуренная белилами и румянами, пест-

ро и будто заново подмалеванная древняя развалина, изображенный памятник, изуродованный временем обломок здания, некогда красивого и величественного. Грустно мне стало за нее и, вероятно, за себя.

Она уверяла, что очень хорошо помнит и Москву, и меня. Спасибо за добрую память! Но от того было не легче. Вот новый удар по голове поэзии моей.

В виду одна печальная прозаическая изнанка. Можно ли было, глядя на эту безобразную массу, угадать в ней ту, которая как будто еще не так давно двойным могуществом искусства и красоты оковывала благоговейное внимание многих тысяч зрителей, поражала их, волновала, приводила в умиление, трепет, ужас и восторг? Как! – говорил я, печально от нее возвращаясь, – эта баба-яга именно та самая, которая в сиянии самовластительной красоты передавала нам так верно и так впечатлительно великолепные стихи Расина, еще и ныне звучащие в памяти:

Dieux, que ne suis-je assise a l'ombre des forets!
Quand pourrai-je au travers d'une noble poussiere
Suivre de l'oeil un char fuvant dans la carriere?

Она произносила эти стихи как будто в забытьи, протяжно, словно невольно и бессознательно. При первых двух стихах она сидела на креслах, при третьем она немного привставала и наклонялась с движением рук, чтобы выразить, что она *следит за колесницей*.

Помню, что при восторге и юношеской неопытности моей, мне не нравилась эта материальная подражательность, эта художественная жеманность.

* * *

Вот кстати, или некстати, маленькая историческая сплетня. Во время оно говорили, что при одном из первых свиданий двух императоров, Александра I и Наполеона I, была у них, между прочим, речь о девице Жорж.

* * *

По поводу этих исторических и императорских свиданий припоминаю довольно забавную и замечательную черту нашего простого народа. Дело идет о первом свидании и первой встрече Александра с Наполеоном на плоту на реке Неман, в 1807 году. В это время ходила в народе следующая легенда.

Несчастные наши войны с Наполеоном грустно отозвались во всем государстве, живо еще помнившем победы Суворова при Екатерине и при Павле. От этого уныния до суеверия простонародного, что тут действует нечистая сила, недалеко, и Наполеон прослыл Антихристом. Церковные увещевания и проповеди распространяли и укрепляли эту

молву. Когда узнали в России о свидании императоров, зашла о том речь у двух мужичков.

«Как же это, – говорит один, – наш батюшка, православный царь, мог решиться сойтись с этим окаянным, с этим нехристом. Ведь это страшный грех!» – «Да как же ты, братец, – отвечал другой, – не разумеешь и не смекаешь дела? Разве ты не знаешь, что они встретились на реке? Наш батюшка именно с тем и повелел приготовить плот, чтобы сперва окрестить Бонапартия в реке, а потом уже допустить его пред свои светлые, царские очи».

В течение войны 1806 г. и учреждения народной милиции имя Бонапарта (немногие называли его тогда Наполеоном) сделалось очень известным и *популярным* во всех углах России. Народ как будто предчувствовал, угадывал в нем Бонапартия 12-го года. Одна старая барыня времен Екатерины, привыкшая к могуществу и славе ее, иначе не называла его как Бонапартиха, судя по аналогии, что он непременно не император, а императрица.

По поводу милиции всюду были назначены областные начальники, отправлены генералы, сенаторы для обмундирования и наблюдения за порядком, вооружением ратников и так далее. Военская деятельность охватила всю Россию. Эта деятельность была несколько платоническая; она мало дала знать себя врагу на деле, но могла бы надумать его, что в народе есть глубокое чувство ненависти к нему и что разгорится она во всей ярости своей, когда вызовет он ее на род-

ной почве и на рукопашный бой. Алексей Михайлович Пушкин, состоявший по милицейской службе при князе Юрии Владимировиче Долгоруком, рассказывал следующее.

На почтовой станции одной из отдаленных губерний заметил он в комнате смотрителя портрет Наполеона, приклеенный к стене.

«Зачем держишь ты у себя этого мерзавца?» – «А вот затем, ваше превосходительство (отвечал он), что если не равно, Бонапартий, под чужим именем, или с фальшивой подорожной, приедет на мою станцию, я тотчас по портрету признаю его, голубчика, схвачу, свяжу, да и представлю начальству». – «А это дело другое!» – сказал Пушкин.

Вот еще милицейское воспоминание и милицейская легенда. В начале столетия были известны в Москве два брата С. Они в своем роде и в некоторых кружках пользовались даже знаменитостью. Оба были видные и красивые мужчины. В них выражался некоторый разгул, некоторое молодечество, довольно обыкновенные в царствование Екатерины, обузданные и прижатые при императоре Павле и снова очнувшиеся, на некоторое время, с воцарением Александра. Собственно, не принадлежали они аристократическому кругу, но, если верить соблазнительным хроникам, красивая наружность и отвага растворяли перед ними, мелкотравчатыми дворянами – особенно перед одним из них – потаенные двери в некоторые аристократические будуары. Один из них кропал стихи. Была известная песня его с припевом: «Тьфу,

как счастлив тот, кто скот!»

Но вот замечательнейшая черта из их биографии. В 1806 году находились они ополченцами в одном отдаленном губернском городе. В самое то время, перед 12-м декабря, днем рождения императора Александра, губернатор входит с представлением к высшему начальству, испрашивая дозволения пить на предстоящем официальном обеде за здоровье государя императора малагою, а не шампанским, потому что все шампанское, имевшееся в губернском городе и в уездах, выпито братьями С.

Тут есть что-то гомерическое, напоминающее богатырские пиршества, воспетые греческим песнопевцем.

* * *

Про одну из барынь прошлого века, ехавшую за границу вскоре после Наполеоновских войн, граф Растопчин говорил: «Напрасно выбрала она это время: Европа еще так истощена».

* * *

С NN. была неприятность или беда, которая огорчала его. Приятель, желая успокоить его, говорил ему: «Напрасно тревожишься, это просто случай». – «Нет, – отвечал NN., – в

жизни хорошее случается, а худое сбывается».

* * *

Однажды, при чтении в частном обществе нескольких глав неизданного романа, один из слушателей Т. заснул. *Il est le seul*, – сказала девица В., – *qui ait eu le courage de son opinion* (он один имел смелость заявить мнение свое).

При другом случае NN. сказал: *Il est inutile d'voir le courage se sa sottise?* А это бывает чаще. Смелость, откровенность убеждения, то есть бесстрашие, с которым высказываешь и поддерживаешь убеждение свое против ветра и прилива, как говорят французы, конечно, дело честное и мужественное: это своего рода Фермопильская битва. Но жаль, что нередко самые безобразные и нелепые мнения провозглашаются и защищаются с наибольшим ожесточением. Глупость, именно потому, что она глупость, и придает человеку свою врожденную смелость. Ум может, при случае, задуматься, замяться, совершить даже образцовое и достохвальное отступление, как совершали его иные великие полководцы; глупость, очертя голову, никогда не отступает, а все лезет вперед и напролом.

* * *

Говорили, что Платов вывез из Лондона, куда ездил он в 1814 году в свите Александра, молодую англичанку в качестве компаньонки. Кто-то, — помнится, Денис Давыдов. — выразил ему удивление, что, не зная по-английски, сделал он подобный выбор. «Я скажу тебе, братец, — отвечал он, — это совсем не для *хфизики*, а больше для морали. Она добрейшая душа и девка благоданная; а к тому же такая белая и дородная, что ни дать ни взять ярославская баба».

* * *

Из дорожного дневника в окрестностях Карлсбада. По берегам речки несколько мельниц. На мельницах промышленность дружится с поэзией. Это не то что фабрика или мастерская: там духота физическая и нравственная, подобие тюрьмы, род вольной, а на деле невольной каторги. Мельницы обыкновенно строятся в живописных местоположениях. Движение, шум мельницы одушевляют картину. Мельник вообще какая-то особенная личность. Народная молва приписывает ему то лукавство, то колдовство с примесью поэзии. Аблесимов недаром выбрал его в герои оперы своей. Ветряные мельницы могут быть очень полезны, но нет в

них привлекательности мельницы водяной. Безобразны эти огромные руки, которые махают в воздухе и вертятся. Да и нет главной прелести, души мельницы: нет воды, этой вечно живой, вечно движущейся, вечно говорливой, поющей стихии.

Сегодня здешний праздник Петра и Павла. Ездили в Эльбоген. По дороге встречали богомольцев. Перед селениями кукольные изображения святых именинников в цветочных венках, с распущенными хоругвями и проч. Православным глазам как-то странны и даже дики эти грубые изваяния. Но ведь привыкли же мы к грубой живописи наших богомазов. Эти высокие кресты, изображения Девы Пресвятой, которые встречаешь по дорогам, имеют что-то народное и легендарное. Они напоминают какое-нибудь событие, совершившееся на этом месте. Редкие наши часовни, которые находим также на больших дорогах, имеют свою религиозную и поэтическую прелесть. Помню, что, в странствованиях моих по неизмеримым пространствам нашей матушки-России, я всегда радовался подобной находке и с умилением останавливался перед нею. Все же это было выражение мысли и чувства, живое предание чего-то, сочувственное, хотя и темное общение с кем-то Кто-нибудь да построил же эту часовню в память былой радости или былой скорби. Молча совершаешь крестное знамение, поклоняешься этому безымянному памятнику и едешь далее дорогой своей. Но минута взяла свое: она запечатлелась в тебе, и ты откликнулся на голос далеко-

го, незнакомого и чуждого тебе брата. Помню две или три таких часовни, построенные при источниках. Это переносит в знойные пустыни мусульманского Востока. Там также сооружены фонтаны, можно сказать, священные, на камне вырезано изречение из Алькорана; под ним струится прохладная вода, Божия роса в этой раскаленной степи.

Местоположение Эльбогена очень красиво. Живописны его цепной мост и древний рыцарский замок. О времена, о нравы! О насмешка судьбы! Замок служит теперь острогом для заключенных преступников. Впрочем, если хорошенько вникнуть в дело, то выйдет разница небольшая: вероятно, многие благородные рыцарские обитатели этого замка были в свое время и в «воем роде такие же разбойники, как и нынешние жильцы его.

* * *

NN. говорит о X., писателе расплывчатом: «Он чернилами не пишет, а его чернилами слабит».

* * *

Первая жена графа Л. была женщина немолодая, некрасивая, ужасно худощавая, плоская, досчатая. Однажды, читая какую-то реляцию, спрашивает она, что значит французское

слово *gorge* на военном языке. «Это значит вход в укрепление, – отвечает он. – Говорят: *attaquer une demilune par la gorge*. *Voyez-vous, ma chere, si, par exemple, vous etiez une forteresse, vous seriez impregnable*. (Атаковать полумесяц *горжею*. Вот видите, моя милая: если бы вы, например, были крепостью, вас нельзя было бы взять.)». Кажется, и у нас, по части фортификации, употребляется слово *горжа*, как вход в бастион. Другое значение французского слова *gorge*, которое к графине было неприменимо, покорнейше просим отыскать в словаре.

Граф Л. застаёт эту же сожительницу свою в преступном разговоре (также и здесь отсылаем читателя или читательницу к английскому словарю) с одним из своих адъютантов. «Поздравляю вас, любезнейший, – говорит он ему. – Я хотел представить вас к Анне на шею, а теперь представлю вас к шпаге за храбрость».

Муж и жена были очень скупы, они жили в доме на двух половинах. Вечером общая приемная комната их никогда не была освещена. Когда докладывали им о приезде кого-нибудь, он или она, смотря по приезжем, т. е. его ли это гость или ее, выходил или выходила из внутренней комнаты со свечой в руке. Когда же гость мог быть *обоюдный*, то муж и жена являлись в противоположных дверях и, завидя друг друга, спешили задуть свечу свою, так что гость оставался в совершенных потемках.

* * *

Другой граф Л. был также известен скопидомством своим и большим богатством. Перед кончиной своей послал он за патером, чтобы приобщиться святых таинств. У римских католиков сей обряд совершается с некоторой торжественностью. Граф приказал засветить все люстры, канделябры и подсвечники со священными дарами. Тотчас по исполнении обряда и уходе патера приказал он немедленно погасить все свечи, по этому случаю зажженные. Таково было последнее его хозяйственное распоряжение, и едва ли не таковы были последние предсмертные слова.

* * *

Верон, французский писатель и содержатель парижской оперы, рассказывает в Записках своих, что он посетил князя Тюфякина в день смерти его. Князь очень страдал и страданиями был ослаблен. Завидев Верона, он с трудом выговорил: «А Плонкет (известная танцовщица) танцует ли сегодня?»

Вот, можно сказать, автонадгробное слово, которое произнес над собой наш соотечественник, впрочем, человек любезный, бывший некогда директором императорских теат-

ров в России. Он провел последние годы жизни своей в Париже. Когда русским приказано было выехать из Парижа, Поццо-ди-Борго исходатайствовал у императора Николая позволения ему оставаться в нем, по причине болезни. Впрочем, он был, в самом деле, здоровья очень плохого. Посол приглашает его однажды на обед. Князь находит под салфеткой прибора своего высланное из Петербурга разрешение оставаться бессрочно в Париже. Князь так и вскочил со стула от удивления и радости. Дом его парижский был очень гостеприимен для туземцев и для заезжих земляков, что не всегда бывает, и часто не без причины: и англичане, которые большие патриоты, на твердой земле осторожно оббегают наплыва соотечественных туристов.

А вот еще историческое предсмертное слово. «Как скучен Катенин!» – воскликнул В. Л. Пушкин умирающим голосом. Это исповедь и лебединая песнь литератора старых времен, т. е. литератора присяжного, литератора прежде всего и выше всего.

* * *

Племянник графа Литты, князь Владимир Голицын, спросил его: «А знаете ли вы, какая разница между вами и Бегровым? Вы граф Литта, а он литограф».

* * *

Вследствие какой-то проказы за границей, тот же Голицын получил приказание немедленно возвратиться в Россию, на жительство в деревне своей безвыездно. Возвратившись в отечество, он долгое время колесил его во все направления, переезжая из одного города в другой. Таким образом приехал он, между прочим, в Астрахань, где приятель его Тимирязев был военным губернатором. Сей последний немало удивился появлению его. «Как попал ты сюда, – спрашивал он, – когда поведено тебе жить в деревне?» – «В том-то и дело, – отвечает Голицын, – что я все ищу, где может быть моя деревня: объездил я почти всю Россию, а все деревни моей нет как нет, куда ни заеду, кого ни спрошу».

Он был очень остер, краснобай, мастер играть словами и веселый рассказчик. Московский Английский клуб 20-х и 30-х годов не раз забавлялся его неожиданными и затейливыми выходками.

* * *

Граф Гейнрих Ржевуский, польский писатель, известный и прославившийся своими историческими романами, в которых воскрешал он нравы и быт старой Польши, был сам

кровный и *щирый* поляк. Он принадлежал старой *отчизне* душою, преданиями и убеждениями, пожалуй, и предубеждениями, ложно-историческими и клерико-религиозными. Но все же эти убеждения, смешанные с предубеждениями, входили в плоть и кровь его. Воля ваша, должно уметь мириться с подобными людьми, а не забрасывать их укоризнами и камнями риторического патриотизма. Можно быть политическим противником их, но и в борьбе нужно уважать честного врага. В этой среде Ржевуский был единомышленником собратий своих, но и отличался от них. В нем были патриотические сожаления и скорби, но не было безумных упований и самонадеянных требований. Рассудок его не щетинился перед силой вещей и приговором совершившихся событий. Помимо страстей и закоренелых сочувствий, он нередко ясно и метко вглядывался в вещи и видел их такими, какими были они в самом деле.

У него было поместье в южно-западной России. Однажды съехались к нему соседи. Скоро речь зашла о том, чем была Польша некогда и чем она стала теперь. Разговор, разумеется, дошел до того, что так или иначе, а Польша в свой урочный час восстанет и сплотится на старый лад. Хозяин, наскучившись этим вечным переливанием из пустого в порожнее, сказал им: «А знаете ли, господа, как правительство могло бы совершенно обрусить деревню, в которой имею ныне честь видеть вас и угощать? Стоило бы ему только вывезти отсюда меня, эконома и ксендза: за отсутствием нас тро-

их, деревня сделалась бы сплошь чисто-русская».

В другой раз вбегает к нему в Петербурге поляк-студент, взволнованный и восторженный. В то время где-то в Польше возникли политические беспорядки, которые, по польскому обычаю, могли возрасти до кровавой смуты. «Что же, граф? – спрашивает он. – Скоро выезжаете вы из Петербурга?» – «Зачем и куда?» – говорит граф. «Как куда и зачем? Да разве не знаете вы, что в Польше зашевелились?» – «Нет, знаю, но именно потому в Польшу и не еду, а остаюсь в Петербурге». – «Помилуйте, граф, вам в ваши лета нельзя терять такой удобный случай: может быть, это в последний раз на веку вашем приходится быть свидетелем восстания и принять в нем участие. Я – дело другое: я еще молод, могу подождать, впереди мало ли что еще будет, а вам ждать нечего». Ржевуский в тот же день рассказал мне этот разговор.

В то же время отправился он в почтамт и объявил, что он ни с кем переписки не имеет и иметь не хочет, и что в случае получения писем на имя его он покорнейше просит почтовое начальство истребовать эти письма.

О пребывании своем в Петербурге Ржевуский забавно замечал: «Здесь все любят быть при ком-нибудь или при чем-нибудь. Каждому нужно так или иначе числиться *состоящим*; единичных личностей нет. Когда я бываю в обществе или гуляю по улицам, я, не принадлежащий никакому ведомству, никакому персоналу, могу вообразить себе, что вся эта административная махина, все это поголовное чиновни-

ческое ополчение учреждены, бодрствуют, действуют только для меня, для личного охранения личной моей безопасности и для моего удовольствия. Все прочие – звенья, взаимно сопряженные в одну цепь, которой держится общий порядок. Все друг дружке помогают, каждый дежурством своим и поденным трудом. Я один не дежурю, никому не помогаю, ничего не делаю, а пользуюсь усиленными трудами всеобщей бдительности и деятельности».

«Полячка же (говорил он), напротив, любит всегда иметь при себе кого-нибудь, а сама быть ни при чем. Русские, хотя иногда и без выгод, ищут быть бескорыстными клиентами; полячка любит иметь при себе чиновников по особенным поручениям, добровольных невольников. Полячка, где бы ни было, употребит все усилия, все уловки польской своей природы, чтобы завербовать под власть свою одну из местных предержавших властей: в столице – министра, в губернском городе – губернатора или начальника внутренней стражи, в уездном – городничего, в деревне – квартирующего с отрядом своим армейского прапорщика. В этом выражается и общая женская потребность нравиться, и особенно польская потребность иметь при себе и всенародно угодника, приживала, более или менее официального, более или менее титулованного. Как соседи ни разделяли Польши, еще все не могли они приступить к *разделу* этой женской национальной силы».

Как Ржевуский ни любовался и ни хвастался своей еди-

ничной независимостью, а кончил тем, что состоял, если не официально, то официозно, при князе Паскевиче в Варшаве. Фельдмаршал (и ставим ему это в число не последних отличий его) чувствовал также потребность иметь постоянно при себе умного человека. Так были при нем Старынкевич, потом Козловский, под конец Ржевуский. Ему нужен был разговорчивый и просвещенный собеседник, далеко заполуночный. В беседах этих был он искренен, словоохотлив и в высшей степени занимателен. Но необходим был для такой беседы человек, умеющий давать *реплику*, как говорится на театральном языке. Ржевуский имел в себе что-то и Старынкевича, и Козловского: трудно определить это неуловимое *что-то*, но оно угадывалось, чувствовалось. Первый, кроме того, что был очень умен и речист, имел еще неистощимый запас всевозможных воспоминаний, государственных и биографических сведений о событиях, закулисных и канцелярских тайнах и лицах царствования Александра. Между прочими знал он наизусть князя Багратиона, Чичагова, Новосильцева. Сам не играл он в делах видной роли, даже и второстепенной, но умел пронюхивать источники, доискиваться их, приближаться к ним и черпать из них ловкой и объемистой рукой. Сверстники и приятели прозвали его: *политическим Фигаро*.

Ржевуский не обладал, может быть, вполне изящными и сочувственными свойствами, которыми так богато и почти исключительно пред другими был одарен Козловский. Он

не имел за собой, как Козловский, и европейской известности, и европейского авторитета. Но и он в обществе, на вечерах, мало-помалу забирал первенствующее место в разговоре: все охотно слушали его, забавлялись парадоксами, смеялись остроумным выходкам его, иногда фантазиям воображения, в которых правдивый историк уступал место романисту, и слушатель не должен был ставить всякое лыко в строку.

* * *

Кривцов, Николай Иванович, возвратясь из Лондона, в котором прожил он довольно долгое время, по службе при нашем посольстве, явился к нам большим англоманом. Он вывез из Англии с собой и в себе многие тамошние обычаи, вкусы, повадки. Император Александр I очень благоволил к нему и любил в нем молодого безногого ветерана последней отечественной войны.

Вскоре по возвращении своем назначен он был тульским гражданским губернатором. Туда перевез он и свою английскую обстановку. Тулякам это не нравилось. Они, то есть привычки и желудки их, не могли переваривать поздние обеды его, и у себя дома, и в частных домах, где давались обеды в честь его, туляки мало обращали внимания на то, что он был деятелен, правосуден, само собой разумеется, и бескорыстен: к небрежности в делах они пригляделись; к взяткам они, по прежним порядкам, успели попривыкнуть. Все это

дело житейское и обыкновенное; но обедать в шестом часу, но смотреть, как губернатор в конце обеда прохлаждается изюмом, орехами и медленно запивает их рюмкой портвейна, вот уже чего никак не могла спокойно вынести их домашняя и гражданская натура.

После Тулы перешел он в Воронеж, из Воронежа поступил он губернатором в Нижний Новгород. Внешняя англо-мания его, а может быть, и некоторая внутренняя неуступчивость и особливость в нраве, попробуем сказать *особнячество* (жить особняком) в провинциальной среде, везде вредили ему. Пошли служебные пререкания, жалобы, доносы. Наконец, должен он был сойти с губернаторского поприща. Жаль, что гражданская деятельность его не долее продолжалась. Он мог сначала, по неопытности, по малому знакомству с административными русскими порядками, иногда ошибаться и делать легкие промахи; но в нем были все залого хорошего хозяина губернии. Нет сомнения, что со временем вышел бы из него образцовый губернатор. Он часто говорил: «Когда сужу себя, бываю собой недоволен; когда себя сравниваю со многими другими, я примиряюсь с собой».

Но возвратимся к Голицыну по поводу Кривцова. Между привычками, вывезенными им из Англии, была и та, что за завтраком его стояла на столе хрустальная чаша с вареньем. Когда он до нее дотрагивался, Голицын говорил ему: «Сделай милость, не принуждай себя, не неволь себя; я и так буду всех уверять, что видел собственными глазами, как ты ешь

варенье после утреннего чая».

Дополним еще несколькими почерками пера изображение Кривцова, слегка уже нами наброшенное. Есть лица, чьих портреты во весь рост не попадают в исторические выставки. История их не выдает, но не менее того силуэты их имеют полное право занять место в приятельском альбоме или в перечневой ведомости современных личностей.

После своих губернаторских неудач Кривцов поселился в Тамбовской деревне Любичи. Редко выезжал он из нее в Москву на несколько недель: еще реже являлся в Петербург, и то на время еще короче. Разумеется, построил он в деревне каменную, готическую английскую башню. Но вместе с тем построил и большой деревянный дом, красивый, хорошо расположенный и со всеми возможными удобствами, как для себя и для своих, так и для гостей, навещавших его. Из соседей своих преимущественно сблизился он с семейством князя Григория Сергеевича Голицына (которого помещичья жизнь и домашняя обстановка ожидают живописца для верной и достойной обрисовки всей ее своеобразности), с Баратынскими, с Чичериными. От других соседей он уклонялся, а если необходимость вынуждала его принимать кого из них, то он вымещал скуку свою на голодающем их желудке и обедал еще позднее обыкновенного: соседи, измученные долгим отощанием, не возвращались на дальнейшие пытки. Он усердно занимался сельским хозяйством, но с прибылью ли, это неизвестно, да и сомнительно. Впрочем, он не англи-

зировав ни полей своих, ни хлебопашцев, а кажется, держался отцовских порядков в обрабатывании полей и в прочем домостроительстве. Он вообще не был человеком ни увлечения, ни утопии. Был он более человеком рассудка, разбора, анализа. Можно было признать в нем некоторую холодность, некоторый скептицизм. Не знаю, был ли он способен к дружбе в полном значении этого слова, то есть с ее откровенностью, горячностью, самопожертвованием, но он питал в себе чувства искренней приязни и уважения к некоторым исключительным лицам и остался им верен до конца. Он не был записан в Арзамасском штате, но был приятелем почти всех арзамасцев. Учиться начал он поздно и сам собою, то есть чтением. Первоначальное образование его было, вероятно, слабо и поверхностно. Рано вступил он в военную службу: тут было тогда не до учения, а до учений. Из первых серьезных книг, им прочитанных, была, кажется, история века Людовика XIV, написанная Вольтером. Под новостью и свежестью впечатлений своих он, кстати и не кстати, все говорил об этой эпохе. Кто-то из приятелей его, – чуть ли не Блудов, сказал: «Кривцов воображает, что он открыл век Людовика XIV».

Деревенская жизнь, со своим спокойствием, с независимостью своей, год от году все более привязывала его к себе. В этой жизни было также что-то английское, частью, может быть, и привитое, но прививка попала на хороший и родственный грунт. Англичане живут в поместьях своих, в Лон-

доне они только гостят. Кривцов одичал к обществу, которое, впрочем, он, кажется, и в молодости умеренно любил, но приезду приятеля он всегда был рад. Бывало, перед обедом спросит он его: какое вино хочет он пить? И спустившись в погреб, которого ключ носил он всегда в кармане, вынесет он, по желанию гостя, бутылку хорошего бордо, рейнвейна или шампанеи, как говаривал Американец Толстой. Хотя деревянная нога его была образцовая, щегольская, так что мудрено было разглядеть, которая сделана из дерева и пружин и которая из костей и мяса, но все же не мог он много ходить. У подъезда деревенского дома его стояла постоянно таратайка, запряженная в дежурную лошадь. В этом экипаже несколько раз в день объезжал он поля свои и осматривал хозяйственные работы, и каждый вечер староста являлся к нему с докладом о трудах и событиях дня.

Эти аудиенции имели свой особый характер. Кабинет его, как и все комнаты, содержались в примерной, опять-таки английской, чистоте. Полы обиты были мягкими, пушистыми коврами, мало удобными для гвоздями обитой обуви русского мужика. И вот что придумано было помещиком. Он велел прорубить род окна в стене, выдающейся в сени. В известный час староста высовывал через отверстие голову свою, опущенную густой бородой, совершал свои доклады и принимал приказания и распоряжения барина на следующий день.

В последнее время он несколько обрюзг телом, вероятно, вследствие увечья своего, но не обрюзг умом. В осенние и

зимние вечера, после позднего обеда, садился он в кресла перед камином и дремал. Так в один вечер неожиданная скоропостижная смерть тихо застигла его. Замечательно, что любимый брат его, Павел, приехавший после смерти брата из Рима в Любичи, умер в той же комнате, перед тем же камином и чуть ли не в самых тех креслах.

* * *

Шведский наследственный принц Оскар (впоследствии король), во время пребывания своего в Петербурге, сказал Жуковскому, как жалеет он, что обстоятельствами и требованиями звания своего был он брошен на сцену света и в деятельность прежде, нежели успел порядочно довершить образование свое и научиться всему, что необходимо знать. Официальное лицо, назначенное у нас находиться при особе принца, вмешалось в разговор и сказало: «Ваше высочество, вы придаете мне смелости; теперь не буду стыдиться невежества своего, зная, что и вы невежда». Скромно и чистосердечно высказано, но не совсем ловко.

Принц имел много успеха в Петербурге, и фрейлины Двора находили его очень любезным. Многие говорили, что в нем есть некоторое сходство со знаменитым князем Багратионом.

Граф Фикельмонт рассказывал мне странное и, по-видимому, мелкое обстоятельство, которое возвело французско-

го маршала Бернадота на шведский престол. Граф Фикельмонт был некогда австрийским посланником в Стокгольме и слышал эти подробности от многих достоверных и государственных людей. Во время наполеоновских нашествий на Европу в числе разнородных пленников был и шведский офицер. Бернадот всегда обращался с пленными внимательно и кротко. Он отличался от своих сослуживцев, французских военачальников, уважением к личному достоинству человека, бескорыстием и, по возможности, облегчением повинностей и пожертвований, возлагаемых на жителей тех мест, которые подвергались военному постою. Когда, вследствие разных событий и переворотов, шведский сейм рассуждал об избрании наследника престола и колебался между разными именами, помянутый шведский офицер вспомнил о Бернадоте и сообщил мысль свою одному пастору. Он говорил: «Швеции не знать спокойствия и не оградить себя от русского влияния, если не прибегнет она к французскому покровительству и не примет из рук Франции наследника престола. Сей наследник налицо, и неминуемо быть должен Бернадот». Пастор подался на это мнение. Оно разошлось по городам и селам. Сказано и сделано. Молодой офицер скачет в Париж и является к Бернадоту, удостоверяя, что Швеция желает иметь его будущим властителем своим. Маршал отвечает, что делаемое ему предложение очень лестно для него, но что он желал бы видеть свидетельство уполномочия, данного ему его согражданами на подобное предложе-

ние. Офицер, убедившись в согласии Бернадота, обращается к шведам из знатнейших фамилий и сообщает им дело, которое он затеял. Большинство одобряет это предположение. Наконец шведская депутация отправляется к Бернадоту и приглашает его принять титул наследника шведского престола. Отселе начинаются официальные и дипломатические переговоры, и вот француз, сын адвоката, является впоследствии Карлом XVI (недалеко по счету от Карла XII), основателем новой династии, – единственный уцелевший обломок от огромного революционного корабля, который был после крещен именован Наполеона. Он пережил и события, в которых участвовал, и порядок, который они устроили. После он сам содействовал сокрушению этого порядка. Впрочем, он никогда вполне не ладил ни вначале с Бонапартом, ни позднее с императором Наполеоном. Оба они друг друга опасались.

Притиска, сделанная в 1850-х годах. После того всплыл обломок из того же корабля и под тем же роковым именем. Впрочем, одним французам могла присниться мысль восстановить этот забытый остаток забытой династии. Можно заботиться о восстановлении принципа; реставрация имени, некогда славного, но окончательно погубившего славу себе свою, и к тому же реставрация личности, не имеющей сама по себе никакого нравственного и политического значения, есть одно политическое ребячество. Французская история,

с последнего десятилетия минувшего века до наших дней, есть не что иное, как фантазмагория, то кровавая и зверская, то жалкая и смешная, в которой, по какому-то сумасбродному треволнению, лихорадочно передвигаются и перебегают неожиданные события и лица.

* * *

Несколько раз говорили мы о князе Белосельском, принадлежавшем веку Екатерины и царствованию Александра I. Он столько же был известен устной любезностью, сколько эксцентричностью пера своего. Вот пример из многих, а именно надпись его к портрету кн. Багратиона:

Si Souvoroff, si grand, si fortune,
Est le pere de la victoire,
Bagration en est le fils aine:
Il joue avec la mort et couche avec la gloire.

(Если Суворов, столь великий, столь одаренный счастьем, есть отец победы, то Багратион – старший сын ее. Он играет со смертью и ночует со славою.)

Впрочем, иногда вырывались у него и дельные стихи. Говоря об одном историческом лице, сказал он: «Другие дела-ли худое, а он худо делал хорошее».

В. Л. Пушкин рассказывал, что князь Белосельский читал ему однажды стихи, написанные им на смерть камердинера своего:

Под камнем сим лежит признательный Василий:
Мир и покой ему от всех земных насилий...
И что есть человек? – Горсть пыли и водицы.

«Мне нравится эта *водица*, – прерывая чтение, сказал с умилением князь Белосельский. – Не правда ли, так кажется, и видишь, как протекают ваши дни?»

* * *

В. Л. Пушкин любил добродушно оказывать внимание и поощрение молодым новичкам на поприще литературном. Он по вечерам угощал их чаем, а нередко приглашал их к себе и обедать. Один из таких новобранцев был в Москве частым посетителем его. «А к какому роду поэзии чувствуете вы в себе более склонности?» – спросил его однажды Пушкин с участием и некоторой классической важностью. «Признаюсь, – отвечал тот смиренно, – любил бы я писать сатирические стихи, да родственники отсоветовали, говоря, что такими стихами могу нажить врагов себе и повредить карьере своей по службе». – «А скажите мне что-нибудь из ваших сатирических стихов». – «Вот, например, эпитафия:

Под камнем сим лежат два друга:
Колбасник и его супруга».

* * *

В приятельском кружке говорили о многих благих мерах, предпринимаемых правительством, которые, по обстоятельствам и по силе вещей (как говорят французы), по внутренним причинам, по личным особенностям, не достигают указанной и желаемой цели. На это Жуковский сказал: «Наш фарватер годен пока только для мелких судов, а не для больших кораблей. Мы часто жалуемся, что корабль, пущенный на воду, не подвигается, не замечая, что он попал на мель». Вот Крылову прекрасная канва для басни.

* * *

В хорошем и дельном журнале *Revue Britannique* 1825 г. есть статья о русской литературе. Встречаются обыкновенные и неизбежные промахи, но вообще статья порядочная. В ней, между прочим, сказано: «Сибирский Эрос, слепой *Эрос*, бросил в публику том игривых и веселых стихотворений». Отгадайте, кто этот бард и что это за бард! А я отгадал. Речь идет о маленькой поэме *Эрос, лишенный зрения*, кото-

рую написал сосланный в Сибирь несчастный Панкратий Су-
мароков, издававший, между прочим, журнал под названием
Иртыш, превращающийся в Ипокрену. Французский критик
окрестил поэта именем поэмы его. Вот вам и слепой Сибир-
ский бард, и вот как пишется история.

* * *

В минуты хандры своей NN. говаривал в Швейцарии: «Ну
что же есть такого особенного и пленительного в Женевском
озере? *Огромного размера* лохань воды, вот и только!»

* * *

Князь Александр Николаевич Голицын рассказывал о
двух дядях своих, также Голицыных. После многолетней
разлуки условились они съехаться в Петербурге, между про-
чим, и для объяснений по важным семейственным и хозяй-
ственным делам. Съехавшись, решились они отобедать вдво-
ем и тут приступить к предстоящим переговорам. Когда се-
ли они за стол, и подали суп, они отослали прислугу и ве-
лели ей явиться только по призыву их: так заботливо хоте-
ли они оставаться одни, чтобы ничто не могло помешать их
откровенной беседе. Сначала слышен был непрерывный и
оживленный разговор; мало-помалу голоса начали утихать,

вскоре совсем затихли. Молчание продолжалось с час. Наконец дворецкий, удивленный и испуганный таким продолжительным затишьем, решился войти в столовую: оба брата, с повисшими на грудь головами, погружены были в глубокий сон.

* * *

Тургенев, Александр Иванович, был тоже мастер по этой части. Однажды Карамзин читал молодым приятелям своим некоторые главы из «Истории Государства Российского», тогда еще неизданной. Посреди чтения и глубокого внимания слушателей вдруг раздался трескучий храп Тургенева. Все как будто с испуга вздрогнули. Один Карамзин спокойно и хладнокровно продолжал чтение. Он знал Тургенева: дух бодр, но плоть немощна. Впрочем, склонность его к засыпанию, в продолжении дня, была естественна. Он вставал рано и ложился поздно. Целый день был он в беспрестанном движении, умственном и материальном. Утром занимался он служебными делами по разным отраслям и ведомствам официальных обязанностей своих. Остаток дня рыскал он по всему городу, часто ходатаем за приятелей и знакомых своих, а иногда и за людей, совершенно ему посторонних, но прибегавших к посредничеству его; рыскал часто и по собственному влечению, потому что в натуре его была потребность рыскать. Один из приятелей его говорил о нем: *il n'est*

pas le grand agitateur (известный ирландский великий агитатор Оконель), mais le grand agite (не великий волнователь, но великий волнующийся). Дмитриев прозвал его *маленьким Гримом*, а потом *пилигримом*, потому что он был деятельным литературным корреспондентом и разносителем в обществе всех новых произведений Жуковского, Пушкина и других. (В половине минувшего столетия, немец, барон Гримм поселился в Париже, сблизился и подружился со всеми так называемыми философами и вел обширную литературную переписку со многими владетельными особами, Екатериной II, герцогом Сакс-Гота и другими).

Александр Тургенев был *типичная*, самородная личность, хотя и не было в нем цельности ни в характере, ни в уме. Он был натуры эклектической, сборной или выборной. В нем встречались и немецкий педантизм, и французское любезное легкомыслие: все это на чисто русском грунте, с его блестящими свойствами и качествами и, может быть, частью и недостатками его. Он был умственный космополит; ни в каком участке человеческих познаний не был он, что называется, дома, но ни в каком участке не был он и совершенно лишним.

В нем была и маленькая доля милого шарлатанства, которое было как-то к лицу ему. Упоминаем о том не в укор любезной памяти его: он сам первый смеялся своим добродушным и заливым хохотом, когда друг его Жуковский, или другие близкие приятели, ловили его на месте преступления

и трунили над замашками и выходками его. В долгое пребывание свое в Париже сошелся он с Шатобрианом по салону *милой Рекамье* (как назвал ее Дмитриев в написанном им шуточном путешествии Василия Львовича Пушкина, и как с легкой руки Дмитриева Тургенев постоянно называл ее в письмах своих). Тургенев сообщил Шатобриану много германских сведений, нужных ему для предпринятого им сочинения, и совершенно недоступных и тарабарских ему (как и подобает истому французу, будь он Шатобриан и гений семи пядей во лбу). Французский писатель в предисловии своем изъявляет благодарность Тургеневу за просвещенные указания и содействие его в труде, который он совершил, и говорит между прочим: M-r le comte Tourgueneff, cidevant ministre de l'instruction publique en Russie, homme de toutes sortes de savoir etc. (г. Тургенев, бывший министр народного просвещения в России, человек всякого рода познаний).

«Угораздился же Шатобриан, – сказал Блудов, прочитав эти строки, – выразить в нескольких словах три неправды и три нелепости: Тургенев не граф, не бывал никогда министром просвещения и далеко не всеведущ».

От ранней молодости до 1826 года, Тургенев и Блудов были большими приятелями, чуть не братьями; Жуковский скреплял эту приязнь дружбой своей к тому и другому. Политические события навлекли тени на эту приязнь, то есть приязнь, связывающую Тургенева и Блудова, и обратили ее в непримиримый разрыв. Жуковский же оставался до конца

другом того и другого, а в отношении к братьям Тургеневым был он нередко горячим ходатаем их перед верховной властью.

Не станем входить в разбор и оценку самой сущности тяжбы, которая, разумеется, негласным и несудебным порядком, но не менее того прискорбно возникла между приятелями, до того единоверцами и единомышленниками. Александр Тургенев почитал себя вправе быть недовольным отзывом Блудова о брате его Николае, в докладе следственной комиссии по делу *14 Декабря* и по делам к нему прикосновенным.

Давно политические вражды, которые волновали русское общество до воцарения Екатерины II, не проявлялись у нас. Могли быть политические разногласия, соперничества, совместничества, столкновения; но язва некоторых западных обществ, политическая вражда вследствие открытой борьбы мнений, падения одного или торжества другого из них, не раздирала общества нашего и не разделяла его на два неприятельские стана. Одним из прискорбных явлений и последствий злополучного *14 Декабря* и событий ему соответственных, должно, без сомнения, признать и это насильственное раздвоение общества нашего, раздвоение, которое, между прочим, так сильно выразилось в честных, уважения и сочувствия достойных личностях, каковы Тургенев и Блудов.

Тургенев имел прекрасные, глубокие, внутренние качества; но, как бывает вообще и с другими, имел свои слабости (не скажем недостатки), которые любил он выставлять

напоказ, а иногда и на заказ, не зная (как то же бывает со многими), что именно у него есть и чего нет, в чем таится настоящая сила его и где слабые и уязвимые его стороны.

Например, он хотел выдавать себя, и таковым себя ложно признавал, за человека, способного сильно чувствовать и предаваться увлечениям могучей страсти. Ничего этого не было. Он, напротив, был от природы человек мягкий, довольно легкомысленный и готовый уживаться с людьми и обстоятельствами. Когда же он, бывало, упрется на какое-нибудь мнение, заупрямится, то, по французскому выражению *im poltron reveke*, он выказывал в себе взбунтовавшееся, озлобившееся добродушие. Тут запылит он, закричит, выйдет из себя, и буквально выйдет: потому что у себя и в себе вовсе не чувствовал он подобного пыла, и никакая гроза в нем не бушевала.

Однажды, в припадке притязания на таковую страстность, бесновался он пред Жуковским. «Послушай, любезнейший, – сказал ему друг его, – ты напоминаешь мне людей, которые расчесывают малейший пупырышек, вскочивший на их лице, и растрavляют его до настоящей болячки. Так и ты: работал, работал, ковырял в сердце своем, да и расковырял себе страсть».

Во время другой сердечной разработки, когда он ухаживал за одной барышней в Москве, в знак страсти своей похитил он носовой платок ее. Через несколько дней, опомнившись и опасаясь, что это изъятие может показаться

слишком обязательным, он возвратил платок, проговоря с чувством два стиха из французского водевиля, который был тогда в большом ходу в Москве:

Il troublerait ma vie entiere,
Reprenez le, reprenez le.

(Он смутит всю мою жизнь; уберите его прочь.)

Однажды должен он был жениться. Свадьба расстроилась и, кажется, по его почину. Невеста, во всех отношениях и по высокому положению в обществе, отвечала условиям счастливого и выгодного брака. Карамзин, питавший к Тургеневу чувства, так сказать, отцовские и братские, был огорчен этим разрывом и просил его объяснить ему причины того. Тургенев пустился в длинные и подробные объяснения, путался, больше часа держал Карамзина в ожидании окончательного объяснения и ничего не объяснил, так что Карамзин был сам не рад, что вызвал его на исповедь.

В пользу искренности его должно заметить, как указали мы выше, что хотя и любил он иногда *позировать* и рисоваться, но он сам пред друзьями не щадил себя и выдавал им себя живьем. Вот одно доказательство тому из многих.

В Англии познакомился он с В. Скоттом, который пригласил его к себе в Абботсфорд. «Дорогой к нему, – говорил он, – вспомнил я, что не читал ни одной строки В. Скотта».

В следующем городе купил он первый попавшийся ему на глаза роман его. Поспешно и вскользь пробежал он его, чтобы иметь возможность, продолжал он, при удобном случае намекнуть хозяину о романе или вернуть в разговоре какую-нибудь цитату из него.

Вообще он был мастер и удачлив на цитаты. На ловца и зверь бежит! Мало знавшие его могли предполагать, что он всю жизнь корпел над книгами и глубоко рылся в них. Напротив, он мало читал, да и некогда было читать ему. Но с удивительно острым умом, со сметливостью, и угадчивою проницательностью, он схватывал сливки с книги: он пронохивал ее, смысл ее, содержание, и сам, бывало, окурится и пропитается запахом и испарениями ее. Другой до поту лица и до головной боли займется книгою, а Тургенев одним чутьем опередит его.

Будь он более положителен, усидчив и в занятиях своих, и в действиях своих, он мог бы достигнуть до целей, немногим доступных; мог бы он оставить по себе память и отличного деятеля на поприще государственном и литературном. Конечно так! Но зато лишились бы мы того Тургенева, которого знали и любили за добродетели его и за милые ребячества. В среде публичной деятельности было бы одним почетным лицом более; но в среде приятельской, но в избранном кругу любезных и увлекательных праздношатающихся, которые усвоили себе девизом: *«Скользьте, смертные, не напирайте!»* – было бы место пустое и теперь незаместимое.

Будем довольствоваться и тем, что он был dilettante по службе, науке и литературе. Подобные личности худо оцениваются педантами и строгими нравоучителями, а между тем прелесть общества, прелесть общежительности и условий, на них основанных, держатся ими. Специальности, виртуозности, преподавательные и проповеднические приемы и обычаи хороши в свое время и на своем месте; постоянное же их присутствие и деспотизм, с которым хотят они насильственно и беспрекословно овладеть общим вниманием и покорством, есть сушая язва в обыденном потреблении и во взаимных отношениях людей, собравшихся вместе в силу аксиомы: «Не добро быть человеку единому».

Вот почему, мимоходом будь сказано, лицо в обществе, каков Чацкий на сцене, был бы, со всем остроумием и велеречием своим, невыносимо тяжел и скучен. Наши плечистые и коренастые критики тяжести этой не чувствуют и о ней не догадываются; скукою же их не удивишь и не испугаешь: эта прилипчивая оспа с самого рождения их была им привита.

Дилетантизм Тургенева проглядывал и в политических убеждениях его. Когда обстоятельства, не столько его личные, сколько братнины, произвели крутой переворот в положении его и поставили преграды на служебном его поприще, он, по счастью и к чести его, очутился dilettante и в рядах так называемой оппозиции. Вся оппозиция его сосредоточивалась и волновалась в страстной любви его к двум братьям своим. Может быть, и тут расковыривал он, по выра-

жению Жуковского, болячку свою; но побуждение, которым он увлекался, было по существу своему так чисто, так благородно, что и в крайностях своих оно внушает сочувствие и уважение.

Можно сказать, что несчастью, которому подверг себя брат его Николай, он принес в жертву все материальные и общежительские выгоды и преимущества. Он не поколебался ни на минуту разорвать дружеские связи свои с людьми, подобными Блудову и Дашкову, который, впрочем, был тут ни при чем. Он покинул родной отечественный очаг, с которым он свыкся и который любил. Он предал себя жизни скитальческой, вопреки благоразумным и теплым увещаниям друга своего Карамзина, так сказать, пастыря и патриарха избранного тесного кружка, к которому, еще по родительским преданиям, принадлежал и Тургенев, с самых отроческих лет. Все материальное и денежное благосостояние свое перевел он заживо в собственность брата своего Николая. Сам он жил более чем экономически, ограниченными средствами, которые за собою оставил. Вот, повторяем, деятельный круг оппозиции, в котором он вращался.

Для соблюдения исторического беспристрастия внесем в этот круг оппозиции и некоторые резкие отзывы о событиях и людях, и устные эпиграммы, которые мимолетно срывались с языка его и часто спросонья. В нем не было ни капли желчи, и если оказывалось что-нибудь похожее на злопамятность, то эта была скорее дань, приносимая им прин-

ципу: потому что и он, как многие из людей характера более уживчивого, чем упорного, любил иногда облекать себя во всеоружии неприступности и непреклонности. Многие или, по крайней мере, некоторые видели в нем человека опасно-го для общественного спокойствия и гражданского благочиния; они приписывали ему тайные помыслы и виды.

Близко знавшим его эти опасения были до крайности забавны и смешны. Не было человека более безвредного и безобидного, как он. Карамзин говаривал о нем, что доброта, благодущие его испаряются изо всех его потовых скважин (*sortent par tous les pores*). Может быть, ему самому иногда нравилось казаться и слыть таким пугалом. Как бы то ни было, вот забавный случай, породившийся от этих опасений.

Он приехал в Москву, помнится, 30-го или 31-го года. К московскому приятелю его ходил в то время несчастный мелкий чиновник, служивший в так называемой тайной полиции: он желал переменить род службы и просил помянутого приятеля исходатайствовать ему другое место служения. Однажды приходит он к нему и говорит: «Вы всегда были так милостивы ко мне, окажите и ныне особую и великую милость. Вы хорошо знакомы с А. И. Тургеневым и в обществе встречаетесь с ним не редко. Мне по начальству поручено надсматривать и следить за ним и ежедневно доставлять репортничку о взглядах и действиях его. А как мне уследить за ним? Он с утра до поздней ночи колесит по всему городу из конца в конец. Да таким образом в три дня на одних извоз-

чиков растрочу все свое месячное жалованье. Помогите мне: дайте мне материала для моих репортичек».

Вот приятель Тургенева и обратился в шпиона и в соглядатая его. Были продиктованы следующие бюллетени: тако-го-то числа Тургенев два раза завтракал, раз на Кузнецком мосту, другой на Плющихе у того-то и того-то, три раза был у С-ой, два раза отвозил письма свои в почтамт почтдиректору А. Я. Булгакову, обедал в Английском клубе, вечером пил чай у митрополита Филарета, а во второй раз позднее у Ив. Ив. Дмитриева. Такого-то числа: прятался в сеновале манежа, чтобы смотреть, как девица Ш. ездит верхом, был на двух лекциях в университете, отвозил письма к Булгакову, вечером на Трех Горах у К., вальсировал и любезничал с девицами Г. и Б. Такого-то числа пил чай вечером у г-жи **** (именующейся в полицейских списках *известной...*), а вечером на бале у П. в Петровском, опять любезничал и вальсировал с помянутыми девицами Б. и Г.

Таким образом с малыми изменениями были, в продолжении двух недель, составляемы кондуитные и явочные списки Тургенева. Всего чаще встречались в них имена...ой и митрополита Филарета. С последним был он в близких отношениях и по сочувствию, и уважению к нему, а равно и по прежнему служению своему при князе А. Н. Голицыне.

Кто-то охарактеризовал следующим образом пребывание Тургенева в Москве:

Святоша вечный он и вечный волокита,
У ног...ой или митрополита.

Мы назвали Тургенева многосторонним *dilettante*. Но был один круг деятельности, в котором являлся он далеко не *дилетантом*, а разве пламенным виртуозом и неутомимым тружеником. Это – круг добра. Он не только делал добро по вызову, по просьбе: он отыскивал случаи помочь, обеспечить, устроить участь меньшей братии, где ни была бы она. Он был провидением забытых, а часто обстоятельствами и судьбою забытых чиновников; провидением сырых, бесприютных, беспомощных. По близким отношениям своим к князю Голицыну пользовался он более или менее свободным доступом ко всем власть имеющим, а по личным свойствам своим был он также более или менее в связи, в соприкосновении с людьми как-нибудь значащими во всех слоях и на всех ступенях общественной лестницы. В ходатайстве за других был он ревностен, упорен, неотвязчив. Он смело, горячо заступался за все нужды и оскорбления против неправд, ратовал против произволов, беззаконностей начальства.

Помню, как за обедом у графини Потоцкой живо схватился он с графом Милорадовичем, бывшим тогда С.-Петербургским военным генерал-губернатором, и упрекал его за нерасположение к одному из чиновников, при нем служивших. «Вы сами, – говорил он, – честный и благородный че-

ловек, а хотите удалить от себя единственного честного чиновника, через которого могут обращаться к вам порядочные люди. Нет, граф, стыдно будет вам, если не оставите его при себе». Милорадович оправдывался, как мог и как умел, многочисленные гости за столом в молчании и с удивлением присутствовали при этой тяжёлой распре. Правда, что Тургенев, как ловкий военачальник, призвал в союзницы себе двух красавиц-дочерей хозяйки, и победа осталась за ним.

Список всех людей, которым помог Тургенев, за которых вступался, которых восстановил во время служения своего, мог бы превзойти длинный список любовных побед, одержанных Дон-Жуаном, по свидетельству Лепорелло в опере Моцарта. Русская литература, русские литераторы, нуждавшиеся в покровительстве, в поддержке, молодые новички, еще не успевшие проложить себе дорогу, всегда встречали в нем ходатая и умного руководителя. Он был, так сказать, долгое время посредником, агентом, по собственной воле уполномоченным и аккредитованным поверенным в делах русской литературы при предержавших властях и образованном обществе. Одна эта заслуга, мало известная, ныне забытая, дает ему почетное место в литературе нашей, особенно когда вспомнишь, что он был другом Карамзина и Жуковского.

Позднее, когда сошел он со служебного поприща и круг влиятельной деятельности его естественно сузился, он же с усердием, с таким же напряженным направлением сделался

в Москве ходатаем, заступником, попечителем несчастных, пересылаемых в Сибирь. Острог и Воробьевы горы были театром его мирных и человеколюбивых подвигов, а иногда и скромных, но благочестивых побед, когда удавалось ему спасти или, по крайней мере, облегчить участь того или другого несчастного.

Смерть, так сказать, неожиданно застигла его в исполнении усиленных и добровольно принятых им обязанностей. Жизнь его, светскую, рассеянную, но всегда согретую любовью к добру, смерть прекрасно увенчала и запечатлела бескорыстным и всепреданным служением скорби, а может быть, и пробуждением умиления и раскаяния не в одном из сердец, возмущенном страстью и пороком. После тревожной жизни, платившей по временам дань суетности, умственным и нравственным немощам человечества, он, так сказать, отрезвился, смирился и на закате своем, отрешась от всего блестящего, что дает нам свет, сосредоточил все свойства и стремления свои в одном чувстве любви и сострадания к ближнему. Это чувство никогда не было ему чуждо, но здесь оно очистило, заглушило и поглотило все другие побуждения, замыслы и ненасытные желания. Примером, который он добровольно подал сверстникам и товарищам, Тургенев мог бы в России быть предтечей и основателем общины братьев милосердия.

Для пополнения очерка нашего нельзя не упомянуть о другой страсти его. Она, и говорить нечего, маловажнее пер-

вой; даже, пожалуй, она и не страсть, а укоренившаяся по-
вадка, то, что на патологическом языке можно было бы на-
звать манией (*manie*). Но, впрочем, и эта мания имела свою
хорошую сторону и пользу. Полагаем, что не было никогда
и нигде *борзопи́сца* ему подобного. Он мог сказать с поэтом:
«Как много я в свой век бумаги исписал». Но ни друзья его,
ни потомство, если оно захватит его, не ставили и не ставят
того ему в упрек.

Деятельность письменной переписки его изумительна.
Она поборола несколько ленивую натуру его, рассеяние и
рассеянность. Спрашиваешь: когда успевал он писать и рас-
сылать свои всеобщие и всемирные грамоты? Он переписы-
вался и с просителями своими, и с братьями, и с друзьями, и
со знакомыми, и часто с незнакомыми, с учеными, с духов-
ными лицами всех возможных исповеданий, с дамами всех
возрастов, *различных лет и поколений*, был в переписке со
всею Россией, с Францией, Германией, Англией и другими
государствами. И письма его, большей частью, образцы сло-
га, живой речи. Они занимательны по содержанию своему и
по художественной отделке, о которой он не думал, но кото-
рые выражались, изливались сами собой под неутомимым и
беззаботным пером его. Русским языком в особенности вла-
дел он, как немногим из присяжных писателей удается им
владеть.

Этого еще мало: при обширной, разнообразной перепис-
ке, он еще вел про себя одного подробный дневник. В фо-

лиантах переписки и журнала его будущий историк нашего времени, от первых годов царствования Александра Павловича до 1845 года, найдет, без сомнения, содержание и краски для политических, литературных и общественных картин прожитого периода.

Еще была у него маленькая страстишка. Он любил, а иногда и, с грехом пополам, присваивал себе, натурою или списыванием, всевозможные бумажные редкости и драгоценности.

Недаром говорили в Арзамасе, что он не только *Эолова Арфа* (прозвание, данное ему, с позволения сказать, по обычному бурчанию в животе его), но что он и *Две огромные руки*, как сказано в одной из баллад Жуковского. В самом деле, это не две, а сотни бриарейских рук захватывали направо и налево, вверху и внизу, все мало-мальски замечательные рукописи, исторические, политические, административные, литературные и т. д. В архиве его, или в архивах (потому что многое перевезено им к брату в Париж, а многое оставалось в России) должны храниться сокровища, достойные любопытства и внимания всех просвещенных людей. О письменной страсти его достаточно, для убеждения каждого, рассказать следующий случай.

После ночного, бурного, томительного и мучительного плаванья из Булони в Фолькстон он и приятель его, в первый раз тогда посещавшие Англию, остановились в гостинице по указанию и выбору Тургенева и, признаться (вследствие

экономических опасений его), в гостинице, весьма неблагоприятной и далеко не *фешенебельной*. Приятель на первый раз обрадовался и этому: расстроенный переездом, усталый, он бросился на кровать, чтоб немножко отдохнуть. Тургенев сейчас переоделся и как встрепанный побежал в русское посольство. Спустя четверть часа он, запыхавшись, возвращается, и на вопрос, почему он так скоро возвратился, отвечает, что узнал в посольстве о немедленном отправлении курьера и поспешил домой, чтобы изготовить письмо. «Да кому же хочешь ты писать?» Тут Тургенев немножко смутился и призадумался. «Да в самом деле, – сказал он, – я обыкновенно переписываюсь с тобою, а ты теперь здесь. Но все равно: напишу одному из почтдиректоров, или московскому Булгакову, или петербургскому». И тут же сел к столу и настрочил письмо в два или три почтовых листа.

Мы уже заметили, что, несмотря на свой темперамент несколько ленивый, на расположение к тучности, на сонливость свою (он мог засыпать утром, только что встанет с постели, в полдень и вечером, за проповедью и в театре, за чтением книги и в присутствии обожаемого предмета), он был чрезвычайно подвижен и легок на подъем. В разговоре, когда речь коснется до струны, на этот час более в нем натянутой, он, бывало, вспыхнет, горячится и становится, без всякой желчи, без озлобления, противником не всегда умеренным и разборчивым и, как говорится, не всегда деликатным. Может быть, иногда горячка эта была частью и напускная, тоже

из уважения к принципу; но вообще недоброжелательства и озлобления в нем не было, разве за исключением некоторых лиц. Эти лица, также по принципу, ставил он себе в обязанность ненавидеть. Впрочем, если он что и скажет обидного в сердцах, то это бывало вспышкой: сердце его скоро остывало.

Относительно рысканий его нам приходит на память один случай. Приятель его из Москвы отправил к нему, через К. Я. Булгакова, письмо со следующей подписью на пакете: «Беспутному Тургеневу где-нибудь на распутье». В то время он, на поклонение сердечному кумиру своему, очень часто ездил в Царское Село. Булгаков, послав почтальона с письмом на Пулковскую гору, приказал ему сторожить Тургенева в проезд его, остановить коляску и передать письмо по адресу буквально.

По материальной части сделаем еще отметку. Он был не гастроном, не лакомка, а просто обжорлив. Вместимость желудка его была изумительная. Однажды, после сытного и сдобного завтрака у церковного старосты Казанского собора, отправляется он на прогулку пешком. Зная, что вообще не был он охотник до пешеходства, кто-то спрашивает его: «Что это вздумалось тебе идти гулять?» – «Нельзя не пройтись, – отвечал он, – мне нужно проголодаться до обеда».

В последних годах жизни своей он нередко наезжал в Москву и проживал в ней по несколько месяцев. Он в Москве, как и в Париже, был дома. Он Москву любил: она

была для него, так сказать, нейтральным местом. Петербург мог напоминать ему и прежние успехи его, и последовавшие за ними недочеты и неприятности; в гостеприимной и не участвовавшей во всем этом Москве было ему льготнее.

Тогда московское общество или, по крайней мере, часть его была разделена на два стана, которые прозвали себя или были прозваны *славянофилы* и *западники*. Тургенев, по складу своего ума, по привычкам и убеждениям, разумеется, принадлежал более к последним; но и с первыми, по крайней мере с вожатыми их, был он в приятельской связи, основанной на сочувствии и на уважении к их личностям.

Признак возвышенных натур есть уживчивость и терпимость в отношении к мнениям противным: эти два вооруженные стана сходились часто, едва ли не ежедневно, на поле диалектической битвы. Они маневрировали оружием своими, живо нападали друг на друга и потом мирно расходились, не оставляя увечных и пленных на поле сражения, потому что весь бой заключался скорее в ловком фехтовании, нежели в драке на живот и на смерть. Каждый противник, думая, что победа за ним, возвращался с торжеством в свой стан; на другой день возобновлялась та же холостая битва, и так далее, пожалуй, до скончания веков.

Много ума, много выстрелов его расточено было в этих словесных сшибках; но завоеваний, кажется, никаких не было ни с одной, ни с другой стороны. Но все же эти военные упражнения не остались совершенно бесплодными. Некото-

рые умы в них изошрились и окрепли; в самом обществе, не принимавшем в них постоянного и деятельного участия, отголоски этих прений отзывались, зарождали мимоходом в умах новые понятия и бросали в почву ежедневной жизни семена, отличающиеся от обыкновенного и общим порядком заведенного посева. Следовательно, польза была, но польза несколько отвлеченная: много сеялось, но мало пожиналось.

Дело, по мнению нашему, в том, что как западники, так и славянофилы, а в особенности последние, не имели твердой почвы под ногами. Те и другие вращались в каком-то тумане и часто витали в облаках. Они увлекались силою, прелестью и соблазнами слова. Дело у них было в стороне; а если они и гонялись за делом, то за несбыточным. Русский ум есть ум преимущественно практический; русский простолюдин, крестьянин может быть круглым невеждою, но у него врожденное практическое чутье, которым он пробавляется и делает свое дело. Русские головы, которые, хотя немцев и не любят, но несколько германизируются и отвеживают плодов с немецкого древа познаний, философии и различных умозрений, обыкновенно утрачивают практическую трезвость свою. Хмель зашибает их. И выходит, что шумит у них в голове и не по-русски, и не по-немецки.

Некоторые журнальные и полемические статьи, пущенные из этого лагеря, особенно при начале, так были писаны (хотя и русскими буквами), что невольно хотелось попросить кого-нибудь перевести их с немецкого на обще-употребля-

емый русский язык. Таким образом и самое русофильство не имело ни запаха, ни смака произведений русской почвы, а отзывалось или подражанием, или плодом, выхоженным в чужой теплице. Хлестаков говорит о каком-то захолустье, из которого скачи хоть три года, а никуда не доедешь. Есть тоже и вопросы, которые поднимай, про которые толкуй и спорь хоть двадцать лет, а ни до какого разрешения не дойдешь. Встречаются умы, которые любят охотиться за подобными вопросами, благо есть время, есть свора резвых и прытких собак: почему же не пуститься, в веселой компании, в бесконечное отъезжее поле? Есть ли там зверь, будет ли пожива, о том наши бескорыстные охотники не заботятся.

Как бы то ни было, Тургеневу было готовое место в этих увеселительных словесных упражнениях. Он и сам был Нимродом, великим ловцом слова пред Господом Богом и пред людьми. В том и другом стане, как сказано нами, были у него приятели. Он не был завербован ни под одним из знамен, развевавшихся с Кремлевских стен, а вольным наездником переезжал с одного рубежа на другой. Западники были, разумеется, современнее и, следовательно, опирались более твердою ногою на почву, которую избрали они себе. Славянофилы или русофилы были какие-то археологические либералы. Французского писателя, сподвижника Жозефа де Местра, прозвали пророком минувшего; в учении Славянофильском отзывались сетования и надежды подобного пророчества. Сколько нам известно, Тургенев, по мере ума и да-

рованных тех и других, сочувствовал им, охотно с ними беседовал, иногда препирался с ними, но не увлекался их умозрениями и заносчивыми стремлениями ни вспять, ни вперед. Он слишком долго жил за границею, слишком наслушался прений во Франции, в Германии и Англии, прений и политических, и социальных, литературных и философических, чтобы придавать особенную важность московским опытам в этой умственной деятельности.

Тургенев сошелся в Москве с прежним петербургским приятелем Чадаевым. Они были приятели, но вместе с тем во многих отношениях и противоположно расходились. Одни точки соприкосновения, существовавшие между ними, были ум, образованность, благородство, честная независимость, вежливость (не только в смысле учтивости, а более в смысле благовоспитания, одним словом, цивилизации понятий, воззрений, правил, обхождения, цивилизации, которая, мимоходом будь сказано, прививается и развивается в одной благоприятной и временем разработанной среде. Этих условий, этих свойств сродства достаточно, чтоб, и при некотором разноречии в мнениях и разности в характерах, порядочные люди группировались на одной стороне и сходились на нейтральной почве общих сочувствий. Вот несомненные признаки людей, воспитавшихся в школе истинно высшего и избранного общества. Этих условий и держались Чадаев и Тургенев. Во всем прочем были они прямые антиподы.

Тургенев жил более жизнью открытою и внешнею; хотя

и он (греха таить нечего) любил иногда пускать пыль в глаза, но ничего не было в нем подготовленного, заранее придуманного. Скажем напрямик: шарлатанские выходки его были, по легкомыслию его, невинно-забавны и даже милы. Чадаев рисовался серьезно и с некоторым благоговением смотрел на подлинник, в который преображался. Он был гораздо умнее того, чем он прикидывался. Природный ум его был чище того систематического и поучительного ума, который он на него нахлобучил. Не будь этой слабости, он остался бы замечательным человеком и деятелем на том или на другом поприще. Чадаев, особенно в Москве, предназначал себе план *особничества* и ни на волос, ни на йоту от него не отступал. Тургенев был рассеян, обмолвливался иногда нечаянно, иногда умышленно, но всегда забавно и часто остроумно. Чадаев был всегда погружен в себя, погружен в созерцание личности своей, пребывал во внимательном прислушивании к тому, что сам скажет. Он был доктринер, преподаватель с подвижной кафедры, которую переносил из салона в салон. Тургенев был увлекательный собеседник, вмешивался в толпу и сгоряча и наобум говорил все, что родится и мелькнет в голове его. Чадаев был ума и обхождения властолюбивого. Он хотел быть основателем чего-то. Он готов был сказать и, вероятно, говорил себе, в подражание Людовику XIV: моя философия, это я! Между тем, если он имел довольно слушателей (потому что говорил хорошо и что в Москве, на досуге, любят слушать), он, кажется, не создал себе адептов и

единоверцев. Разве между дамами имел он несколько крылошанок и неофиток. Тургенев был ручнее, общедоступнее его. И положение его в обществе было, так сказать, блистательнее. Чадаев, при всей приязни своей, смотрел на него свысока. Пуританизм его смущался развязностью Тургенева, он осуждал некоторое легкомыслие его и отсутствие в нем всякого формализма и обрядного священнодействия.

Тютчев забавно рассказывает о письме Чадаева к Тургеневу. Он однажды заманил к себе Тютчева и прочел ему длинную, нравоучительную и несколько укорительную грамоту. Прочитав ее, Чадаев спросил: «Не правда ли, что это напоминает письмо Ж. Ж. Руссо к парижскому архиепископу?» – «А что же, вы – послали это письмо к Тургеневу?» – спросил Тютчев. «Нет, не посылал», – ответил Чадаев. Это характеристическая черта. А вот и другая.

Чадаев очень дорожил своим литографированным портретом и прислал Тютчеву десятка два экземпляров для раздачи в Петербурге и рассылки по Европе. Нашел же он человека для исполнения подобного поручения! Эти экземпляры, кажется, так и остаются нерозданными и нетронутыми у беспечного посредника и комиссионера.

Чадаев назначил один день в неделю для приема знакомых своих в предобеденное время, т. е. от часа до четырех, в доме, им занимаемом на Басманной. Туда с поспешностью и с нетерпением стекались представители различных мнений и нравов. Бывали тут и простые слушатели или зрители давае-

мых даровых представлений. Иные, чтобы сказать, что и они были в спектакле, другие потому, что сочувствовали развлечениям подобного лицедейства. Утренний салон или кабинет Чадаева, этого *Периклеса*, по выражению друга его, Пушкина, был в некотором и сокращенном виде *Лицей*, перенесенный из Афин за Красные ворота. Тут показывались иногда и приезжие из Петербурга, бывшие товарищи и сослуживцы Чадаева, ныне попавшие уже в люди, как говорится. Хозяин бывал очень рад и польщен этими иногородними посещениями. В положении своем, если не совсем опальном, то по крайней мере несколько двусмысленном, он, вероятно, доволен был показать москвичам, что и он что-нибудь да значит в возвышенных общественных сферах.

Однажды, в день посещения одного столичного гостя, постоянный из туземных посетителей его приехал как-то позднее и уже не застал почетного гостя. «Что это вы так опоздали? – сказал ему Чадаев. – Уже все почти разъехались». – «Как все? – возразил опоздавший гость. – У вас еще много». – «Да, – отвечал Чадаев, – но такой-то *** только сейчас уехал».

«Выходка для нас, присутствующих, не очень лестная», – заметил Н. Ф. Павлов, рассказавший мне этот разговор. Много ходило по городу подобных анекдотов. Некоторая суетность, можно сказать, некоторое слабодушие встречается иногда в людях, и одаренных в прочем твердостью и независимостью самобытности. Что же тут делать! Человек вообще

сложное, а не цельное создание. Он не медная статуя, которая выливается сразу и в полном составе.

Можно вообразить себе, какую жизненностью, каким движением и разнообразием подобные личности одушевляли московское общество или, по крайней мере, один из кружков его. Тут нельзя было подметить красок и московских *отпечатков* Фамусовской Москвы, в которую Грибоедов упрятал своего Чацкого.

К именам Тургенева и Чадаева причислим еще некоторые имена, придерживаясь одних покойников. Умный, образованный, прямодушный Михаил Орлов; Хомяков, диалектик, облеченный во всеоружие слова, всегда неутомимого и непритупляющего; Константин Аксаков, мыслитель заносчивый, но прямодушный, с которым можно было не соглашаться, но которого нельзя было не уважать и не любить; отец его С. Т. Аксаков, который под старость просветлел и ободрился силою и свежестью прелестного дарования; Киреевский, который начал *Европейцем* и какими-то волнами был закинут на антиевропейский берег, но и тут явил какую-то девственную чистоту и целомудрие новых своих убеждений; Павлов, который при остром и легкопостигающем уме мог бы сделаться лучшим и первым журналистом нашим и полемическим писателем, если бы одарен был способностью прилежать к труду, а не довольствоваться редкими и случайными взрывами, показывая, как много таилось и глухо кипело в нем дарований и зиждательных сил. Еще некоторые лица

просятся в этот перечень, но пока довольно и поименованных, чтобы дать понятие об этом словесном факультете, который из любви к искусству для искусства и к слову для слова расточительно преподавал свое учение.

Впрочем, нельзя не упомянуть здесь еще об одном светлом имени. Баратынский никогда не бывал пропагандистом слова. Он, может быть, был слишком ленив для подобной деятельности, а, во всяком случае, слишком скромн и сосредоточен в себе. Едва ли можно было встретить человека умнее его, но ум его не выбивался наружу с шумом и обилием. Нужно было допрашивать, так сказать, буровить этот подспудный родник, чтобы добыть из него чистую и светлую струю. Но зато попытка и труд бывали богато вознаграждены. Ум его был преимущественно способен к разбору и анализу. Он не любил возбуждать вопросы и выкликать прения и словесные состязания, но зато, когда случалось, никто лучше его не умел верным и метким словом порешать суждения и выражать окончательный приговор и по вопросам, которые, более или менее, казались ему чужды, как например, вопросы внешней политики или новой немецкой философии, бывшей тогда русским коньком некоторых из московских коноводов. Во всяком случае, как был он сочувственный, мыслящий поэт, так равно был он мыслящий и приятный собеседник. Аггическая вежливость, с некоторыми приемами французской остроты и любезности, отличавших прежде французское общество, пленительная мяг-

кость в обращении и в сношениях, некоторая застенчивость при уме самобытном, твердо и резко определенном, все эти качества, все эти прелести придавали его личности особенную физиономию и утверждали за ним особенное место среди блестящих современников и совместников его.

Приятно в картинной галерее памяти своей наткнуться на близко знакомые лица, остановиться перед ними, заглядеться на них, и при этом задуматься грустно, но и сладостно. Вот кстати сказать:

Свежо предание, а верится с трудом.

И точно, верится с трудом, чтобы лет за двадцать или тридцать встречались на белом свете личности, подобные Тургеневу и некоторым из сверстников его, нами здесь упомянутых. Какая была в них мягкость, привлекательная сила, какая *гуманность* в то время, как это понятие и выражение не были еще опошлены и почти опозорены неуместным употреблением! Как чист и светел был их либерализм, истекающий еще более из души, нежели из сухих политических соображений, рабских заимствований, а часто и лжеумствований. Либерализм этих избранных людей был чувство, а не формальность. Самые слабости их облекались в какую-то умиротворяющую прелесть, которая вызывала снисхождение. Эти слабости, немощи, свойственные человеческой натуре, не избегали строгой оценки и суда, но и не от-

талкивали сочувствия к ним.

Тургенев, как и многие, принадлежал к либералам, желающим улучшений в гражданском быту, а не к либералам, желающим ниспровержения и революции, во что бы ни стало. К сожалению, встречаются люди, в которых есть что-то претительное, возбуждающее почти враждебное противодействие при изъявлении ими начал, по-видимому, честных и благонамеренных: так изъявления эти грубы, наглы и исключительно-самовластительны. В подобных людях такая личность, как Тургенев, доживи он до настоящего времени, не возбудила бы ни малейшего сочувствия. Да и не поняли бы его, как лишенные чувства обоняния не догадываются об ароматных испарениях благоуханного растения. Одно, может статья, и способно ныне обратить внимание их на такую личность, а именно то, что Тургенев в свое время слыл либералом. Следовательно, он наш, говорят эти господа. Нет, милостивые государи, совсем не ваш, и с вами ничего сходного он не имеет.

Есть цеховые и положительные либералы, которые положительную посредственность свою (чтобы не сказать: положительную ничтожность) расцветчивают либеральными узорами и виньетками, заимствованными из дешевых иностранных изданий. Чтобы подкрепить и усилить себя, они охотно вербуют задним числом в артель свою лиц, либерализм которых есть явное опровержение их ремесленного либерализма. Эти господа, на числах неверных, на лживых данных,

берутся разрешать общественные задачи. Они выводят категории, раздувают системы, в которых нет ни достоверности, ни даже правдоподобия. Стоит только дотронуться до них булавкой исторической и практической критики, и все эти неловко и насильственно надутые пузыри тут же прокалываются, свертываются и скомкиваются.

Суворов говорил, кажется, Каменскому: «Об императрице Екатерине может говорить Репнин всегда, Суворов иногда, а Каменский не должен говорить никогда». Можно бы вывести такое правило и для многих журнальных Несторов, которые, зря *и мудрствуя лукаво*, пишут общественные летописи про общество, которого они не знают, про людей совершенно им чуждых, с которыми они ни сблизиться, ни даже сойтись не могли, про события, которые доходят до них из третьих или четвертых рук. И эти лица и события перекладывают они на свой лад, развивают или сушат в жарко натопленной теплице своих сочувствий, благоприятных или враждебных. Хороши выходят их рассказы и картины, с которыми потомству придется справляться для полного изображения минувшей эпохи! Не к одному из них, а к многим прилично применить стих:

Живет он в Чухломе, а пишет о Париже.

* * *

В записной книжке русского путешественника прошлого столетия записано: *un bonheur passe est un malheur present* (счастье минувшее есть несчастье настоящее).

Он же рассказывает, что в молодости своей, путешествуя в Португалии, он рассердился на почтаря, который вез его очень медленно. В старые годы от русской досады до русской ручной управы было недалеко: русский путешественник потузил португальца. Тот, не говоря ни слова, ушел и оставил путешественника посреди дороги с коляскою и лошадьми. Тут этот последний догадался и заключил, что есть некоторая разница между португальской и русской ездой.

* * *

Русские люди выводятся. Выражаем здесь сетование и укоризну вовсе неславянофильские. Напротив, мы говорим о средневековом поколении нашего общества, о современниках Екатерины, которые носили еще отпечаток предыдущих царствований и которых духом и влиянием пропитались некоторые лица позднейшего времени. Ничего нет тяжелее и скучнее русских по обязанности, русских, сделавшихся русскими вследствие и на основании какой-нибудь историче-

ской или философической системы: под гнетом системы стирается, убивается вся свежесть, вся краска, вся поэтическая своеобразность русской природы. То ли дело чистокровный русак, который не добивается казаться русским, не хвастается тем, что он русский, и даже будто не догадывается, что он русский.

Федор Петрович Опочинин был одна из этих личностей. Он был еще не стар, а на нем как будто легли многие слои русских преданий. Он бессознательно закалил себя в русском горниле, заматерел в русской закваске. Разумеется, все это понимаем мы и принимаем в хорошем значении. Есть худая закваска, но есть и вкусная, и лакомая. Ум Опочинина был совершенно русской складки и русского содержания. В нем были и тонкость, и сметливость, и наблюдательность; была русская шутливость, которая вообще отличается от инонациональной. По-русски говорил он превосходно, мастер был рассказывать, а запас рассказов его был неистощим. Рассказы, когда они кстати уместны и удачны, имеют особенную прелесть. Они драматизируют разговор. Они жизнь и действие его. Философические, отвлеченные беседы хороши в кабинете, с глазу на глаз, или с кафедры, но в приятельском, откровенном кружке они утомительны.

Одним летом сошлись мы с ним в Ревеле. Тогда записал я некоторые из сказаний его. Вот, между прочим, следующие.

Какой-то боярин послан был, помнится, царем Алексеем Михайловичем в Китай с дипломатическим поручением и

сворю отличных собак, легавых и борзых, в подарок правителю Небесной империи. Однажды просит он одного приближенного к царю мандарина узнать, как понравились собаки его величеству. «Собаки были очень вкусны, – получил он в ответ, – особенно зажаренные на касторовом масле». – «Злодей! – воскликнул ошеломленный боярин, – он съел царем пожалованных ему собак. И охота нашему государю связываться с таким поганым народом».

* * *

Пред открытием военных действий в 1812 г. и во время приготовлений к ней, частые курьеры приезжали к губернатору одной из губернии, прилежащих к будущему театру войны. Эти посланные от военного министра, или от главнокомандующих войсками, привозили предписания и ордера о немедленном заготовлении или высылке провианта, о заготовлении подвод и о прочих воинских потребностях. Эти предписания постоянно ссылались на статьи известной *желтой книжки* (полевой устав), по которым, в случае замедления или неточного исполнения данных приказаний, виновник подвергается всей строгости законов: тут были опять ссылки на какие-то статьи. Эти курьеры как-то обыкновенно приезжали по вечерам. В эти часы губернатор отдыхал от своих дневных подвигов и предавался за карточным столом мирному занятию бостона. Получив пакет, он торопли-

во распечатывал его, кидал на содержание бумаги беглый и рассеянный взгляд и отдавал ее правителю канцелярии для надлежащего исполнения.

В течение двух-трех недель курьеры наезжали, и все обходилось и сходило с рук благополучно. Однажды подобный военный гонец приехал утром. Губернатор на досуге прочитал бумагу, заключающую в себе постоянные ссылки на какие-то таинственные статьи. «Да, бишь, теперь кстати скажи мне, – сказал он правителю канцелярии, – какие это статьи, на которые они все указывают? Давно собирался я спросить тебя, но все времени не было». – «Эти статьи, – отвечал чиновник, – относятся до военного суда, по которому виновные подвергаются иногда смертному приговору, особенно в военное время». – «Ого, – вскричал ошеломленный губернатор, – здесь, видно, не до шутки: слуга покорный, и Бог с ними со всеми!»

Тут, от испуга, занемог ли он вправду, или сказался больным, но в тот же день сдал должность свою вице-губернатору, а месяц спустя вышел, по совершенно расстроенному здоровью, в чистую отставку. С той поры он, беспрепятственно и не смущаясь духом, мог вполне предаваться мирным упражнениям своим по части бостона.

* * *

Мы говорили об одном барине, приехавшем в Ревель.

«Кажется, этот барин (сказал Опочинин) ума твердого, но не *быстрого*» (забавно ударяя на последние слоги). Нельзя шутивее и вежливее высказать, что человек туповат.

Опочинин был один из близких людей к великому князю Константину Павловичу, который удостаивал его своей особенной доверенностью и любил ум и беседу его. В Константине Павловиче также была чистая русская струя.

* * *

Упомянутое выше посольство в Китай напоминает другое посольство, также замечательное, по следующему обстоятельству. Боярин с каким-то поручением отправлен был из Москвы к одному из европейских дворов. Он прибыл к назначению своему, когда король был болен. Приема быть не могло. Проходят дни, недели, а король все нездоров.

Потеряв терпение, боярин объявляет, что он далее ждать не может и что получил приказание возвратиться в Россию. На настоятельные и упорные требования его иметь перед отъездом аудиенцию дают ему знать, что король примет его, но в постели, с которой, по болезни своей, он встать не может.

«Хорошо, – отвечает боярин, – но в таком случае приготовьте и мне кровать, возле королевской. Мне, уполномоченному представителю русского царя, неприлично было бы стоять или сидеть, когда король лежит».

* * *

Некто, приехавший с Дону, только что и говорил о своих донских похождениях и подвигах. Это было в начале двадцатых годов. Мицельский, в Варшаве, сказал на это: S'il n'a pas le don de la parole, il a du moins la parole du Don. (Игра слов, непереводаемая на русский язык.)

* * *

Говорили однажды о звукоподражательности, о *собрании* некоторых слов на разных языках, так что и незнающему языка можно угадать приблизительно, по слуху, к какой категории то или другое слово должно принадлежать.

В Москве приезжий итальянец принимал участие в этом разговоре. Для пробы спросили его: «Что, по-вашему, должны выражать слова: любовь, дружба, друг?» – «Вероятно, что-нибудь жесткое, суровое, может быть, и бранное», – отвечал он. «А слово телятина?» – «О, нет сомнения, это слово ласковое, нежное, обращаемое к женщине».

* * *

Выдержки из разговоров

1. Политического

Х.: Сомневаться нечего: Пальмерстон ведь не глуп, и вот что на это сказал бы он...

Д.: (прерывая его): Нет, воля твоя, если на то пошло, то Пальмерстон не может никогда сказать то, что ты скажешь.

2. Литературного

Н.: Все же нельзя не удивляться изумительной деятельности его: посмотрите, сколько книг издал он в свет!

NN.: Нет, не издал в свет, а разве пустил по миру.

3. Служебного

Чиновник: Я пришел всепокорнейше просить ваше превосходительство уволить меня на год в заграничный отпуск.

Директор департамента: Что это вам вздумалось?

Чиновник: Да так-с, нынешний год не хорош для чиновников.

Директор: Как не хорош?

Чиновник: В нынешний год почти все табельные дни приходят на воскресенья, так что мало остается неприсутственных дней. Поэтому и желаю я воспользоваться этим годом.

Докладчик: Такой-то чиновник просит о дозволении ему вступить в законный брак.

Министр Вронченко, письменно изъявляя согласие, говорит: «Не имею чести знать его, а должен быть большой дурак». Эта формула неизменно и стереотипно повторялась в продолжение многих лет при каждом подобном докладе.

5.

Директор Департамента: А ваша невеста хороша собой.

Жених-чиновник: Совсем не гнусна, ваше превосходительство. С позволения вашего, она несколько похожа на вашу супругу.

6. Филантропического

Л.: Подпишитесь на выдачу какой-нибудь ежегодной суммы в пользу заведения для раскаявшихся грешниц.

М.: Покорнейше благодарю! Я и так уже издержал довольно денег в пользу их до раскаяния, а теперь ни денег, ни охоты нет на новые издержки.

7. Супружеского

Жена (в провинции): Ты верно забудешь меня в Петербурге.

Муж: Как не стыдно тебе подозревать меня: ты знаешь, что я тебя без памяти люблю.

8. Дружеского

В Таврическом дворце, в прошлом столетии, князь Потемкин, в сопровождении Левашева и князя Долгорукова, проходит через уборную комнату мимо великолепной ванны из серебра.

Левашев: Какая прекрасная ванна!

Князь Потемкин: Если берешься ее всю *наполнить* (это в письменном переводе, а в устном тексте значитс^я другое слово), я тебе ее подарю.

Левашев (обращаясь к Долгорукову): Князь, не хотите ли попробовать пополам?

Князь Долгоруков слыл большим обжорой.

9. Министерского

Граф Канкрин: А по каким причинам хотите вы уволить от должности этого чиновника?

Директор департамента: Да стоит, ваше сиятельство, только посмотреть на него, чтобы получить к нему отвращение: длинный, сухой, неуклюжий немец, физиономия суровая, рябой...

Граф Канкрин: Ах, батюшка, да вы это мой портрет рисуете! Пожалуй, вы и меня захотите отрешить от должности.

* * *

Ш. говорит кудревато, высокопарно и с какой-то заведен-

ной торжественностью. В начале 20-х годов толковали в одном приятельском кружке о какой-то правительственной мере, которая была вопросом дня. Каждый выражал мнение свое.

Ш. вмешался в разговор и сказал: «Если имел бы я высокую честь заседать в Государственном Совете, я позволил бы себе сказать...» – «Какую-нибудь глупость», – перебил его и выстрелил в него как из пистолета генерал Бороздин.

* * *

Имя графа Александра Ивановича Остермана-Толстого принадлежит военной летописи царствования императора Александра Первого, богатой многими блестящими именами. Почти все они, более или менее, вышли из военной школы, имевшей преподавателями своими Румянцева, Суворова, Репнина, Долгорукова-Крымского. В числе своих знаменитых сверстников и сослуживцев граф Остерман умел себя выказать. Рыцарское бесстрашие в сражении, отвага, когда была она нужна, и неодолимая стойкость, когда действие требовало упорно отстаивать оспариваемое место, были, по словам сведущих людей, отличительными принадлежностями военных способностей его.

Но здесь нам дело не до воина. В далеко не полном очерке мы хотим припомнить здесь отрывочные черты, которые могут дать понятие об этой замечательной и своеобразной

личности; хотим передать впечатления, которыми врезалась она в памяти нашей.

Граф Остерман-Толстой был высокого роста, худощав; смуглое лицо его освещалось выразительными глазами и добродушием, которое пробивалось сквозь темный оттенок наружной холодности и даже суровости. Ядро, оторвавшее руку его до плеча, запечатлело внешний вид его еще большим благородством и величавостью. Что ни думай о войне и об ужасах этого человеческого самоуправства, но раненые ветераны, эти живые памятники народных событий, опаленные и раздробленные грозой, всегда поражают зрителей почтительным вниманием и сочувствием. Нравственные качества его, более других выступавшие, были прямодушие, откровенность, благородство и глубоко врезанное чувство русской народности, впрочем, не враждебной иноплеменным народностям. Тогда было время уживчивое. Врагов знали только на поле битвы; в мирное время люди не умудрялись как бы питать и поддерживать междуплеменные предубеждения и недоброжелательства.

Воинское рыцарство имело в графе Остермане и нежный оттенок средневекового рыцарства. Он всегда носил в сердце цвета возлюбленной госпожи своей (*la dame de ses pensees*). Правда, и цвета, и госпожи по временам сменялись другими, но чувство, но сердечное служение оставались неизменными посреди радужных переливов и изменений. Это рыцарство, это кумиропоклонение перед образом любимой жен-

щины было одной из отличительных примет русского или, по крайней мере, петербургского общества в первые годы царствования императора Александра. Оно придало этому обществу особый колорит вежливости и светской утонченности. Были, разумеется, и тогда материалисты в любви, но много было и сердечных идеологов. Это был золотой век для женщины и золотой век для образованного общества. Женщина царствовала в салонах не одним могуществом телесной красоты, но еще более тайным очарованием внутренней, так сказать, благоухающей прелести своей.

Нелединский был первосвященным жрецом этого платонического служения. Остерман, в свое время, был усердным причастником этого прихода. Говоря просто по-русски, он был сердечником. Одним из предметов поклонения и обожания его была варшавская красавица, княгиня Тереза Яблоновска, милое, свежее создание. Натура вообще, и польская натура в особенности, богато оделила ее своими привлекательными дарами. Польша много издержала, растратила сил своих невоздержностью по части политической гигиены, но две силы, если не политические, то поэтические, два неотъемлемые сокровища, два победоносные орудия остались при ней, а именно: женщина и мазурка.

У графа Остермана был прекрасный во весь рост портрет княгини Терезы. Он всегда и всюду развозил его с собой, и это делалось посреди бела дня общественного и не давало никакой поживы сплетням злословия. Во-первых, граф был

уже не молод, и рыцарское служение его красоте было всем известно; во-вторых, княгиня принимала клятву его в нежном подданстве с признательностью, свойственной женщинам в этих случаях, но и со спокойствием привычки к взиманию подобных даней. Нужна еще одна краска для полноты картины. Заметим, что в то время граф был женат, но не слышно было, что романтические похождения его слишком возмущали мир домашнего его очага.

Вот, впрочем, образчик супружеских отношений его. Графиня была болезненного сложения и приехала однажды в Париж искать облегчения у французских врачей. Муж был тогда в Италии, но, по непредвидимым сердечным обстоятельствам, вынужден был и он приехать в Париж в то самое время, как и графиня. Он скрывался в отдаленной части города, под чужим именем и в своей потаенной засаде продолжал переписываться с женой из Италии.

После всего сказанного, не для чего прибавлять, что Остерман был великий оригинал, или чудак во всех действиях и приемах своих. Некоторые боялись оригинальности его, многие сочувствовали ей и любовались ею. Оригинальные личности бывают и анекдотические. Человек, за которым нельзя закрепить ни одного анекдота, есть человек пропащий: это лицо без образа, по выражению поэта. Он тонет в толпе. Мы говорили, что Остерман разъезжал с портретом красавицы. Иногда разъезжал он и с другими предметами своей приверженности: позднее, когда командовал он корпу-

сом, кажется, гренадерским, в дороге следовали за ним два или три медвежонка, которые имели свою особенную повозку и свои приборы за столом, когда граф останавливался обедать на станции. Можно представить себе переполох станционных смотрителей, когда граф наезжал со своими попутчиками.

Однажды явился к нему по службе молодой офицер. Граф спросил его о чем-то по-русски. Тот отвечал на французском языке. Граф вспылил и начал выговаривать ему довольно жестко, как смеет забываться он перед старшим и отвечать ему по-французски, когда начальник обращается к нему с русской речью. Запуганный юноша смущается, извиняется, оправдывается, но не преклоняет графа на милость. Наконец отпускает он его, но офицер едва вышел за двери, граф отворяет их и говорит ему очень вежливо по-французски: «У меня танцуют по пятницам, надеюсь, что вы сделаете мне честь посещать мои вечеринки».

Один новопожалованный генерал говорил безрукому герою: «А вам, граф, должно быть страшно в толпе; неравно, кто-нибудь толкнет вас, и вам будет больно». – «Меня не толкнет», – отвечал он хладнокровно и сурово и тут же спиной обратился к нему.

Графу понадобился кучер – на выезд явился к нему парень видный собой с хорошими рекомендациями, с окладистой рыжей бородой. «Охотно взял бы я тебя, – сказал Остерман, – но я рыжих терпеть не могу». – «Чем же виноват я, –

говорил кучер, – что я рыжим родился, и что же мне тут делать?» – «А идти к генералу С., который чернит себе волосы, – продолжает граф, – и попросить его научить тебя, как себя очерноволося». Кучер, принимая буквально эти слова, отправляется к помянутому генералу и докладывает ему: «Граф Остерман приказал кланяться вашему превосходительству и пожаловать мне рецепт для крашения волос». Легко понять, как генерал принял эту просьбу и досадовал на Остермана, подозревая его в умышленной насмешке.

С царствованием императора Александра кончилась, так сказать, и русская жизнь графа Остермана. С этой поры он исчезает для России. Прискорбные ли недоразумения, действительные ли неприятности по службе или просто причудливость нрава его, решить положительно не беремся, но как бы то ни было, что-то совратило его со стези и положения, на котором занимал он видное и почетное место. Говорили (но не всегда *говоренному* можно безусловно верить), что, в противность обязанности своей и даже приличию, не явился он к торжественному обряду, при котором должен был присутствовать по званию генерал-адъютанта и как один из старейших и почетнейших генералов русской армии. Говорили, что вместо того, чтобы приехать в Москву в назначенное время, он отправился в Италию, «куда влекла его могущая любовь». Если все это так, то, разумеется, последствия должны были несколько неблагоприятно отразиться на высшие отношения к нему.

Как бы то ни было, и какие бы обстоятельства не оторвали его от России, но с того времени он в ней уже не жил. Он много путешествовал, объездил, кажется, Восток, и только изредка доходили о нем до Отечества отдельные и смутные слухи. Когда праздновалась годовщина Кульмской битвы, император Николай, желая видеть на этом историческом празднике Кульманского героя, повелел пригласить его к назначенному торжеству. Но он, под разными предлогами, отказался от приглашения. Не обращая внимания на странность подобного поступка, но помня и признавая одни боевые заслуги и блестящее участие его в знаменитом Кульмском деле, государь прислал ему знаки ордена Св. Андрея Первозванного: прекрасная черта и благородное, так сказать, отмщение за выходку довольно неприличную. Уверяют, что пакет, заключавший в себе эти знаки отличия, остался у него до кончины нераспечатанным!..

Последние годы жизни своей провел Остерман в Женеве или в предместье города. Тут увиделся я с ним, лет 20 и более спустя после прежних свиданий наших. «Что делаете вы, граф, в Женеве?» – спросил я его. «Je tourne le dos au Montblanc», – отвечал он (оборачиваюсь спиной к Монблану). И в самом деле, кресло, на котором сидел он целый день почти неподвижно, упиралось в простенок между двух окон, из которых был великолепный вид на Белую Гору. Он был уже утомлен жизнью и дряхл, но память его была еще бодрa и свежа.

Впрочем, и о памяти его можно сказать, что она остановилась на исторической странице, которой замыкается царствование императора Александра Павловича; далее не шла она, как остановившиеся часы. Новейшие русские события не возбуждали внимания его. Он о них и не говорил и не расспрашивал, что делается в России. Не слышать было от него ни слова теплого участия, ни слова сожаления, ни слова укора. Какая ни была причина размолвки, если в нем не было христианского смирения и прощения действительным или мнимым оскорблениям, то не было и тени злопамятства, по крайней мере на словах. Он просто в отношении к России заживо замер и похоронил себя в дне 19 ноября 1825 года.

В прежние годы рыцарь красоты, ныне принес он обет рыцарской верности памяти Александра. Кабинет его в Женеве был как бы усыпальницею покойного Императора. Все возможные портреты его, во всех видах и объемах, бюсты, статуэтки, медали, – все, что только могло напоминать его, было развешено по стенам, расставлено на столах. Он был окружен этими воспоминаниями; он хранил их с нежным благоговением. Он жил в них и в минувшем, которое они изображали. На столе его постоянно лежало собрание стихотворений Державина. «Вот моя Библия», – говорил он. Жаль, если Лажечников, бывший долгое время при нем адъютантом, не собирал и не записывал по горячим следам любопытные проявления этой своеобразной личности: она и везде была бы на виду, а у нас, при некоторой бледности общего коло-

рита, она поражала яркостью красок своих и выпуклостью очертаний.

Мы пользовались приятнью графа, но никогда не были с ним в коротких и постоянных сношениях. Встречались мы урывками, время от времени, и опять надолго расставались. А потому сказанное здесь о нем далеко не портрет, разве легкий очерк; ближе знающие его могут пополнить этот черновой набросок.

* * *

Мы упомянули выше о положении женщины в начале нынешнего столетия и несколько позднее. В петербургском, а частью и в московском обществе женщина обладала силою и властью. Женщины на Западе завидовали ей и оплакивали свое лишение всех прав состояния. Это лишение было неминуемым следствием политических, общественных и нравственных переворотов.

Тьер выдумал аксиому, которою погубил монархию во Франции: *le roi regne et ne gouverne pas* (король царствует, а не управляет). Навыворот этому определению можно бы сказать, что западная женщина, если иногда так или сяк управляет, то уже не царствует, а женщины любят царствовать. Женщины, синие чулочницы, или красные чулочницы, или женщины политические, парламентарные, департаментские – какие-то выродки, перестояющие быть женщи-

ной и неспособные быть мужчиною. Нелединский, Пушкин, Остерман не любили этих кунсткамерных уклонений от природного порядка. Нередко слышал я от светских дам за границей, что только у русских еще сохранилось поклонение женщине (*le culte de la femme*).

Однажды на бале в Париже разговаривал я с дамою, которой только что был представлен. Она сидела, а я стоял у кресла ее. Вблизи был стул, и стояло несколько дам. Она предложила мне взять стул и сесть для продолжения разговора. Я отказывался, говоря, что не сяду, когда при мне дамы стульев не имеют. «Сделайте одолжение, – сказала она, улыбаясь, – бросьте ваши петербургские вежливости: здесь никто их не поймет».

Разумеется, в старину бывали женщины аристократические и демократические, женщины избранные и женщины общедоступные. Нередко (нечего греха таить) те же платонические жрецы, пожалуй, может быть, тот же Нелединский, тот же Остерман, при чистом служении обожаемой Лауре, совращались иногда с целомудренного и светлого пути своего и спускались потаенно на битую и торную дорогу.

Изыскания и расследования этих противоречий и противочувствий принадлежат психологии или просто мужской натуре. Не нужно забывать притом и эпоху, и современные ей нравы. Как бы то ни было, аристократическая женщина, то есть аристократка не только по рождению, но и по другим преимуществам, жила в то время особняком, опираясь

на возвышенное подножие, сидела на троне, посреди двора своего. Женское различие тайком оспаривало иногда власть такой женщины, стараясь перенимать ее моды, приемы, осанку; но все это было не что иное, как внешние попытки, а на деле глубокая бездна отделяла одних от других. Ныне перекинут мост чрез эту бездну, и на нем сходятся и смешиваются порубежные населения, так что со стороны не скоро разглядишь, где кончается аристократическая, где начинается плебейская любовь.

Что ни говори, а Молчалины – народ в литературе драгоценный. В тетрадках их сохранилось многое, что без них пропало бы без вести. Вот, например, одна из подобных находок. Стихи писаны давно, но по содержанию едва ли не применимы они ко многим эпохам:

Всех обращиков, всех красок
Он живой лоскутный ряд:
Нет лица, но много масок,
Всюду взятых напрокат.

Либерал, чинов поклонник,
Чрезполосная душа,
С правым он его сторонник!
С левым он и сам левша.

В трех строках? – его вся повесть:
И торгаш, и арлекин,

На вес продает он совесть,
Убежденья на аршин.

* * *

Старик Бенкендорф постоянно пользовался особенным благоволением и, можно сказать, приязнью Павла Петровича и Марии Федоровны, что не всегда бывает при Дворе одновременно и совместно: равновесие дело трудное в жизни, а в придворной тем паче. Он рассказывал барону Будбергу (бывшему после Эстляндским губернатором, от которого я это слышал) о забавном и затруднительном положении, в которое он однажды попал в Павловском или Гатчинском дворце.

Это было в самый разгар платонической и рыцарской привязанности Павла Петровича к фрейлине Нелидовой. Бенкендорф нечаянно входит в один из покоев дворца и застаёт Павла Петровича, сидящего на диване рядом с Нелидовой. Пред ними столик с двумя свечами; в глубине комнаты догорает огонь в камине. Разговор слышится живой, но неполголосо. Третьему лицу тут места нет: оставаться неловко, уйти неприлично. Бенкендорф в недоумении переминается с ноги на ногу. В редкие секунды молчания пытается он вставить какое-нибудь малозначительное слово; но на попытки его ответа нет. Наконец великий князь говорит ему:

Eh bien, monsieur de Benkendorff, vous ne vous occupez plus de politique? – Pourquoi pas, votre altesse, – отвечает он. – Voici sur la cheminue la derniere gazette de Hambourg, et vous n'eu prenez pas connaissance? (Как это, г-н Бенкендорф, вы политикой уже не занимаетесь? – Почему же нет, ваше высочество. – Вон на камине лежит последний номер Гамбургской газеты, а вы ее не читаете?) Бенкендорф обрадовался этому поводу к честному отступлению. Он идет к камину и при слабом мерцании догорающего камина готовится углубиться в чтение газеты. Что же оказывается? Самой газеты нет, а есть одно прибавление к ней с объявлениями о разных продажах, вызове прислуги, отыскании сбежавшей собаки и пр. Делать нечего: надобно было предаться чтению, и оно продолжалось около часа.

Этот случай наводит на два следующие рассказа.

Позднее нежное внимание императора Павла было обращено на другую фрейлину, жившую во дворце. В так называемом фрейлинском коридоре император встречает однажды гвардейского офицера, помнится, Каблукова, и говорит ему: «Милостивый государь, по этому коридору ходить одному из нас, вам или мне».

Во время Суворовского похода в Италию государь, в присутствии фрейлины княжны Лопухиной, читает вслух реляцию, только что полученную с театра войны. В сей реляции упоминалось, между прочим, что князь Гагарин (Павел Гаврилович) ранен; при этих словах император замечает, что

княжна Лопухина побледнела и совершенно изменилась в лице. Он на это не сказал ни слова, но в тот же день посылает Суворову повеление, чтобы князь Гагарин был немедленно отправлен курьером в Петербург. Курьер приезжает. Государь принимает его в кабинете своем, приказывает ему освободиться от шляпы, сажает и расспрашивает его о военных действиях. По окончании аудиенции Гагарин идет за шляпой своей и на прежнем месте находит генерал-адъютантскую шляпу. Разумеется, он не берет ее и продолжает искать своей.

«Что вы, сударь, там ищете?» – спрашивает государь.

«Шляпы моей». – «Да вот ваша шляпа», – говорит он, указывая на ту, которой, по приказанию государя, была заменена прежняя. Таким замысловатым образом князь

Гагарин узнал, что он пожалован в генерал-адъютанты. Вскоре затем была помолвка княжны и князя, а потом и свадьба их.

Князь Гагарин не совсем чужд литературе нашей. Он писал русские стихи, которые печатал Жуковский, временный издатель «Вестника Европы». Вероятно, писал он и французские стихи. На французском языке была напечатана им брошюра о поездке в Финляндию, куда он, в должности генерал-адъютанта, провожал императора Александра Павловича.

Французский поэт сказал:

La patrie est aux lieux ou l'ame est enchainee. (Отечество

там, где душа закрепощена.) Шутник заметил, что если так, то Россия есть отечество по преимуществу, что в ней встречаются души и крепостные, и заложённые. Шутка эта, по счастью, выдохлась, откупоренная положением 19-го февраля. (Примечание переписчика.)

* * *

Вот портрет из старинной картинной галереи:

Он весь приглажен, весь прилизан,
С иголки ум его и фрак;
И фрак крестами весь унизан,
И ум под канцелярский лак.

Он чопорен, он накрахмален,
На разговор он туп и скуп,
И глупо он официален,
И то-ж официально глуп.

* * *

Выше, говоря о наших критиках, привели мы стих: «Живет он в Чухломе, а пишет о Париже». Про иного можно сказать: если не о Париже, так о Петербурге. Иной автор, романист, публицист, пишет, пожалуй, на Мойке или на Фонтан-

ке, а так и сдается, что на статье его красуется Чухломский почтовый штемпель. Провинциализм сильно одолевает литературу нашу. Этого прежде не было. Авторы, с непривычки и незнакомые со средой, в которой они очутились, смотрят на все, на людей и на вещи, глазами мутными и напуганными: точно провинциал, из глуши своей перенесенный в блестящий столичный салон.

У него рябит в глазах и в голове. Скромный, благоразумный провинциал целомудренно сидит себе и молчит или отвечает на вопросы о уезде своем, который он хорошо знает, но провинциал удалой, провинциал-сорванец, хотя и сидит на стуле развязно, скрестя ногу на ногу, как подобает фешенебельному джентльмену, но нагло вмешавшись в разговор, вдруг брякнет такое слово, что всех с ног сшибает, или уморит со смеху. Мы не желаем оскорбить провинциалов; охотно соглашаемся, что многие из них люди добропорядочные, рассудительные, что иногда даже от них многому и научиться можно, но провинциал оставайся в провинции и не залетай в высокие хоромы. Писатель, не знающий аза в глаза из той светской или политической грамоты, которую он берется толковать, может, по своей самонадеянности и самоуверенности, только раздосадовать или рассмешить других своими провинциальными промахами.

Есть еще одно слабое и большое место в литературе нашей. Творения прежних писателей отзывались более или менее личностью их, слог их было чистое зеркало, которое отража-

ло их самих внешне и внутренне. Ныне слог причисляется к каким-то предубеждениям и слабоумиям чопорной старины. Хотят ли порицать сочинение, по каким-нибудь поводам не соответственное понятиям и направлениям критиков, не находят более оскорбительного, более убийственного приговора, как следующий: сочинение писано Карамзинским слогом. Вот до чего утрачены всякое чувство изящного, вкус и всякое художественное понимание письменного искусства. А между тем искусство существует.

Дарования, призванные оставить по себе след в истории литературы, будут изучать это искусство в творениях Карамзина, Жуковского, Батюшкова, Пушкина. Они ознакомятся с ними, пропитаются ими. У каждого будет свой склад, своя, так сказать, физиономия; каждый внесет в общее дело долю личности своей, не будет рабским сколком, а останется самим собой и только далее и глубже разработает поле, перешедшее ему в наследство. Но все же эти лица сохранят черты сродства с образцами своими, будут члены одной избранной семьи, сыновья и внуки знаменитых предков. И теперь, может быть, сыщется родственное сходство между многими членами живого поколения, но дело в том, что это сходство часто *безобразное*; безобразие в том и другом смысле: безобразное, потому, что оно как-то неблагоприятно, нескладно, или потому, что тут нет никакого образа, вполне и резко отчеканенного. Часто, что одного автора прочесть, что другого, все равно: все они подстрижены под одну гребенку, как

солдаты одного полка, все одеты в одну амуницию, носят на груди своей одну и ту же бляху, как артельщики одной артели, как цеховые одного цеха. Речь везде условная, стереотипная; нет живого слова, свободно бьющего из живой груди, как свежая струя из обильного родника. Каждый черпает в свой маленький сосудец воду, уже накаченную из уличного колодезя; везде раздаётся однозвучное *слушай* часового, который стоит на одном месте; везде переходит из уст в уста, из-под пера под перо, тот же *пароль*, обязательно присвоенный в том или другом лагере; везде торчит и редко развеивается лоскуток хоругви того или другого ополчения. И все это, со всем тем, не ратники, не мужественные воины: бойцов, в истинном значении слова, нет; а есть одни знаменосцы, полковые барабанщики, флейтчики, насвистывающие все один и тот же марш: *Malbrough s'en va-t'en guerre, Ne sait quand reviendra.* (Мальбрук в поход собрался...)

* * *

Пушкин забавно рассказывал следующий анекдот. Где-то шла речь об одном событии, ознаменовавшем начало нынешнего столетия. Каждый вносил свое сведение.

Да чего лучше, сказал один из присутствующих, академик ** (который также был налицо), современник той эпохи и жил в том городе. Спросим его, как это все происходило.

И вот академик ** начинает свой рассказ: «Я уже лег в по-

стель, и вскоре пополуночи будит меня сторож и говорит: извольте надевать мундир и идти к президенту, который прислал за вами. Я думаю себе: что за притча такая, но оделся и пошел к президенту; а там уже пунш».

Пушкин говорил: «Рассказчик далее не шел; так и видно было, что он тут же сел за стол и начал пить пунш. Это значит иметь свой взгляд на историю».

* * *

Дмитриев гулял по Кремлю в марте месяце 1801 г. Видит он необыкновенное движение на площади и спрашивает старого солдата, что это значит? «Да съезжаются, – говорит он, – присягать государю». – «Как присягать и какому Государю?» – «Новому». – «Что ты, рехнулся ли?» – «Да императору Александру». – «Какому Александру?» – спрашивает Дмитриев, все более и более удивленный и испуганный словами солдата. «Да Александру Македонскому, что ли!» – отвечает солдат. (Слышано от Дмитриева.)

* * *

«От высокого до смешного только шаг один», сказал Наполеон, улетающая из России в жидовских санях. Впрочем, Наполеон в эту минуту был не столько смешон, сколько жа-

жало; жалок по человеческому чувству сердоболия и сострадания к бедствию ближнего; жалок и с точки философического воззрения, суда и осуждения. Как мог человек с подобными способностями, частью гениальными, как мог он с такой высоты слететь, провалиться стремглав в подобную изменность. Какой исторический и назидательный урок! Впрочем, если история многому учит, то она никого не научает. Но здесь речь не о Наполеоне. Мы только натолкнулись на него по поводу оставленного им изречения, которое, в виду следующего рассказа, хотели мы вот как перефразировать: от смешного до трагического только шаг один. Наш рассказ можно бы озаглавить *простая история*, и, к сожалению, очень обыкновенная история.

Во второй половине двадцатых годов был в Москве молодой человек, сын благородных родителей, ни за собою, ни перед собою ничего не имеющий. Получил он образование, кажется, в Московском университете. По окончании учебного курса поступил он на службу в канцелярию одного из Московских департаментов Сената. Жалованье, разумеется, было скудное; пропитываться им и содержать себя несколько не только прилично, но сносно, было невозможно. Для подмоги себе начал он давать уроки детям в частных домах по части русского языка, географии, истории и рисования, как водится по общепринятой программе домашнего обучения. Дела его пошли изрядно.

Он не вдавался в умствования, в нововведения; да и вре-

мя было еще не такое. Он шел и вел учеников по известной колее. Он был скромн, кроток, вежлив, прилежен, добросовестен в исполнении педагогических занятий своих. Ученики полюбили его, родители были к нему благосклонны и внимательны. Пожалуй, он маленько смахивал на Молчалина, но вращался в другой среде, которая была образованнее и чище; а потому и сам был он благоприличнее и чище: по собственному ли влечению, или по счастливой случайности, он не попадал в дом какого-нибудь Фамусова, ни в руки какой-нибудь Софьи Павловны. Он также долго был *умерен* и *аккуратен*, но никогда не бывал приписным нахлебником и приживалкой. В строевом порядке общежития занимал он если не блестящее, то безукоризненное и честное место.

Обстоятельства перенесли его из Москвы в Петербург. Для людей подобных свойств, подобного темперамента климат Москвы благоприятнее и здоровее петербургского. Но, впрочем, и здесь продолжал он свои занятия. Круг их даже расширился и на несколько градусов поднялся. Он был принят и вхож в некоторые дома, принадлежащие избранному обществу. К учительским упражнениям имел он случай прибавить и полулитературные, например Д. П. Бутурлин, более привыкший к письменным занятиям на французском языке, нежели на русском, давал ему на грамматическое и на синтаксическое исправление рукопись своей «Истории Смутного Времени». Разумеется, все эти труды были прилично вознаграждаемы. *Умеренное* и *аккуратное* (чего же более?) сча-

стве улыбалось ему.

Он даже имел некоторые светские успехи. В один из домов, в котором был он домашним, ездили нередко блестящие придворные фрейлины того времени. Им с непривычки полюбилась его несколько простодушная провинциальность. На танцевальных вечеринках они даже избирали его себе в кавалеры. Он танцевал хорошо и ловко, одевался всегда прилично и с приметным притязанием на щегольство. Одним словом, Молчалин петербургского издания, очищенного и исправленного, новичок в окружающей его светской среде, был лицо довольно своеобразное, не только терпимое, но вообще и сочувственное. Веселье и приятности жизни шли своей чередой, но не забывалась, не пренебрегалась и польза. Составился маленький капитал, и он пустил его в рост по знакомым и приятельским рукам. И тут удавалось ему его невинное ростовщичье ремесло.

Но вот пришел и черный день. Большую часть капитала своего вверил он однажды за проценты человеку близко ему знакомому и, по-видимому, совершенно благонадежному. Не знаю, как, но этот человек со временем оказался несостоятельным. Деньги, нажитые тружеником, плод пота и крови его, безвозвратно пропали. Наш капиталист пришел в мрачное и свирепое отчаяние. Молчалин обратился в бешеного Гарпагона, лишившегося своей драгоценной шкатулки. Он возненавидел человечество. Не раз смешил он нас проклятьями своими. В пламенных порывах неистового крас-

норечия говорил он: «Нет, теперь дело кончено: приходи ко мне все человечество и валяйся у меня в ногах, умоляй дать ему пять рублей займа, не дам». На эту тему разыгрывал он непрестанно новые и новые заклинания и импровизации. Хотя нам было его и жаль, но исступленные и вместе с тем комические выходы его забавляли нас.

А вот здесь смех переходит в трагедию. Несколько времени не видали мы его и полагали, что он ходит по судам и пытается возвратить себе тяжёлым и законным путем свои утраченные деньги. Что же оказалось? До того времени благонаправленный и трезвый, заперся он в комнате своей и запил. Не долго после того умер он от запоя, этого медленного и унижительного русского самоубийства.

Если хорошенько пошарить в темных углах нашей общественной жизни, то наткнешься не на одну подобную этой обыкновенную историю и драму домашнюю. Не просится ли и она в состав замышленной нами Россияды?

* * *

Талейран, хорошо знающий своих соотечественников, говорит: *Ne vous y trompez pas: Les Français ont etc a Moscou; mais gardez-vous bien de croire que les Russes soient jamais venus a Paris* (Не ошибайтесь: французы были в Москве, но русские никогда не вступали в Париж). Другими словами, но в этом же смысле и духе писаны многие французские воен-

ные истории, особенно же пресловутая книга Тьера.

* * *

В старой тетради, сборник русского хроникера, отыскалась следующая надгробная надпись:

On le connut fort peu, lui ne connut personne.
Actif, toujours presse, bouillant, imperieux,
Aimable, seduisan meme sous la couronne,
Voulant gouverner seul, tout voir, tout faire mieux,
Il fit beaucoup d'ingrats et mourut malheureux.

(Его знали слишком мало: он никого не знал. Деятельный, всегда торопливый, вспыльчивый, повелительный, любезный, обольстительный даже под царским венцом, он хотел править один, все видеть, все делать лучше; он породил много неблагодарных и умер несчастливym.)

* * *

Приезжий из Италии рассказывал следующее.

В каком-то казино, что у нас называется клубом, слышит он русские слова, напеваемые на итальянские мотивы из опер тогда наиболее в ходу на сцене. Подходит он к столу, за которым сидели и играли в карты русские и один итальянец.

Любезные наши земляки мурлыкали и ворковали между собою: поди в черви, поди в бубнового короля, и так далее, на голос *i tanti palpiti* или: *il piu triste de mortali*. Добродушный итальянец удивлялся музыкальным способностям русских и вместе с тем и тому, что он все проигрывает.

* * *

В одном из городов Италии, ради какого-то ночного беспорядка сделано было полицией распоряжение, чтобы позднее известного часа никто не выходил на улицу иначе, как с зажженным фонарем. Находящийся тогда в том городе наш молодой Сен-При, отличный карикатурист, которого карандаш воспет Пушкиным в *Онегине*, расписал свой фонарь забавными, но схожими изображениями городских властей. Само собой разумеется, что он с фонарем своим прогуливался по всем улицам наиболее людным.

Этот молодой человек, веселый и затейливый проказник, вскоре затем, в той же Италии, застрелил себя неизвестно по какой причине и, помнится, ночью на Светлое

Воскресение. Утром нашли труп его на полу, плавающий в крови. Верная собака его облизывала рану его.

Он был сын графа Сен-При, французского эмигранта, брат которого с честью вписал свое французское имя в летописи русского войска в ряду лучших генералов наших. Мать его, урожденная княжна Голицына, была родная сест-

ра графини Толстой и графини Остерман. Отец, вероятно при герцоге де-Ришелье, был губернатором в южной России; он был человек образованный, уважаемый и любимый в русском обществе. Он довольно свободно и правильно говорил по-русски. Он в России принадлежал административной школе герцога де-Ришелье, бывшего долгое время Новороссийским генерал-губернатором; Одесса в особенности много была обязана ему процветанием своим. Эта школа, хотя и под французской фирмой, оставила по себе в России хорошие и не совсем бесплодные следы.

Другой сын бывшего Подольского губернатора, граф Алексей, принадлежал более Франции, нежели России, хотя по матери был он полурусский уроженец. Природа и судьба как будто хотели означить это происхождение: он родился в Петербурге 1805-го, а умер в Москве 1851 года. Он был пэром Франции, в царствование Филиппа, и членом Французской Академии. Служебная деятельность его развилась преимущественно на дипломатическом поприще, на котором занимал он посланнические должности в Бразилии, Португалии, Дании. Сверх того, известен он многими историческими и политическими сочинениями, заслуживающими внимания и уважения читателей. В нашей литературе стоит упомянуть о нем, по содействию его во французском драматическом сборнике, появившемся в Париже под названием «Иностранный Театр». В этом сборнике напечатан перевод, им сделанный, одного или двух русских драматических

произведений. Сестра его была замужем за князем В. А. Долгоруковым. Она известна была в Петербургском обществе умом своим и приветливым, хотя несколько странным и отличающимся независимостью, характером.

Молодой и несчастный Сен-При, с которого начали мы речь свою, добыл себе место в нашей общественной летописи по своим остроумным карикатурам. Замечательно, что талант его по живописи или рисовки был в нем некоторого рода наследственный: брат матери его, известный под именем князя Егора (Голицына), также в конце минувшего и начале нынешнего столетия, славился своими забавными и удачными карикатурами. В молодую пору сердечных похождений своих Карамзин встретил в нем счастливого соперника. Несмотря на свою необидчивость и свое мягкосердечие, Карамзин, в одной из своих повестей, отплатил ему за это некоторыми штрихами и своего карандаша.

Мы остановились на семействе Сен-При, потому что нам приятно связать некоторые наши родные и общественные предания с преданиями иноплеменными. Но многие хотели бы поставить русского каким-то особняком, каким-то образцовым, пробным членом (*specimen*) в европейской семье, на удивление и поклонение человечеству и потомству. Они мысленно и всеми желаниями сердца ограждают себя от чуждого прикосновения и поветрия, если не совсем стеной желтой столицы, то, по крайней мере, Кремлевскою стеною московского Китай-города. Мы, напротив, любим отыс-

кивать в стенах ворота, через которые, но с узаконенным видом, есть свободный пропуск из города и в город, на основании порубежных порядков. Мы и сами рады в гости ходить, да рады и гостям.

* * *

1.

В. Угадать не могу, кого *Х.* хотел задеть в последнем своем фельетоне.

МН. И я толку не добьюсь: но во всяком случае и окончательно задел он самого себя. Он в полемике своей похож на бойца, который, в поединке на шпагах, ранит ли противника своего, это еще бабушка надвое ворожила, а что себя, по неловкости, шпагою своею как-нибудь и где-нибудь да приколлет до крови – это несомненно.

2.

Два приятеля после долгой разлуки.

Первый. Да, любезнейший, много на веку своем пришлось мне видеть и много вынести. Посмотри, какова шея моя! Что ты на это скажешь?

Другой. Что же, ты эти раны получил на войне или на поединке?

Первый. Нет, от золотухи.

3.

Сотрудник одного из журналов. Что ни говорите, а равнодушные окраин наших, т. е. остзейцев и поляков, к литературе нашей не может и не должно быть терпимо.

ММ. Ага! Вы хотели бы расширить рынок на свой товар и умножить число потребителей своих. Да, понимаю: это желание довольно натуральное.

Сотрудник. Нет, здесь не личный расчет, а указание на обязанность противодействовать враждебному чувству к России.

ММ. Что же делать, если польская образованность и читающая немецкая публика предпочитают чтение своих природных книг, или французских и английских, чтению русских!

Сотрудник. Нужно деятельнее и упорнее водворять русский язык в этих областях грамотного отщепенства.

ММ. Но правительство, в объеме своих официальных потребностей, это и делает: оно настаивает на том, чтобы официальный язык в этих областях был русский. Нельзя же требовать от центрального правительства, чтобы оно вело дела государства на разнородных языках. Говори, пой, молись каждый у себя дома на своем родительском и наследственном наречии; но когда имеешь дело до государства, то потрудись, для своих же собственных выгод, выучиться языку, на котором говорит, судит, обнародывает свои законы и постановления то государство, к которому ты политически

принадлежишь.

Сотрудник. Этого мало. Вы довольствуетесь какими-то служебными и дисциплинарными обязанностями; мы требуем нравственного преобразования, пересоздания.

NN. Да, вы хотели бы, чтобы к каждому поляку и немцу была, как в *Уроки Дочкам*, приставлена няня Василиса, которая каждому из них твердила бы беспрестанно: «Извольте радоваться по-русски, извольте горевать и гневаться по-русски, извольте читать по-русски, извольте забавляться по-русски и переводить для ваших сцен русские комедии и драмы».

Сотрудник. Кстати, о театре. В одном петербургском журнале было замечено со справедливым негодованием, что, например, в Риге ничего не знают о Гоголе и не дают «Ревизора» на рижском театре. Что вы скажете на это?

NN. Скажу, что со своей стороны я очень благодарен немецкому театральному директору, что он не знакомит с рижскими бюргерами Гоголевского ревизора. «Ревизор» – домашняя русская комедия и должна дома оставаться. Известны французская и русская поговорки: черное белье должно мыть семейно, и сора из избы не выносить. Тем более не следует приглашать посторонних, встречных и поперечных, к подобным домашним очищениям и с каким-то самодовольством говорить им: «Посмотрите и полюбуйтесь, как много у нас грязного белья и как много всякого хлама и сора в нашей избе».

Расскажу вам по этому поводу случай, которого я был свидетелем. Кажется в 50-х годах приехал в Карлсбад один из наших немецко-русских или русско-немецких литераторов. Он привез с собой немецкий перевод «Ревизора» и хотел ознакомить с ним немцев на публичном чтении. Он просил содействия моего для раздачи билетов. Я отвечал ему, что русским раздаю по возможности несколько билетов, но все же желаю привлекать иностранцев на это чтение.

По заведенному порядку, рукопись должна была быть представлена на предварительный просмотр комиссару вод. Этот, по прочтении, возвратил ее переводчику при следующих словах: «Как могли вы думать, что будет вам разрешено публичное чтение подобного пасквиля на Россию? Вы, вероятно, забыли, что Австрия находится в дружественных отношениях с Россией, и из одних правил приличия и международной вежливости я не могу допустить нарушения этих правил». И скажу вам откровенно, по мне, комиссар был прав.

Гоголь, пожалуй, и не писал пасквиля; но хорошо, что комедия его показалась пасквилом иностранцу, и горе нам, если бы он признал в ней картину действительности. Нет, оставим «Ревизора» на народных наших сценах. Проницательность публики, любящая художеством автора, будет уметь отделять в нем, что есть истина и что плод разыгравшейся фантазии и веселости автора. Признаюсь, я до вашей искусственной и журнальной русификации не охотник. Вы метите в

цель, и попадаете в другую, ей совершенно противную. Того и гляди, вы будете ставить в вину окраинам нашим, что у них растут тополи и каштановые деревья и для вящего однообразия захотите приневолить их рассаживать у себя поболее ельника и ветлы.

* * *

NN. говорит, что русификация на бумаге, о которой разглашают и витийствуют наши журнальные бумагопотребители или истребители, – дело очень легкое, но едва ли благонадежное. Герцен говорил, и писал, и печатал по-русски; но мыслил ли он и чувствовал ли по-русски?

Император Александр Павлович говорил царскосельскому садовнику: «Где увидишь протоптанную тропинку, там смело прокладывай дорожку: это указание, что есть потребность в ней». В садоводственном правиле государя можно отыскать и правило политической экономии, и вообще государственного домостроительства. Во всяком случае это садовое указание – признак ума светлого и либерального.

Есть садоводство самовластительное, есть и садоводство либеральное. Деревья, под купол и под пирамиду стриженные, прямые, регулярные аллеи, в струнку вытянутые, все эти насильственным искусством изувеченные создания природы, которыми знаменитый Ленотр прославил себя и французские сады, носят отпечаток великолепного и величаво-

го самовластительства Людовика XIV: он и в природу хотел ввести официальный свой порядок и подчинить ее придворному этикету; для него и природа была вспомогательным заведением (succursale) Двора его. В свободе, в своенравном разнообразии английских садов отзывается английская независимость: деревья, на воле растущие, как и человеческая личность, пользуются охранительным законом *habeas corpus*.

* * *

Досужие языки, Бог весть с чего, прочили кого-то в министры. *C'est un homme de bois, il est vrai, – сказал NN, – mais il n'est pas du bois dont on fait les ministres.* (Он деревянный, это правда; но не того дерева, из коего делаются министры.)

Недостаток прежней нашей литературы заключается, может быть, в том, что писатели не договаривали, не вполне высказывали себя: они не давали или иногда не могли давать читателям все, что было у них на уме. Недостаток литературы настоящей есть излишество ее: вообще писатели наши выдают более, чем выдерживает их ум. Чувствуется, что у прежних еще оставалось что-то в запасе и на дне; проницательный читатель угадывает это что-то и дополняет написанное мысленным междустрочным чтением. В отношении к новым видишь, что хотя они сказали много, но после сказанного ничего дома не остается. Заемные письма выданы, а капитала для уплаты по ним нет.

* * *

От слова *заговор* вышло слово *заговорищик*. Почему же от слова *разговор* не вывести слова *разговорищик* (causeur)? *Говорун* – не то; *собеседник* – как-то неуместно важно.

* * *

NN. говорит, что жизнь слишком коротка, чтобы иметь дело до Х** или завести с ним разговор. Нужен, иной раз, битый час, чтобы растолковать ему то, что другой поймет в две минуты. У него слишком медленное и тугое пищеварение головы.

* * *

У нас изумительный и невероятный расход на гениев. Они везде редки, но у нас пекутся они как блины или ассигнации, или растут как грибы под чернильным дождем.

Кто-то в старину написал шуточное стихотворение: «Русский Парнас» с разными подразделениями. Об одном из этих отделений сказано:

Где гениев нет первоклассных,

А только просто хороши.

Теперь мы уже не довольствуемся хорошими гениями, а требуем, и поставляют нам, даже свыше требований наших, все гениев первоклассных. Оно, пожалуй, приятно и лестно, но то худо, что оно сбивает понятия, роняет цену на истинные дарования и придает славе какую-то пошлость. Народный Пантеон преобразовывается в человеколюбивый дом дешевых квартир.

Кто напишет у нас оперу, картину, драму с несомненными признаками дарования, тот уже не в пример другим или, напротив, очень в пример другим, сейчас производится в гении и сажается на голову всем знаменитым европейским музыкальным композиторам, живописцам, драматическим писателям. Воля ваша, это просто невежество. Это значит: знай наших!

Любовь к Отечеству и народная гордость сами по себе дело прекрасное, но нужно уметь применять их к действительности. Знаменитая француженка Роллан, восходя на революционный эшафот, сказала: «О свобода, сколько преступлений совершается во имя твое!» Понизив диапазон, можно бы сказать в свою очередь: «О патриотизм (или, пожалуй, о отечестволюбие, если у кого хватит духу выговорить это слово), сколько глупостей, бестолковщины высказывается, пишется и делается под твоей благородной фирмой!»

Можно иметь некоторые свойства *гениальности*, но еще

не быть гением. Гений есть что-то цельное, державное, всемогущее. Мы уже заметили, что гении везде редки. У нас, по многим причинам, они еще реже. Гений у нас, может быть, и был один – Петр I. Несмотря на слабости и погрешности свои, еще более свойственные времени его, чем его личности, он совершил подвиг гениальный. Вполне ли хорошо, или частью пополам с грехом, совершил он его, это другой вопрос, но отрицать никому нельзя, что он был запечатлен могучим гением и духом преобразования.

Ломоносов был более гениален, нежели гений: в нем было мало творчества, он не был гением-создателем, а разве гением-путеводителем, указателем, Моисеем в обетованной земле. Как другой Христоф-Коломб, он внутренне прозрел, угадал, предчувствовал новый мир, составил путеводители для достижения неизвестных земель, но Америкой он не овладел. Он ничего такого по себе не оставил, что могло бы служить образцом, но многое оставил, что может служить поучением.

Есть гении, так сказать, пропавшие, которые родились после времени, или неуместно. Представим себе, что какой-нибудь дикарь на далеком и пустынном острове, не знающий, что часовое мастерство давно на свете существует, изобрел и смастерил бы в юрте своей часы. Разумеется, это было бы дело гения, но какая польза вышла бы от того для человечества? Многие из таких гениев напоминают доброго немца, который, не зная, что «Телемак» писан Фенелоном, перевел

его на французский язык с немецкого перевода и думал, что он обогатил и осчастливил французскую литературу, познакомив ее с бессмертным творением.

То же, что о Ломоносове, можно бы сказать о Суворове. Он был гениален. Случай, события не позволили ему утвердить за собой неопровержимое звание гения. Судьба не свела его грудь с грудью в бой с современным гением войны. Поединок между Бонапарте и Суворовым решил бы окончательно и победоносно, кому из двух неотъемлемо принадлежат честь и слава быть военным гением.

Мало быть или слыть гением в околотке своем: мало быть гением доморощенным. Нужно еще на то и согласие общее, всенародное. Гений – исключение в семье человеческой: он гражданин всемирный. Что такие за гении, которым выдается плакатный билет на жительство в такой-то местности и на известное время? Будем же довольствоваться теми избранными и высокими дарованиями, которыми нас Бог, если не щедро, то и не скупно наградил. Скажем и за то спасибо и воле, даровавшей их, и им, которые таланта своего в землю не зарыли; но воздержимся от напрасной и смешной погони за гениями и от производства в гении тех, которым удалось прийти нам по вкусу. Задор этих ловцов и производителей еще не беда: Бог с ними! Они себя тешат и нас забавляют. Прекрасно! Но жаль, что эти поставщики, эти крестные отцы гениев вредят многим из крестников своих, вовсе неповинным в таком насильственном производстве. Напри-

мер, Пушкин, как высокое, оригинальное дарование, не сбиваем с законного места своего. Как гений, он подлежал бы критической переоценке, сомнениям и пререканиям. О других наших так называемых гениях и говорит нечего. Дарования их задушены, подавлены почестью, которой их облачают. Все это, на поверку, объясняется двумя обстоятельствами: с одной стороны, критика наша не опирается ни на какие правильные и законные основания; с другой, ложная народная гордость натирает и подкрашивает патриотической охрою свою домашнюю утварь.

* * *

Ф** не косноязычен, а *косноумен*. У него мысль заикается, но с некоторым терпением можно иногда дождаться от него и путного слова.

* * *

«Как трудно с жизнью справиться, – говорила молодая ***. – Счастье законное, тихое, благоверное неминуемо засыпает в скуке. Счастье бурное, несколько порочное, рано или поздно кончается недочетами, разочарованием, горькими последствиями».

* * *

Кто-то заметил, что профессор и ректор университета, Антонский, имеет свойство – полным именем своим составить правильный шестистопный стих:

Антон Антонович Антонский-Прокопович.

О нем же было сказано:

Тремя помноженный Антон,

И на закуску Прокопович.

Пожалуй, оно и так, но Россия не должна забывать, что Антонский умел первый угадать и оценить нравственные качества и поэтическое дарование своего воспитанника в благородном пансионе при Московском университете. Этот скромный воспитанник не обращал на себя внимания и особенного благоволения начальства, какое иногда оказывается по родственным связям и положению в обществе. Нет, сочувствие к неизвестному еще Жуковскому было со стороны Антонского совершенно бескорыстное и свободное. Это сочувствие – чистая и неотъемлемая заслуга, которую литературные предания должны сохранить. Когда Жуковский вышел из пансиона и был без средств и без особенной опоры, Антонский, так сказать, призрел его и приютил в двух ма-

леньких комнатках маленького принадлежащего университету домика в Газетном переулке. Жуковский всегда сохранял к нему сердечную признательность, приверженность и преданность.

Дмитриев любил Антонского, но любил и трунить над ним, очень застенчивым, так сказать, пугливым и вместе с тем легкосмышленным. Смущение и веселость попеременно выражались на лице его под шутками Дмитриева. «Признайтесь, любезнейший Антон Антонович, – говорил он ему однажды, – что ваш университет совершенно безжизненное тело: о движении его и догадываешься только, когда едешь по Моховой и видишь сквозь окна, как профессора и жены их переворачивают на солнце большие бутылки с наливками».

* * *

В одно из минувших царствований, некто (должно заметить, плотная и дородная личность) говорил: «Государь отменно благоволил ко мне. Вот еще на днях, на многолюдном бале, я имел счастье стоять близко позади его, он обернулся ко мне и изволил сказать: «От тебя пышет как от печки».

Другой перетолковал бы эти слова таким образом: здесь и так тесно и душно, а ты меня еще подпариваешь; нельзя ли сделать одолжение и убраться подальше? Но мой приятель имел способность смотреть на все с выгодной ему стороны. Он недели две развозил с самодовольством по городу слова,

сказанные государем.

Вообще он был благополучного сложения по плоти и по духу, в житейском и нравственном отношении. Комнаты его в Петербурге были на солнце, и, кажется, светило оно чаще на улице его, нежели на других. На улице его вечный праздник, в доме вечное торжество торжеств. На окнах стояли горшки с пышными, благоуханными цветами; на стенах висели клетки с разными птицами певчими; в комнатах раздавался бой стенных часов со звонкими курантами. Одним словом, все было у него светозарно, оглушительно, охмелительно. Сам, посреди этого сияния, этой роскошной растительности и певучести, выставлял он румяное, радостное лицо, лицо, расцветающее, как махровый красный пион, и заливающееся, как канарейка, пением. Мне всегда ужасно было завидно смотреть на праздничную обстановку.

Впрочем, мне никогда не случалось завидовать умным людям, зависть забирает меня только при виде счастливой глупости.

* * *

Знаменитый Неккер написал маленький трактат: *Le bonheur des sots* (Счастье глупцов). Другая знаменитость в своем роде, Копьев, перевел эту безделку на русский язык. Неизвестно, был ли перевод напечатан и сохранился ли в книжном мире.

* * *

Талейран сказал о ком-то: *Ce n'est pas un sot, c'est le sot*. Этот тонкий, но многозначительный оттенок, кажется, невозможно перевести по-русски. *Он не глупый человек, а глупец* – не вполне, так сказать, неосязательно выражает остроумное определение Талейрана. Неимение в нашем языке члена (l'article) тому причина.

* * *

Есть люди, которые переплывают жизнь; еще есть люди, которые просто в ней купаются. К этому разряду принадлежат преимущественно дураки. Одним приходится выбирать удобные места для плавания, бороться с волнами, бодро и ловко действовать мышцами. Другие сидят себе спокойно по уши в глупости своей. Им и горя нет: им всегда свежо.

* * *

В начале нынешнего столетия была в большом ходу и пелась в Москве песня, из которой помню только первый куплет:

Непостижимой силой
Я привержен к милой.
Господи помилуй
Ее и меня.

Ее приписывали одному важному духовному лицу. Сохранилась ли она где-нибудь? Вот вопрос, который часто задаешь по поводу литературных и поэтических преданий. Не думаю, чтобы наша литература была радикальная, но во всяком случае она не *консервативная*: она не сохраняет.

У французов не пропадает ни одного несколько замечательного и удачного четверостишия или двоестишия, писанного в минувшем столетии. У них, при разнообразии и богатстве во всех родах литературы, не пренебрегается и не затеряется и малейшая лепта. Несколько раз обрушались и менялись правления, законодательства, весь быт государственный и гражданский, но написанного пером у них, подлинно, не вырубешь и топором.

Нельзя не пожалеть у нас о многих литературных безделках старого времени, которые или пропали без вести, или остались сиротами, не помнящими родства, т. е. без указания, кто были родители их. Разумеется, литература наша, по существу, не могла бы в настоящее время щеголять этими самоцветными камнями в старой и несколько грубой оправе их; но все же имели бы они приличное место в семейных и наследственных *досканцах* любителей и почитателей старины.

В одних песнях (не говоря уже о простонародных) можно было бы отыскать много милого добра. Дмитриев издал, по возможности, если не полный (едва ли не в конце минувшего столетия), то с умением и разборчивым вкусом собранный любопытный Русский песенник. Дальнейшие подобные собрания были делом чистой спекуляции, и к тому же довольно невежественной. Многие ли знают теперь, и решительно никто уже не поет, прелестной песни князя Хованского, которого оплакивал Карамзин: «Друзья, Хованского не стало!» Вот эта песня:

Я вечер в лугах гуляла,
Грусть хотела разогнать,
И цветочков там искала,
Чтобы к милому послать.

Долго, долго я ходила.
Погасал уж солнца свет;
Все цветочки находила,
Одного лишь нет как нет.

И цветочка голубова
Я в долинах не нашла,
Без цветочка дорогова
Я домой было пошла.

Шла домой с душой унылой.
Недалеко от ручья

Вижу я цветочек милой,
Вмиг его я сорвала.

Незабудочку сорвала;
Слезы покатались вдруг.
Я вздохнула и сказала:
Не забудь меня, мой друг.

Тут и следовало бы кончить песню стихом, вырвавшимся из сердца и прекрасно и верно заключающим эту маленькую девическую драму. Но, к сожалению, автор прибавил следующий куплет:

Не дари меня ты золотом,
Подари лишь сам себя.
Что в подарке мне богатом?
Ты скажи: люблю тебя!

Все это лишнее. Подари лишь сам себя – как-то изысканно и вместе с тем пошло. *Златом* не соглашается с простой речью всей песни, хотя часто на простонародном языке нашем слышатся слова и выражения, которые, по правилам науки, относятся более к высокому слогу. Но за исключением последнего куплета, как много свежести и простосердечия в этой идиллии! Даже самая безыскусственность и, так сказать, *бесцеремонность* рифм здесь не только позволительны, но кстати придают прелесть рассказу. Более богатые и яркие

рифмы были бы неприятной разноголосицей.

В старину распевалась еще песня (помнится, какого-то Салтыкова); и по стихам, и по музыке, на которую они были положены, она имела большой успех.

Места тобой украшены,
Где дни я радостями считал,
Где взор тобой обвороженный
Мои все чувства услаждал,
В пустыню скоро обратятся
Веселья потеряв свои:
Веселья вслед тебя стремятся,
Они все спутники твои.

Далее не помню, но и в других куплетах встречались стихи сильно прочувствованные, просто и верно выраженные. Где эти песни, эти сердечные исповеди, в которых изливалось когда-то живое и глубокое чувство? Сердце вверяло им свое волнение, свою тоску, свои надежды, и сочувственное ему сердце откликалось на голос его. Неужели слезы, проливаемые в старину, были хуже тех, которые проливаются ныне, если еще кое-где проливаются они? Мы говорим о свободе своей, о разрешении мыслей и понятий от условных форм, которым подчинялись отцы наши; а сами мы – деспотические рабы новых форм, вне коих, по мнению нашему, нет ни удачи, ни спасения. Старая песня может сказать с поэтом:

Я на земле земное совершила:

Я на земле любила и жила.

* * *

Некоторые из наших журнальных корифеев как будто не догадываются, что могут быть умные консерваторы и глупые либералы. По их легкомыслию или, правильнее, тупоумию и пустоумию, все консерваторы люди пошлые, все либералы народ умный, бойкий и на все способный. И в этом отношении кто ни поп, тот и батька. У них и Вашингтон либерал, и Сен-Жюст либерал, и Мордвинов либерал, что не мешает быть либералами и Белинскому, и Герцену. Для многих из них, Полевой, например, выше Карамзина, потому что сей последний озаглавил творение свое: *История Государства Российского*, а тот *История Русского народа*, что гораздо либеральнее и, следовательно, умнее: государство отзывается старой школой. Государство – назад, народ – вперед!

* * *

Варшавские рассказы

Летом, в окрестностях Варшавы, молодые барыни катались на лодке по большому озеру. Лодка покачнулась, и дамы попадали в воду. Англичанин, влюбленный в одну из них, увидев беду, тотчас кинулся с берега в озеро, нырнул и вытащил барыню, но, заметив, что это была не возлюбленная его, бросил ее опять в воду и нырнул еще раз, чтобы спасти настоящую.

* * *

Старик К**, добросердечный и нежный муж, но слабопаятный отец, бывало, спрашивал жену свою: «Скажи мне, пожалуйста, моя милая, кто же отец нашего меньшого сына? Я никак припомнить не могу» А в другой раз: «У меня вовсе из памяти вышло, как зовут отца нашего второго сына», и т. д.

* * *

Когда маршал Даву командовал французскими войсками и проконсульствовал в Варшаве, он не раз требовал от городского начальства, чтобы в назначенном месте наведен был

мост через Вислу. То за одним, то за другим предложением все откладывали исполнение приказаний. Наконец маршал призвал к себе президента города и сказал ему: «Если послезавтра, в 12 часов пополудни, моста на Висле не будет, вы перейдете через нее, как она есть, на другой берег». Не слышно было, чтобы президент подверг себя простуде после такой прогулки.

* * *

На сейме, в царствование Станислава Понятовского, один нунций предложил собранию присудить начальнику почтового ведомства народную награду. «По какому поводу и за что?» – спросили разом несколько голосов. «А за то, – отвечал нунций, – что каждый, расширивший пределы государства, заслуживает благодарность сограждан: доньше от Варшавы до границы считалось столько-то миль; при новом управлении теперь взимают с нас прогонных денег на 20 миль более».

* * *

Некоторая местность Польского королевства была разоряема шайкой разбойников. Один польский помещик явился к полицейскому начальству и объявил, что он знает, где

разбойничий притон, и что если дадут ему несколько человек из военной силы, он берется переловить всех мошенников и представить их в Варшаву. Получив военную команду, отправился он с нею в один поветовый город прямо в здание главного присутственного места, приказал солдатам схватить и перевязать всех чиновников и с тем вместе послал рапорт по начальству с донесением, что переловил злоумышленников, которые грабили край, и ожидает дальнейших приказаний.

* * *

Еще одно последнее сказание о старой Польше. Кажется, в начале минувшего столетия, один из графов Потоцких, в видах патриотических и политических, переселился в Константинополь и обратился в магометанскую веру. Он совершенно отуречился, и все это в надежде снискать доверенность и уважение турецкого правительства и употребить их в пользу Польши, во вред России. Мысль об отступничестве между тем тревожила порой набожную совесть его. «Знаю, – говорил он в минуты смущения, – что Господь, по правосудию Своему, сошлет меня в ад за мой грех, но с другой стороны, я убежден, что, видя чистоту побуждений моих, Он, по беспристрастию Своему, и карая меня, не откажет мне в уважении Своем».

* * *

Повиновение закону и представителям его есть нравственно-политическое побуждение и чувство, а вовсе не порождение страха. Страх есть то же, что, по пословице, щука в море (хотя, кажется, в море щук не бывает, и рыба она речная и прудовая). Кто любит щуку, заводи ее в пруду своем, но знай, что она переглотает всех других рыб. Один страх, посаженный властью в сердце человека, также истребит в нем все другие благородные чувства.

* * *

NN говорил о ком-то: «Он не довольно умен, чтобы позволять себе делать глупости». О другом: «А этот не достаточно высоко поставлен, чтобы позволять себе подобные низости».

* * *

Пушкин спрашивал приехавшего в Москву старого товарища по Лицею про общего приятеля, а также сверстника-лицеиста, отличного мимика и художника по этой части: «А как он теперь лицедействует и что представляет?» – «Пе-

тербургское наводнение». — «И что же?» — «Довольно похоже», — отвечал тот. Пушкин очень забавлялся этим *довольно похоже*.

* * *

Кто-то говорил: ничего нет менее литературного, как многие из наших литераторов. Они, пожалуй, люди и дельные, т. е. деловые и ловкие, даже бойкие, но не литераторы в том смысле, который общепринят и узаконен образованными людьми.

Прослушав какое-то музыкальное произведение, чуть ли не Вагнера, Россини сказал: *Si c'était de la musique, ce serait bien mauvais* (если это была бы музыка, то это было бы очень плохо). И о многих письменных произведениях нашего времени можно сказать: будь это литература, то оно никуда не годится; но как оно не литература, то, может быть, оно в своем роде и недурно.

А что это за род, пока определить еще трудно. Люди пишут, следовательно, их читают; а если читают, то и следует, что люди хорошо делают, что пишут. Каков товар, таков и спрос; а каков спрос, таков и товар. Рыбак рыбака далеко в плёсе видит; а писатель читателя, и читатель писателя. Таким образом всем есть место под Божиим солнцем.

На французском языке есть очень удобное выражение, соответствующее слову литература и, так сказать, дополняющее

и выясняющее его: *Les belles lettres*. Само собою разумеется, что слова *литература* и *литератор* происходят от *литера*, т. е. азбучных знаков. Азбука все-таки есть начало всего. Но дело в том, что грамота грамоте рознь. Одной грамоты недостаточно. Нужно еще, чтобы грамота была изящная. *Les belles lettres* – прекрасные письма.

Что нужно автору? На этот вопрос чистосердечный ответ многих был бы следующий: чернила, перья, бумага и охота смертная писать. Карамзин на заданный себе вопрос: что нужно автору? – отвечал иначе. Он говорил, что *таланты и знание, острый, пронизательный ум, живое воображение* все еще недостаточны. Он требует еще, чтобы *душа могла возвыситься до страсти к добру, могла питать в себе святое, никакими сферами неограниченное желание всеобщего блага*. И мало ли что еще находит он нужным автору! Но все это было высказано еще в 1793 г., следовательно, в эпоху несовершеннолетия человеческого разума, когда он едва ли ползал еще на четвереньках, а теперь он не только вырос и на ногах стоит, но чуть ли не ходит на голове, как любой плясун на канате. Да к тому же Карамзин – известный *риторикан*. Смешно было бы, в наше время, с ним справляться.

* * *

Хвостов где-то сказал:

Зимой весну являет лето.

Вот календарная загадка! Впрочем, у доброго Хвостова такого рода диковинки были не аномалии, не уклонения, а совершенно нормальные и законные явления.

Совестно после Хвостова называть Державина, но и у него встречаешь поразительные недосмотры и недочеты. В прекрасной картине его:

На темно-голубом эфире
Златая плавала луна
В серебряной своей порфире.
Блистаючи с высот, она
Сквозь окна дом мой озаряла,
И палевым своим лучом
Златые окна рисовала
На лаковом полу моем.

К чему тут серебряная порфира на золотой луне? А в другом стихотворении его:

Из-за облак месяц красный
Встал и смотрится в реке.
Сквозь туман и *мрак ужасный*
Путник едет в челноке.

Здесь что-нибудь да лишнее: или месяц красный, или ужасный мрак.

* * *

Поэзия поэзией, а стихотворчество или стихотворение стихотворением. Истинный поэт в творчестве своем никогда не собьется с пути; но в стихотворческом ремесле поэт может иногда обмолвиться промахом пера. В эти промахи он незаметно для себя и невольно вовлекается самовластительными требованиями рифмы, стопосложения и других вещественных условий и принадлежностей стиха. Было же когда-то у Пушкина:

Мечты, мечты, где ваша сладость?
Где вечная к вам рифма младость?

А в превосходном своем *exegi monumentum* разве не сказал он: «Я памятник себе воздвиг *нерукотворный!*» А чем же писал он стихи свои, как не *рукою*? Статуя ваятеля, картина живописца так же рукотворны, как и написанная песнь поэта.

И. И. Дмитриев в милой песенке своей говорит:

Всех цветочков боле
Розу я люблю;
Ею только в поле
Взор свой веселю.

С каждым днем алее
Все как вновь цвела,
С каждым днем милее
Роза мне была.

Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе как нарочно
Привилась полынь.

Роза не увяла,
Тот же самый цвет;
Но не та уж стала:
Аромата нет.

Здесь следовало бы и кончить; но песельника соблазнил и попутал баснописец: он захотел вывести мораль, а тут и вышел забавный промах пера.

Хлоя, как ужасен
Этот нам урок!
Так, увы, опасен
Для красы порок.

Это неуместное и злосчастное *нам* причисляет, по грамматическому смыслу, самого Дмитриева к Хлоям и красавицам.

* * *

Капнист в одной песенке своей говорит:

Хоть хижина убога,
С тобой она мне храм;
Я в ней прошу от Бога
Здоровья только нам.

Нечеловеколюбиво и небратолюбиво это *только* перед словами *нам*. Это напоминает молитву эгоиста: «Господи, Ты ведаешь, что я никогда не утруждаю Тебя молитвою о ближнем: молю только о себе и уповаю, что Ты воздашь смирению моему и невмешательству в чужие дела».

Едва ли кто из поэтов древних и новых, русских или чужестранных, совершенно избежал подобных промахов, обмолвок, недосмотров, затмений. У кого их больше, у кого меньше.

* * *

Дмитриев рассказывал, что однажды допытывались от Хвостова объяснения и смысла одного стиха его. Он объяснял его и так и сяк; но на каждое объяснение следовало опровержение, которое уничтожало толкование. Наконец,

вышедши из терпения, сказал он с досадою: «Да отстаньте от меня; *c'est mon cheval de bataille*» (это мой боевой конь – французская поговорка, выражающая, что на эту вещь, на это мнение опираешься).

* * *

Было время, правда, давно, когда загадки, шарады, логогрифы служили игрушкою и забавою умнейших людей едва ли не умнейшего общества, в сравнении с другими обществами, как предыдущими, так и последовавшими. Они не пренебрегали этими гимнастическими *играми ума* (*jeux d'esprit*). Умные люди той эпохи, т. е. дореволюционной, во Франции и в других краях, не стыдились и поребачиться в часы отдыха от дела и от трудов, но зато ничего не было ребяческого в приемах, когда они брались за дело.

Философ, энциклопедист, великий математик, деятельный противник всех злоупотреблений, Даламберт не был равнодушен к этим забавам. Рассказывают, что на болезненном одре смерти разгадал он шараду, отысканную им во французском «Меркурии». Что ни говори, а в этой игре слов, как и в игре карточной, есть своя доля сметливости, соображения, а здесь и остроумия. Во всяком случае, как времяпрепровождение, одна игра другой стоит. Не понимаю, почему призадуматься над разгадкою логогрифа унизительнее для человеческого достоинства, чем задуматься над задачею:

с чего пойти, с десятки ли червей или с вала пик.

Французский язык очень удобен для подобного рассечения и растасовки слов: в нем почти каждое слово заключает в себе несколько слов, имеющих приблизительно, а нередко и положительно, свое, отдельное значение. Наши слова преимущественно составлены из слогов, которые ничего не выражают.

Одно общество, в подмосковной, во время первой московской холеры, собиралось по осенним и зимним вечерам. Для развлечения оно делало попытки над русскими словами и старалось вытянуть, выжать из них что только можно. Вот некоторые из этих попыток. Известно, что под логогрифом разумеется загадка, состоящая в слове, которого разбитые буквы, сложенные вместе, образуют другие, новые слова.

I.

Немного букв во мне: всего четыре.

Есть пятая, но здесь прихвостница она

И к делу вовсе не нужна.

А шумом я своим известен в Божьем мире,

И крепко спящего могу врасплох со сна

И разбудить, и напугать тревожно.

Во мне еще таится то, что сплошь,

Коли хватить его неосторожно,

До положенья риз мертвецким сном заснешь.

Крылова вспомнишь ли мой стих неугомонный?
На баснь прекрасную тебе я укажу.
Изволь разгадывать, читатель благосклонный!
А я уж от себя ни слова не скажу.

(Громъ: буква ъ, ром, Мор Зверей, басня Крылова).

II.

Взять целиком меня, я пишущая тварь,
Над ней комедия не раз смеялась встарь;
Но если на клочки меня вы разберете,
Вы многое еще легко во мне найдете.
Хотите ль утолить вы жажду в летний зной?
Пред вами протеку прохладною струей;
Но без меня ни пить, ни есть, ни врать не можно.
Исходит из меня, что правда и что ложно.
Я дую холодом, но дую и теплом;
С улыбкой, а равно с зевотой я знаком;
Целую, но подчас зубастый я кусака,
Не хуже, чем твоя задорная собака.
А часто, срам сказать, беззубый я слюняй;
То от меня несет – чин чина почитай –
Шампанским дорогим, то пошлою сивухой.
А как уж тошно мне, как захлебнуся мухой!
Где нет меня, там нет и солнца: тьма одна,
И ночи никогда не серебрит луна.

Без помощи моей, возьмете ль книгу в руки,
Не разберете вы, что аз, фита иль буки.
Когда кого-нибудь посадят на меня,
Тот корчится, свое седалище казня;
Но все же, как ни рвись, а с места он не встанет.
Мной узнаете вы, что хлеб или сахар тянет.
Я баснословное растение, чудный плод;
Когда поешь меня, то память отшибет.
А кто ж, хоть иногда, не рад и позабыться?
Библейскому лицу не кстати здесь явиться,
И только мы его помянем стороной.
Я штучным быть могу; а женский тезка мой
Такие хитрые выкидывает штуки,
Что соблазнит тебя и прибирает в руки.
Когда зима сойдет и скажешь ей: прощай!
Меня заботливо разворачивает май,
Но пасмурный ноябрь придет и обрывает.
Здесь пошлый враль меня бессовестно марает;
Там мною дорожат позднейшие века,
Как только гения на мне видна рука.
И наконец в моем отыщется составе
Вам имя близкое по всенародной славе:
Вы слушали его, иль слышали о нем,
И вот рисуется под новым образцом
Орфей, что не одну в Европе Эвредиду
Мелодией своей сбил просто с панталыку.

*(Протоколист: проток, рот, око, лот-вес, лот-растение
(lotus), Лот житель Содома, пол, комнатная настилка,*

женский пол, лист древесный, лист бумаги, Лист-музыкант).

Кто-то говорил, что скупость есть последняя страсть в человеке, которая все другие переживает, когда она в нем была зарождена. Оно и понятно. Другие страсти с годами от нас отказываются, или мы, волею или неволею, от них отказываемся. Скупость есть страсть такого свойства, что и юноша, и старик, бедный и богатый, женщина или мужчина, могут бесконечно предаваться ей, развивать ее, лелеять, раздувать до исступления, часто до зверства. Но и скупость имеет свои исключения и так сказать причуды. Есть тому примеры.

Живо памятная петербургскому обществу своим избранным салоном, своею любовью к искусствам, к литературе, даже к русской, NN. слыла вообще очень скупой. Пожалуй, и так. Но нам, например, положительно известно, что по ходатайству Жуковского за несчастного чиновника, который растратил десять тысяч рублей из казенных денег, она тут же выдала ломбардный билет в означенную сумму. Можно сказать, что, при расположении к скупости, подобные благотворительные деяния возвышаются двойною ценой и достигают почти героических размеров.

А вот еще трогательное свидетельство смягчившейся и умилившейся скупости.

Княгиня Татьяна Васильевна Юсупова также далеко не слыла расточительницей. Вот черта ее, переданная мне невесткою ее, Татьяной Борисовной Потемкиной. По известному скопидомству своему, княгиня очень редко возобнов-

ляла свои туалетные запасы. Она долго носила одно и то же платье, почти до совершенного износа. Однажды, уже под старость, пришла ей в голову следующая мысль: «Да, если мне держаться такого порядка, то женской прислуге моей немного пожитков останется по смерти моей». И с самого этого часа произошел неожиданный и крутой переворот в ее туалетных привычках. Она часто заказывала и надевала новые платья, из материй на выбор и дорогих. Все домашние и знакомые ее дивились этой перемене, поздравляли ее с щегольством ее и с тем, что она как будто помолодела. «Вы, которые знаете загадку этой перемены, – говаривала она невестке своей, – вы поймете, на какую мысль наводят меня эти поздравления». И в самом деле, она, так сказать, наряжалась к смерти и хотела в пользу прислуги своей пополнить и обогатить свое духовное завещание.

Однажды m-elle Noiseville (Нуазевиль), воспитательница княжон Голицыных, к которым принадлежала и Татьяна Борисовна Потемкина, говорит княгине Юсуповой о затруднении своем приискать несколько тысяч рублей, необходимых для приятеля ее Vaudreuil (Водрель; вероятно, бывший французский эмигрант), который пропадет, если не добудет этих денег. Вскоре потом г-н Водрель получает, неизвестно откуда, неизвестно от кого, спасительное для него пособие. Позднее узнали, что деньги высланы были княгиней Юсуповой.

Все это было рассказано мне в Гостилицах, поместье, по-

даренном императрицею Елисаветой графу Разумовскому. Впоследствии было оно куплено за 900 000 рублей Потемкиным, но не Таврическим.

При последнем графе Разумовском, кажется, Петре Кирилловиче, крестьяне, выведенные из терпения худым и притеснительным управлением приказчика, вышли из повиновения и, как говорится, взбунтовались. По этому делу шестьдесят из них сосланы были в Сибирь. По переходе имения к Потемкиным, Татьяна Борисовна много ходатайствовала и хлопотала о возвращении их на родину. Со стороны министерства были к тому препятствия. Но, по личной просьбе помещицы, император Николай приказал водворить сосланных на прежнее место жительства. Это переселение не обошлось, кажется, без некоторых драматических столкновений. Долговременное отсутствие мужей и непредвидимое появление их к домашнему очагу расстраивает иногда семейную обстановку жен, покорившихся условиям невольного вдовства своего. По словам Татьяны Борисовны, особенно одна из крестьянок, которая не последовала за мужем своим в Сибирь и голосистее других оплакивала свое расставание с ним, ныне вовсе не рада возвращению его. Брачная эта реставрация ежедневно празднуется домашними ссорами и драками. В прочем бывшие сосланные ведут себя исправно и тихо.

При новой помещице, еще при императоре Александре, заведена была в Гостилицах Ланкастерская школа. Смотри-

телем над нею был назначен крепостной человек, также вышедший из острога, куда посажен он был – вероятно, во времена Фотия и Шишкова – по обвинению в каком-то евангельском сообществе. Чего не бывает на Руси? Потемкина добилась освобождения этого человека из тюрьмы, выкупила его у прежнего помещика и либерально произвела бывшего арестанта в учителя и надзирателя Ланкастерской школы.

Во время посещения императором Николаем поместья Гостилиц, Т. Б. Потемкина спросила государя, не смотрит ли он неодобрительно на существование в селе ее Ланкастерской школы. Известно, что в последние годы прежнего царствования эти школы подвергались строгим правительственным мерам. «Нисколько, – отвечал император Николай, – и мне жаль, что вы можете быть обо мне такого худого мнения».

В Гостилицах был священник, которого Потемкина очень уважала. Выпросив у государя позволение представить пастыря его величеству, на что изъявлено было согласие, она предупредила о том священника. Он, с радости или со страха, чересчур *подкуражил* себя и предстал пред царские очи не совсем натошак. Князь А. Н. Голицын, который был свидетелем этой сцены, очень забавлялся ею и долго трунил над приятельницей своей Потемкиной за неудачное представление ее.

Потемкина была вообще, очень может быть, слишком доступна ко всем искательствам и просьбам меньшей братии,

да и средней, особенно духовного звания. Она никому не отказывала в посредничестве и ходатайстве своем; неутомимо, без оглядки и смело обращалась она ко всем предержавшим властям и щедро передавала им памятные и докладные записки. Несколько подобных записок вручила она и покойному митрополиту ***. Однажды была она у него в гостях; в разговоре, между прочим, сказал он ей: «А вы, матушка Татьяна Борисовна, не извольте беспокоиться о просьбах, что вы мне дали: они все порешены». – «Не знаю, как и благодарить ваше высокопреосвященство за милостивое внимание ваше». – «Благодарить нечего, – продолжал он, – всем отказано».

* * *

Когда журналист *** оскорбил в журнале своем старика князя Ю..... кто-то сказал: «Того и смотри, что он велит прислуге своей расправиться с ним; это будет совершенно по-европейски и по-азиатски». За европейскими примерами дело не станет: молодой Вольтер был же, в подобном случае, побит лакеями Шевалье-де-Рогана и посажен еще в Бастилию за полученные побои.

Повиновение не внушается разом; не нужно пояснять, что мы говорим о законном повиновении пред законом. Нужно заблаговременно, постепенно и постоянно, возвращать и развивать его в понятиях, нравах и привычках народа. Это своего рода нравственное образование. Вот отчего внутреннее устройство Англии так сильно и благонадежно.

Стотысячные прогулки народа по лондонским улицам, с развевающимися хоругвями протеста в руках против того или другого политического положения или с требованием такого или другого изменения в существующем порядке, совершаются почти мирно и не угрожают обществу волнением и бедствием, перейдя границы дозволенного; стоит только констеблям выставить на вид свои *жезлики*, и протестующее возмущение расходится, и город приходит в свой прежний и обыкновенный порядок.

Не все города и не все народонаселения способны выдерживать подобные болезненные припадки и пароксизмы. Тут надобно иметь крепкую конституцию не только на бумаге, но и личную, внутренне-нравственную конституцию, что гораздо благонадежнее и вернее. В Париже, например, подобная уличная прогулка, вдвое, втрое малочисленнее, не раз бурным потоком своим увлекала, ниспровергала целые династии и затопляла общество и весь государственный строй.

Мне часто приходило на ум написать свою «Россияду», не героическую, не в подрыв Херасковской, «не попранную власть татар и гордость низложенну», Боже упаси, а Россияду домашнюю, обиходную, сборник, энциклопедический словарь всех возможных *русицизмов*, не только словесных, но и умственных и нравных, то есть относящихся к нравам; одним словом, собрать, по возможности, все, что удобно производит исключительно русская почва, как была она подготовлена и разработана временем, историей, обычаями, поверьями и нравами исключительно русскими.

В этот сборник вошли бы все поговорки, пословицы, туземные черты, анекдоты, изречения, опять-таки исключительно русские, не поддельные, не заимствованные, не благо- или злоприобретенные, а родовые, почвенные и невозможные ни на какой другой почве, кроме нашей. Тут так бы Русью и пахло, хоть до угара и до ошибка, хоть до выноса всех святых! Много нашлось бы материалов для подобной кормчей книги, для подобного зеркала, в котором отразились бы русский склад, русская жизнь до хряща, до подноготной. А у нас нет пока порядочного словаря и русских анекдотов.

Вот, например, несколько пробных наметок, которые вошли бы в состав нашей «Россияды». Пословицы: «Хоть не рад, да будь готов». – «Без вины виноват». – «Все Божие да государево». – «Казенное на воде не тонет и в огне не горит». В этих пословицах, в этих заветах народной мудрости, мало либеральности, мало *гуманности*, еще менее пресловутого

self-gouvernement. Но дело в том, что старая Русь не заботилась о том и в том не нуждалась. Под влиянием силы вещей и какого-то внутреннего голоса она чувствовала потаенную потребность сложиться, окрепнуть: безропотно, без отвлеченных умствований она поддавалась опеке власти, и может быть, и даже вероятно, благодаря этой опеке, разрослась она и возмужала. Всему есть свое время.

А «недосол на столе, пересол на спине!» В этой поваренной поговорке слышна и гастрономическая истина, и чисто практическая истина, выражающая русское крепостное состояние. *Je ne sais si le cuisinier est bon, mais je sais qu'il est mon* (Я не знаю, хорош ли повар; но знаю, что он мой), – говорил один провинциальный хлебосол и душевладелец на своем нижегородском французском языке. У нас есть старинная поговорка: «щей горшок да сам большой». Осмеливаемся думать, что это несколько искаженная редакция. Не правильнее и не скорее ли: шей горшок да самый большой?

Далее. Вскоре после бедственного пожара в балагане на Адмиралтейской площади в 1838 году кто-то сказал: «Слышно, что при этом несчастье довольно много народа сгорело». – «Чего много народа, – вмешался в разговор департаментский чиновник, – даже сгорел чиновник шестого класса».

Сюда просится иностранная шутка, но выросшая на русской почве. Лорд Ярмут был в Петербурге в начале двадцатых годов; говоря о приятностях петербургского пребывания

своего, замечал он, что часто бывал у любезной дамы шестого класса, которая жила в шестнадцатой линии.

А вот, кстати, и характеристическая английская черта. Известно, как англичане дома с чопорною строгостью соблюдают светский этикет и по туалетной части. На твердой земле они любят *эмансипировать* себя. Умный и образованный лорд Ярмут, в Москве, на большой бал к Екатерине Владимировне Апраксиной явился в цветном галстуке.

* * *

В Варшаву прибыл зверинец с разными дикими и заморскими зверями. Большое раскрашенное полотно с изображением животных красовалось на стене балагана. Народ, ротозеи, толпились пред ним. Счастливые, имевшие злотый в кармане, получали билет и входили в балаган. Неимущие ротозеи посматривали на них с завистью. В числе последних был и русский солдат.

Он с отменным любопытством рассматривал живописную вывеску и в то же время грустно косился на конторку, в которой продавались билеты, и на дверь, в которую пропускались покупатели. В нем разыгрывалась целая внутренняя драма. Наконец смелым движением бросился он к сидельцу при кассе и повелительным голосом спросил его: что, это казенные звери, что ли? На лице его так и выразалось сознание, что если получит он в ответ: *казенные*, то и он, как че-

ловек казенный, имеет полное право, во имя всероссийского оружия, победоносно ворваться в желанный зверинец. В выражении этого лица был полный *натурный этюд* для живописца, физиолога, психолога, а особенно руссолога.

Здесь же в Варшаве, не помнится, по какому именно случаю, сделано было распоряжение великим князем Константином Павловичем, чтобы в такой-то день на службу в дворцовую русскую церковь были допускаемы одни русские и православные, за решительным исключением должностных и чиновных поляков, которые обыкновенно бывали по праздникам при богослужении. Наблюдение за этим порядком было поручено генералу В. Он стал в дверях и для безошибочного исполнения возложенной на него обязанности начал следующим образом допрашивать каждое сомнительное лицо: Позвольте мне спросить вас: вы не русский? – Нет. – Вы не православного вероисповедания? – Нет. – Стало быть, вы поляк? – Да. – Стало быть, вы католик? – Да. – Ну так пошел же вон!

В отсутствие князя Паскевича из Варшавы умер в ней какой-то генерал, и князь был недоволен распоряжениями, сделанными при погребении. Он сделал за то выговор варшавскому генерал-губернатору, который временно замещал его. Не желая подвергнуть себя новой неприятности, осторожный и предусмотрительный генерал-губернатор пишет однажды князю Паскевичу, также тогда отсутствующему: «Долгом считаю испросить разрешения вашей светлости,

как, на случай смерти Жабоклицкого (одного из чинов польского двора), прикажете вы хоронить его?» Жабоклицкий в то время вовсе не был болен, а только стар и замечательно худощав.

* * *

Итальянец Тончи, живописец, особенно известный портретом Державина, был еще замечательный поэт и философ. Философическое учение его заключалось в том, что все в жизни и в мире призрачно, что ничего нет положительно-го и существенно-действительного. По системе его, человек не что иное, как тень, как призрак, которому все что-то грезится и мерещится; одним словом, он преподавал, что все, что есть, – не что иное, как ничего. С итальянскою живостью своею, поэтическим настроением и особенным даром слова, излагал и развивал он свое учение довольно увлекательно, и во всяком случае занимательно. Были у него и адепты, между прочими, помнится, генерал Саблуков, а положительно и Алексей Михайлович Пушкин. Он говаривал на своем смелом языке, что система его сближает человека с Создателем с глазу на глаз (*nez a nez avec Dieu*).

Разумеется, эти мнимая жизнь, мнимая радость, мнимое страдание, все это вечно кажущееся относительно всего и всех давало повод к различным шуткам со стороны неверовавших. Об этом и шла речь в одном петербургском салоне.

Кто-то из дипломатов заметил, что хорошо бы, если во время преподавания системы своей философом кто-нибудь порядком ущипнул бы его или впустил иголку в икры ему. – Да, – подхватил тут один из собеседников (довольно крупная личность из русского чиновничества), – любопытно было бы проверить, что скажет Тончи, если вклеить ему пятьсот палок.

Вот дело так дело! Это чисто по-русски: аргумент прямо *ad hominem*. Мелкопоместный, мелкотравчатый дипломат думает, что достаточно пощипать и уколоть допрашиваемое лицо. Нашему брату это кажется смешно и даже малодушно. Большому кораблю большое и плавание. Богатырю Илье Муромцу дай в руку палицу, или по крайней мере дубинку батюшки Петра Алексеевича, а не булавку. Булавкой незачем и руку себе марать.

Вот пока что пришло мне на память из материалов, которыми хотел я соорудить свою Россияду. Это только закладка здания. Может быть, со временем выведу еще кое-что. Во всяком случае предоставляю усердным зодчим и этнографам докончить начатое мною; за собою оставляю одну честь почина.

А, мимоходом будь сказано, не мало починов моих даром пропало, то есть в отношении ко мне. Кое-какие изделия и товары мои пошли в потребление и в расход под чужими фирмами. Бог даст, когда-нибудь соберусь с духом и силами и выведу на чистую воду расчеты мои и укажу на должников

своих, которые даже не признают меня заимодавцем своим, хотя поживились моими грошами.

Мы упомянули о портрете Державина, писанном Тончи. Известно, что поэт изображен в зимней картине: он в шубе, и меховая шапка на голове. На вопрос Державина Дмитриеву, что он думает об этой картине, тот отвечал ему: «Думаю, что вы в дороге, зимою, и ожидаете у станции, когда запрягут лошадей в вашу кибитку».

* * *

Поэт Милонов подражал Горацию и, за неимением фалернского вина его, переводил и римское вино на русские нравы или русский хмель. Бросить ли в него камень за эту слабость? Кто же молод не бывал? К тому же в его время не заводили еще обществ трезвости, да и едва ли такие общества завербуют много поэтов: поэты боятся провиниться водяными стихами, а потому любят вспрыскивать их вином. Право и по совести, не в укор будь сказано, а мы можем насчитывать у себя несколько поэтов, которые писали под двойным упоением Аполлона и Вакха.

Милонов имел блестящее начало в жизни своей. Он вышел одним из отличных воспитанников благородного Московского пансиона, состоящего при университете. Этот пансион был долго рассадником многих дарований, по разным отраслям общественного преуспеяния. Жаль, что у нас

нередко уничтожаются хорошие и полезные заведения, в надежде заменить их лучшими. Но такие надежды не всегда сбываются. Милонов рано обратил общее внимание на свои поэтические опыты. К сожалению, впоследствии времени, эти удачные опыты недостаточно разрастались и созрели. Что виною тому: свойство ли таланта его или обстоятельства? Решить трудно. Фактура стиха его была всегда правильна и художественна, язык всегда изящный. Но, кажется, в Милонове было мало поэтического увлечения, мало *de diable au corps* (неистовства), как говорил Вольтер; не доставало и творчества. Но стихотворец был он замечательный, особенно в сатирическом роде.

В одной из сатир своих задел он зло миролюбивого и простодушного Василия Львовича Пушкина. Ошеломленный неожиданным нападением и чувствительно уязвленный, он долго не мог опомниться, сетовал на человеческую неблагодарность и жалобно говорил: «Да что же я ему сделал худого? Не позже как на той неделе Милонов вечером пил у меня чай. Никак не мог я подозревать в нем такого коварства».

Не знаем за что, но Милонов не любил и Козодавлева, министра внутренних дел, и задевал его в переводах своих из классических поэтов, в лице Рубеллия.

Дашков, бывший некогда сослуживцем его в министерстве Дмитриева, не любил Милонова. Жития строгого и характера несколько непреклонного, Дашков не мог мирволить с обычаями, частью распущенными, бывшего сослуживца

своего. Он даже сердился на приятелей своих, которые менее взыскательно оставались с ним в прежних отношениях. Есть напечатанное послание Воейкова к Дашкову; тут находятся сильные стихи против Милонова, едва ли не самые укорительные и беспощадные из всех, вылившихся после из пера автора *Дома Сумасшедших*.

В какой-то торжественный день Петербург был вечером освещен праздничными огнями. Проходя мимо памятника Петра Великого, остававшегося во тьме, Милонов воскликнул:

Нет благодарности в Россиянах ни крошки:
Петр стоит алтарей, а нет пред ним и плошки.

Дмитриев, как известно, не только отличал, ободрял молодые дарования, но, когда мог, старался и давать им ход. В течение министерства своего, он многих из них призрел и зачислил по ведомству своему. Он говаривал, что во всяком случае они грамотней других и могут правильнее написать деловую бумагу. Литератор так уживался в нем с министром, что он назначил Кокошкина на должность губернского прокурора в Москву, преимущественно потому, что переводчик «Мизантропа», передавши верно и хорошо характер Альцеста, должен быть и сам человек добросовестный и правдивый. Подобное соображение, подобный взгляд, не общепринятые в министерских нравах и обычаях, достойны, что ни

говори, почетного упоминания; но дружба дружбою, а служба службою. Нередко и министр одолевал литератора. Последний был всегда внимателен и доброжелателен. Первый часто строг, взыскателен и сух.

Милонов был однажды дежурным при нем и, следовательно, должен был, как часовой, пробыть на месте свои срочные часы. В этот день Дмитриев отправился гулять пешком по городу. Где-то на перекрестке встречает он Милонова. Весь служебный педантизм его поражен был таким уклонением от чиновнического порядка. Он приказывает ему следовать за ним. Милонов пошел рядом. «Я сказал вам, – говорит Дмитриев, – идти за мною, а не со мною».

В первых годах своей стихотворческой деятельности, Милонов перевел очень удачно одну из од Горация. За этот перевод был он приветствован следующими стихами (это листок из современной литературной эпохи, помнится, 1811 года):

Тогда, как уши нам терзают
Несносны крики сов, гагар,
И Музы в наши дни страдают,
Как предки наши от Татар;
Когда Хвостов, Анастасевич,
Захаров, Шаховской, Станевич,
И вся Батыева орда
Выходит на Парнас войною, –
Ты, в эти темные года,

Друг вдохновенья и труда,
С своею лирой золотою
И юной Музою вдвоем,
Невежд рой дикий оставляешь
И славу по пути встречаешь,
С которой мало кто знаком.
Будь верен службе Муз и Граций,
Будь их возлюбленным жрецом,
И пусть наставник твой Гораций
С тобой поделится венком.

* * *

Добрый адмирал Рйкорд, завидев однажды на Невском проспекте NN., начал издалека кричать ему: «Спасибо, большое спасибо за славную статью вашу, которую сейчас прочел я в журнале: нечего сказать, мастерски написана! Но признать надо, славная статья и этой бестии...» Есть же люди, которые странным образом умеют приправлять похвалы свои.

Вот еще пример подобного нелицеприятия и вместе с тем образчик наших литературных нравов. Один известный литературный деятель и делец говорил Ивану Ивановичу Дмитриеву о своем приятеле и сотруднике: «Вы, ваше высокопревосходительство, не судите о нем по некоторым выходкам его; он, спора нет, часто негодяй и подлец, но он доб-

рейшая душа. Конечно, никому не посоветую класть палец в рот ему, непременно укусит; не дорого возьмет он, чтобы при случае предать и продать тебя: такая уж у него и натура. Но со всем тем он прекрасный человек, и нельзя не любить его». В продолжении вечера, он не раз принимался таким образом обрисовывать и честить приятеля своего.

Тот же о том же сказал: «Утверждать, что он служит в тайной полиции, сущая клевета! Никогда этого не было. Правда, что он просился в нее, но ему было в том отказано».

* * *

Старик Сумароков сказал: «В прекрасной быть должна прекрасная душа». Этот хороший стих относится к Елисавете Васильевне Херасковой, супруге известного поэта. А вот и остроумный стих его, из эпиграммы на Клавику, *которая и в старости все еще хотела слыть красавицею*: «И Новгород уж стар, а Новгород слывет».

При подражании приемам западной, так называемой классической литературы, личная своеобразность Сумарокова часто пробивается. В нем бьет русская струя. В этом отношении он если не выше, то живее Ломоносова. В стихах нередко, в прозе почти всегда он оригинален; часто он не пишет, не сочиняет, а говорит. Оригинальность, свое произношение, свой выговор, свой запев (intonation) – свойства у нас редкие: ими должно дорожить. Необходимо *реставрировать*

Сумарокова, выбрать из него два, три тома прозы и стихов, преимущественно прозы. Но это дело не книгопродавческой спекуляции, а дело русской Академии, или Московского общества любителей словесности.

Вот четверостишие, хотя позднейшего производства, но напоминающее эпиграмму Сумарокова, о которой выше упомянуто:

Она – прекрасная минувших дней медаль.
Довольно б, кажется, с нее и славы этой;
Но ей на старости проказ сердечных жаль,
И хочется быть вновь ходячею монетой.

* * *

В чернилах есть хмель, зарождающий запой. Сколько людей, если бы не вкусили этого зелья, оставались бы на всю жизнь порядочными личностями! Но от первого глотка зашумело у них в голове, и пошло писать! И пьяному чернилами море по колено. А на деле выходит, что и малая толика здравого смысла, данная человеку, захлебывается и утопает в чернильнице.

Одно из удачнейших слов Талейрана, который мастер был этого дела, есть следующее. Когда Наполеон произвел статс-секретаря своего Маре (Maret) в герцога Бассанского (due de

Bassano), Талейран заметил: «Теперь есть во Франции человек, который глупее Маре; а именно герцог Бассанский».

То же можно сказать о некоторых наших литературных псевдонимах. На лицо они глупы, под загадкой еще глупее. И охота многим из них прятаться под маскою! И в полнолунии лица своего, и в полном азбучном облачении имени своего они все-таки остаются неизвестными, благородными инкогнито. Они родились спрятанными.

* * *

Императрица Екатерина II строго преследовала так называемые *азартные игры* (как будто не все картежные игры более или менее азартны?). Дошло до сведения ее, что один из приближенных ко двору, а именно Левашев, ведет сильную азартную игру. Однажды говорит она ему с выражением неудовольствия: «А вы все-таки продолжаете играть!» – «Виноват, ваше величество: играю иногда и в коммерческие игры». Ловкий и двусмысленный ответ обезоружил гнев императрицы. Она улыбнулась: тем дело и кончилось.

* * *

Мы заметили, что всякая игра более или менее азартна, т. е. более или менее подвержена случайности. Трудно даже в

точности определить, какая игра азартная, какая нет. Обычно называют азартными играми игры бескозырные. И то не верно: в пикете нет козыря, а пикет считается коммерческой игрою. В *экарте* есть козырь, а эта игра признается азартною и запрещена. Пожалуй, так называемые коммерческие игры еще иногда опаснее неопытным новичкам: против них могут действовать умение противника и случайность в сдаче ему хороших карт, не говоря уже о некоторых соображениях, при которых хорошие карты непременно очутятся в руках его.

В старое время общепринятая игра была *бостон*. Кто-то сказал, что в ней неминуемо имеешь дело с двумя неприятелями и одним предателем, который идет тебе в вист. Всякая игра бой: умение умением, но есть и доля счастья и несчастья, то есть случайности, следовательно – *азарта*. Вообще игра, может быть, и зло, но зло неизбежное и законами неуловимое. Можно проиграть в фараон сто рублей и даже пять, в вист можно проигрывать десятки тысяч рублей в каждый вечер. Едва ли еще не благоразумнее допустить публичные азартные игры под строгим и добросовестным наблюдением полиции и при некоторых сберегательных и ограничивающих условиях: таким образом скорее будут и волки сыты, и овцы целы, нередко вплоть остриженные (это так), но по крайней мере шкура их будет удобнее спасена, нежели в потаенных игрецких трущобах. Есть люди predetermined роковою силою неминуемому проигрышу. Американец Тол-

стой говорил об одном из таких обреченных, что, начини он играть в карты сам с собою, то и тут найдет средство проиграться.

Один беспристрастный и нелицеприятный сын рассказал мне, как покойный отец его, в конце прошлого столетия, выиграл у приятеля своего двадцать тысяч рублей – на клюкве. Вот как это происходило. Он предложил добродушному приятелю своему угадывать, в которой руке его цельная клюковка, в которой раздавленная. Разумеется, заклад был определен в известную сумму. Игра продолжалась около двух часов. Нужно ли добавить для простодушного читателя, что вызванный на игру окончательно назначал всегда невпопад? Что же после, не приписать ли и клюкву к азартным играм? Закон упустил это из виду.

* * *

Бедную старушку больно приколотили. Приколотивший ее был присужден заплатить ей 25 рублей за побои и бесчестье. Она любила припоминать и рассказывать этот случай, рассказ же свой заключала всегда следующими словами, которые произносила с умилением и с крестным знамением: «Вот как не угадаешь, с какой стороны взыщет тебя Божье милосердие».

* * *

В 1806 или 1807 году один из известнейших московских книгопродавцев рассказывал следующее приходящим в лавку его: «Ну, уж надо признаться, вспылчив автор такой-то. Вот что со мною было. Приходит он на днях ко мне и, ни с того, ни с другого, начинает меня позорить и ругать; я молчу и смотрю что будет. Наругавшись вдоволь, кинулся он на меня и стал тузить и таскать за бороду. Я все молчу и смотрю что будет. Наконец плюнул он на меня и вышел из лавки, не объяснив в чем дело. Я все молчу и жду, не воротится ли он для объяснения. Нет, не возвратился: так и остался я ни при чем!»

* * *

Отцу Алексея Михайловича Пушкина, пострадавшему в царствование Екатерины II, кто-то, кажется какой-то князь Волконский, сказал: «Не понимаю, почему так много говорят о книге Гельвеция *de l'esprit*; я прочел ее от доски до доски и ничего особенного в ней не нашел». – «Верю, – отвечал Пушкин, – но тут, может быть, не один Гельвеций виноват».

* * *

Во время маневров император Александр Павлович посылает одного из флигель-адъютантов своих с приказанием в какой-то отряд. Спустя несколько времени государь видит, что отряд делает движение, совершенно несогласное с данным приказанием. Он спрашивает флигель-адъютанта: «Что вы от меня передали?» Выходит, что приказание передано было совершенно навыворот. «Впрочем, – сказал государь, пожимая плечами, – и я дурак, что вас послал».

* * *

На Каменном острове Александр Павлович заметил на дереве лимон необычайной величины. Он приказал принести его к нему, как скоро он спадет с дерева. Разумеется, по излишнему усердию приставили к нему особый надзор, и наблюдение за лимоном перешло на долю и на ответственность дежурному офицеру при карауле. Нечего и говорить, что государь ничего не знал об устройстве этого обсервационного отряда.

Наконец роковой час пробил: лимон свалился. Приносят его к дежурному офицеру. Это было далеко за полночь. Офицер, верный долгу и присяге своей, идет прямо в комнаты го-

сударя. Государь уже почивал в постели своей. Офицер приказывает камердинеру разбудить его. Офицера призывают в спальню.

«Что случилось? – спрашивает государь. – Не пожар ли?» – «Нет, благодаря Бога, о пожаре ничего не слыхать. А я принес вашему величеству лимон». – «Какой лимон?» – «Да тот, за которым ваше величество повелели иметь особое и строжайшее наблюдение». Тут государь вспомнил и понял, в чем дело.

Александр Павлович был отменно вежлив, но вместе с тем иногда очень нетерпелив и вспыльчив. Можно предположить, как он спросонья отблагодарил усердного офицера, который долго после того известен был между товарищами под прозвищем Лимон.

* * *

В Варшаве рассказывали, что в одном сражении польский офицер (не припомню имени его) был на ординарцах у Наполеона I. Он посылает его с приказанием к начальнику отдельного корпуса, стоящего в стороне. Офицер пришпорил лошадь свою и поскакал; но, отъехав несколько сажений, возвращается он к императору и спрашивает: «А где найти мне ваше величество, когда исполню поручение?» – «Хоть ростом я и невелик, – отвечал Наполеон, улыбаясь, – но все-таки вы, вероятно, отыщете меня. Поезжайте только скорее».

Другой случай. Императрица Жозефина подарила часы также одному из польских офицеров, находившемуся при особе Наполеона. После расторжения брака с Жозефиной Наполеон вспомнил про эти часы и спросил офицера, сохранил ли он подарок императрицы. «Нет, ваше величество, – отвечал он. – *Son heure a sonne* (час ее пробил)».

С той самой поры офицер перестал пользоваться прежним благоволением Наполеона.

* * *

Во время парада на Саксонской площади великий князь Константин Павлович подзывает польского генерала, известного стихотворца, и, показывая на выстроившийся полк, говорит ему: «Что вы на это скажете? Это получше ваших стихов!» – «*Sans aucun doute, monseigneur, mais aussi ce sont des vers Alexandrine*, т. е. нет сомнения, ваше высочество, но зато они и Александрийские стихи (шестистопные).

Кажется, незачем добавлять, что это было сказано в царствование Александра Павловича.

* * *

Байков, лицо, известное в Варшаве, был в начале столетия причислен к неудавшемуся, или не дошедшему до ме-

ста назначения своего, посольству графа Головкина в Китай. Перед тем состоял он на службе при посольстве графа Маркова в Париже. Позднее был он главным чиновником, если не совершенно правителем дел, в канцелярии Новосильцева в Варшаве. В этой должности и умер он скоропостижно в карете, недалеко от Вильны, когда он, помнится, ехал в загородный дом к невесте своей. Мицкевич, в сатирической драме по поводу Виленско-университетских дел, не упустил случая нарисовать и его портрет. По моему убеждению, Байков много вредил Новосильцеву; с этой точки зрения, постараюсь и я в нескольких чертах определить эту личность.

Он был человек способный, особенно сметливый, вообще умный, очень занимательный и забавный в разговоре. Нельзя назвать его добрым человеком, но нельзя назвать и злым. Он был добр равнодушно, зол не всегда неумышленно. Когда поживешь на свете и долго потрешься около людей, бываешь рад и человеку, который не постоянно готов напако- стить ближнему из одной чистой любви к искусству пако- стить, а пускается на эту охоту только в известных случаях и по особенно-личным обстоятельствам. От первых никуда не уйдешь: они везде отыщут тебя, как охотник отыскивает зверя. В отношении к другим стоит только не выбегать к ним навстречу и посторониться с дороги их, когда они неуклон- ным и беспрепятственным шагом идут к цели своей.

В обращении своем Байков был несколько наступателен и дерзок. С ним, то есть против него, должно было всегда дер-

жаться в позиции оборонительной. Горе тому, кто захотел бы завести с ним равные и братские сношения: простодушный и несчастный Авель сделался бы неминуемо жертвою Каина. Каин уничтожил бы, задушил бы его своею властолюбивою натурою. Он не был ни любим, ни уважаем в варшавском обществе, ни в польском, ни в русском кругу. А что всего хуже и прискорбнее, это нерасположение к нему скоро отозвалось на самом Новосильцеве.

Новосильцев любил его, т. е. он забавлял Новосильцева; вследствие того он баловал Байкова и давал ему волю. Новосильцев был отменно мягкого характера; им легко было овладеть. Байкову не нужно было прибегать для достижения этой цели к изысканным ухищрениям и тактическим обходам. Он отчасти владел Новосильцевым, потому что был налицо. Можно сказать, что он им владел силой какого-то *пассивного магнетизма*, не давая себе труда и магнетизировать его.

Байков был сам природы довольно беззаботной, тучной и ленивой, даже сонливой. Он нередко засыпал на людях, в салонах и в театре, где иногда, спросонья, обращался на сцену к актерам и особенно к актрисам с шуткою не всегда приличною. Резкие, высокомерные замашки его, может быть, ему и прирожденные, вероятно еще более развились в дипломатической школе графа Маркова, который также некогда славился своим бритвенным языком и обращением часто до заносчивости невежливым. Как бы то ни было, но подобное

обращение не могло нравиться тогдашнему аристократическому варшавскому обществу.

Поляки считали Байкова недостаточно благовоспитанным и от него уклонялись, хотя по официальному положению его и не могли совершенно чуждаться его. Что ни говори о политической несостоятельности поляков и вследствие того и некоторых нравственных недостатках их, но нельзя не признать, что поляки, мужчины и женщины аристократического круга, всегда обращавшиеся в высших и лучших обществах европейских столиц, сохранили и после переворотов, обессиливших национальное значение их, все предания, обычаи, поверия и, пожалуй, и суеверия золотого века европейского общежития. В Польше не было уже материального, средневекового барства, но изящное салонное барство, основанное на наследственной образованности, было еще силою и прелестью общества.

В первые времена возрожденного Царства Польского, в эти медовые месяцы брачного сожительства между Варшавской Польшей и Русским правительством, сношения завоеванных с завоевателями были не только миролюбивы, но, вероятно, и дружелюбны со стороны первых. Разумеется, могли быть и даже были исключения; но большинство довольствовалось тем что есть: упования на лучшее или на большее были пока еще потаенные *ria desideria* (добрые пожелания). Но после того обнаружилась какая-то *incompatibilite d'humeur* (несходство в нраве); далее раздражение и оконча-

тельно разрыв. До этого кризиса, во время перемежающейся лихорадки, осторожность, политическая сдержанность, при твердости всем явной и всеми признаваемой, даже некоторая терпимость, были бы на то время не излишнею уступчивостью, не слабостью, а лучшим средством к полному, по возможности, сближению и к устроению равновесия.

Новосильцев был некоторое время тем, что называется *l'homme de la situation*, т. е. человеком, соответствующим настоящему положению. Он не поддавался полякам, но и не унижал, не дразнил их. Он тоже принадлежал избранному кругу людей благовоспитанных и отличающихся изяществом, блеском и, так сказать, благоуханием образованности. В этом отношении высшие аристократические лица сочувствовали ему. Байков, с самого начала, был часто какою-то разноголосицею, резкою, грубою нотою в этой только что улаживающейся гармонии.

В числе смешных слабостей его была и та, что он сбивался на местоимениях. Новосильцева *он* на языке его всегда сходил на *мы*. *Мы* сделаем, *мы* решили, *наш* повар, *мы* даем бал и так далее. Однажды, приглашая поляка на обед к Новосильцеву, сказал он: «Приходите к нам сегодня запросто отобедать». – «К сожалению, не могу (отвечал тот с лукавою вежливостью): я уже отозван к его превосходительству сенатору Новосильцеву».

После всего сказанного спрашиваю себя, не грешно ли, и во всяком случае не совестно ли, выносить сор из стари-

ны, сор замогильный. Римская поговорка известна; но если говорить о мертвых только хорошее, то из истории выйдет одно похвальное слово, а не беспристрастный и верный синодик. Одно условие: в рассказах о минувшем, в характеристике людей, более или менее замечательных деятелей, уже сошедших с почвы действия, должны соблюдаться педантически осмотрительность и строгость: не повторять наобум то, что мельком слышал от стоустной молвы, а еще более от тысячеустной сплетни. Нет, тут должно передавать только то, что видел собственными глазами, слышал собственными ушами, в чем убедился не чужим, а собственным убеждением. А и тогда еще можешь промахнуться: и глаза иногда обманывают, и убеждение оказывается легковверным и погрешительным. Но по крайней мере в таком прискорбном случае не нарушаешь спокойствия совести и не кладешь пятна на нее. От живописца современной эпохи более требовать нельзя.

Байков был далеко не историческое лицо и не исторический деятель; история не заметит его и не догадается о нем; но положением своим в обществе, прикосновением к лицам, которых голоса и руки имели более или менее влияние на совершавшиеся события, и он не совершенно чужд истории, и если будущий дееписатель помянутой эпохи мог бы вооружиться всеисследующим микроскопом, то он отыскал бы и затерянное имя Байкова в среде действующих лиц, которые заслонили его ростом своим и подавили значительностью

своей. Не должно придавать людям более важности, чем они заслуживают; но нельзя, по крайней мере, очевидцу не пристроить каждое второстепенное и пятистепенное лицо к месту, которое принадлежит ему. Байков не был недугом Новосильцева, но он был болячкой его.

Вообще должно сознаться, что, за весьма редкими исключениями, прилив официальных русских лиц в то время не мог смешаться с варшавским обществом. Уровень их был значительно ниже варшавского. Это была большая ошибка. Государь, Новосильцев, сам великий князь Константин Павлович, несмотря на неровности характера и припадки своей вспыльчивости, некоторые из адъютантов его, еще три или четыре гражданские лица могли, конечно, дать отрядное понятие о русской образованности; но зато, что сказать о влияющем большинстве, о массе? Лучше ничего не говорить.

Генерал Курута, например, был главным лицом при дворе цесаревича. Он был человек умный и не злой; во все время нахождения своего при великом князе он, вероятно, никому вреда умышленно не сделал, а может быть, часто укрощал вспышки, готовые разразиться. Он был хитрый грек: но признаться должно, что аттицизма было в нем немного, и он не смотрел греком времен Периклеса. Какого же можно было ожидать от него благоприятного русского преобразовательного влияния на польское общество, в котором находились еще живые предания, свидетели и участники изящных и блестящих увеселений Трианона или родных Лазенок и велико-

лепных празднеств Сен-Клу и Фонтенебло?

Многие из нас думают, что достаточно материальной силы для преобладания в чужой стороне. Оно не всегда так. Нечего и говорить, лестно и приятно чувствовать за собою дубинку Петра Алексеевича: она хорошее вспомогательное средство и даже в своем роде назидательное. Сила силою, и пренебрегать ею нельзя; но не худо иметь при ней и нравственную указку для благонадежного и окончательного преподавания. Многие из нас того мнения, что правительственные лица, в области более или менее чужой, должны, если они хорошие патриоты, ненавидеть людей, подчиненных власти их, и равномерно быть ими ненавидимы; не дай Боже, чтобы администратор полюбил находящихся в управлении его, а они его полюбили: тут тотчас наши публицисты заподозрят измену! Нужно отвращать и побеждать враждебные побуждения, но самому не допускать в себе вражды: вражда одну вражду и родить способна.

Император Николай это хорошо сознавал и чувствовал. Отпуская графа Гурьева в Киев на генерал-губернаторство, он сказал ему следующие достопамятные и великодушные слова: «Ты знаешь, что я, после польского возмущения, до поляков не большой охотник, но если, по предубеждениям и по страсти, я увлечен буду на принятие каких-нибудь мер несправедливых против них, то обязанность твоя немедленно предостерегать меня».

* * *

Выдержки из разговоров

1.

MN: Что ты так горячо рекомендуешь мне К.? Разве ты хорошо знаешь его?

P: Нет, но X. ручается за честность его.

MN: А кто ручается за честность X.?

2.

Начальник департамента. Мне кажется, я вас где-то встречал.

Молодой проситель, желающий получить место в департаменте. Так точно, ваше превосходительство, я иногда там бываю.

3.

Молодой офицер, приехавший в Москву: Сделай одолжение, Неелов: сыщи мне невесту. Смерть хочется жениться.

Неелов: Охотно, у меня есть невеста на примете.

Офицер: А что за нею приданого?

Неелов: Две тысячи стерлядей, которые на воле ходят в Волге.

В Москве (не знаю, как теперь) долго патриархально и свято сохранялись родственные связи и соблюдалось родственное чинчинопочитание. Разумеется, во всех странах, во всех городах есть и бабушки, и дядюшки, и троюродные тетушки, и внучатые братья и сестры, но везде эти дядюшки и тетушки более или менее имена нарицательные, в одной Москве уцелело их существенное значение. Это не умозрительные числа, а плоть и кровь.

Уж если тетушка, то настоящая тетушка; уж если дядя, то дядя с ног до головы; племянник, за версту его узнаешь. Круг родства не ограничивается ближайшими родственниками; в Москве родство простирается до едва заметных отростков, уж не до десятой, а разве до двадцатой воды на киселе. Нужно прилежное и глубокое изучение по части генеалогии, чтобы вполне усвоить себе эти тарабарские грамоты родословия. А есть такие профессора, а особенно профессорши, которые по щепке и по листочку переберут любое московское генеалогическое древо.

В тридцатых годах приехал в Москву один барин, уже за несколько лет из нее выехавший. На вечеринке он встречается нечаянно с одним из многочисленных дядюшек своих. Тот, обиженный, что племянник еще не был у него с визитом, начинает длинную нотацию и рацею против ослабления

семейных связей и упадка семейной дисциплины.

Племянник кидается ему на шею и говорит: «Ах, дядюшка, как я рад видеть вас. А мне сказали, что вы уже давно умерли». Дядюшка был несколько суеверен и не рад был, что накликнул на себя такое приветствие.

* * *

Пришло же в голову чудаку вывести такую арифметическую табличку:

Из прошлых рифмачей у нас он не 1;
Хоть родом он москвич, а пишет как Мор 2.
Его стихами ты себе хоть нос у 3.
Ему докажешь ли, как дважды два 4,
Что врет он. Ничего! Он врать начнет о 5.
У всех людей пять чувств: в нем с глупостью их 6.
Доселе на земле чудес считали 7;
Но чудо ведь и он, так смело ставьте 8.
Ему подобного, иди хоть за три 9
Земель, не сыщешь: он без единицы 10.

* * *

А вот другая шалость, найденная в той же тетрадке:
Как?
Лука Лукич уж не дурак?

Что ж?

На человека он похож?

Ба!

И знает он, что б-а-ба?

Ой,

И стал он малый деловой?

Ну,

И он нашел себе жену?

Эй,

И он отец своих детей?

Вот полоса так полоса:

Теперь я верю в чудеса.

* * *

Кстати помянуть здесь и Неелова. Он, между прочим, любил писать амфигури, и некоторые из них очень удачны и забавны. Это последнее свойство – отличительная черта если не таланта, то способности Неелова. Забавность, истинная и сообщительная веселость очень редко встречаются в нашей литературе. А между тем в русском уме есть жилка шутливости: мы более насмешливы, чем смешливы, преимущественно на письме. Чернила как-то остужают у нас вспышки веселости. На русской сцене мало смеются и мало смешат.

У французов называются *амфигури* куплеты, положенные обыкновенно на всем знакомый напев: куплеты составлены

из стихов, не имеющих связи между собою, но отмеченных шутливостью и часто неожиданными рифмами. Иногда это пародии на известные сочинения, легкие намеки на личности и так далее. Вот некоторые выписки из Неелова:

Пускай Тардив⁸
В компот из слив
Мадеру подливает;
А Жан Расин,
Как в масле блин,
В бессмертья утопает.

Андрей Сушков
Лишь пять вершков
В природе занимает;
А Бонапарт
С колодой карт
Один в *пасьянс* играет.

Это было писано в 1813 году. Тут был забавный куплет о французских маршалах Даусте (рифма была куст) и Удино, но это рифмы не скажу. В это время все содействовало патриотизму поражать врага: и лубочные народные карикатуры, и, пожалуй, лубочные стихи, которые на этот раз с большей меткостью попадали в цель, чем оды Державина.

В то самое время Неелов имел тяжбу, которая рассматри-

⁸ Петербургский ресторатор.

валась в Правительствующем Сенате. Дело длилось. Неелов излил меланхолические чувства свои в заключительном куплете своего амфигури:

Мой геморой
Иной порой
Вертит меня, ломает;
Но ах, Сенат
Мне во сто крат
Жить более мешает.

Неелов, истинный поэт в своем роде, имел потребность перекладывать экспромтом на стихи все свои чувства, впечатления, заметки. Он был русская Эолова арфа, то есть народная игривая балалайка.

Неелов два раза был женат, но детей не имел; а сердце аргіогі было очень чадолюбиво. Вот как эта любовь выразилась однажды:

Дай, судьба, ты мне ребенка;
Тем утешь ты жребий мой:
Хоть щенка, хоть жеребенка,
Лишь бы был мне сын родной.

Этот поэт, по вольности дворянства и по вольности поэзии, не всегда был разгульным циником. Он иногда надевал и перчатку на правую руку и мадригальничал в альбомах мос-

ковских барышень. Вот что написал он во время грозы:

Я грома не боюсь;
Он прогремит, пройдет.
Но равнодушья твоего страшуся:
Оно меня убьет.

* * *

Я говорил о балалайке: это напоминало мне рассказ Американца Толстого. Высаженный на берег Крузенштерном, он возвращался домой пешеходным туристом. Где-то в отдаленной Сибири напал он на старика, вероятно, сосланного: он утешал горе свое родными сивухой и балалайкой. Толстой говорил, что он пил хорошо, но еще лучше играл на своем доморощенном инструменте. Голос его, хотя и пьяный и несколько дребезжащий от старости, был отменно выразителен. Толстой помнил, между прочим, куплет из одной песни его:

Не тужи, не плач, детинка;
В рот попала кофеинка,
Авось проглочу.

И на этом *авось проглочу* голос старика разрывался рыданиями, сам он обливался слезами и говорил, утирая сле-

зы свои: «Понимаете ли, ваше сиятельство, всю силу этого *авось проглочу!*» Толстой добавлял, что редко на сцене и в концертах бывал он более растроган, чем при этой дикой и нелепой песне Сибирского рапсода.

* * *

Кто-то говорил, что вообще наши статистики скорее статисты, которые, по определению нашего академического словаря, суть актеры без речей на сцене. И от наших статистиков больших речей и чисел ожидать нельзя. В статистику приходится верить более на слово. Хорошо еще в маленьком государстве; но у нас, с нашими пространствами, безграмотностью и недостатком правильного счетоводства, как уследить за всеми делами природы и делами рук человеческих? Прошу покорно вычислить, хотя приблизительно, хотя с некоторой вероятностью, число куриц и коров, и так далее, которые родятся, здравствуют и умирают

От хладных Финских скал до пламенной Колхиды.

В начале столетия и собирания статистических сведений, одна местная власть обратилась в один уезд с требованием доставить таковые сведения. Исправник отвечал: «В течение двух последних лет, то есть с самого времени назначения моего на занимаемое мною место, ни о каких статисти-

ческих происшествиях, благодаря Бога, в уезде не слышно. А если таковые слухи до начальства дошли, то единственно по недоброжелательству моих завистников и врагов, которые хотят мне повредить в глазах начальства, и я нижайше прошу защитить меня от подобной статистической напраслины».

* * *

Жена генерала Л., слывшего остряком, была, говорят, особенно глупа. При людях, боясь какой-нибудь чудовищной обмолвки, муж держал язык ее на привязи. Например, он не позволял ей открывать рот, пока не даст он условленного знака. Однажды, на многочисленном вечере, генерал, по обыкновению своему, краснобаял, рассказывал анекдоты, рассыпался шутками, острыми словами. В пылу витийства своего он необдуманно и нечаянно сделал головой условленный с женой знак. «Ну, наконец, слава Богу (вскрикнула она), вот уже полчаса что мигаю тебе: жажда меня замучила. Смерть хочется выпить. Человек, подай мне стакан воды».

В другой раз генерал ожидал какого-то почетного гостя; между тем необходимо было ему отлучиться из дома. Он приказывает жене принять гостя и сказать, что он тотчас возвратится; вместе с тем строго наказывает ей не пускаться в дальние разговоры, а говорить только о самых близких и домашних предметах. Гость приезжает. «Что это за панталоны

на вас? – обращается она к приезжему. – У моего мужа платье совсем не так сшито». Призывает она камердинера мужа и приказывает ему принести жилеты и панталоны барина. Приносят. Генерал возвращается домой и застаёт выставку. Вот картина! (Рассказано В. Л. Пушкиным, современником этих событий.)

* * *

NN. говорит, что сочинения К. – недвижимое имущество его: никто не берет их в руки и не двигает с полки в книжных лавках.

* * *

Двоюродные братья, князя Гагарины, оба красавцы в свое время, встретились после двадцатилетней разлуки в постороннем доме. Они, разумеется, постарели и друг друга не узнали. Хозяин должен был назвать их по имени. Тут бросились они во взаимные объятия.

«Грустно, князь Григорий, – сказал один из них, – но судя по впечатлению, которое ты на меня производишь, должен я казаться тебе очень гадок».



Обыкновенное действие чтений романиста Х., когда он читает вслух приятелям новые повести свои, есть то, что многие из слушателей засыпают. «Это натурально, – говорит NN.. – а вот что мудрено: как сам автор не засыпает, перечитывая их, или как не засыпал он, когда их писал!»

Впрочем, Карамзин рассказывал, что когда (вероятно, в угоду какой-нибудь даме) писал он «Меланхолию», подражание Делилю, с ним было то же. Он писал эти стихи ночью, в постели, и он часто засыпал над недоконченным стихом: встрепенется и бодро примется опять за дело, и опять задремлет. Так продолжалось до утра, но победа осталась за ним, и вышло одно из лучших стихотворений его и того времени. Писано он в 1800 году.

О меланхолия, нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья...
Безмолвие любя, ты слушаешь унылый
Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей:
Тебе приятен лес, тебе пустыни милы;
В уединении ты более с собой.

* * *

Ни с того ни с сего NN. говорит соседке своей за ужином, княгине Т.: «Понимаю, что оно продолжается, но не понимаю, как могло оно начаться»... – «А я, – улыбаясь, отвечает княгиня, – напротив, понимаю, что оно началось, но сама не понимаю, как оно продолжается».

Княгиня с догадливостью, прирожденной женщине, особенно в подобных случаях, уразумела на лету, что речь идет о связи ее с молодым***.

* * *

Рассказывают, что известный Копьев, чтобы убедить крестьян своих внести разом ему годовой оброк, говорил им, что такой взнос будет последний, а что с будущего года станут они уплачивать все повинности и отбывать воинскую одной поставкой клюквы.

* * *

Гастрономические и застольные отметки, а также и по части питейной

К. Г. был очень бережлив, чтобы не сказать скуп, между тем имел он притязания на некоторую гастрономическую изысканность. Однажды, силою каких-то обстоятельств, был он вынужден дать обед приятелям своим. В числе их находились два-три гастронома *ex professo*. Нельзя было пристыдить себя перед ними. Обед был, как говорится, ничего, то есть приличен. Доходила очередь до шампанского, а шампанское в то время продавалось дорого в Москве. По водворении жителей после французов цена за бутылку шампанского доходила до 25 рублей, разумеется, на ассигнации. Но такая цена никого не пугала: незлопамятные москвичи запивали горе свое, что французы были в Москве, и радость, что их из Москвы прогнали, и совершали все эти тризны и поминки по французам их же французским вином.

Рассказывали, что в предсмертные дни Москвы до пришествия французов, С. Н. Глинка, добродушный и добросовестный отечестволюбец, разъезжал по улицам, стоя на дрожках, и кричал: «Бросьте французские вина и пейте народную сивуху! Она лучше поможет вам». Рассказ, может быть, и выдуманный, но не лишенный красок местности, со-

временности и личности. Пора, однако же, возвратиться к нашему Амфитриону.

Когда подали шампанское, он сказал: «Je ne vous reponds pas de la qualite de mon vin de Champagne; mais je puis vous promettre ce qu'il est suffisamment frappe (Не отвечаю вам за качество шампанского, но могу обещать, что оно достаточно заморожено)». Должно заметить при том, что это было зимою, и недостатка во льду и в снеге не было.

* * *

Л., тоже род гастронома и вполне поклонник Вакха, но вместе с тем *сребролюбия недугомотягченный и казны рачитель*, говорил в 30-х годах: «Как времена переменчивы! Давно ли нельзя было порядочному человеку отобедать без бутылки дорогого Лафита или Бургонского вина! Теперь вошли в моду и в общее употребление Херес и Портвейн». Так и слышен был в этих словах перевод потаенной мысли: оно и дешевле, и крепче.

Около того же времени Пушкин, встретившись с товарищем юных лет, который только что возвратился в Петербург из-за границы, где провел несколько лет, спрашивал о впечатлениях его и о том, как находит он Петербург и общество после долгого отсутствия. «Не могу надивиться, – отвечал тот, – как все изменилось: бывал за обедом, и у лучших людей ставили на стол хороший Медок, да и полно; теперь, где

ни обедаешь, везде видишь Лафит, по шести и семи рублей бутылка».

Статистические данные разноречивы между Л. и новым наблюдателем, но первое наблюдение выражено человеком, принадлежащим школе *позитивизма*, другое – гастрономическому туристу, который изучает страну и народные нравы по столовой статистике. «Скажи мне, что ты ешь и пьешь, и я скажу тебе, что ты за человек», – заметил известный гастроном.

* * *

Дашков, который долго жил на Востоке, рассказывал, по возвращении своем в Петербург, что одно служебное лицо, ехавшее в те края, просило у него свидания, чтобы воспользоваться указаниями и советами его для руководства своего в незнакомой стороне и на новом поприще. Свидание было назначено. Первый вопрос предусмотрительного неофита был следующий: «А как вы полагаете, не лучше ли будет мне закупить в Одессе несколько бочонков французских вин, и какого именно более, красного или белого; или и там на месте могу составить погреб свой?» Прочие вопросы вертелись около предметов такой же политической экономии.

Ф. П. Лубяновский, приятель и единоведец Лопухина (Ивана Владимировича), рассказывал мне, что император Александр Павлович имел однажды намерение назначить последнего министром народного просвещения. Для этой цели выписали Лопухина из Москвы, где был он сенатором.

Желая ближе с ним ознакомиться, Государь велел пригласить его к обеду. Лопухин вовсе не был питух, но, необдуманно соблазнясь лакомыми винами, которые подавали за царским столом, он ничего не отказывал, охотно выпивал все предлагаемое, а иногда в промежутках подливал себе еще вино из бутылок, которые стояли на столе. К тому же, на беду, его лицо, краснокожее и расцветающее почками багрово-синими, напоминало стихи Княжнина:

...лицо

Одето в красненький сафьянный переплет;

Не верю я тому, а кажется, он пьет.

Император держался самой строгой трезвости и был вообще склонен к подозрению. Возлияния и влияния недогадливого Лопухина не могли ускользнуть от наблюдательного и пытливого взгляда императора. Ему не только *казалось*, но он убедился, что Лопухин пьет. «Нет, – сказал он прибли-

женным своим, встав из-за стола, — этот не годится мне в министры». Тем министерство его и кончилось: он возвратился сенатором в Москву, как и выехал сенатором.

* * *

Ю. А. Нелединский в молодости своей мог много съесть и много выпить. И охотно пользовался этими способностями.

Я узнал его, когда он был уже зрелых лет, а я еще ребенком. Помню, с какой завистью смотрел я на почет, оказываемый ему за обедом у отца моего. К нему возвращалось блюдо с пирожками после супа, и все оставшиеся пирожки переходили на тарелку его и вскоре с тарелки в его желудок. Вечером, когда подавали чай и, после первой или второй чашки, слуга спрашивал его, желает ли он еще чаю, он отвечал: желаю, пока вода будет в самоваре. О питейных подвигах его по части других жидкостей слышал я рассказы, но сам застал я его в поре совершенной трезвости. О съедобной способности своей рассказывал он забавный случай.

В молодости зашел он в Петербурге в один ресторан позавтракать (впрочем, в прошлом столетии ресторанов, restaurant, еще не было не только у нас, но и в Париже; а как назывались подобные благородные харчевни, не знаю). Дело в том, что он заказал себе каплуна и всего съел его до косточки. Каплун понравился ему, и на другой день является он туда же и совершает тот же подвиг. Так было в течение

нескольких дней. Наконец замечает он, что столовая, в первый день посещения его совершенно пустая, наполняется с каждым днем более и более. По разглашению хозяина, публика стала собираться смотреть, как некоторый барин уничтожает в одиночку целого и жирного каплуна. Нелединскому надоело давать зрителям даровой спектакль, и хозяин гостиницы был наказан за нескромность свою.

* * *

Однажды обедали мы с Плетневым у Гнедича на даче. За обедом понадобилась соль Плетневу; глядь, а соли нет. «Что же это, Николай Иванович, стол у тебя кривой», – сказал он (известная русская поговорка: без соли стол кривой).

Плетнев вспомнил русскую, но забыл французскую поговорку: не надобно говорить о веревке в доме повешенного (Гнедич был крив).

* * *

Оссинский. польский поэт и директор Варшавского театра, забавно рассказывал об одном польском хлебосоле, отличавшемся худыми винами, которые подавались за столом его. Я думаю, говорил Оссинский, что наш милый хозяин разорился на вина свои: нельзя иначе, как за большие деньги,

отыскивать и покупать подобные в своем роде редкости.

* * *

Николая Николаевича Новосильцева зазвал однажды к себе обедать брат его Иван Николаевич, большой чудака и нерасточительного десятка. Николай Николаевич был тонкий гастроном и *виноном*. В конце обеда хозяин говорит ему: «Я тебя, братец, шампанским потчевать не стану: это вино производит кислоту в желудке».

* * *

Граф Вьельгорский спрашивал провинциала, приехавшего в первый раз в Петербург и обедавшего у одного сановника, как показался ему обед?

«Великолепен, – отвечал он, – только в конце обеда поданный пунш был ужасно слаб». Дело в том, что провинциал выпил залпом теплую воду с ломтиком лимона, которую поднесли для полоскания рта.

* * *

Одна барыня старого времени имела в доме француза поваря и француза дворецкого. Однажды за обедом подают ей

дичь с душком. Она посылает дворецкого сделать выговор повару. Дворецкий возвращается и докладывает, что шеф кухни (*le chef de cuisine*) объясняет, *que c'est de la viande mortifiee* (мясо несколько *замороженое*).

«*Dites lui et peredites lui* (скажите и перескажите ему), – говорит княгиня, – *que je n'aime pas les mortifications* (что я не люблю замариваний)».

У степного хлебосола обедает иностранец, находит, что обед очень хорош, и спрашивает хозяина, француз ли повар его или русский.

«*Je ne sais pas*, – отвечает он с некоторою гордостью, – *si le cuisinier est bon, mais je sais qu'il est mon* (Я не знаю, хорош ли повар; но знаю, что он мой)».

Вот русский гастроном на законном основании крепостного права.

* * *

В старые годы московских порядков жила богатая барыня и давала балы, то есть балы давал муж, гостеприимный и пиршестволюбивый москвич, жена же была очень скупа и косилась на эти балы.

За ужином садилась она обыкновенно особняком у дверей, чрез которые вносились и уносились кушанья. Этот *обсервационный пост* имел две цели: она наблюдала за слугами, чтобы они как-нибудь не присвоили себе часть кушаний;

а к тому же должны были они сваливать ей на тарелку все, что оставалось на блюдах после разноски по гостям, и все это уплетала она, чтобы остатки не пропадали даром.

Эта барыня приходилась сродни Американцу Толстому. Он прозвал ее: тетушка *сливная лохань*.

* * *

Иван Петрович Архаров, последний бургграф (burggrave) московского барства и гостеприимства, сгоревших вместе с Москвой в 1812 году, имел своего рода угощение. Встречая почетных или любимейших гостей, говорил он: «Чем почтить мне дорогого гостя? Прикажи только, и я для тебя жарю любую дочь мою».

* * *

Один очень близкий мне человек съел однажды разом на тысячу двести рублей земляники. Это покажется басней, а между тем оно было, и самая достоверная. Вот как это случилось.

После довольно долгого отсутствия из Москвы, приехал он в свою подмосковную. Это было в начале лета. За обедом угощают его глубокой тарелкой ранней, но очень крупной и вкусной земляники. Он ест ее с удовольствием и с чувством

признательности к заботливому и усердному садовнику; он думает дать ему за верную службу приличное награждение. Но наступает, что называется, le quart d'heure de Rabelais, то есть пора расплаты.

Помещик спрашивает садовника, много ли продал он плодов и много ли надеется еще продать?

– Все деревья в грунтовых сараях побиты морозом, – отвечает тот, – а черви поели все плоды на оранжерейных деревьях. Выручки никакой быть не может.

– А что стоит содержание оранжерей и грунтовых сараев? – спрашивает помещик.

Ответ: ежегодно тысячу двести рублей.

– Прекрасно! – возражает барин. – Стало, по твоему расчету, съел я сегодня земляники на тысячу двести рублей. Слуга покорный! Спасибо за угощение. А между тем вели написать в конторе себе отпускную, и чтобы и духа твоего здесь не было.

Управителю велел он тотчас же упразднить оранжерею и прекратить все садовые расходы. Забавно, что, приехав в Москву, узнает он, что разносчики особенно хвастаются фруктами, добытыми из оранжерей именно подмосковной его.

* * *

Известно, что в старые годы, в конце прошлого столетия,

гостеприимство наших бар доходило до баснословных пределов. Ежедневный открытый стол на 30, на 50 человек было дело обыкновенное. Садись за этот стол кто хотел: не только родные и близкие знакомые, но и малознакомые, а иногда и вовсе незнакомые хозяину. Таковыми столами были преимущественно в Петербурге столы графа Шереметева и графа Разумовского.

Крылов рассказывал, что к одному из них повадился постоянно ходить один скромный искатель обедов и чуть ли не из сочинителей. Разумеется, он садился в конце стола, и, также разумеется, слуги обходили блюдами его как можно чаще. Однажды понесчастливилось ему пуще обыкновенного: он почти голодный встал из-за стола. В этот день именно так случилось, что хозяин после обеда, проходя мимо него, в первый раз заговорил с ним и спросил: «Доволен ли ты?» – «Доволен, ваше сиятельство, – отвечал он с низким поклоном, – все было мне видно».

* * *

А сам Крылов! Можно ли не помянуть его в застольной летописи? Однажды приглашен он был на обед к императрице Марии Федоровне в Павловске. Гостей за столом было немного. Жуковский сидел возле него. Крылов не отказывался ни от одного блюда.

– Да, откажись хоть раз, Иван Андреевич, – шепнул ему

Жуковский, – дай императрице возможность попотчевать тебя.

– Ну, а как не попотчует! – отвечал он и продолжал накладывать себе на тарелку.

Крылов говорил, что за стол надобно так садиться, чтобы, как скрипачу, свободно действовать правой рукой. Так и старался он всегда садиться.

Он очень любил ботвинью и однажды забавно преподавал он историю ее и через какие постепенные усовершенствования должна была она проходить, чтобы достигнуть до того, чем она ныне является, хорошо и со всеми удобствами приготовленная.

* * *

Нельзя пропустить и Пушкина в этом съестном очерке. Он вовсе не был лакомка. Он даже, думаю, не ценил и не хорошо постигал тайн поваренного искусства, но на иные вещи был ужасный прожора. Помню, как в дороге съел он почти одним духом двадцать персиков, купленных в Торжке. Моченым яблокам также доставалось от него нередко.

* * *

Карамзин был очень воздержан в еде и в питии. Впрочем,

такovým был он и во всем, в жизни материальной и умственной: он ни в какие крайности не вдавался; у него была во всем своя прирожденная и благоприобретенная диететика.

Он вставал довольно рано, натошак ходил гулять пешком, или ездил верхом, в какую пору года ни было бы и в какую бы ни было погоду. Возвратясь, выпивал две чашки кофе, за ними выкуривал трубку табаку (кажется, обыкновенного кнастера) и садился вплоть до обеда за работу, которая для него была также пища и духовная и насущный хлеб. За обедом начинал он с вареного риса, которого тарелка стояла всегда у прибора его, и часто смешивал он рис с супом. За обедом выпивал рюмку портвейна и стакан пива, а стакан этот был выделан из дерева горькой квасии. Вечером, около 12-ти часов, съедал он непременно два печеные яблока. Весь этот порядок соблюдался строго и нерушимо, и преимущественно с гигиенической целью: он берег здоровье свое и наблюдал за ним, не из одного опасения болезней и страданий, а как за орудием, необходимым для беспрепятственного и свободного труда. Кажется, в последние годы жизни его вседневный порядок был несколько изменен; но в Москве держался он его постоянно в течение нескольких годов.

Мы сказали, что он был в пище воздержен. Был он вовсе и не прихотлив. Но как никогда не писал он наобум, так и есть наобум не любил. В этом отношении был он взыскателен. У него был свой слог и в пище: нужны были припасы свежие, здоровые, как можно более естественно изготовлен-

ные. Неопрятности, неряшества, безвкусия не терпел он ни в чем. Обед его был всегда сытный, хорошо приготовленный и не в обрез, несмотря на общие экономические порядки дома. В Петербурге два-три приятели могли всегда свободно являться к обеду его и не возвращались домой голодными.

В 1816 году обедал он у Державина. Обед был очень плохой. Карамзин ничего есть не мог. Наконец к какому-то кушанью подают горчицу; он обрадовался, думая, что на ней отыгаться можно и что она отобьет дурной вкус: вышло, что и горчица была невозможна.

Державин был более гастроном в поэзии, нежели на домашнем очаге. У него встречаются лакомые стихи, от которых слюнки по губам так и текут. Например:

Там славный окорок Вестфальской,
Там звенья рыбы Астраханской,
Там плов и пироги стоят.
Шампанским вафли запиваю.

В двух первых стихах рифма довольно тощая, но содержание стихов сытное. – Или:

Багряна ветчина, зелены щи с желтком,
Румяно-желт пирог, сыр белый, раки красны.
Тут есть и *янтарь-икра*, и *щука с голубым пером*. А эта прелесть:
Младые девы угощают,

Подносят вина чередой:
И Алиатиго с Шампанским,
И пиво русское с Британским,
И Мозель с Зельцерской водой.

* * *

Одно лицо, довольно значительное в городе, имело обыкновение забирать через посланного в Ренских погребах с дюжину бутылок разных вин, дескать на пробу. Эти постоянно-пробные вина служили украшением стола в дни тезоименитства хозяина или в другие торжественные семейные дни. Дома срывал он ярлыки с бутылок и, для вящего эффекта, импровизировал свои, которые и записывались крупными буквами рукой канцелярского служителя, например: *Дрей-лафит, Шато-малага, настоящее английское шампанское первого сорта*, и так далее.

* * *

По возвращении наших войск из Парижа, ходило в обществе много забавных анекдотов о неожиданных приключениях некоторых из наших офицеров, не знавших французского языка.

Например, входит офицер в ресторан и просит diner, по

заученному им слову. Ему подают карту и карандаш. Он ничего разобрать не может и смело отхватывает карандашом первые четыре кушанья, означенные на карте. «Странный обед у этих французов, – говорил он после, – мне подали четыре тарелки разных супов». Дело в том, что, по незнанию французской грамоты, он размахнулся карандашом по графе *potages*.

Другой, немножко маракующий по-французски, но не вполне обладающий языком, говорил: «Какие шарлатаны и обманщики эти французы! Захожу я в ресторан, обедаю, *гарсон* предлагает мне, не хочу ли я свежие *пети-пуа*. Я думаю, почему не попробовать, что такие за *пети-пуа*, и велел подать. Что же вышло? Подали мне простой горошек (*petit pois*)».

Денис Давыдов вывез из похода много таких анекдотов и уморительно забавно рассказывал их.

* * *

Хозяин дома, подливая себе рому в чашку чая и будто невольным вздрагиванием руки переполнивший меру, вскрикнул: *ух!* Потом предлагает он гостю подлить ему *адвокатца* (выражение, употребляемое в среднем кругу и означающее ром или коньяк, то есть *адвокатец*, развязывающий язык), но подливает очень осторожно и воздержано. «Нет, – говорит гость, – сделайте милость, *ухните* уже и мне».

* * *

В начале 20-х годов московская молодежь была приглашена на Замоскворецкий бал к одному вице-адмиралу, состоявшему более по части пресной воды. За ужином подходит он к столу, который заняли молодые люди. Он спрашивает их: «Не нужно ли вам чего?» – «Очень нужно, – отвечают они, – пить нечего».

«Степашка! – кричит хозяин. – Подай сейчас этим господам несколько бутылок кислых щей». Вот картина! Сначала общее остоление, а потом дружный хохот.

* * *

Была приятельская и помещичья попойка в деревне ** губернии. Во время пиршества дом загорелся. Кто мог, опрометью выбежал. Достопочтенный А. выбежать не мог: его вынесли и положили наземь на дворе. Послышались встревоженные крики: воды, воды! Спросонья А. услышал их и несколько сиповатым голосом сказал: «Кому воды, а мне водки!» (рассказано свидетелем).



За обедом, на котором гостям удобно было петь с Фигаро из оперы Россини: *Cito, cito, piano, piano* (то есть *сыто, сыто, пьяно, пьяно*), Американец Толстой мог быть, разумеется, не из последних запевальщиков. В конце обеда подают какую-то закуску или прикуску. Толстой отказывается. Хозяин настаивает, чтобы он попробовал предлагаемое, и говорит: «Возьми, Толстой, ты увидишь, как это хорошо; тотчас отобьет весь хмель». – «Ах Боже мой! – воскликнул тот, перекрестясь, – да за что же я два часа трудился? Нет, слуга покорный, хочу оставаться при своем».

Он же одно время, не знаю по каким причинам, наложил на себя эпитимию и месяцев шесть не брал в рот ничего хмельного. В самое то время совершались в Москве проводы приятеля, который отъезжал надолго. Проводы эти продолжались недели две. Что день, то прощальный обед или прощальный ужин. Все эти прощания оставались, разумеется, не сухими. Толстой на них присутствовал, но не нарушал обета, несмотря на все приманки и увещания приятелей, несмотря, вероятно, и на собственное желание. Наконец назначены окончательные проводы в гостинице, помнится, в селе Всесвятском. Дружно выпит прощальный кубок, уже дорожная повозка у крыльца. Отъезжающий приятель сел в кибитку и пустился в путь. Гости отправились обратно в го-

род. Толстой сел в сани с Денисом Давыдовым, который (заметим мимоходом) не давал обета в трезвости. Ночь морозная и светлая. Глубокое молчание. Толстой вдруг кричит кучеру: «Стой!» Сани остановились. Он обращается к попутчику и говорит: «Голубчик Денис,дохни на меня!»

Воля ваша, а в этом *дохни* много поэзии. Это целая элегия! Оно может служить содержанием и картине; был бы только живописец, который бы постиг всю истину и прелесть этой сцены и умел выразить типические личности Дениса Давыдова и Американца Толстого.

* * *

Заклучим длинную нашу застольную хронику рассказом о столовом приключении, которое могло кончиться и трагически, и комически.

Однажды проезжал из-за границы в Россию через Варшаву Петр Михайлович Лунин. С начала столетия, и ранее, был он очень известен обществам петербургскому и московскому. Его любили, а часто и забавлялись слабостями его. В числе их была страсть вышивать основу рассказов своих разными фантастическими красками и несбыточными узорами. Но все это было безобидно.

Давно знакомый с Н. Н. Новосильцевым, Лунин заехал к нему. Тот пригласил его на обед. «Охотно, – отвечал Лунин, – но под одним условием: со мной ездит приятель мой и

дядька (Лунин был тогда уже очень стар), позволь мне и его привезти». Оказалось, что это был старый французский повар, кажется, по имени Аиме, который долго практиковался в Петербурге и не без достоинства. Новосильцев посмеялся при такой странной просьбе, но, разумеется, согласился на нее.

За обедом было только несколько русских, в числе их князь Александр Сергеевич Голицын (один из младших сыновей известного князя Сергея Федоровича), полковник гвардейского уланского полка. По волосам слыл он *рыжим Голицыным*. Он был любим в Варшаве и поляками, и земляками. Отличался он некоторым русским удалством и остроумием, мог много выпить, но никогда не напивался, а только, по словам *дорогих собутыльников*, видно было, как пар подымается из рыжей головы его.

Этот Голицын за обедом у Новосильцева отпустил какую-то шутку, направленную на Людовика XVIII. Это происходило в первые годы реставрации. Сотрапезник-повар встает со стула и громко говорит: «Тот негодяй (так переводим мы крепкое французское выражение, употребленное поваром), кто осмеливается оскорбить священную особу короля. Я готов подтвердить слова свои, где и как угодно. Не первую рану получу я за короля своего». И тут же снимает он свой фрак, засучивает рукав рубашки и указывает на руку. Была ли получена эта рана от кухонного ножа или от шпаги, в достоверности неизвестно; но вызов был сделан в формальном

порядке.

Можно вообразить себе общее удивление и смущение. Голицын принимает вызов. Много стоило труда Новосильцеву и некоторым из присутствующих, чтобы умирить эту бурю и уладить дело без кровопролития. Нечего и говорить, как много было бы несообразного и дикого в поединке русского князя, русского полковника с французским кухмистером. В начале было не до смеха, но после много и долго смеялись этой застольной стычке.

* * *

Профессор Московского университета, Шлёцер, сын знаменитого нашего Несторианца, пользовался в Москве известностью и уважением, едва ли не в лучшую пору процветания Московского университета. В то время выписываемы были для преподавания некоторые европейские знаменитости. Они нисколько не давили и не заслоняли развития отечественных дарований; напротив, отсюда выходило полезное соревнование.

Говорят о вреде замкнутых учебных заведений для успешного образования юношества; но можно многое сказать и о среде замкнутого и одностороннего преподавания. Свежие и навеваемые извне притоки воздуха очищают внутреннюю температуру и придают ей гигиеническую силу. Мечты о какой-то народной, доморощенной науке и требо-

вания на посев и обработку ее – не что иное, как ребячество и прихоть узкого патриотизма. Когда наука раздробится на пограничные и чересполосные участки, тогда науки не будет, а останутся одни учебники.

* * *

Шлёцер был притом красивый и плотный мужчина. Он давал уроки в доме К., молодому сыну. Ему показалось, что во время уроков мать ученика очень часто приходит в учебную комнату и нежно и вызывающе заглядывается на учителя. Целомудренная натура немецкого Иосифа содрогнулась от покушений новой Потифаровой жены. Вскоре затем пишет он мужу, что не может продолжать давать уроки сыну, потому что подметил, что г-жа К. влюблена в него.

* * *

Под пару целомудренному Иосифу-Шлёцеру выведем еще ученого и не менее благочестивого немца. До имени его дела нет. Он был, однажды, за вечерним чаем у Карамзинных в Царском Селе. Приезжает туда же княгиня Г-на, которой он не знал. Зашла речь о Жуковском и сочинениях его. Княгиня говорит, что его обожает. Немец перебивает ее и спрашивает: «А позвольте узнать, милостивая государы-

ня, вы девица или замужняя?» – «Замужняя». – «В таком случае, осмелюсь заметить, что замужняя женщина никого и ничего обожать не должна, за исключением мужа». Понятно, как подобная назидательная выходка позабавила все общество, начиная от самой княгини. Не лишним будет при этом вспомнить, что княгиня лет пятнадцать и более жила уже врозь с мужем. Вопрос и нравоучение немца были тем смешнее.

Княгиня Г-на была в свое время замечательная и своеобразная личность в петербургском обществе. Она была очень красива, и в красоте ее выражалась своя особенность. Она долго пользовалась этим преимуществом. Не знаю, какова была она в первой своей молодости, но и вторая, и третья молодость ее пленяли какой-то свежестью и целомудрием девственности. Черные выразительные глаза, густые темные волосы, падающие на плечи извивистыми локонами, южный матовый колорит лица, улыбка добродушная и грациозная; придайте к тому голос, произношение необыкновенно мягкое и благозвучное – и вы составите себе приблизительное понятие о внешности ее. Вообще, красота ее отзывалась чем-то пластическим, напоминавшим древнее греческое изваяние. В ней ничто не обнаруживало обдуманной озабоченности, житейской женской изворотливости и суетливости. Напротив, в ней было что-то ясное, спокойное, скорее ленивое, бесстрастное.

По обеспеченному состоянию своему, по обоюдно-соглас-

ному разрыву брачных отношений, она была совершенно независима. Вследствие того устроила она жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния, которому подчинил себя несколько чопорный и боязливый Петербург. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистой нравственности и существенного благоприличия. Никогда и малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняли чистой и светлой свободы ее. Может быть, старожилы, укоренившиеся на почве прежних порядков, и староверы осуждали некоторые странности этой жизни, освободившейся от крепостной зависимости; другие, может быть, исподтишка и смеялись над подобными *эксцентричностями*: общество назидательно обсуждает или себялюбиво предаёт осмеянию все, что осмеливается перешагнуть на сторону со столбовой дороги, которую проложило оно себе. Все это в порядке вещей. Все это могло выпасть, и вероятно, пало на долю княгини; но, повторим еще, доброе имя ее, и при этой общественной цензуре, осталось безупречно-неприкосновенным.

При всем этом, не могла же такая личность проходить бесследно и не пробуждать нежных сочувствий в том или другом сердце. Так и было. Она, на молодом веку своем, внушила несколько глубоких и продолжительных приверженностей, почти поклонений. До какой степени сердце ее, в чистоте своей, отвечало на эти жертвоприношения, и отвечало ли оно, или только благосклонно слушало, все это оста-

ется тайной. Да и во всяком случае, для светского любопытства мало приманчивости и пищи в разгадке романа платонического. Большая часть читателей не зачитывается романом, в котором с первых страниц не угадывается, что будет *продолжение впрдь*. Этого обыкновенного и неминуемого *впрдь* и ожидают нетерпеливые читатели, а услужливые романисты считают обязанностью не томить терпения продолжительным ожиданием.

В числе известных поклонников княгини назовем двух, особенно отличавшихся умственными и нравственными достоинствами. Один из них – М. Ф. Орлов, рыцарь любви и чести, который не был бы неуместным и лишним в той исторической поре, когда рыцарство почиталось призванием и уделом возвышенных натур. Другой – князь Михаил Петрович Долгоруков, одна из блестящих, но рано угасшая надежда царствования императора Александра I. Говорили, что в отношении к последнему со стороны княгини были попытки и домогательства освободить себя путем законного развода, но упрямый муж не соглашался на расторжение брака. Как бы то ни было, смерть доблестного князя Долгорукова неожиданно разорвала недописанные листы этого романа.

Дом ее, на Большой Миллионной, был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такой обстановкой дома. Тут не было ничего из роскошных принадлежностей и прихотей своенравной и скороизменчивой мо-

ды. Во всем отражалось что-то изящное и строгое. По вечерам, немногочисленное, но избранное общество собиралось в этом салоне: хотелось бы сказать *в этой храмине*, тем более что и хозяйку можно было признать не обыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее, вообще туалет ее, более живописный, нежели подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку, у нее собиравшемуся, что-то не скажу таинственное, но и не обыденное, не завсегдашнее. Можно было бы думать, что тут собирались не просто гости, а и посвященные.

Выше сказали мы: *собирались по вечерам*. Найдется тут и поправка: можно было бы сказать – собирались *medianoche*, в полночь. Княгиню прозвали в Петербурге *La Princesse Nocturne* (*княгиня ночная*). Впрочем, собирались к ней не поздно, но долго засиживались. Княгиня не любила рано спать ложиться, и беседы длились обыкновенно до трех и четырех часов утра. Летом жила она на даче своей на Неве. Прозрачные и светлые невские ночи еще более благоприятствовали этим продолжительным всеобщим. Даже свирепствовавшая холера не мешала этим сходкам верных избранных. Едва ли не одновременно похитила она двух-трех из них. Кажется, в числе их был и граф Ланжерон.

События 1812 г. живо расшевелили патриотическую струну княгини. Помнится, вскоре по окончании войны явилась она в Москве, на обыкновенный бал Благородного Собра-

ния, в сарафане и кокошнике, оплетенном лаврами. Невозмутимо и с некоторой храбростью прохаживалась она по зале и посреди дам в обыкновенных бальных платьях; с недоумением, а может быть, и с насмешливым любопытством, смотрели они на эту возрожденную Марфу Посадницу. Во всяком случае эти барыни худо понимали, что это значит. Славянофильства и напряженных народолюбивых помышлений тогда и в помине не было: все довольствовались тем, что просто по-русски выпроводили незваных гостей из России и с почетом проводили их до Парижа. Каждому дню довлеет злоба его.

Была ли княгиня очень умна или нет? Знав ее довольно коротко, мы не без некоторого смущения задаем себе сей затруднительный и щекотливый вопрос. Но положительный ответ дать на него не беремся. Во-первых, по мнению нашему, ум такая неуловимая и улетающая составная часть, что измерить ее, взвесить и положительно определить невозможно.

Кажется, в Испании не говорят о человеке: он храбр, а говорят: он был храбр в такой-то день, в таком-то деле. Можно применить эту осторожность и к умным людям. Особенно женский ум не поддается положительной оценке. Ум женщины иногда тем и ограничивается, но тем и обольщает и господствует, что он отменно чуток на чужой ум. Женский ум часто гостеприимен; он охотно зазывает и приветствует умных гостей, заботливо и ловко устраивая их у себя; так, про-

нищательная и опытная хозяйка дома не выдвигается вперед перед гостями, не перечит им, не спешит перебить у них дорогу, а напротив, как будто прячется, чтобы только им было и просторно, и вольно. Женщина, одаренная этим свойством, едва ли не перетягивает на свою сторону владычество женщины, наделенной способностями более резкими и властолюбивыми. Эта *пассивность* женского ума есть нередко увлекательная прелесть и сила.

Кажется (сколько можем судить по позднему знакомству), этой силой должна была в высшей степени обладать известная г-жа Рекамье. Блистательная, и в некотором отношении гениальная приятельница ее, г-жа Сталь, должна была уступить ей первенствующее место в состязании поклонников, которые толпились перед той и другой. Известен ответ Талейрана. Г-жа Сталь, в присутствии г-жи Рекамье, спросила его: «Если мы обе тонули бы, которую из нас бросились бы вы сперва спасать?» – «О, я уверен, – отвечал лукавый дипломат, – что вы отлично плавать умеете». Бенжамен Констант был в связи с г-жой Сталь, но до безумия влюблен был в г-жу Рекамье.

Сравнивать парижские салоны того времени с салоном Большой Миллионной было бы слишком смело; подводить под один знаменатель личности, которые встречались там, и те, которые могли встречаться у нас, было бы неловко. Ограничимся тем, что мы сказали, не принимая на себя ответственности решать вопрос ни в том, ни в другом отношении:

ум вообще и женский ум в особенности остаются пока еще открытым вопросом.

Со своих чисто умозрительных и эстетических вершин княгиня сходила иногда на почву и прозаических общественных обсуждений. В доказательство тому упомянем о *противокартофельном* походе, который предприняла она против графа Киселева, когда новый министр государственных имуществ заботился об успешном разведении картофеля в сельских общинах. Ей казалось, что это нововведение есть посягательство на русскую национальность, что картофель испортит и желудки, и благочестивые нравы наших искони и богохранимых хлебо- и кашеедов. С упорством и страстью отстаивала она свой протест, которым довольно забавлялись в обществе.

Еще позднее и в последние годы жизни своей княгиня пустилась в высшую математику, соединенную с еще высшей метафизикой. Эти занятия признавала она каким-то наитием свыше. Она никогда к ним не готовилась и разрешала многотрудные задачи, так сказать, бессознательно и неведомо от себя. Таковы были собственные оценки трудов ее. Забывая свой прежний сарафан, переехала она на время в Париж, лучший и удобнейший город для подобных упражнений. Разумеется, русская княгиня, к тому же богатая, легко отыскала в ученой парижской братии усердных приверженцев и деятельных сотрудников. Она в это время издала на французском языке несколько брошюр по этим темным и

головоломным предметам. Но русская струя, но русский дух и тут были ей не совершенно чужды: при ней, в качестве секретаря или компаньонки (почему не сказать *барской барышни*?), находилась дочь Сергея Николаевича Глинки. Это был род русской ладанки от окончательного вражьего, иноземного соблазна.

Не знаю, продолжала ли княгиня, по возвращении своем в Петербург, заниматься опытами умозрительного сновидения своего, но мне жаль, что расстаюсь с ней на этом повороте жизни ее. В прежних видах и обстановках было более поэзии, самобытности и правды. *Quand le diable devint vieux, il se fit ermite*, говорит французская поговорка. (Когда черт стареет, то делается отшельником.) Напрасно! Бесу лучше оставаться бесом до конца, а женщине женщиной, даже когда уже нет молодости. Метафизика для нее удушливое убежище. Хуже ее разве одна политика. Кажется, когда настает для женщины пора *линяния* и отрезвления, и нужно ей как-нибудь порешить с собой, то лучше уже откровенно и с самоотвержением приняться ей за нюхание табаку: табакерка в руках женщины есть знамение отречения от владычества своего и вместе с тем от сатаны и всех дел его.

Впрочем, все это не касается до нашей княгини. При всей женственности, которой была она проникнута, она, кажется, по натуре ли своей или по обету, никогда не прибегала к обольстительным приемам, в которые невольно вовлекается женщина, одаренная внешними и внутренними приман-

ками. Одним словом, нельзя представить себе, чтобы княгиня, когда бы и в каких обстоятельствах то ни было, могла, если смеем сказать, промышлять обыкновенными уловками прирожденного более или менее каждой женщине так называемого кокетства.

Со всем тем и Пушкин, в медовые месяцы вступления своего в свет, был маленько приворожен ею. Надолго ли, неизвестно, но во всяком случае (не) неправдоподобно. В сочинениях его встречаются стихи, на имя ее написанные, если не страстные, то довольно воодушевленные. Правда, в тех же сочинениях есть и обратная сторона медали. Едва ли не к княгине относится следующая заметка, по поводу появления в свете первых восьми томов Истории Государства Российского: «Одна дама, впрочем, весьма почтенная (в первоначальном тексте сказано *милая*), при мне, открыв 2-ю часть (Истории), прочла вслух: *Владимир усыновил Святополка, однако не любил его...* «Однако! Зачем не *но*? Однако! Как это глупо! Чувствуете ли вы всю ничтожность вашего Карамзина?»

Как ни странна эта критика, но я ею радуюсь. Во-первых, доказывает она, что и в высшем обществе, осужденном за безграмотность многими не высшими судьями нашими, всякая замечательная, хотя бы и русская, книга не ускользает от внимания даже и великосветских барынь. Далее, радует меня сродство критики княгини с критикой многих наших журнальных борзописцев. Замечание княгини так бы и улег-

лось в любом русском журнале. Следовательно, нет этого вопиющего разрыва между литературой нашей и нашим обществом – разрыва, о котором у нас сетуют и против которого так негодуют.

Между тем нелишним допустить здесь предположение, что княгиня находилась тогда под влиянием всеславянского генерала Костенецкого, усердного посетителя и отчасти оракула этого капища. Впрочем, другой приверженец княгини, умный и образованный Михаил Орлов, был также недоволен трудом Карамзина: патриотизм его оскорблялся и страдал ввиду прозаического и мещанского происхождения русского народа, которое выводил историк.

Вот еще заметка Пушкина: «Он (т. е. Орлов) пенял Карамзину, зачем в начале Истории не поместил он какой-нибудь *блестящей гипотезы о происхождении славян*, то есть требовал романа в Истории».

Не дожил Орлов до исполнения патриотических требований и прихотей своих. Позднее возникла школа *гипотез*, более или менее блестящих: выбирай любую. Семь греческих городов спорили о месторождении слепого Омира; наберется, вероятно, столько же изыскателей колыбели русского народа. До окончательного решения спора приходится тысячелетнему младенцу быть без глазу у семи нянек или кормилиц своих.

Но скажем с поэтом:

И всё то благо, все добро!

Может быть, иному скептику и позитивисту покажется довольно суетной и празднословной та упорная тяжба о происхождении нашем – тяжба, за многими и многими столетними давностями следующая на покой в архив. Но если, например, кому-нибудь захотелось бы досконально исследовать, какого цвета волос была кормилица его, давным-давно умершая, была ли она белокурая, рыжая или скорее *шандре*, как говорит городничиха в «Ревизоре», то почему не предоставить ему волю тешиться над этой невинной и никому не мешающей задачей? Нет сомнения, что каждому соблазнительна и лестна попытка доказать, что столетия и ученые авторитеты ошибались и ввали чепуху, а что он один нашел слово истины. Во всяком случае, может быть дело и не совсем бесполезное. Истина историческая, как и многие другие истины, не рождается в наше время в полном облачении, как родилась мудрость из больной головы Юпитера. Ныне истина добывается не так легко: она часто многотрудная переработка, переплавка очищенных заблуждений, устаревших ошибок, предубеждений, суеверных предрассудков.

А чтобы кончить с сим вопросом, позволим себе еще одно замечание: большой прибыли нам не будем, ежели даже откроются новые источники, новые достоверные и неопровержимые справки – чего теперь нет, – по коим докажется как дважды два четыре, что Нестор ошибался, или худо был по-

нят, что ошибались и Шлёцер, и Карамзин. Мы теперь живем не младенческой жизнью, а жизнью уже взрослой и закаленной на огне событий. Как бы то ни было, мы столетиями и подвигами завоевали право называться русскими. И это право давно признано Европой, не безызвестно и Азии. Что же касается до утверждения отечественного прозвища нашего по восходящей линии вплоть до безымянных и баснословных праотцев наших, то в этом нет насущной и неотлагаемой потребности. Признаюсь, по мне, тут кстати сказать: кто ни поп, тот и батька; или кто ни батька, тот и поп. Был бы только приход цел и богохраним: вот это главное.

Незаметным для себя образом и увлекаясь течением мыслей наших, мы немного, и даже много, удалились от задачи, первоначально себе поставленной. Мы хотели вставить в определенную раму уголок из нашей общественной жизни и олицетворить его изображением личности, которая в свое время занимала не последнее место на сцене общежития нашего. Оказывается, что мы в очерке своем значительно перешли объем этой рамы. В извинение себе за подобное своеволие, мы прикрываем археографическое отступление свое (пожалуй, настоящий *hors d'oeuvre*, т. е. *закуску*) знаменитым сарафаном княгини на бале московского дворянского собрания. Под этим нарядом и знамением она без большого труда может втиснуться в раздвижную раму нашу. Более того: мы даже уверены, что любезная тень ее не посетует на нас за то, что мы помянули о ней добрым словом в такой нежен-

ской и полемической обстановке.

Приписка. Когда в памяти нашей пробуждаются очерки личностей, с которыми мы, на веку своем, встречались, жили и бывали в отношениях более или менее близких, мы всегда чувствуем желание, более того, потребность, уловить эти мелькающие призраки, эти в нас еще живые предания минувшего: мы хотим прикрепить их к бумаге. Успеваем ли в попытках своих, этот вопрос решить не нам. Но нам сдается, что на нас как будто лежит обязанность быть одним из хранителей (*кустодов*) дел давно минувших лет и преданий *старины глубокой*, но еще свежей и не онемевшей в воспоминаниях наших.

За неимением кисти Ван-Дейка, мы вырезаем на скорую руку силуэтки, которые со временем могут и пригодиться. Успел же знаменитый естествоиспытатель Кювье, наблюдениями своими, воссоздать по мелким обломкам остовов целые поколения существ, уже с незапамятного времени сошедших с лица земли, и распределить их в методическом и стройном порядке. Почему не надеяться, что и будущий русский Кювье-романист, или историк нашего общежития, не проследует, по разбросанным очеркам нашим, ход, правдивые положения и обстановку русского общества в период, который мы беглым взглядом окидываем?

На будущее всегда позволительно уповать; но, вместе с тем, в настоящем зарождается в нас грустное чувство и сетование, что романисты наши, драматурги, так называемые

нравоиспытательные публицисты наши, вообще столь мало знакомы с достоверными и, так сказать, олицетворенными преданиями русского общества. Вследствие невольного неведения (не хотим и думать о вольном и предумышленном) они бессознательно и неправдиво изображают это общество с самых неблагоприятных сторон: они размалевывают картину свою резкими, неприятными и к тому же фантастическими красками. Одним словом, они клепят на общество наше, чтобы не сказать: клеветают. Под их очерками оказывается, будто наше общество (разумеется, и с их стороны и с нашей речь о высшем обществе) было, если не есть и поныне, до крайности бесцветно, тщедушно, худосочно, малокровно. Если верить им, мышцы его дряблы: в нем нет ни твердости воли, ни способности действия. Существа, образующие это общество, не люди, а какие-то раскрашенные и нарядные куклы. Едва ли оно так.

Не спорим, что можно подсмотреть в нем многие недостатки: например, недостаток зрелой *серьезности*, упирающейся на почву, возделанную и обработанную постоянными и долговременными трудами. Просвещение наше, образованность наша, то есть цивилизация, в некоторых отношениях, несколько поверхностны: они не вошли в нашу кровь и в нашу плоть, а более в привычки наши. Но спасибо и за это. Мы довольствуемся энциклопедическими сведениями; в нас мало специальности, потому что в нас нет долготерпения. С удивительным чутьем, с тонким и возвышенным со-

чувствием, с быстротой и ловкостью мы много хорошего и прекрасного улавливаем налету, а мало что добываем в поте лица, труда и науки. Но едва ли все эти недостатки не окажутся, при ближайшем исследовании, первородными грехами нашими, то есть свойствами и условиями Истории нашей.

«И мимоидый, виде человека слепа от рожества, и вопросиша его ученицы его, глаголюще: Равви, кто согреши, сей ли, или родители его, яко слеп родился. Отвеща Иисус: Ни сей согреши, ни родители его, но да явятся дела Божии на нем».

История народа есть истинно глас Божий над ним.

Так или сяк, куда и откуда не пересаживай генеалогическое дерево наше, но все же мы славяне, славянами родившиеся, или в славян переродившиеся. Как ни увертывайся, а есть в нас доля благородной, добродушной и милой беззатейливости, прирожденной славянской натуре. Гром не грянет, мужик (русский человек) не перекрестится. Эту поговорку выдумали не мы, и не грамотеи, а мы подслушали ее опять-таки из уст самой истории. Нам не тягаться с доками-германцами. Пожалуй, мы иногда и перегоним их, но все же не догоним.

Не должно также терять из виду еще одно историческое обстоятельство. Провидение в одно прекрасное утро послало нам на должность воеводы, дядьки и учителя – богатыря, который был маленько горяч и скор и крепок на руку. Почву свою он не обсеменял в ожидании будущих благ. Он ждатель

не любил и не умел. Желуди были не по нем: давай ему сейчас дубняк. Вот он и стал целиком и живьем пересаживать его на обширных пространствах своей возлюбленной вотчины. И мы все, большие и малые, особенно большие, и старые, и молодые, вольные и невольные, возросли и обжились под этим импровизированным дубняком.

Кажется, князь Цицианов, известный поэзией рассказов, говорил, что в деревне его одна крестьянка разрешилась от долгого бремени семилетним мальчиком, и первое слово его, в час рождения, было: дай мне водки! Может быть, и мы начали пропитание свое не с молока матери, а прямо с водки.

Как бы то ни было, но если упрекать высшее общество наше в недостатке, скажем опять, *серьезности* (за неимением другого слова под пером), усидчивости, духовной возмужалости, то в каких других общественных слоях наших найдем мы живые и поразительные улики в свойствах и качествах, которые могли бы пристыдить это высшее общество в легкомыслии его, незрелости и в умственной и нравственной несостоятельности? Скажем беспристрастно и по совести, что все эти нарекания и междоусобные неприязненные притязания, оглашаемые некоторой частью печати нашей, неосновательны, несправедливы и неблагоприятны. Высшее общество наше имеет в таком случае полное право сказать нашей печати: не вам бы говорить, не мне бы слушать.

Когда К. Я. Булгаков был переведен из директоров Московского почтамта в Петербург на таковую-то должность, на место его назначен был Рушковский, с незапамятных времен служивший по Московскому почтовому ведомству.

Никто никогда не знал ни происхождения, ни родства его. Он точно родился на почте: почта была мать его, семейство, родина. Известная жизнь его начиналась с почты и почтой кончилась она. Он был какой-то почтовый самородок. По некоторым слухам, приметам и по выговору его, можно было приписать его к белорусам, с отпечатком иезуитского образования. Он был большой оригинал, умный, со сведениями и, по крайней мере, по-видимому, простосердечный, скромный, даже когда судьба возвела его на почт-директорское место, место везде и всегда значительное, а в Москве, небогатой представительными должностями, и подавно. Всегда оживленный, веселый, гостеприимный дом К. Я. Булгакова претворялся со дня на день в дом пустынный, отшельнический, в келью.

В первый раз, что я навестил Рушковского в новом жительстве его, он вышел ко мне навстречу с подсвечником, в котором тускло горела сальная свеча. Я тогда отправлялся в Петербург и шутя спросил его, не даст ли он мне писем, чтобы избавиться от любопытства и нескромности почты. На-

добно было видеть, с каким странным и словно испуганным выражением в лице принял он предложение мое. «Нет, – сказал он, – благодарю, но и вам не советую писать никогда с отъезжающими: это ненадежнее, а часто и опаснее, нежели писать прямо по почте».

Булгаков очень любил и уважал его. Вероятно, он и указал начальству на него, как на преемника себе; преемника, но вовсе не наследника. При Булгаковых, т. е. при Константине Яковлевиче, а после кончины Рушковского, при Александре Яковлевиче, почтамт отличался любезной угодливостью всем невинным ходатайствам московских барынь, особенно молоденьких и пригоженьких, по части писем и вообще почтовых сношений и удобств. С Рушковским ничего этого не было. Почтамт сделался заповедным монастырем и недоступной крепостью: с ним существовали одни официальные сношения.

В Москве Рушковского никто не знал, он был нелюдим и не общителен. Кажется, и милый наш всеобщий корреспондент и общий почтовый приживалка, Тургенев, не бывал в переписке с ним: эта черта обрисовывает Рушковского.

Во время бытности императора Александра в Москве Рушковский представлялся ему в кабинете его. Государь, отпуская его, когда он приблизился к дверям, сказал ему: *Il e a la une marche, prenez garde de tomber.* (Тут ступенька; смотрите, не упадите.) Еще не договорены были слова Государя, а Рушковский задел за ступеньку и повалился. Падая, гово-

рит он: C'est deja fait, votre majeste. (Я уже упал, ваше величество.)

* * *

А вот и другой почтовый анекдот довольно исторический и характеристический.

И. Б. Пестель, в звании петербургского почт-директора и президента главного почтового правления при императоре Павле, пользовался особенным благоволением его и доверенностью. Граф Растопчин, род первого министра в то время, был недоволен этим. Не любил ли он Пестеля, имел ли причину не любить, забывался ли перед ним Пестель при счастья своем и, может быть, в ожидании и надежде на счастье еще более возвышенное, опасался ли его Растопчин как соперника, который рано или поздно может победить его, или просто не доверял он искренности, преданности его к Государю? Все это остается не разъясненной тайной. Но вот какую западню устроил Растопчин против Пестеля.

Он написал письмо от неизвестного, который уведомляет приятеля своего за границей о заговоре против императора и входит в разные подробности по этому предмету; в заключение говорил он: «Не удивляйтесь, что пишу вам по почте; наш почт-директор Пестель с нами». Растопчин приказал отдать письмо на почту, но так (неизвестно, каким способом), что письмо должно было непременно возбудить вни-

мание почтового начальства и быть передано главноуправляющему для перлюстрации.

Граф Раstopчин хорошо знал характер императора Павла, но хорошо знал его и Пестель. Он не решился показать письмо Императору, который, по мнительности и вспыльчивости своей, не дал бы себе времени порядочно исследовать достоверность этого письма, а тут же уволил бы его, или сослал. Граф Раstopчин также все это сообразил, и с большой надеждой на удачу. Несколько дней спустя, видя, что Пестель утаивает письмо, доложил он Государю о ходе всего дела, объясняя, разумеется, что единственным побуждением его было испытать верность Пестеля, и что во всяком случае повергает он повинную голову свою перед его величеством. Государь поблагодарил его за прозорливое усердие к нему. Участь Пестеля решена: прекращены дальнейшие успехи его, по крайней мере, на все настоящее царствование; он уволен от занимаемого им места.

Но этим не довольствуется торжество Раstopчина. Он был ума насмешливого, и ему захотелось еще пошутить над жертвой своей, так сказать, подурочить ее. До сообщения Пестелю именного повеления он приглашает его к себе на обед. Тот, обольщенный успехами своими, является к обеду в попытках и с некоторой самоуверенностью. Хозяин расточается перед гостем своим в особенных вежливостях и ласках. Пестель при этом думает, что Раstopчин начинает опасаться его и хочет задобрить. Он проговаривается и двусмысленны-

ми словами указывает на виды свои в будущем. Возвратившись домой от обеда, находит он официальную бумагу, во все не согласную с розовыми мечтами честолюбия его. (Слышано от Карамзина.)

Вот какие разыгрываются водевили, а иногда и драмы на скользкой сцене честолюбивых замыслов и столкновений. Граф Растопчин был человек страстный, самовластный. При всей образованности своей, которая должна бы укрощать своевольные порывы, он часто бывал необуздан в увлечениях и действиях своих. Но он не был зол, хотя, может быть, был несколько злопамятен. Дружба его с доблестным князем Цициановым, уважение к Суворову, позднее постоянно приятельские сношения с Карамзиным, благоговейная признательность к памяти императора Павла, благодетеля своего, а во время служения при нем искренность, в изложении мнений своих, искренность, доходившая иногда до неустрашимости и гражданского геройства, все это доказывает, что он способен был питать в себе благородные и возвышенные чувства.

* * *

И. Б. Пестель – одно из воспоминаний детства моего. Он часто бывал в доме нашем в Москве. Мой отец, довольно строгий и исключительный в приятнях своих, был, сколько мне известно, дружески расположен к нему. Эти приятель-

ские отношения сохранились до кончины отца моего. Когда привез он меня в Петербург для помещения в пансион, он часто виделся с Пестелем. До поступления моего в училище я также часто видался с сыновьями его, почти одного возраста со мною. Вероятно, товарищем в играх моих был и несчастный, столь горестно кончивший свое политическое и земное поприще.

Жена Пестеля, как узнал я из семейных преданий, была очень умная и любезная женщина. Мои родители очень любили и уважали ее; а сколько мне известно, моя мать была также довольно разборчива в связях своих. С нею ездили к нам мать ее, Крок, с ее дочерью незамужней. Салон отца моего был салоном разговора: следовательно, посещавшие его должны были вносить, кто более, кто менее, свою долю ума и любезности. В маленькой комнатной библиотеке отца моего, в одном шкафу с книгами, за стеклами хранился маленький, очень маленький, белой шелковой материи, башмачок. После узнал я, что этот сандрильоновский башмачок обувал маленькую ножку г-жи Пестель. *Honne soit qui mal e pense.* (Пусть будет стыдно тому, кто плохо об этом подумает, – девиз Подвязки.)

* * *

Князь Белосельский (отец милой и образованной княгини Зинаиды Волконской) был, как известно, любезный и

просвещенный вельможа, но бедовый поэт. Его поэтические вольности (*licences poetiques*) были безграничны до невозможности.

Однажды в Москве написал он оперетку, кажется, под заглавием Олинька. Ее давали на домашнем и крепостном театре Алексея Афанасьевича Столыпина. Не придворная, а просто дворовая труппа его, отличалась некоторыми художественными актерами, которые после заняли почетные места в императорском Московском театре. Помню между прочими одного из них, Лисицына: он был очень забавен в комических ролях простачков и долго смешил московскую публику. Оперетка князя Белосельского была приправлена пряностями одного соблазнительного свойства. Хозяин дома, в своем нелитературном простосердечии, а может быть, и вследствие общего вкуса стариков к крупным шуткам, которые кажутся им тем более забавны, что они не очень целомудренны, созвал московскую публику к представлению оперы князя Белосельского. Сначала все было чинно и шло благополучно.

Благопристойности ничто не нарушало.

Но Белосельский был не раз бедам начало.

Вдруг посыпались шутки даже и не двусмысленно прозрачные, а прямо набело и наголо. В публике удивление и смущение. Дамы, многие, вероятно, по чутью, чувствуют: что-то неловко и неладно. Действие переходит со сцены на

публику: сперва слышен шепот, потом ропот. Одним словом, театральный скандал в полном разгаре. Некоторые мужья, не дождавшись конца спектакля, поспешно с женами и дочерьми выходят из зала. Дамы, присутствующие тут без мужей, молодые вдовы, чинные старухи следуют этому движению. Зала пустеет.

Слухи об этом представлении доходят до Петербурга и до правительства. Спустя недели две (тогда не было ни железных дорог, ни телеграфов) князь Белосельский тревожно вбегает к Карамзину и говорит ему: «Спаси меня: император (Павел Петрович) повелел, чтобы немедленно прислали ему рукопись моей оперы. Сделай милость, исправь в ней все подозрительные места; очисти ее, как можешь и как умешь». Карамзин тут же исполнил желание его. Очищенная рукопись отсылается в Петербург. Немедленно в таком виде, исправленную и очищенную, передают ее, на всякий случай, печати. Все кончилось благополучно: ни автору, ни хозяину домашнего спектакля не пришлось быть в ответственности.

Для статистического и топографического определения прибавим еще несколько слов: дом Столыпина, в Знаменском переулке, близ Арбатских ворот, не горел в пожаре 1812 года и существует донныне. В старину, то есть при владельце Столыпине, был он, как мы видим, сборным местом увеселений и драматических зрелищ. Старая Москва славилась не одним этим театральным барским домом. Были домашние, дворовые и даровые спектакли у князя Шаховского,

бригадира Дурасова, Познякова. Комик князь Шаховский, в забавной комедии, осмеял эти *полубарские затеи* родственника своего или однофамильца. Но мы опять скажем: эти *затеи* были не худшая сторона русского крепостничества. Напротив, они имели и свое хорошее значение.

Дом Столыпина перешел после во владение князя Хованского, а от него куплен был князем Трубецким, и вот по какому случаю. По соседству с ним был дом князя Андрея Ивановича Вяземского, у Колымажного двора. (Ныне княгини Натальи Владимировны Долгоруковой – прим. изд. 1883 г.) Когда князь скончался, на отпевание приглашен был московский викарий. По ошибке приехал он в дом Хованского и, увидев князя, сказал он ему: «Как я рад, князь, что встречаю вас; а я думал, что приглашен в дом ваш для печального обряда». Хованский был очень суеверен и вовсе не располагался умирать. Он невзлюбил дома своего и поспешил продать его при первом удобном случае.

* * *

Длинный, многословный рассказчик имел привычку по минутно вставлять в речь свою: *короче сказать*.

«Да попробуй хоть раз сказать *длиннее сказать*, – прервал его NN., – авось будет короче».

Умному К. советовали жениться на умной и любезной девице Б. И она, и он были рябые. – «Что же, – отвечал он, –

вы хотите, чтобы дети наши были вафли».

* * *

Говорили об интересном и несколько двусмысленном положении молодой ***... «А муж ее, – сказала одна из ее приятельниц, – так глуп, что он даже не слышал, что жена его беременна».

* * *

Некоторые драматические писатели – зачем называть их поименно? – отвергли три классические драматические единства: времени, места и содержания, или интереса. Они заменили их единым единством: единством скуки.

* * *

В походах своих на драматических французских классических писателей, А. М. Пушкин перевел, между прочим, и комедию Реньяра *Игрок* и, помнится, удачнее других попыток своих. Ее должны были разыгрывать любители в подмосковной Екатерины Владимировны Апраксиной. Сама хозяйка принимала в ней участие, равно как и сам переводчик, княгиня Вяземская, Василий Львович Пушкин и дру-

гие. Роль слуги передана была Б., видному мужчине, который держал себя особенно благоприлично. Пушкин находил, что он и в роли своей немного чопорен, и заметил это ему, как чадолюбивый родитель детища, которое должно было явиться в свет, как режиссер домашнего спектакля и как сам отличный актер. «А позвольте спросить, – возразил Б., – благородный ли спектакль у нас или нет?» – «Разумеется, благородный». – «Так предоставьте же мне разыгрывать роль свою благородно, а не по-лакейски».

* * *

Совместник А. М. Пушкина по части драматических переводов был Дмитрий Евгеньевич Кашкин, брат известного и любимого в Москве бригадира, а потом сенатора Николая Евгеньевича. Но этот нападал более на новейших французских трагиков: классиков оставлял он в покое. Таким образом смастерил он с полдюжины трагедий. Пушкин, встретясь с ним, спрашивает: «Нет ли у вас новой трагедии?» – «Нет, – отвечает он, – я трагедии оставил, мне показалось, что это не мой род: я принял за комедии».

* * *

В Константинополе спросил я одного известного и знаме-

нитого греческого поэта, многие ли ныне занимаются поэзией в Греции? «Кому же теперь заниматься? – отвечал он. – Мы с братом захватили всю поэзию: я драматическую, а он лирическую. Другим тут места нет».

Вот семейный и братский миролюбивый раздел.

* * *

А. М. Пушкин, по сходству фамилий, величал всегда графом одного барина, который никакого графства за собой не имел. Кто-то заметил Пушкину ошибку его. – «А, теперь понимаю, – сказал он, – почему, когда случается мне заговорить с ним, он поспешно отводит меня в угол комнаты, чтобы подальше от людей и беспрепятственно насладиться, когда я сиятельствую его».

* * *

Одна милая, умная молодая женщина, в откровенной исповеди, сказала мне... Но как пересказать то, что она мне сказала? Впрочем, попробуем, но со следующей оговоркой, в виде предостережения:

La mere en defendra la lecture a sa fille;

А особенно:

L'epoux en defendra la lecture a sa femme⁹.

Вот сущность слов моей своеобразной собеседницы: «Женщина, которая себя уважает и не совсем заглушила совесть свою, ни в каком случае, ни при каких увлечениях страсти, не позволит себе подвергнуться опасению водворить в семью свою детей, которые не принадлежали бы мужу ее.

Но раз мужем застрахованная на известный срок (ее собственное выражение), это дело другое: тогда она не так безусловно обязана бороться с наступающим искушением. Таким образом уравниваются брачные права и ответственность между супругами. В устройстве нашего общества главное преимущество мужа перед женой заключается в том, что проступок, что грех его не позорит семьи, не вводит в нее незаконных наследников и наследниц: семья остается нерушимой твердыней, святыней, по крайней мере, фактически непоруганной и незатронутой. Вы, мужчины, счастливы: даже и преступление ваше имеет в пользу свою облегчающие вину обстоятельства». Вот новые соображения для любопытной главы философии и физиологии брака.

⁹ Мать запретит читать об этом своей дочери. – Муж запретит читать об этом своей жене.

* * *

Дмитрий Гаврилович Бибиков, узнав о болезни одного из наших государственных людей, посетил его. Ему показалось, что больной очень задумчив и мрачен. Приписывая это опасению за исход болезни, начал он утешать его, говоря, что он вовсе не так болен и скоро непременно оправится. «Вовсе не за себя беспокоюсь, – отвечал тот, – а мне жаль бедной России: что будет с нею, когда я умру».

Вот человек, который, при всем обширном уме и больших способностях своих, имел простодушие думать, что он необходим.

А на что же Провидение? Оно не воплощается в одном человеке. Иногда оно как будто выдает полномочие ему, но все это на известное время, и к тому же на известных условиях. У Провидения есть всегда в запасе свои калифы на час.

На белом свете лишних людей много, нужных мало, необходимых вовсе нет.

* * *

Князь Андрей Кириллович Разумовский был в молодости очень красивый мужчина и славился своими счастливыми любовными похождениями, то есть благородными интри-

гами, как говорится у нас в провинции, и как говорилось еще и недавно в наших столицах.

Он был назначен посланником в Неаполь. В то время Неаполитанской королевой была Каролина, известная красавица и не менее известная своими благородными, а может быть, и инородными интригами. Долгое время фаворитом ее был ирландец Актон, а фавориткой леди Гамильтон, тоже известная в хронике любовных происшествий.

После официального представления королеве граф Разумовский распустил по городу слух, что удивляется общей молве о красоте ее, что он не видит ничего в ней особенного. Этот слух, разумеется, дошел до королевы: он задрал за живое женское и царское самолюбие. Опытный и в сердечной женской дипломатике, Разумовский на это и рассчитывал. Через месяц он был счастлив. (Рассказано графом Косаковским.)

Граф Разумовский был очень горд. Однажды, на эрмитажном спектакле, Павел Петрович подзывает Растопчина и говорит ему: «Поздравь меня, сегодня мне везет: Разумовский первый поклонился мне». (Слышано от графа Растопчина.)

Я познакомился с Разумовским (уже князем) в Вене в 1835 г. Он был уже стар, но видны были еще следы красоты его. Он показался мне очень приветлив и обхождения простого и добродушного, что, впрочем, заметил я, за несколько лет перед тем, и в брате его графе Алексее Кирилловиче, который также слыл некогда гордецом. J'etais jeune

et superbe (Я был молод и горд), могли сказать они с поэтом. Но жизнь присмирила их. Можно еще постигнуть молодого гордеца: тут есть чем похвастаться, когда есть молодость прекрасная, цветущая и к тому же еще одаренная разными преимуществами. Но что может быть жалче и глупее старого гордеца? Старость не порок, а хуже: она немощь и недуг. Пожалуй, стыдиться ее не для чего, но и похвалиться нечем.

Граф Разумовский имел свой собственный великолепный дом в Вене и жил в нем барски. Город этот был совершенно по нем, и в нем оставался он до самой кончины своей, уважаемый и любимый венским аристократическим обществом, что дело не легкое и не всякому удается. Венское общество славилось всегда блеском своим, общежительством, но более между собой, и было довольно исключительно и недоступно для иностранцев и разночинцев, своих и чужеземных.

Царский конгресс 1814 г., род политического вселенского собора, не мог выбрать в Европе лучше сцены для своих лицедеев и действий. Утром занимались делами, ворочали и переворачивали Европу; вечером присутствовали на великолепных праздниках и балах. Старый принц де-Линь, любезный и любимый собеседник и попутчик Екатерины Великой, доживший до конгресса, говорил: «Конгресс пляшет, но не подвигается вперед». Император Александр и министр его Разумовский достойно разыгрывали роли свои на этом театре, собравшем в одну группу все, что Европа имела блестящего и высокопоставленного. Венский конгресс мог в своих

переговорах и прениях обмолвиться не одной ошибкой, но все же он был важное и занимательное историческое событие в европейских летописях.

Наши политические недоброжелатели, чтобы не сказать враги, остались недовольны этим конгрессом, и в продолжении многих лет они напрягали все свои силы и козни, чтобы ослабить и уничтожить последствия его. Равно вооружались они, из неприязни к нам, и против Священного Союза. Все эти враждебные усилия и постоянные, так сказать, злоумышления не доказывают ли, что в сущности, за исключением частных промахов и ошибок, была в этой политике и в основе ее, положенной Александром I, и своя доля пользы и первенствующей власти для России? Не из любви же к нам недоброжелатели наши так усердно, упорно и горячо работали, чтобы потрясти и окончательно ниспровергнуть создание рук императора Александра. А наши недалёковидные, невинные журнальные политиканы туда же лезут за европейскими крикунами и с негодованием и ужасом порицают политику Александра I. Легко пересуживать задним числом попытки, действия и события минувшего! Не должно забывать, что Провидение, что История имеют свои неожиданные, крутые повороты, свои *coups d'etat* и *coups de theatre* (перевороты государственные и театральные), которые озадачивают и сбивают с панталыку всякую человеческую мудрость. То, что казалось полезным и нужным в известное время, может, в силу непредвидимых и не подлежащих чело-

веческой видимости обстоятельств, принять в другое время совершенно противоположный оборот.

В проезд мой через Вену, жила у деверя своего графиня Мария Григорьевна Разумовская, вдова брата его графа Льва Кирилловича. Она меня и представила хозяину дома. На прощанье граф посоветовал мне ехать на Прагу. «Она напомним вам нашу Москву», – сказал он.

Граф Лев Кириллович был также замечательная и особенно сочувственная личность. Он не оставил по себе следов и воспоминаний ни на одном государственном поприще, но много в памяти знавших его. Отставной генерал-майор, он долго жил в допотопной или допожарной Москве, забавлял ее своими праздниками, спектаклями, концертами и балами, как в доме своем на Тверской, так и в прекрасном своем загородном, Петровском. Он был человек высокообразованный: любил книги, науки, художества, музыку, картины, ваяние. Едва ли не у него первого в Москве был зимний сад в доме. Это смешение природы с искусством придавало еще новую прелесть и разнообразие праздникам его. Брат его граф Алексей Кириллович имел в то время в Горенках замечательный и богатый ботанический сад, известный в Европе, и при нем равно известного и ученого ботаника Фишера. Москва в то время славилась не одним барством, а барство славилось не одной азиатской пышностью. Граф Лев Кириллович был истинный барин в полном и настоящем значении этого слова: добродушно и утонченно вежливый, любил он

давать блестящие праздники, чтобы угощать и веселить других. Но вместе с тем дорожил он ежедневными отношениями с некоторыми избранными: графом Растопчиным, Карамзиным, князем Андреем Ивановичем Вяземским, князем Андреем Петровичем Оболенским, графом Михаилом Юрьевичем Вьельгорским и другими. Сверх того, у него были тесные связи с передовыми и старостами масонства.

В молодости был он большой сердечкин и волокита. Дмитриев рассказывал, что на дежурства на петербургских гауптвахтах ему то и дело приносили, на тонкой надушенной бумаге, записки, видимо, написанные женскими руками. Спешил он отвечать на них на заготовленной у него также красивой и щегольской бумаге. Таким образом упражнялся он и утешал себя в душных и скучных стенах не всегда опрятной караульни.

Позднее влюбился он в княгиню Голицыну, жену богача, которого прозвали в Москве соса гага. Она развелась с мужем и обвенчалась с графом Разумовским. Он страстно любил ее до самой кончины своей. Брак, разумеется, не был признан законным, то есть не был официально признан, но семейством графа, то есть Разумовскими, графом Кочубеем, Натальей Кирилловной Загряжской Мария Григорьевна была принята радушно и с любовью. Дядя графа, фельдмаршал граф Гудович, был в Москве генерал-губернатором. В один из приездов императора Александра, дядя, вероятно, ходатайствовал перед его величеством за племян-

ника и племянницу. На одном бале в наместническом доме государь подошел к Марье Григорьевне и громко сказал: *Madam la comtesse, voulez-vous me faire l'honneur de danser une polonaise avec moi?*¹⁰ С той минуты она вступила во все права и законной жены, и графского достоинства. Впрочем, общество, как московское, так и петербургское, по любви и уважению к графу и по сочувствию к любезным качествам жены, никогда не оспаривали у нее этих прав.

Граф Лев Кириллович, или как обыкновенно звали его в обществе, *le comte Leon*, был в высшей степени характера благородного, чистейшей и рыцарской чести, прямодушен и простодушен вместе. Хозяин очень значительного имения, был он, разумеется, плохой хозяин, как и подобает или подобало русскому барству. Вопреки изречению Евангелия, у нас кому много дано, у того много и отпадает. Те, у кого мало, имеют еще надежду, да и к тому же умение, округлить это малое. Граф был любезный говорун. При серьезном выражении лица и вообще покойной осанке (как иначе перевести выразительное слово *tenue?*), он часто отпускал живое, меткое, забавное слово. Он несколько картавил. Даже вечный насморк придавал речи его особенный и привлекательный диапазон: по крайней мере таково мое детское впечатление, уцелевшее и поныне.

Я лет десяти особенно и внимательно вслушивался в раз-

¹⁰ Графиня, не угодно ли вам сделать мне честь протанцевать со мною польский?

говор его, когда он навещал отца моего, с которым был очень дружен. Детство восприимчиво и впечатлительно. Помню, как будто видел это вчера, сани его, запряженные парюю красивых коней, и светлой белизны покрывало, которым был обтянут передок саней. Малороссийский гайдук в большой меховой шапке стоял на запятках. Граф, войдя в первую комнату, бросал ловко и даже грациозно большую меховую муфту свою. Проходя мимо, он всегда приветствовал меня приветливым и веселым словом. Позднее удостаивался я и приятни его. Большое счастье для сына быть обязанным отцу своему доброжелателями, так сказать, по наследству, которые сохраняют прежние связи с умершими, в лице их детей.

В воспоминаниях детства моего встречаюсь и с графиней Разумовской, в то время еще княгиней Голицыной. С чуткой и бессознательной догадливостью *бедовых детей* (*enfants terribles*), скоро подметил я, что за муфтой графа не замешкает явиться и княгиня, или за княгиней немедленно покажется и муфта. Я всегда так и караулил эти неминуемые, одно за другим последовательные явления. Она в молодости своей пела очень мило; впрочем, и до конца была любительницей и ценительницей хорошей музыки. Однажды задра-ла она заживо стихотворческое и русское самолюбие Нелединского. Пропев романс Ханькова: *Quand sur les ailes des plaisirs* и пр.¹¹, графиня сказала Нелединскому: «Вот никак не передать этих слов на русский язык». На другой день при-

¹¹ Когда на крыльях удовольствия.

вез он ей свой прелестный перевод.

Помню, как она меня, ребенка, учила петь следующий куплет:

Enfant cheri des dames,
Je fus en tout pays,
Fort bien avec les femmes.
Mai avec les maris¹².

Есть имена, которые, раз попавшись под перо, невольно вовлекают его в дальнейшие подробности. Имя графини Разумовской принадлежит этому разряду. Она, в некоторых отношениях, едва ли имела много себе подобных. Во-первых, знавшие ее с молодых лет говорили, что она хорошела с годами, то есть, разумеется, до известного возраста. В годах полной зрелости, и даже в годах глубокой старости, она могла дать о себе понятие, что была некогда писаной красавицей, чего, говорят, никогда не было. Во-вторых, позднее, пережила она всех сверстников и свое современное поколение; пережила многих и из нового, так что мафусаиловские года ее оставались головоломной задачей для охотников до летоисчисления.

Долго, по кончине графа, мужа своего, предавалась она искренней и глубокой скорби. Глаза ее были буквально двумя источниками непрерывных и неистощимых слез. Для здо-

¹² Любимое дитя дам, я во всех странах был очень хорош с женами, нехорош с мужьями.

ровья ее, сильно пострадавшего от безутешной печали, при-
советовали ей съездить на время в чужие края. Там мир но-
вых явлений и впечатлений, новая природа, разнообразие
предметов, а, вероятно, более всего счастливое сложение на-
туры и характера ее, взяли свое. Она в глубине души оста-
лась верна любви и воспоминаниям своим, но источник слез
иссяк: траур жизни и одеяний переменялся на более светлые
оттенки. Она не забыла прежней жизни своей, но перероди-
лась на новую. Париж, Вена приняли ее радушно: дом ее сде-
делся опять гостеприимным.

Русские, особенно богатые, имеют дар привлекать ино-
странных; к тому же иностранцы умеют ценить благовоспи-
танность и дорожат ею. А должно признаться, что русские
дамы высшего общества, в нем рожденные, в нем выросшие,
чуждающиеся излишней *эмансипации* и не гонящиеся за
эксцентричностью (два слова и два понятия нерусского про-
исхождения), умеют поставить себя везде в отношении бла-
гоприятные и внушающие уважение.

Г-жа Жирарден, в известных остроумных парижских
письмах своих, печатаемых за подписью Виконта де Лоне,
упоминает о графине Разумовской и о ее парижском салоне.
Благодарный Карлсбад посвятил ей памятник: она была на
водах душой общества и хороводницей посетителей и посе-
тительниц этого целительного уголка. Почин прогулок, весе-
лий, праздников ей принадлежал. Такую власть иначе при-
обрести нельзя как образованностью, навыком утонченного

общежития, вежливыми приемами и привычками, которые делаются второй натурой.

По возвращении своем в Россию она тотчас устроила положение свое в Петербурге и заняла в обществе подобающее ей место. Дом ее сделался одним из наиболее посещаемых. Обеды, вечеринки, балы зимой в городе, летом на даче, следовали непрерывно друг за другом. Не одно городское общество, но и царская фамилия были к ней благоприятно расположены. Император Николай и государыня Александра Федоровна были к ней особенно милостивы и удостоивали праздники ее присутствием своим. И ее принимали они запросто в свои и немногочисленные собрания. Великий князь Михаил Павлович, который любил шутить и умел вести непринужденный и веселый разговор, охотно предавался ему с графиней. Все это, разумеется, утешало и услаждало ее светские наклонности.

Но, при всей любви своей к обществу, соблазнам и суетным развлечениям его, она хранила в себе непочатый и, так сказать, освященный уголок, предел преданий и памяти минувшего. Рядом с ее салонами и большой залой было заветное, домашнее, сердечное для нее убежище. Там была модельня с семейными образами, мраморным бюстом Спасителя, работы знаменитого итальянского художника, с неугасающими лампадами и портретом покойного графа. Кто знает, какие думы, какие чувства сосредотачивались в ней, когда входила она в эту домашнюю святыню и пребывала в ней в

молитве и с глазу на глаз с сердечной памятью своей?

Она не любила рисоваться, не любила облекать себя в назидательную наружность: в ней не было и тени притворства; не было ни желанья, ни умения прикрывать свои и невинные слабости личиной умышленной и обдуманной внешности. Напротив, она скорее была склонна как бы хвалиться своими слабостями: не по летам молодостью нрава своего, нарядов, обычаев, жадностью (доходившей до слабодушия) светских развлечений, веселий и вечно суетного движения. Но нет, она и тут не хвалилась: она ничем не хвалилась, а была таковой бессознательно, неприметно для себя самой, единственно потому, что натура таковой создала ее. Она была правдивая, чистосердечная личность. Общественное строгое суждение, насмешливое злоречие обезоруживались и немели перед нею. То, что могло бы казаться смешным в другой, находило везде не только снисхождение, но и сочувствие. Все были довольны, что она была довольна; все тому радовались, что ей было радостно и весело. Личности, одаренные такими свойствами и способностями, бывают в обществе столь редкие исключения, так много встречаешь людей скучающих жизнью, не умеющих ужиться с нею, жалующихся на нее, что невольно отдохнешь, когда попадается на глаза светлое изъятие из этой почти поголовной неуживчивости и брюзгливости.

Говоря о слабостях ее, нельзя не указать особенно на одну из них, совершенно женскую: а именно на страсть ее к наря-

дам. Когда в 1835 году в Вене собиралась она возвратиться в Россию, просила она проезжавшего через Вену приятеля своего, который служил в Петербурге по таможенному ведомству, облегчить ей затруднения, ожидавшие ее в провозе туалетных пожитков. «Да что же намерены вы провезти с собой?» – спросил он. «Безделицу, – ответила она, – триста платьев». Она была неутомима в исправлении визитов: лошади ее не пользовались синекурой, а зарабатывали свой овес в труде и поте. Рассказывали в городе, что у нее была соперница по этой части, и когда кучера той и другой съезжались где-нибудь, то они, один перед другим, высчитывали и хвастались, сколько в течение утра сделали они визитов со своими барынями.

На этом фотографическом снимке не можем мы и не хотим кончить наше памятование о графине Разумовской. Прибавим еще несколько очерков. Она была отменно добра, не только пассивно, но и деятельно. Все домашние и близкие любили ее преданной любовью. Много добра и милостей совершала она, без малейшего притязания на огласку. Она была примерная родственница и охотно делила богатство свое с родственниками и дальними, нуждающимися в помощи. Брату своему, князю Николаю Григорьевичу Вяземскому, подарила она свой великолепный дом на Тверской, обратившийся после в помещение Английского клуба.

Свойство, а может быть, и погрешность, аристократического круга есть ограничение, суживание этого круга до са-

мой тесной исключительности. Этому правила и обычая не держалась она: на балах и раутах ее в Петербурге встречались лица, часто совершенно незнакомые высшему петербургскому обществу. В присутствии царских особ, в наплыве всех блестящих личностей туземных и дипломатических, были ласково принимаемы ею и дальние родственники, приезжие из провинций. На это нужна была некоторая независимость и смелость, и сердечная доброта ее выказывала открыто эту независимость и смелость.

Ей очень хотелось ехать в Париж на выставку 1861 года. Она, не слишком бережливая на расходы, скопила и отделила нужную сумму на совершение этой поездки, не теряя, вероятно, из виду освежить и пополнить свой туалетный пакугауз, если не в численности венского счета, нами выше упомянутого, то все же в почтенном размере. Срок отъезда приблизился, а она не ехала. Я спросил ее: когда же она едет? Она отвечала неопределенно. Что же оказалось? Сбереженным ею деньгам для увеселительной прогулки дала она другое назначение: узнав, что один из молодых родственников ее много задолжал и находится в нужде, она, долго не думая, употребила эти деньги на уплату долгов его. Такая черта была бы замечательна и прекрасна в каждом, но со стороны ее, которую обыкновенно почитали женщиной легкомысленной и беспредельно преданной развлечениям и соблазнам светским и которая в самом деле была такова, этот поступок имеет все свойства жертвы благочестивой и почти героической.

Вот чем довершу памятную записку свою о графине Марии Григорьевне Разумовской, которую все любили, но не все знали. Под радужными отблесками светской жизни, под пестрой оболочкой нарядов парижских нередко таятся в русской женщине сокровища благодушия, добра и сердоболия. Надобно только иметь случай подметить их и сочувственное расположение, чтобы их оценить и воздать им должную признательность.

* * *

В заключение светлых воспоминаний о семействе графов Разумовских приведем одно довольно мрачное воспоминание. Один из сыновей графа Алексея Кирилловича был в первых годах столетия заключен в Суздальский Спасо-Ефимиев монастырь. Монастырь этот, не знаю с которого времени и по какому поводу, был и обителью благочестивых иноков, и какой-то русской Бастилией, в которую административными мерами ссылали преступников или провинившихся особенного разряда.

Молодой граф был, без сомнения, не в нормальном умственном положении. Говорили, что учение Иллюминатов вскружило ему голову за границей, что вследствие этого он предавался иногда увлечению диких страстей и совершал поступки, нарушающие законное и общественное благочиние. Замечательно, что сам отец слыл усердным, высокопо-

ставленным членом в иерархии Мартинистов. Пример его, может быть, пагубно подействовал на сына. Рассказывали, что молодой граф, ехавший по большой дороге в России, выстрелил в коляске из пистолета в ямщика, сидевшего на козлах. Все это слухи, за достоверность коих не ручаемся, но дело в том, что он сидел в монастыре и вовсе не по благочестивому призванию и не по доброй воле.

В 1809 году, или около того, сенатор Петр Алексеевич Обрезков ревизовал Владимирскую губернию. Был он и в Суздале с чиновниками своими, был и в помянутом монастыре (в числе этих чиновников был и Алексей Перовский, будущий автор Монастырский). Это было в воскресный день. Архимандрит, после обедни, пригласил нас всех на завтрак или на закуску. В келье его нашли мы еще довольно молодого человека, прекрасной, но несколько суровой наружности: лицо смуглое, глаза очень выразительные, но выражение их имело что-то странное и тревожное, волосы черные и густые. Одет он был в какой-то халат, обшитый, кажется, мерлушкой; на руке пальцы обвиты были толстой проволокой, вместо колец. Это был граф Разумовский, отрасль знатной фамилии, рожденный быть наследником значительного имения, по рождению своему и по обстоятельствам призванный и сам занять в обществе блистательное и почетное место. Когда приступили мы к завтраку, граф с приметным удовольствием и с жадностью бросился на рюмку водки, которую поднесли ему. Архимандрит говорил, что затворник всегда ждал с нетерпе-

нием этой минуты, которая повторялась только по воскресеньям и праздничным дням.

Не помню, по какому поводу, зашла речь об аде и о наказаниях, которым грешники в нем подвержены. Граф вмешался в разговор и сказал, что наказание их будет в том состоять, что каждый грешник будет видеть, непрерывно и на веки веков, все благоприятные случаи, в которые мог бы он согрешить невидимо и безнаказанно, и которые пропустил он по оплошности своей. Мысль довольно замысловатая. Не помню, есть ли что подобное ей в *Божественной Комедии* Данте, но эта кара могла бы занять не последнее место в адовой уголовной статистике великого поэта.

Вот еще просится под перо одно воспоминание из того же времени, из той же поездки и также по монастырской части. При выезде из Казани сенатора Обрезкова и жены его, Елизаветы Семеновны (которая была прославлена и обессмерчена прекрасными стихами Нелединского), большая часть избранного казанского общества провожала нас до города Свяжска. Там ожидал нас напутственный завтрак. В числе встречавших нас был и архимандрит. И вот какая встреча тут случилась. Архимандрит вглядывался в молодого человека из провожающих: тот пристально вглядывался в архимандрита. Наконец архимандрит узнает в молодом человеке Чемесова (сына богатого казанского домовладельца и помещика), которого он, во время служения своего кварталным в царствование императора Павла, по повелению его, вывез из

Петербурга. Эта драматическая, водевильная встреча очень нас всех позабавила.

* * *

Казанское общество в то время, в 1809 году, было очень приятно, и даже блистательно. Губернатором был Мансуров, женатый на красавице княжне Баратаевой; дом его был гостеприимный. Семейство Юшковых, Чемесовых, Дебособр (?) и многие другие вносили каждое свою посильную лепту в казну общежития и приятных развлечений. Были даже тут и поэты, которые воспевали прекрасную сенаторшу. Театр был очень порядочный; один из актеров, по имени Грузинцев, с большим искусством и воодушевлением передавал роль разбойника в драме Шиллера.

Вообще эта официальная и ревизионная поездка от Москвы до Перми представляла ряд любопытных впечатлений. Не лишена была она и некоторых поэтических оттенков, по крайней мере для канцелярской молодежи. Незнакомая нам приволжская и прикамская природа с разнообразными картинами своими была для нас новым зрелищем. Провинциальная жизнь и обстановка, хотя иногда и странная, выкупала свои областные и местные особенности добродушным гостеприимством и желанием угодить и угостить, как можно лучше, своих столичных посетителей. К тому же везде встречались несколько людей и не лишенных образованно-

сти. Они вынесли из прежней жизни в столицах привычки общежития и вежливости. Эти привычки, перенесенные на провинциальную почву и несколько приспособленные к этой почве, имели для нас особенный вкус новинки. О женщинах и говорить нечего. Женская натура носит в себе самой родник богатых задатков и успешного развития. Ей не нужно ни университетов, ни гимназий, чтобы образоваться. Женская натура угадывает то, что мужчина постигает ценой напряженного труда. Она сама себе своя школа, своя наука. Кому не случилось встречать и в отдаленных областях России женщин, к которым можно применить стихи Жуковского:

Как часто редкий перл, волнами сокровенный,
В бездонной пропасти сияет красотой;
Как часто лилия цветет уединенно,
В губернском воздухе теряя запах свой¹³.

Перенесите этот перл в роскошное ожерелье, перенесите эту лилию в сад, и они будут предметами общего удивления и общей привлекательности. По крайней мере таковы были наши тогдашние путевые впечатления. Каждый из нас оставлял по себе на память частичку сердца своего в том и другом городе.

Особенно памятно довольно долгое пребывание в Пер-

¹³ У Жуковского: в пустынном воздухе. (Примеч. издания 1883 года.)

ми. Пермским генерал-губернатором был Модерах, человек очень умный, очень деятельный, может быть, несколько самоуправный в своих административных действиях, но принесший краю много пользы. Он завел в Пермской губернии первые в России шоссе. В 1809 году мы беспрепятственно и покойно катились по этому дорожному полотну. В Перми, родине поэта Мерзлякова, в числе чиновников, нашли мы дядю его того же имени и, помнится, печатный экземпляр первой оды, которую он написал, бывши еще школьным учеником. Семейство Модерха заключалось в нескольких дочерях. Казалось, видишь семью из романа Августа Лафонтена, перенесенную на берега Камы и под свинцовое небо, в преддверье Уральских гор. Между тем эти переселенки совершенно обрусели, следили за русской литературой и жили общей русской жизнью, на которую повеяло благоуханием Рейнской природы.

Одна из дочерей, жена генерала Певцова, бывшего гатчинца, была необыкновенной красоты и очень образованная и любезная женщина. Один из канцелярских чиновников, находившихся в свите сенатора, сказал ей в санях, во время поездки в какой-то медноплавильный завод:

Природа здесь печальна и сурова,
Но душу ей придать умела ты.
Ты здесь живешь, прекрасная Певцова,
И Пермь тобой есть царство красоты.

Если мы раз уже вступили в канцелярские и сердечные нескромности и сплетни, то пойдем еще далее. Эти нескромности прикрыты многими давностями; эти нескромности чуть не допотопные и не замогильные: не грешно их разглашать. Этот же чиновник, лет семнадцати с небольшим, на бале, танцуя с Певцовой, открылся ей в любви и предложил жениться на ней, если разведется она со своим гатчинским мужем. *Commene pouvez-vous croire, – отвечала она, – que j'aille me compromettre pour un enfant?* (как можете вы думать, что я скомпрометирую себя для ребенка). Тут чиновник доказал, что он в самом деле ребенок: он публично расплакался на генерал-губернаторском бале. Впрочем, после дело приняло более спокойный оборот: на безвременную и несовершеннолетнюю любовь его отвечали добродушной и нежной дружбой. Взаимные отношения установились мирные и правильные.

А вот еще маленький эпизод из этой же домашней, канцелярской и негласной драмы. Сенатор отправился в Екатеринбург со своей свитой. Влюбленный чиновник не мог выносить разлуку с кумиром своим. На дороге, в городе Кунгуре, в котором назначен был первый ночлег, он наклепал на себя боль в глазах и выпросил позволение возвратиться в Пермь. По приезде в город, он на другой день был поражен сильным воспалением глаз. Во все время отсутствия сенатора, то есть около трех недель, просидел он один в темной комнате. Подите, не верьте после того, что каждая ложь, каждый грех не

несут, рано или поздно, им подобающей кары на земле. Как бы то ни было, молодой влюбленный чиновник сглазил себя поклепом на глаза свои.

* * *

В первых годах текущего столетия французская труппа при петербургском театре отличалась многими первостепенными дарованиями. Что ни говори, а хороший иностранный театр в столице есть роскошь не только позволительная, но и полезная и просветительная. Подобная роскошь не может подавлять развитие туземного театра – напротив. А если и подавляет, то разве в том случае, когда туземного настоящего, самобытного театра нет. Есть театральная дирекция, есть и актеры, есть и драматические писатели, пожалуй, есть и публика, но все же нет театра, а есть что-то вроде полубарских затей.

В числе отличных французских актеров особенно выделялся комик необыкновенного дарования, Фрожер. Он был любим двором и обществом: забавлял их и смешил. Кроме сценических успехов, ценили в нем и дарование искусного и оригинального рассказчика. Был он к тому же и отличный мистификатор. Между прочими рассказами был один очень забавный.

Какой-то несчастный, за проделки свои, был осужден на повешение, но он с виселицы сорвался живой, из благодар-

ности сделался палачом, и впоследствии пришлось ему повесить палача своего, который – на грех мастера нет – сам провинился и осужден был правосудием. Рассказ заключался следующим нравоучением:

Heureux celui qui peut rendre
Un bienfait a lui rendu;
Nais plus heureux qui peut pendre
Le beurreau qui Га pendu.

Это нравоучение можно, кажется, так передать по-русски:

Тот может быть несказанно-утешен,
Кто за услугу сам воздать услугой мог;
Но счастливей еще, кого сподобит Бог
Повесить палача, которым был повешен.

Заметим мимоходом, что по свойству нашего языка, трудно, если не вовсе нельзя, перевести короткие французские стихи такими же короткими русскими стихами. Наш Велико-росский язык богат и великороссийскими, или длинно-российскими словами, которых не скоро упрячешь в стих. Да и обороты французских выражений легче и поворотливее, чем наши.

Мы сказали, что Фрожер был искусный мистификатор. Этому слову нет соответственного у нас. Мистификация не просто *одурачение*, как значится в наших словарях. Это, в своем роде, разыгрывание маленькой домашней драматической шутки. В старину, особенно во Франции – а следовательно, и к нам перешло – были, так сказать, присяжные мистификаторы, которые упражнялись и забавлялись над простодушием и легковерием простаков и добряков. Так например, Фрожер, мастер гримироваться и переряжаться, не только перед лампами и освещением сцены, но и днем и запросто в комнате, бывал представляем в разные салоны под видом то врачебной европейской знаменитости, приехавшей в Петербург, то под известным именем какого-нибудь англичанина или немца, и так далее. До конца вечера разыгрывал он невозмутимо принятую на себя роль. В обществе находились доверчивые простачки. Легко вообразить, какие выходили тут забавные недоразумения и *qui pro quo* (прошу покорнейше и это слово перевести по-русски).

В Париже был литератор Поансине (Poinsinet). По необыкновенной доверчивости своей был он мишенью всех возможных мистификаций. Однажды уверили его, что король хочет приблизить его ко двору и назначить *придворным экраном* (ширмы, щит перед камином). Поансине поддался на эту ло-

вушку, несколько дней сряду стоял близехонько перед пылающим камином и без милосердия жарил себе икры, чтобы приучить себя к новой должности своей.

Милый и незабвенный наш Василий Львович Пушкин был в своем роде наш Поансине. Алексей Михайлович Пушкин, Дмитриев, Дашков, Блудов и другие приятели его не щадили доверчивости доброго поэта. Однажды, несмотря на долготерпение свое, он решился, если смеем сказать, *огрызнуться* прекрасным, полным горечи стихом:

Их дружество почти на ненависть похоже.

Алексей Перовский (Погорельский) был позднее удачный мистификатор. Он однажды уверил сослуживца своего (который после сделался известен несколькими историческими сочинениями), что он великий мастер какой-то масонской логи и властью своей сопричисляет его к членам ее. Тут выдумывал он разные смешные испытания, через которые новообращенный покорно и охотно проходил. Наконец заставил он его расписаться в том, что *бобра не убил*.

Перовский написал *амфигури* (anphigouri), шуточную, веселую чепуху. Вот некоторые стихи из нее:

Авдул-визирь
На лбу пузырь
И холит и лелеет;
А Паний сын,
Взяв апельсин,

уже не помню, что из него делает. Но такими стихами написано было около дюжины куплетов. Он приносит их к Антонскому, тогдашнему ректору университета и председателю общества любителей словесности, знакомит его с произведением своим и говорит, что желает прочесть стихи свои в первом публичном заседании общества. Не должно забывать, что в то время граф Алексей Кириллович Разумовский был попечителем Московского университета, или уже министром народного просвещения. Можно вообразить себе смущение робкого Антонского. Он, краснея и запинаясь, говорит: «Стишки-то ваши очень-то милы и замысловаты-то; но, кажется, не у места читать их в ученом собрании-то». Перовский настаивает, что хочет прочесть их, уверяя, что в них ничего противоцензурного нет. Объяснения и пререкания продолжались с полчаса. Бедный Антонский бледнел, краснел, изнемогал чуть не до обморока.

А вот еще проказа Перовского. Приятель его был женихом. Отчим невесты был человек так себе. Перовский уверил его, что и он страстно влюблен в невесту приятеля своего, что он за себя не отвечает и готов на всякую отчаянную проделку. Отчим, растроганный и перепуганный таким признанием, увещевает его образумиться, одолеть себя. Перовский пуще предается своим сетованиям и страстным разглагольствованиям. Отчим не отходит от него, сторожит, не спускает его с глаз, чтобы вовремя предупредить какую-нибудь беду. Это продолжается с неделю и более. Раз все семейство

гуляет в саду. Отчим идет рука под руку с Перовским, который продолжает нашептывать, но вдруг вырывается из рук его и бросается в пруд, мимо которого они шли. Перовский знал, что этот пруд был не глубокий, и не боялся утонуть, но пруд был грязный и покрытый зеленой тиной. Надобно было видеть, как вылез он из него зеленою русалкой и как Ментор ухаживал за своим злополучным Телемаком: одел его своим халатом, поил теплой ромашкой и так далее, и так далее.

Другой проказник-мистификатор читает в «Петербургских Ведомостях», что такой-то барин объявил о желании иметь на общих издержках попутчика в Казань. На другой день, в четыре часа поутру, наш мистификатор отправляется по означенному адресу и велит разбудить барина. Тот выходит к нему и спрашивает, что ему угодно. «А я пришел, – отвечает он, – чтобы извиниться и доложить вам, что я на вызов ваш собирался предложить вам товарищество свое, но теперь, по непредвидимым обстоятельствам, раздумал ехать с вами и остаюсь в Петербурге. Прощайте: желаю вам счастливого пути!»

Кажется, этот мистификатор чуть не был ли сродни Перовскому.

* * *

Когда образовалось Арзамасское общество, пригласили и В. Л. Пушкина принять в нем участие. Притом его увери-

ли, что это общество род литературного масонства и что при вступлении в ложу нужно подвергнуться некоторым испытаниям, довольно тяжелым. Пушкин, который уже давно был настоящим масоном, легко и охотно согласился на все предстоящие искушения.

Тут воображение Жуковского разыгралось. Он был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! При натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залого карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острой замысловатостью. Прием Пушкина вдохновил его. Он придумал и устроил разные мытарства, через которые новобранец должен был пройти. Тут пошли в дело и в символ, и «Липецкие Воды» Шаховского, и «Расхищенные Шубы» его, и еще Бог весть что. Барыня-Арзамас требует весь туалет: вот вся Славянофильская Беседа заочно всполошилась, вспрыгнула с усыпительных кресел и прибежала, или притащилась на крестины новорожденного Арзамасца.

Приводим здесь речи, которые были произнесены при этом торжественном обряде. Они познакомят непосвященных и несведущих с Арзамасскими порядками. Много было тут шалости и, пожалуй, частью и вздорного, но не мало было и ума, и веселости. В старой Италии было множество подобных академий, шуточных, по названию и некоторым об-

рядом своим, но не менее того обратившихся на пользу языка и литературы. Может быть, и Арзамас, хотя не долго существовавший, принес свою долю литературной пользы. Во-первых, это было новое скрепление литературных и дружеских связей, уже существовавших прежде между приятелями. Далее, это была школа взаимного литературного обучения, литераторского товарищества. А главное, заседания Арзамаса были сборным местом, куда люди разных возрастов, иногда даже и разных воззрений и мнений по другим посторонним вопросам, сходились потолковать о литературе, сообщить друг другу свои труды и опыты и остроумно повеселиться и подурачиться.

Речи, читанные при приеме в Арзамасское общество Василия Львовича Пушкина

Какое зрелище перед очами моими? Кто сей, обремененный столькими шубами страдалец? Сердце мое говорит, что это почтенный В. Л. Пушкин, тот Василий Львович, который снизошел со своей Музой, чистой дево́й Парнаса, в обитель нечистых барышень покушения, и вывел ее из сего вертепа не осрамленной, хотя и близок был сундук¹⁴; тот Василий Львович, который видел в Париже не одни переулки¹⁵, но г. Фонтаня и г. Делиля; тот В.Л., который могуществом гения обратил дородного Крылова в легкокрылую малиновку. Все это говорит мне мое сердце. Но что же говорят мне мои очи? Увы! Я вижу перед собой одну только груду шуб. Под сей грудю существо друга моего, орошенное хладным потом. И другу моему не жарко. И не будет жарко, хотя бы груда сия возвысилась до Олимпа и давила его как Этна Энцелада. Так точно! Сей В. Л. есть Энцелад: он славно вооружился против Зевеса-Шутовского и пустил в него увесистый стих, раздавивший ему чрево. Но что же? Сей издыхающий наслал

¹⁴ Поэма Пушкина «Опасный Сосед».

¹⁵ Шишков где-то намекал, что Пушкин таскался только по парижским улицам и переулкам.

на него, смиренно пешествующего к Арзамасу, мятель Расхищенных Шуб. И не спасла его девственная Муза, мать Буянова. И лежит он под страшным сугробом шуб прохладительных¹⁶. Очи его постигла куричья слепота Беседы; тело его покрыто проказой сотрудничества, и в членах его пакость Академических Известий, издаваемых г. Шишковым. О друг наш! Скажу тебе просто твоим же непорочным стихом: *терпение, любезный!* Сие испытание конечно есть мзда справедливая за некие тайные грехи твои. Когда бы ты имел совершенную чистоту Арзамасского гуся, тогда бы прямо и беспрепятственно вступил в святилище Арзамаса; но ты еще скверен; еще короста Беседы, покрывающая тебя, не совсем облупилась. Под сими шубами испытания она отделится от твоего состава. Потерпи, потерпи, Василий Львович. Прикасаюсь рукой дружбы к мученической главе твоей. Да погибнет ветхий В.Л.! Да воскреснет друг наш возрожденный Вот! Рассыптесь шубы! Восстань, друг наш! Гряди к Арзамасу! Путь твой труден. Ожидает тебя испытание. *Чудище обло, озорно, трезовно и лаяй* ожидает тебя за сими дверями. Но ты низложи сего Пифона, облобызай сову правды, прикоснись к лире мщения, умойся водой потока и будешь достоин вкусить за трапезой от Арзамасского гуся, и он войдет в святилище желудка твоего без перхоты и изыдет из оногo без натуги.

¹⁶ Намек на острословие графа Д. Н. Блудова: Ты в «Шубах» Шутовский холодный; в «Водах» ты Шутовский – сухой.

Не страшись, любезный странник, и смелыми шагами путь свой продолжай. Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаний? Тебе ли трепетать при виде пораженного неприятеля? Мужайся! Уже ты освобожден от прохладительного удушья чудотворных шуб, и переход твой из одного круга подлунных храмин очищения в другой уже ознаменован великим событием. Ты пришел, увидел и победил, и совесть твоя, несмотря на изможденный лик растерзанного врага Арзамаса, спокойна. Так, любезный странствователь и будущий согражданин! Я нахожу на лице твоём все признаки тишины, всегда украшающей величавую осанку живого Арзамасского знака! Какое сходство в судьбах любимых сынов Аполлона! Ты напоминаешь нам о путешествии предка твоего Данта. Ведомый божественным Вергилием в подземных подвалах царства Плутона и Прозерпины, он презирал возрождавшиеся препятствия на пути его, грозным взором убивал порок и глупость, с умилением смотрел на несчастных жертв страстей необузданных и, наконец, по трудном испытании, достиг земли обетованной, где ждали его венец и Беата. Гряди подобно Данту, повинуйся спутнику твоему; рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских и помни, что «прямой талант везде защитников найдет». Уже звезда восточная на высоте играет; стремись к лучезарному светилу; там при его сиянии ты вместо Беаты услышишь пение Соловья и Малиновки¹⁷, и чувства твои наполнятся приятнейши-

¹⁷ Басня, сочинение В. Л. Пушкина, которую он особенно любил читать.

ми воспоминаниями.

Принимая с сердечным умилением тебя, любезный товарищ, в недра отечественного Арзамаса, можем ли мы от тебя сокрыть таинственное значение обрядов и символов наших? Можем ли оставить на глазах твоих мрачную завесу невежества беседного? Нам ли следовать примеру Бесед, сих рыкающих Сцилл и Харибд, между коими ты доньше плавал, и, подобно клеветам, тщательно прятать от слушателей и сочленов, даже от самих себя, здравый, обыкновенный смысл и самые обыкновенные познания? Что нам до Бесед? Арзамас далек от них, как Восток от Запада, как водяной Шутовский далек от Мольера, а дед седой от Лагарпа. Нет! Сердца и таинства наши равно открыты новому нашему собрату, защитнику вкуса, врагу Славянского варварства.

Вступая в сие святилище, ты на каждом шагу видишь цель и бытописания нашего общества. Ты переносишься в трудные времена, предшествовавшие обновлению благословенного Арзамаса, когда мы скитались в стране чуждой, дикой, между гиенами и онаграми, между Халдеями Беседы и Академии. На каждом шагу видишь следы претерпенных нами бурь и преодоленных опасностей, прежде нежели мы соорудили ковчег Арзамаса, дабы спастись в нем от потопа Липецкого. С непроницаемой повязкой на глазах блуждал ты по опустевшим чертогам; так и бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте Славянских периодов, от страницы до страницы вялые свои члены простирающих. Ты ниспускался

в глубины пропасти: так и досточудные внуки седой Славены добровольно ниспускаются в бездны безвкусыя и бессмыслицы. Ты мучился под символическими шубами, и обильный пот разливался по телу твоему, как бы при виде огромной мелко исписанной тетради в руках чтеца беседного. Может быть, роптал ты на излишнюю теплоту сего покроя; но где же было взять шуб холодных? Они остались все в поэме Шутковского! Потом у священных врат представился взорам твоим бледный, иссохший лиц Славенофила: глубокие морщины, собранные тщательно с лиц всех усопших прабабушек, украшали чело его; *глаза не зря смотрели* на нового витязя Арзамаса, а из недвижных уст, казалось, исходил грозящий голос: «Чадо! Возвратися вспять в Беседу вторую, из нея же исшел еси!» Но тебе ли утрашиться суетного гласа? Ты извлек свой лук, который подобно луку Ионафана *от крове язвёных и от тука сильных не возвратися тощ вспять*, наложил вместо стрелы губительный стих: *Нам нужны не слова, нам нужно просвещенье...*, и призрак упал, извергая из уст безвредный свой пламень. Не так ли упал перед тобой и сам Славенофил, тщетно твердя о парижских переулках! Наконец, совершены все испытания. Уста твои прикоснулись к таинственным символам: к Лире, конечно, не Хлыстова и не Барабанова, и к Сове, сей верной подруге Арзамасского Гуся, в которой истинные Арзамасцы чтят изображение сокровенной мудрости. Не Беседе принадлежит сия посланница Афин, хотя седой Славенофил и желал себе присвоить ее в

следующей песне, достойной беседных Анакреонов:

Сидит сова на печи,
Крылышками трепелючи;
Оченьками лоп, лоп,
Ноженьками топ, топ.

Нет, не благородная Сова, но безобразный нетопырь служит ему изображением, ему и всем его клеветам.

Настала минута откровений. Приблизься, почтенный Вот, новый любезный брат наш! Прими же из рук моих истинный символ Арзамаса, сего благолепного Гуся, и с ним стремись к совершенному очищению. В потоке Липецком омой остатки беседные скверны, сей грубой коры, которую никогда не могут проникнуть лучи здравого рассудка; и потом, с Гусем в руках и сердце, займи место, давно тебя ожидающее. Таинственный Гусь сей да будет отныне всегдашним твоим путеводителем. Не ищи его происхождения в новейших баснях: в них Гуси едва ли опрятнее свиней собственных! Гусь наш достоин предков своих. Те спасли Капитолий от внезапного нападения галлов, а сей бодрственно охраняет Арзамас от нападений беседных Халдеев и щиплет их победоносным своим клювом. И ты, любезный брат, будешь, подобно ему, нашим стражем, *бойцом* Арзамаса, смело сразишься с гидрой Беседы и с сим нелепым чудовищем, столь красноречиво предсказанном в известном стихе патриарха Славенофилов:

Чудище обло, озорно, огромно, трезовно и лайй.

Пусть лаёт сие чудище, пусть присоединятся к нему и все другие Церберы, по образу и по подобию его сотворенные; но пусть лают они издали, не смея вредить дарованиям, возбуждающим зависть и злобу их.

Так, добрый Вот, ты рассказывал о древних грехах твоих и, слыша в памяти вой и крик полицейских, ты проливал слезы раскаяния... О несчастный, сии слезы были бесплодные: ты готов на грех новый, ужасный, сказать ли? На любодейство души! И вот роковая минута. Меркнет в глазах твоих свет Московской Беседы, и близок сундук Арзамаса. Ты погибал, поэт легковерный! Для тебя запираются врата Беседы старшей, и навсегда исчезают жетоны Академии. Но судьба еще жалеет тебя, она вещает: «Ты добрый человек, мне твой приятен вид». Есть средство спасения! Так, мой друг, есть средство. Оно в этой лохани. Взгляни – тут *Липецкие Воды*: в них очистились многие. Творец сей влаги, лишь вздумал опрыскать публику, и все переменялось. Баллады сделались грехом и посмешищем; достоинство стихов стали определять по сходству их с прозой, а достоинство комедий по лишним ролям. Что говорю я? Один ли вкус переменялся? Все глупцы сделались умными, и в честных людях мы узнали извергов. То же будет с тобою. Окунись в эти воды и осмотрись: увидишь себя на краю пропасти. О пилигрим блуждающий, о пилигрим блудливый! Знаешь ли, где ты? Но

расслепленный сухой водой узнаешь, узнаешь, что Арзамас есть пристань убийц, разбойников, чудовищ. Вот здесь они вокруг стола сидят

И об убийствах говорят,
Готовясь на злодейства новы.

Там на первом месте привидение, исчадие Тартара, с щетинистой бородой, с хвостом, с когтями, лишь только не с рогами; но вместо рогов торчит некое перо. Смотри, на нем, как на ружье охотника, навешана дичина, и где ж она настреляна? И в лесу университетском, и в беседных степях, и в театральном болоте. Увы! И в московском обществе. С ним рядом старушка, нарушительница мертвых: она взрывала могилы, сосет кровь из неопытной Музы, и под ней черный кот «Сын Отечества». За нею сидит с полуобритой бородой красная девушка; она проводит дни во сне, и ночи без сна перед волшебным зеркалом, и в зеркале мелькают скоты и Хвостов. И вот твое чудное зрелище. Ты видишь и не знаешь что видишь, гора ли это, или туча, или бездна, или эхо. Чу! Там кто-то стонет и мычит по-славянски. Но одни ли славяне гибнут в сей бездне? В ней погрязли и Макаров московский, и Анастасевич польский, и сей Хвостов не славянский и не русский. Над пропастью треножник, на нем тень Кассандры. Ей хочется трепетать, и предсказывать, и воздымать свои волосы, но пророчества не сбываются, и в волосах

недостаток. Вдали плывет челнок еще пустой. Увы! Он скоро нагрузится телами. Из него выпрыгнул Кот и для забавы гложет не русского сына русской отчизны. А там Журавль с другим Хвостовым на носу. А там единственная, ветреная Арфа, без злодейств и без струн и, наконец, там Громобой-самоубийца: он проколол сердце, в коем был образ Беседы. Какое скопище безумных злодеев! Бедный Вот! Ты увидишь и ужаснешься; но берегись, берегись полотенца. Если оно сотрет воду прозрения, ты ослеп навсегда: злодеи будут твоими друзьями, безумцы твоими братьями. Избирай: тьма или свет? Вертеп или Беседа?

Непостижимы приговоры Провидения! Я, юный ратник на поле жизни, младший на полях Арзамаса, приемлю кого? Героя, поседевшего в бурях житейских, прославившегося давно под знаменами вкуса, ума и Арзамаса! Того, который первый водрузил хоругвь независимости на башнях Халдейских, первый прервал безмолвие робости, первый вырвал перо из крыла безвестного еще тогда Арзамасского Гуся, и пламенными чертами написал манифест о войне с противниками под именем послания к Светлане, и продолжал после вызывать врагов на частые битвы, битвы трудные, но навсегда увенчавшие сына Арзамасской крепости новой славой, новыми трофеями, новыми залогом победы. Не смею толковать приговоров судьбы, благоговею перед нею и с признательностью исполняю обязанность, возложенную на ме-

ня. Приди, о мой отче! О мой сын, ты, победивший все испытания, переплывший бурные пучины вод на плоту, построенном из деревянных стихов угрюмого певца с торжественным флагом, развевающим по воздуху бессмертные слова:

Прямой талант везде защитников найдет!

Ты, верной рукой поразивший уroda Халдейского прямо в чело! Приди, ты, безбедно, но не без славы приставший к Арзамасскому берегу! Посвяти мокрую одежду свою коварному богу Липецких Вод и займи место свое между нами. Оно давно призывало тебя. Давно трапеза Арзамасская тосковала по собеседнику знаменитому, давно кладбище Халдейское требовало священных остатков сего певца угрюмого, сего Филина-великана, прокричавшего на гробах целую ночь, возмущившего сон усопших и погрузившего в сон живущих. Настал час удовлетворения. Почтеннейшие собратья! Он здесь, сей муж опыта, он заседает с нами; на открытом челе его читаю зрелые надежды и вечную славу Арзамаса. Еще рука его дымится чернилами; еще взор его, упоенный благородным тщеславием, указывает нам на труп распростертый, хладный, как Пожарский, Минин и Гермоген, бездушный, как Петр Великий или, по словам одного Арзамасца, *Петр долгой*, безобразный, как оды, читанные в Беседе¹⁸.

Излишне и дерзновенно было бы хотеть мне руководство-

¹⁸ Намеки на поэмы князя Шихматова.

вать тебя моими советами. Семена Арзамасских правил давно таились в душе твоей, и уже некоторые из противников Арзамаса подавились ранними плодами, возвращенными от них усердием твоим, угадавшим, что некогда перенесутся они на почву благословенную, на землю обетованную. Судьба, отворившая тебе двери святилища после всех и, и так сказать, замыкающая тобою торжественный ряд Арзамасских Гусей, хотела оправдать знаменитое предсказание, что некогда первые будут последними, а последние первыми. Сердце мое и рассудок удостоверяют меня в справедливости моей догадки. Так! Ты будешь Староста Арзамаса. Благодарность и осторожность вручат тебе патриархальный посох. Арзамасский Гусь приосенит чело твое покровительствующим крылом и охранит его от коварного крыла времени — сего алчного ястреба, «скалящего *зубы*»¹⁹ на все, что носит на себе печать дарования вкуса и красоты. Но если пророчество мое одна мечта, то по крайней мере современники мои и потомство скажут о нем вздохнувши: Жаль, что не исполнился сон доброго человека.

Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие Арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание, но я не почитаю себя умершим. Напротив того, я воскрес: ибо нахожусь посреди вас; я воскрес, ибо навсегда оставляю мертвых умом и чувствами. Не мертвы ли духом и умом тот, который почитает Омира и Виргилия

¹⁹ Хвостов в одной басне своей придал зубы голубю.

скотами, который не позволяет переводить Тасса и в публичном, так называемом ученом, собрании ругает Горация? Не мертв ли чувствами и тот, который прекрасные баллады почитает творением уродливым, а сам пишет уродливые оды и не понимает того, что ему предстоят не рукоплескания, но свистки и Мидасовы уши.

Ныне, говоря об ушах Мидасовых, долгом почитаю обратиться к пресловутой Петербургской Беседе. О сколько тут длинных ушей находится! Сколько мы в ней встречаем старых, юных, сухих, чреватых, бледных и румяных Мидасов! Беседа Петербургская ни в чем, конечно, Московской не уступает, но, по моему мнению, во всем ее превосходит.

К сожалению моему, я исполню сердца любезных Арзамасцев чувствительной горестью. А возведу вам кончину юноши, в детстве ума и детстве телесном пребывающего, юноши достойнейшего, питомца великого патриарха Халдеев, утверждающего, что *тротуары* должны называться *пешниками*, а жареный гусь *печениной*; юноши, которому кортик²⁰ не препятствовал держать в руке перо на бесславие литературы, но во славу досточестной Беседы.

Тщетно я силюсь, чувством гнетомый (позвольте мне употребить собственные слова умершего), тщетно я силюсь изобразить все происходящее в Беседе. Она лишается наилучших усатых сочленов своих.

²⁰ Говорится про моряка князя Шихматова. – Напомним читателю, что в Арзамасе в каждом заседании отпевали и хоронили кого-нибудь из членов Беседы.

Тучей над ними гибель висит.
Туча обрушась варваров губит,
Губит их глупость, губит бесстыдство,
Губит их уши, губит язык.
Тысяща поприщ телами полны,
Множеству теней тесен стал ад.

Так точно! Они валятся, как мухи от мухоморов, и мы здесь, в почтеннейшем нашем собрании, отпеваем их, превозносим и удивляемся их дарованиям. Например, как не дивиться творцу лирического песнопения! Сотворить поэму, в которой находится неисчислимое множество строф, и нет поэмы; отказаться навсегда от Аполлона и Муз, и несмотря на то заниматься поэзией? Не ему ли одному сие предстояло? Не он ли воспел, как от грозного взора патриарха Халдейского Гальское слово умирает на устах каждого. Не ему ли надлежало на такой предмет сочинить оду? Изящный талант превозмогал все трудности, и вместе с талантом возрастали и уши лирикопеснопевца. Нет более невинного умом и телом. Он лежит бездыханным.

Обратимся, слушатели, к плачевному сему зрелищу. Следуйте за мной в мрачную храмину, обитую академическими сочинениями! Горящие свечи, обернутые в Письма Схимника, освещают воздвигнутый усопшему катафалк. Рассуждение о старом и новом слоге служит ему возглавием, рассуждение об одах в деснице его, Бдения Тассовы, похваль-

ные слова и переводы Андромахи, Ифигении, Гамлета и Китайской Сироты лежат у подножия гроба. Патриарх Халдеев изрыгает корни слов в ужасной горести своей. Он, уныло преклонив седо-желтую главу свою, машет над лежащими в гробе Известиями Академическими и кадит в него прибавлением к прибавлениям. Он не чувствует, что тем лишь умножаются печаль, скука и угрюмость друзей, холодный труп окружающих. Плодовитый творец бесчисленных и бессмысленных од, палач Депрео и Расина, стоит смиренно над гробом и, осыпая умершего грязью и табаком, бормочет стихи в похвалу его. Увы! Он еще сплел их до кончины несчастного, успел напечатать, ибо любит *писать стихи и отдавать в печать*, раздает их сотоварищам своим, и сотоварищи и едва знающий грамоте, беснуясь, топает ногами и стучит крючковой тростью. Толсточреватый сочинитель «Липецких Вод» кропит ими в умершего и тщится согреть его овчинными шубами своими. Но все тщетно: он лежит бездыханен! Давно ли я дерзновенный воспевал невинного юношу, именуя его Варягороссом и кумом Славенофила? И се успе! Длинные уши его повисли, уста охладели, ноги протянулись. Стихотворения песнопевца, в которых столь мало глаголов и столь много пустоглаголения, останутся навсегда в подвалах Глазунова и Заикина, останутся на съедение стихожадным крысам, и даже сам патриарх Халдейский забудет о них!

O vanitas vanitatum omnia vanitas.

Почтеннейшие сограждане Арзамаса! Я не будут исчислять подвигов ваших. Они всем известны. Я скажу только, что каждый из вас приводит сочлена Беседы в содрогание, точно так, как каждый из них производит в собрании нашем смех и забаву. Да вечно сие продолжится! Что с нами будет, если не будет, если не будет Известий Академических! Что нам останется делать, если патриарх Халдейский перестанет безумствовать в разборе происхождения слов и принимать черное за белое? Куда сокроем мы, если толсточреватый комик догадается, что комедия его не что иное суть, как печать глупости, злобы и невежества? Какая нам будет польза в том, если неутомимый рифмоткач узнает наконец, что у козла нет свиной туши, а у голубей зубов, точно так, как нет здравого рассудка в стихах его; не совершенная ли беда для нас будет, если Мидасы, оглянувшись друг на друга, приметят, что уши их еще длиннее похвальных слов, читаемых в пресловутой их Беседе? Да сохранит нас от того златовласый Феб и Музы. Пусть сычи вечно останутся сычами: мы вечно будем удивляться многоплодным их произведениям, вечно отпевать их, вечно забавляться их трагедиями, плакать и зевать от их комедий, любоваться нежностью их сатир и колкостью их мадригалов. Вот чего я желаю, и чего вы, любезнейшие товарищи, должны желать непрестанно для утешения и чести Арзамаса.

* * *

«Меня насильно обвенчали», – жаловался приятелю своему один муж, недовольный своим брачным положением.

«Да как же так? – возразил ему приятель, – ведь священник спрашивал же тебя: имаши ли благое и непринужденное произволение пояти себе в жену юже пред собою видеши?»

«Да, теперь помнится, у меня что-то такое спрашивали, да тогда я не спохватился отвечать, а нынче уже поздно: не воротишь! Вот мы недавно отпраздновали и серебряную свадьбу у тещи в деревне. Бог с нею совсем!»

* * *

А иногда и серебряные свадьбы развязываются. Карамзин рассказывал про одну знакомую ему чету. Были именины мужа; заботливая жена заготовила ему с полдюжины сюрпризов, разные подарки, обед на славу, пир на весь мир, вечером спектакль и бал; одним словом, торжество на целые сутки. Муж был не в духе и все это принял брюзгливо. Когда кончился день и гости разъехались, он пенял жене, что она сделала большие издержки, что все это одна суетность, и так далее, и так далее. На следующий год, в день совершившегося двадцатипятилетнего брачного счастья, жена, помня про-

шлогоднее головомытье, ничего не готовит для празднования этого дня. Она молчит, и муж молчит. День прошел ничем не отмеченный. Недовольный супруг пеняет жене своей за невнимание ее, за равнодушие, за холодность. Она сердито отвечает, что худо была прошлого года вознаграждена за все свои сердечные заботы и за желание угодить ему. Муж пуще сердится, разговор обращается в крупный спор, спор в ссору, ссора чуть ли не в драку. На другой день двадцатипятилетние супруги навсегда разъехались.

* * *

Умный, образованный граф Сергей Петрович Румянцев пенял Дмитриеву, что он излишне строг к графу Хвостову: «А воля ваша, Иван Иванович, – продолжал он: – Хвостов уже тем заслуживает уважение, что часто для своих песнопений избирает предметы особенно высокие и важные». В этом случае граф Румянцев сбивается немножко на немца.

* * *

Баратынский как-то не ценил ума и любезности Дмитриева. Он говаривал, что, уходя, после вечера, у него проведенного, ему всегда кажется, что он был у всенощной. Трудно разгадать эту странность. Между тем он высоко ставил

дарование поэта. Пушкин, обратно, нередко бывал строг и несправедлив к поэту, но всегда увлекался остроумной и любезной речью его.

* * *

Некто, очень светский, был по службе своей близок к министру далеко не светскому. Вследствие положения своего, обязан он был являться иногда на обеды и вечеринки его. «Что же он там делает?» – спрашивают Ф. И. Тютчева. «Ведет себя очень прилично, – отвечает он. – Как маркиз-помещик в старых французских оперетках, когда случается попасть ему на деревенский праздник, он ко всем благоприветлив, каждому скажет любезное, ласковое слово, а там, при первом удобном случае, сделает пируэт и исчезает».

* * *

Неправильная расстановка букв е и с еще небольшая беда: по крайней мере мы успели уже к ней привыкнуть частыми примерами. Я видел собственноручное писание одного литератора: он благодарит кого-то за *лссные* выражения письма его (лестные). Одно правительственное лицо писало всегда своей рукою черновые проекты по делам особенной важности. Этот грамотей, для облегчения себя, совершенно выки-

нул из русской азбуки неугомонное с и употреблял везде одно е. В конце бумаги выставлял он с дюжинуси, отдавая бумагу для переписывания, говорил чиновнику: «Распоряжайтесь ими, как знаете».

Но вот что может быть названо пес plus ultra [крайностью] пренебрежения к правописанию. Мне также случилось иметь в руках письмо нежного родителя: в нем извещает он родственника, что *Бох* даровал ему дочку. Подобное самоуправство подлежит не только уголовному ведению грамматики, но едва ли и не наложению эпитимии духовником.

* * *

В каком-то уезде врач занимался, между прочим, и переводами романов. Земляк его по уезду написал по этому поводу:

Уездный врач, Пахом, в часы свободы
От должности убийственной своей,
С недавних пор пустился в переводы.
Дивлюсь, Пахом, упорности твоей:
Иль мало перевел в уезде ты людей?



Вот едва ли не лучшее определение просвещения, слышанное мною от крепостного крестьянина, впрочем, уже бурмистра в селе своем и занимавшегося довольно обширной хлебной торговлей.

В один из приездов моих в деревню был я приглашен им вечером на чай. Чай, разумеется, с нижегородской ярмарки, и очень хороший. В продолжение разговора обратился он ко мне со следующими словами: «А позвольте доложить вам: батюшка ваш был к нам очень благоволителен, но вы, кажется, еще благоволительнее; ведь это, я думаю, должно отнести к успехам просвещения».

Я прогостил недели две в его доме. На прощание спросил я, какой гостинец прислать ему из Москвы за постой. «Если милость ваша будет, – отвечал он, – пришлите мне «Историю России», написанную г-ном Карамзиным».

Это все происходило в начале двадцатых годов. Вот, стало быть, не все же было черство и дикообразно в сношениях помещика и крепостного. Были проблески и светлые, и отрадные. Зачем о них умалчивать?

* * *

Есть на языке нашем оборот речи совершенно *нигилистический*, хотя находившийся в употреблении еще до изобретения нигилизма и употребляемый доныне вовсе не нигилизмом.

«Какова погода сегодня?» – «Ничего».

«Как нравится вам эта книга?» – «Ничего».

«Красива ли женщина, о которой вы говорите?» – «Ничего».

«Довольны ли вы своим губернатором?» – «Ничего».

И так далее. В этом обороте есть какая-то русская, лукавая сдержанность, боязнь проговориться, какое-то совершенно русское *себе на уме*.

* * *

N.N. говорит о немцах: в числе их хороших качеств и свойств, которые могут почти вмениться в добродетель, есть и то, что они не знают или, по крайней мере не сознают скуки. Этот общий недуг, эта костоеда новейших поколений не заразила их.

В других местах скука доводит людей часто до совершенного дурачества, а иногда и преступления: немца (говорим

здесь вообще о среднем состоянии, о бюргершафте) если, па-че чаяния, и дотронется скука, то он выпьет разве одну или две лишние кружки пива молча, с толком и с расстановкой; но вообще скука для немца (если уж быть скуке) не в тягость, не в томление; нет, она для него род священнодействия. Он скучает, как другие священнодействуют – с самозабвением, с благоговейной важностью. Так покорные и преданные племянники слушают, в Москве, у старой тетки, мефимоны и длинную всенощную. На то и пост, и племянники стоят у тетки, не давая замечать в себе ни усталости, ни нетерпения, ни ропота. В этом отношении у немцев вечный пост.

Посмотрите на них, когда соберутся они послушать Vorlesung какого-нибудь преподавателя, закаленного в учености и скуке. Скука, крупным потом, так и пробивается на лбу чтеца и слушателей; но ничего: никто не осмелится, никому не придется зевнуть, или охнуть, или уйти до окончания длинной рацеи. То же и со слушателями какой-нибудь глубоко ученой и головоломной симфонии. Разве два-три человека из слушателей способны понять в этих музыкальных и громких алгебраических задач, а прочим это тарабарская грамота. Но они и не пришли веселиться: дело в том, что музыка из важных; вот они и сошлись соборно посвященнодействовать.

* * *

Француз и в тяжелые и трудные дни живет припеваючи; немец и веселится надседаючись.

* * *

Вопрос. Что может быть глупее журнала такого-то?

Ответ. Подписчики на него.

* * *

N.N. говорил о ком-то: «Он удушливо глуп; глупость его так и хватает нас за горло».

В скуке, которую иные навевают на вас, есть точно что-то и физическое, и болезненно-наступательное.

* * *

Не помню в какой-то газете была забавная опечатка: вместо банкирская контора было напечатано – башкирская контора.

Недавно – вместо литературный – *мануфактурный* вечер.

* * *

В Казани, около 1815 или 1816 года, приезжий иностранный живописец печатно объявлял о себе: «Пишет портреты в постели и очень на себе похожие». (Разумеется, речь идет о пастельных красках).

А какова эта вывеска, которую можно было видеть в 1820-х годах в Москве, на Арбате или Поварской! Большими золочеными буквами красовалось: *Гремислав, портной из Парижа*.

«Почему не пишете вы Записок своих?» – спрашивали N.N. «А потому, – отвечал он, – что судьба издала в свет жизнь мою отрывками, на отдельных летучих листках. Жизнь моя не цельная переплетенная тетрадь, а потому и можно читать ее только урывками».

* * *

В приемной комнате одного министра (подобные комнаты могли бы часто, по французскому выражению, быть называемые *sale des pas perdus* – сколько утрачено и в них бесполезных шагов?) было много просителей, чающих движения воды и министерских милостей. Один из этих просителей особенно суетился, бегал к запертым дверям министерского ка-

бинета, прислушивался, расспрашивал дежурного чиновника: скоро ли выйдет министр? Между тем часы шли своим порядком, и утро было на исходе, а наш проситель все волновался и кидался во все стороны. Кто-то из присутствующих вспомнил стихи Лермонтова и, переделывая их, сказал ему: «Отдохни немного, подождешь и ты».

* * *

На германских водах молодой француз ухаживает за пригоженькой русской барыней; казалось, и она не была совершенно равнодушна к заискиваниям его. Провинциальный муж ее не догадывался о том, что завязывалось перед его глазами. Приятель его был прозорливее: он часто уговаривал его, не теряя времени, уехать с женой в деревню и напоминать, что пришло уже время охотиться. Он прибавлял: «Пора, пора, рога трубят!»

* * *

Жуковский, в *Певце во стане русских воинов*, сказал между прочим:

И мчит грозу ударов,
Сквозь дым и огонь, по грудам тел,
В среду врагов, Кайсаров.

Батюшков говорил, что эти стихи можно объяснить только стихом из того же *Певца во стане русских воинов*:

Для дружбы – все что в мире есть.

Вот еще одно довольно удачное применение стиха старика Майкова из поэмы «Елисей». N.N. говорит, что если кому вздумалось бы собрать большую часть наших журнально-полемических статей, то он предлагает к услугам его и стих для эпитафии:

Мараем и разим друг друга без пощады.

Только вернее было бы допустить маленькую вариацию и сказать:

Мараем и клеймим друг друга без пощады.

В наших полемических схватках редко доходит до смертных случаев: потому что и дерутся обыкновенно уже заблаговременно убитые и мертвые. Двух смертей не бывает.

* * *

Глупый либерал непременно глупее глупого консерватора. Сей последний остается тем, при чем Бог создал его: его не трогай, и он никого и ничего не тронет. Другой заносчиво лезет на все и на всех. Один просто и безобидно глуп; другой

из глупости делает глупости, не только предосудительные, но часто враждебные и преступные.

* * *

Русский немец, который любит щеголять русскими пословицами, говорит, между прочим: *потливой* корове Бог рог не дает.

* * *

N.N. говорит про дочь одного архитектора: *elle est assez mal batie pour la fille d'un architecte* (она довольно нестройна для дочери строителя).

* * *

В Риме были две статуи: одна древняя, Марфорио, другая новейшая Пасквино. Стояли они друг против друга. Долго служили они для разных вывесок и выходов сатирических. Статуя Марфорио задавала вопрос, на который другая отвечала остроумно и пасквилатом. Лет сорок тому или более, Марфорио спрашивает соседа своего, что думает он о святейшем отце? Пасквино отвечает: *padre si, ma sancto*, по.

* * *

В игре *секретарь* задан был вопрос: что может быть неприятнее полученной пощечины? – Две, сказано в ответ.

* * *

«Жаль, что я не выпивши, а то дал бы оплеуху этому мерзавцу», – говорил один оскорбленный, но трезвый мудрец.

* * *

Жуковский припоминал стихи Мерзлякова из одной оперы итальянской, которую тот, для бенефиса какого-то актера, перевел в ранней молодости своей:

Пощечину испанцу Титу
Во всю ланиту!

Он, то есть Жуковский (на ловца и зверь бежит), подметил в опере Херубини следующий стих. Водовоз, во французской опере, спасает в бочке, во время парижских смут, несчастного, приговоренного к смерти и прикрывавшего себя плащом, и поет: *Il est sauve, l'homme au manteau*. В русском переводе, отличный и превосходный актер Злов должен был

петь:

Спасен, спасен мой друг в плаще.
Этот стих долго был у нас поговоркой.

Странно, как подобные поговорки, прибаутки неприметно и невольно вкрадываются, а иногда вторгаются в речь. Часто сами по себе они не имеют никакого определенного смысла, но при частом употреблении кончают тем, что получают условное и обыкновенно забавное значение в применении к лицу или событию. В Париже беспрестанно *бегают по улицам* подобные выходки, клички. Москва также отличалась ими.

Например, в 1810-м и 1811-м годах можно было слышать в высшем московском обществе слова: *сотте са брусника*. Дело в том, что кто-то подслушал, как кучер, разговаривая на дворе с товарищами, сказал: *комса брусника*. И сам расхохотался он, и слушатели расхохотались. Подслушавший присвоил себе это выражение и перенес его шуткой в некоторые салоны; оно там принялось и разошлось. Вошло оно в употребление и по стихотворной части. Кто-то написал:

Пускай Сперанский образует,
Пускай на вкус Беседа плюет
И хлещет ум в бока хвостом:
Я не собьюся с панталыка!
Нет, мое цело только пить,

И на них глядя говорить:
Сомме са брусника!

С этим припевом написано было несколько куплетов. Вьельгорский положил их на музыку, и они весело и шумно распевались на приятельских ужинах.

* * *

Забавный чудак, служивший когда-то при Московской театральной дирекции, был, между прочим, как и следует русскому человеку, а тем паче русскому чиновнику, охвачен повальной болезнью чиновлюбия и крестолубия. Он беспрестанно говорил и писал кому следует: «Я не прошу кавалерии через плечо, или на шею, а только маленького анкураже (encourage) в петличку». Пушкин подхватил это слово и применил его к любовным похождениям в тех случаях, когда в обращении не капитал любви, а мелкая монета ее: то есть, с одной стороны, ухаживание, а с другой – снисходительное и ободрительное кокетство. Таким образом, в известном кругу и слово *анкураже* пользовалось некоторое время правом гражданства в московской речи.

А вот еще жемчужина, отысканная Жуковским, который с удивительным чутьем напал на след всякой печатной глупости. В романе «Вертер» есть милая сцена: молодежь забавляется, пляшет, играет в фанты, и между прочими фан-

тами раздаются легкие пощечины, и Вертер замечает с удовольствием, что Шарлотта ударила его крепче, нежели других. Между тем на небе и в воздухе гремит ужасная гроза. Все немножко перепугались. Под впечатлением грозы Шарлотта с Вертером подходят к окну. Еще слышатся вдали перекаты грома. Испарения земли, после дождя, благоуханны и упоительны. Шарлотта, со слезами на глазах, смотрит на небо *и на меня*, говорит Вертер, и восклицает: Клопшток! – так говорит Гёте, намекая на одну оду германского поэта.

Но в старом русском переводе романа Клопшток превращается в следующее: «Пойдем играть в короли» (старая игра). Что же это может значить? Какой тут смысл? – спрашиваете вы. Послушайте Жуковского. Он вам все разъяснит, а именно: переводчик никогда не слышал о Клопштоке и принимает это слово за опечатку. В начале было говорено о разных играх: Шарлотта, вероятно, предлагает новую игру. *Клапштос* – выражение, известное в игре на бильярде: переводчик заключает, что Шарлотта вызывает Вертера сыграть партийку на бильярде. Но по понятиям благовоспитанного переводчика такая игра не подобает порядочной даме. Вот изо всего этого и вышло: пойдем играть в короли.

Жуковский очень радовался своему комментарию и гордился им.

Мы, кажется, упоминали уже о Павле Николаевиче Каверине, умном, веселом и неистощимом говоруне. Он сам сознавался в словоохотливости своей. Вот что я слышал от него. Однажды заехал он к старику, больному и умирающему Офросимову, мужу известной в московских летописях Настасьи Дмитриевны. Желая развлечь больного, да и себя потешить, он целый битый час не умолкал. Наконец простился и вышел. В передней догоняет его слуга и говорит ему: «Барин приказал спросить вас, не угодно ли вам будет взять кого-нибудь к себе в карету, чтобы было вам с кем поговорить?»

Сын его, Петр Павлович, бывший гетингенский студент и гусирский офицер, в том и другом звании известен был проказами своими и скифской жаждою. Но был он в свое время известен и благородством характера, и любезным обращением. Он был любим и уважаем сослуживцами своими: между прочими – Хомутовым, впоследствии казацким атаманом. Русская литература не должна забывать, что Каверин был товарищем и застольником Евгения Онегина, который с ним заливал шампанским горячий жир котлет.

В начале нынешнего столетия еще заметно было в обществе нашем, а особенно в военной молодежи, некоторое разгульное удалство. Англичане говорят: время деньги. Рус-

ские говорили: жизнь копейка. Историко-политические перевороты, перевороты довольно часто повторявшиеся и легко удававшиеся, оставили в умах следы отваги и какого-то почти своевольного казачества в понятиях и нравах. Разумеется, таково было не общее настроение; но привычки произвола не повсюду и неохотно подчинялись условиям и законам нового порядка.

С первыми годами царствования императора Александра I волнение умов начало улегаться. Небо очищалось и прояснялось, но старые дрожжи еще кое-где бродили. Политических Орловых на сцене уже не было; но Орловское молодечество, хотя уже отрекшееся от кулачных боев, еще проглядывало в нравах и обычаях. Проказы гвардейских офицеров в Новой Деревне и в других окрестностях столицы пугали дам, проезжавших по этим местностям. Много забавных, но немного *скабрзных* случаев и встреч бывало в то время. Лучшие по рождению и по положению своему в полку и в обществе офицеры отличались подобными похождениями. Время шло, молодость перебесилась, и многие из этих шалунов сделались не только порядочными, но некоторые и полезными людьми на поприще гражданской и государственной деятельности. А все-таки благочиние целомудренной печати не позволяет, и по миновании многих десятилетних давностей, представить читателю, а тем паче читательнице, некоторые из этих проказ во всей их естественной и буквальной наготе. Выберем из этой эпохи другой пример,

более удобный для рассказа, но все же подкрепляющий вышеприведенные соображения наши.

В 1808 или 1809 году часть блестящей московской молодежи, сливки тогдашнего отборного общества, собралась на обед пикником в Царицыно. В ожидании обеда гуляли по саду. В числе прочих был Новосильцев (Сергей Сергеевич). Он имел при себе ружье. Пролетела птица. Новосильцев готовился выстрелить в нее. Князь Федор Федорович Гагарин (оба были военные) остановил его и говорит ему: «Что за важность стрелять в птицу! Попробуй выстрелить в человека». — «Охотно, — отвечает тот, — хоть в тебя». — «Изволь, я готов. Стреляй!» И Гагарин становится в позицию. Новосильцев целит, но ружье осеклось. Валуев, Александр Петрович, кидается, вырывает ружье из рук Новосильцева, стреляет из ружья, и выстрел раздался. Можно представить себе смущение и ужас зрителей этой сцены. Они думали сначала, что все это шутка, и мало обращали на нее внимание.

Но есть еще продолжение этой сцене. Гагарин говорит Новосильцеву: «Ты в меня целил: это хорошо. Но теперь будем целить друг в друга; увидим, кто в кого попадет. Вызываю тебя на поединок». Разумеется, Новосильцев не отнекивается. Но тут приятели вмешались в наездничество двух отчаянных сорванцов и насилу могли прекратить дело миролюбивым образом. Сели за стол, весело пообедали, и вся честная компания возвратилась в город благополучно и в полном составе. Бойцы, готовившиеся совершить убийство

друг над другом, остались по-прежнему добрыми товарищами, как будто ни в чем не бывало.

Рассказ, приведенный нами, разумеется, случай частный и отдельный, но и в нем можно подметить дух и знамение времени.

* * *

Спрашивали ребенка: «Зачем ты солгал? Тебе никакой не было выгоды лгать». – «Боялся, что не поверят мне, если правду скажу».

* * *

Когда бываю в русском театре (этому давно), припоминаю отзыв одного слуги. Барин, узнав, что он никогда не видал спектакля, отпустил его в театр. Любопытствуя проведать, какие вынес он впечатления, барин спросил его на другой день:

– Ну, как понравился тебе театр?

– Очень понравился, – отвечал слуга.

– А что именно и более понравилось?

– Да все: тепло, светло, люстра пребогатейшая, так и горит, народу много, ложи наполнены знатными господами и барынями, музыка играет. Праздник, да и только.

– Ну, а далее, как понравились тебе комедия и актеры?

– Да, признаться, когда занавес подняли и начали актеры разговаривать между собою про дела свои, я и слушать их не стал.

Этот простосердечный слуга едва ли не вернейший и лучший критик нашей драматургии.

* * *

Издатель журнала должен был Баратынскому довольно крупную сумму. Из деревни писал он должнику своему несколько раз о высылке денег. Тот оставлял все письма без ответа. Наконец Баратынский написал ему такое, что могло назваться ножом к горлу.

Журналист пишет ему: «Как вам не совестно сердиться за молчание мое? Вы сами литератор и знаете, что мы народ беспечный и на переписку ленивый». – «Да я вовсе и не хлопочу, – отвечает Баратынский, – о приятности переписки с вами; держите письма свои при себе: они мне не нужны, а нужны деньги, и прошу и требую их немедленно».

* * *

Кто-то спрашивает должника: «Когда же заплатите вы мне свой долг?» – «Я и не знал, что вы так любопытны», – отве-

чает тот.

* * *

Чиновник Р. славился в канцелярии министерства красивым почерком и надписыванием особенно важных письменных пакетов. N.N. говорил, что следовало бы предложить его в Парижскую академию des inscriptions et belles lettres.

* * *

Спрашивали паломника, недавно возвратившегося из Палестины, как доволен он путешествием своим?

«Очень доволен, — отвечал он, — но неприятно, что вообще на Востоке нет порядочных сливок, а особенно в Иерусалиме. После многих поисков и трудов, нашел я наконец кое-какие сливки на Английском подворье; да и те, от дневного жара и от неимения льда, совершенно скисались к вечернему чаю. Такое лишение в насущной потребности имеет большое влияние на общее настроение духа. Зато нельзя не отдать справедливости Вифлеему и голубям его. Они необычайно вкусны. А что всего удивительнее, очень порядочно изготавливают их на монастырских кухнях. Вообще, я очень рад, что сподобился посетить святыя места».



Между тем другой паломник – а может быть, и тот же – стоял однажды в Вифлееме на плоской кровле монастырского дома и любовался великолепной лунной ночью, ночью, поистине, восточной. Месяц и звезды были невыразимо светлы, небо и воздух синевы необычайной. Все кругом было тихо до святости, до благоговения. В воздухе и в уме мелькали и слышались одни таинственные голоса неумолкаемых преданий.

Паломник представлял себе, что, может быть, на том же месте, где он стоит, стоял за 1850 лет тому и любовался так же подобной ночью современник, почти зритель события, которое озарило благодатным сиянием одну из страниц летописи мира и человечества. Паломник говорил себе, что стоит при скромном роднике, из которого разлились потоки света и любви на грядущие поколения, потоки, преобразившие судьбы Мира, еще донныне не иссякшие и благотворно разливающиеся. Посетителю этих мест не нужна особенной набожности, особенного верующего настроения, чтобы увлекательно, почти бессознательно, подчинить себя всемогуществу преданию, которые здесь струятся в воздухе и всего тебя обхватывают, как этот тихий, теплый и глубоко проникающий воздух. Даже неверующий в чудеса должен сознаться, что эта земля, сокровищница и прорицательница чудес-

ных преданий.

Здесь вековые события не сменяются, не стираются с лица земли и с истории новыми событиями мимотекущего дня; здесь, как по глаголу Иисуса Навина, солнце остановилось в течении своем, но солнце не единого дня, а столетий. Здесь читаешь Евангелие с тем же любопытством и вниманием, как в других странах читаешь местный дневник текущих происшествий и новостей. Все возбуждает любознательность и отражается в душе свежим, глубоким впечатлением. Все здесь отзывается древностью, и вместе с тем все постоянно, все вековечно и ново.

С людскою злобой еще как-нибудь справишься, по крайней мере на время; с людскою глупостью невозможно. Она носит на лбу своем надпись Данта: оставь всякую надежду, если имеешь дело до меня. Злоба – ухищрение; можно перехитрить ее. Глупость – сила самородная и неодолимая. Злоба – крепость; но есть возможность и надежда сделать в ней пролом. Глупость – голая, плешивая, большущая скала; нет к ней приступа, не за что уцепиться. Попробуй взлезть на нее: неминуемо скатишься вниз после первой попытки.

* * *

М. Ф. Орлов был прикомандирован императором Александром к знаменитому генералу Моро, когда он из Америки приехал в нашу главную квартиру.

Однажды утром Орлов сидит перед зеркалом и бреется. Входит Моро, смотрит на Орлова и, говоря ему: «Да вы совсем не так, как следует, держите бритву!» – вырывает ее из руки Орлова и начинает брить его. Ошеломленный Орлов не знал, что и думать и как объяснить эту выходку. После спрашивает он адъютанта Моро, что это может значить? Тот рассмеялся и говорит: «Генерал очень любит брить и полагает, что никто лучше его не бреет». (Рассказано мне Орловым.)

Бывают же такие странные вкусы в человеческой натуре! Знавал я одного барина, который по любви к искусству и из чести выучился рвать зубы. Он никогда не выходил из дому без футляра с зубными инструментами в кармане, как другой без сигарочки. Ко всем он в зубы так и заглядывал. Беда тому, кто при нем заикнется, что у него зуб болит или болел: он так на него сейчас и кинется и с инструментом в рот залезет.

А Царь Федор, который любил звонить в колокола? Один наш поэт обессмертил эту любовь в поэме своей и сказал:

Федор

Звонил в колокола:

Его любимая охота в том была.

Кажется, в этой же поэме поляк старается совратить русского боярина с пути чести и верности и увлечь его на свою сторону. Тот отговаривается и выставляет обязанности свои перед Отечеством.

Отечество! Увы, что может быть глупей?

возражал поляк. N.N. говорит, что Гречу следовало бы взять этот стих в эпитаф для журнала своего «Сын Отечества».

Кто-то приветствовал вышеупомянутую поэму следующим четверостишием:

Пожарским, Мининым и взрывом сил народных
От козней вражеских Россия спасена;
Но от стихов твоих эпически-негодных
Ах, не спаслась она!

* * *

Алексей Михайлович Пушкин рассказывает, что из дома воспитательницы его Мелиссино старый слуга был отпущен на волю. Несколько лет спустя встречается он Пушкина и говорит: «Что же вы, барин, никогда к нам не пожалуете?» Пушкин, воображая, что он при месте в каком-нибудь клубе или в гостинице, спрашивает его: «Да где же ты теперь находишься?» – «Как же, ваше превосходительство, – отвечал он, – вот уже третий год, что служу при Иверской».

Он же рассказывал, что у какой-то провинциальной барыни убежала крепостная девушка. Спустя несколько лет бары-

ня проезжает через какой-то уездный город и отправляется в церковь к обедне. По окончании службы дьячок подносит ей просвиру. Барыня вглядывается в него и вдруг вскрикивает: «Ах, каналья, Палашка, да это ты?» Дьячок в ноги: «Не погубите, матушка! Вот уже четыре года, что служу здесь церковником. Буду за ваше здравие вечно Бога молить».

* * *

Дельвига знал я мало. Более знал я его по Пушкину, который нежно любил его и уважал. Едва ли не Дельвиг был, между приятелями, ближайшая и постояннейшая привязанность его. А посмотреть на них: мало было в них общего, за исключением школьного товарищества и любви к поэзии. Пушкин искренно веровал в глубокое поэтическое чувство Дельвига.

Впрочем, не было мне и случая короче сблизиться с ним. Он постоянно жил в Петербурге, я постоянно жил в Москве. Когда приезжал я на время в Петербург, были мы с ним, что называется, в хороших отношениях, встречаясь нередко на приятельских литературских обедах, вечеринках. Но и тут казался он мне мало доступен. Была ли это в нем застенчивость, или некоторая нелюдимость, объяснить я себе не мог; но короткого сближения между нами не было. На сходках наших он мало вмешивался в разговор, мало даже вмешивался в нашу веселость. Во всяком случае был он малоразго-

ворчив: речь его никогда не пенилась и не искрилась вместе с шампанским вином, которое у всех нас развязывало язык.

Спрашивали одного англичанина, любит ли он танцевать? – «Очень люблю, – отвечал он, – но не в обществе и не на бале (*jamais en societe*), а дома один, или с сестрою».

Дельвиг походил на этого англичанина. Однажды убедился я в том и имел возможность оценить его и понять нежное сочувствие к нему Пушкина. Мы случайно провели с ним с глазу на глаз около трех часов. Мы ездили к общему знакомому нашему обедать на дачу, верст за пятнадцать от Петербурга. Тут разговорился он. Я отыскал в нем человека мыслящего, здраво и самобытно обдумавшего многое в жизни. Я удивился и обрадовался находке моей.

Между прочим, рассказал он мне план повести, которую собирался писать. План был очень оригинальный и совершенно новый, а именно рассказ о домашней драме, подмеченной с улицы. Лица, имена, происхождение их оставались тайною как для читателей, так и для самого автора; но при этой тайне выказывалась истина и подлинная, живая жизнь со всеми своими переворотами, тревожностями, радостями и скорбью. Как мы уже заметили, автор не вводил читателей в дом действующих лиц, и сам не входил в него, но все сквозь окна подсмотрел с улицы, и вышел полный рассказ, создавалась полная повесть.

Вот как это было. Кто-то, пожалуй сам автор, нанял себе две-три комнаты в доме на Петербургской стороне. Он

был человек, озабоченный разными занятиями, часто должен был выходить из дому и домой возвращаться. Куда бы он ни шел, он должен был проходить мимо одноэтажного низенького домика с садиком. Домик не имел ничего замечательного, но как-то обратил на себя внимание соседа. Каждый раз, что он проходил мимо, а это случалось часто, он заглядывал в окна; а как окна были низки, он мог читать в комнатах и в том, что в них делается, как в открытой книге.

Жилец домика должен был быть и хозяин его, холостой, одинокой. Судя по первым впечатлениям, по усам его, по архалуку, по чапраку, прибитому к стене, и по сабле, на нем повешенной, вообще по ухваткам его, можно было заключить достоверно, что он отставной кавалерийский офицер, может быть, бывший кавказец. Казался он уже не молод, но и не стар: походка бодрая, движения свободные, развязные; лицо светлое, еще довольно свежее и выражающее много простоты и добродушия.

Сосед задал себе как будто задачу изучить его. Каждый раз, что проходил мимо, он пристально вглядывался в окошко. Замечает он, что незнакомый хозяин начал как-то опрятнее и щеголеватее одеваться. Спустя несколько дней заметил он большое движение в домике: его обчищают снаружи и внутри, обивают стены новыми светлыми бумажками, изукрашенными яркими гирляндами и какими-то фигурочками, чуть ли не амурчиками с крыльями и со стрелами. Из Гостиного Двора приносятся коврики, столовые часы, при-

носятся маленькие клавикорды, различная мебель, и, между прочим, большая, красного дерева двуспальная кровать. Загадка начинает разгадываться.

Недели чрез две в домике справляется свадебный пир. Сосед наш еще медленнее, чем прежде, проходит мимо домика, еще с большим любопытством, даже с нескромностью, проникает глазами во внутренность комнат. Никакой добросовестный и хорошо оплаченный шпион не мог бы так следить за лицом, на которое указало ему начальство, как он сторожит, допытывает этот домик и совершенно неизвестных ему жильцов его. Да он и не хочет знать, кто они; а с каким-то темным предугадыванием ожидает удобного случая, чтобы сами события, сама жизнь открыли ему, кто и что они и что будет с ними. Как читатель, пристрастившийся к чтению романа, он не хочет, чтобы автор намекал ему заранее на действия и положение героев; он даже боится, что автор как-нибудь проговорится и слишком скоро укажет на развязку романа.

Молодая хозяйка красива, стройна, одета всегда просто, но всегда со вкусом. Выражение лица ее живое, беспечное, веселое. На глаза она годами, по крайней мере, пятнадцатую моложе мужа; но и муж как будто помолодел, еще выпрямился и вторично расцвел. Медовые месяцы проходят благополучно, во всей сладости, во всем благоухании своем. Супруги неразлучны; они милуются, целуются; муж жену – в щеки и в губы; она обыкновенно целует его в лоб: знак нежности и

вместе почтительности. Она разливает чай и подносит чашку ему, прихлебнув ее немножко, чтобы знать, довольно ли чай крепок и подслащен сахаром. Она оправляет трубку и подает ему курить. Иногда садится она за клавикорды, играет и поет. Он, облокотясь на стул, слушает со вниманием, кажется умилительным: переворачивает листы нотной тетрадки. Часто по вечерам, поздней осенью и зимою, сидят они перед камином: он в широких креслах, она на стуле, почти не опираясь на спинку его. Она вслух читает ему газеты или книгу.

Сосед все это видит. Он жалеет, что еще не последовал примеру соседа своего и не обзавелся женкою и домиком. Между тем смутно ожидает, что будет впереди. Ожидал он недолго, то есть с год, не более. К двум действующим лицам присоединяется третье: молодой офицер, наружности очень красивой. Быт и порядки в доме не изменились: все идет по-прежнему, только часто и все чаще и чаще приемная комната оживляется присутствием нового лица. Гость и муж за чайным столом беседуют и покуривают вместе: один трубку, другой сигару. Гость с каждым разом засиживается доле и позднее, часов до одиннадцати, однажды даже до половины двенадцатого. Муж начинает зевать; жене, по-видимому, спать вовсе не хочется.

Так тянулись дни довольно однообразно, в течение двух или трех месяцев. Наконец, соглядатай наш замечает, что в доме идет как-то неладно. Муж нахмурен, в лице как будто похудел и пожелтел. У жены нередко заплаканные глаза.

Офицер все-таки еще является, а иногда и по утрам; хозяйка и он сидят вдвоем; мужа, вероятно, нет дома. Вечером все три налицо, но уже как будто не вместе: хозяйка с гостем в одном углу комнаты; в другом муж сидит за столом и раскладывает пасьянс, а может быть, и гадает. Чего тут загадывать?

Тут шпиону нашему пришла необходимость выехать из Петербурга. Больно было ему оставить обсерваторию свою; больно было прервать чтение романа, который живо заинтересовал его. Месяцев чрез семь возвращается он на свое жительство. Нечего и говорить, что только отряхнувшись с дороги, побежал он к своей сторожке. Смотрит: хозяин дома так же и тут же, со знакомою трубкою во рту. Но он, в это короткое время, постарел десятью годами: осунулось лицо, изнуренное и скорбное. Видно, что большое горе прошло по этому лицу и по этой жизни. Вдруг из дверей показывается кормилица с грудным ребенком на руках и проходит по комнате. Хозяин, озлобленно взглянув на них, что-то пробормотал сквозь зубы; по выражению, по сморщившимся чертам лица, можно было догадаться, что слова были недобрые: он скорыми шагами вышел из комнаты и сердито хлопнул дверь за собою.

Не помню, как намеревался Дельвиг кончить свою семейную и келейную драму. Кажется, преждевременною смертью молодой женщины.

Разумеется, в этом беглом рассказе, в этом сколке, не упоминается о многих подробностях и частных случаях, кото-

рые связывали эти сцены, наметанные на живую нитку, и пополняли накинутый рисунок. Не знаю, как вышла бы повесть из-под пера Дельвига; неизвестно, и вышла ли бы она, потому что Дельвиг был, кажется, тут на работу; но в первоначальной смете своей повесть очень естественна и вместе с тем очень занимательна и замысловата. Много тут жизни и движения; под покровом тайны много истины. Все проходит тихомолком, а слышишь голоса живые. Дельвиг рассказал мне свой план ясно, отчетливо и с большим одушевлением. Видно было, что эта повесть крепко в уме его засела.

В эту же поездку речь наша как-то коснулась смерти. Я удивился, с какою ясной и спокойной философией говорил он о ней: казалось, он ее ожидал. В словах его было какое-то предчувствие, чуждое отвращения и страха; напротив, отзывалось чувство не только покорное, но благо-приветливое. Для меня, по крайней мере, этот разговор был лебединая песня Дельвига: я выехал из Петербурга и более не видал его, а он скоро затем умер.

Вспоминаю, что у меня было еще два подобные, предсмертные разговора, тоже с людьми мне не особенно близкими. Это было, кажется, в 1838 году. Во Франкфурте-на-Майне встретился я с Н., который возвращался в Россию.

Опять не знаю, как речь зашла о смерти. Он говорил мне, что смерти не боится, а боится одного: быть заживо погребенным, и потому не желал бы умереть в деревне, в отсутствии домашних своих. А через несколько месяцев затем он

именно так и умер: в деревне, и кажется, никого из семейства его не было при нем. Во Франкфурте было мое последнее свидание с ним, а мысли его о смерти – последние слова, которые слышал я от него.

Гораздо позднее, был у меня еще и третий разговор в такой же обстановке. В какой-то праздничный, торжественный день, при многолюдном стечении разных лиц во дворце, встречаю С., только что возвратившегося из заграницы. С. любил жизнь и, по-своему, умел пользоваться ею. Он был богат, занимал в обществе довольно видное место, не тревожился загадочными задачами жизни, а скорее радел о житейских задачах ее и решал их всегда удовлетворительно для себя. Мы тут обменялись с ним несколькими *шляпочными* словами. Но ни с того, ни с другого – видно, лицо мое какое-то *temento mori* – разговор круто повернул на смерть. «В жизни и в свете, – сказал он мне, – все довольно хорошо придумано и устроено; одно не хорошо: срок жизни слишком короток. Нужно было бы дать человеку прожить по крайней мере лет двести». Спустя несколько дней узнаю, что С. умер скоропостижно. Вот так кончилась и третья моя упокойная беседа.

* * *

Был в Москве всем известный и во многих домах очень хорошо принятый итальянец Осип Негри. N.N. говорил ему,

что он и без спиртуозных напитков всегда под хмельком. – Как же так? – «Да, разумеется: *vous etes ne gris*» (непереводимая игра звуков: вы рождены пьяным).

Он же ему: «Тебе никак нельзя петь дуэт с красавицей твоей». (Он был влюблен в певицу из Итальянской оперы.) – А почему же? – «Потому, что ты вечно *Ocup*».

Есть у нас приятель; он, с некоторым заиканием, говорит скороговоркою, а воображение его еще и языка скороговорчивее. Спрашивают его: есть ли лес в купленной им подмосковной? – Как же, отвечает он: сорок четыреста четыре тысячи сорок тысяч десятин строевого леса. – Мы думали, что он дойдет до четырехсот тысяч десятин: да, как-то духу у него не хватило, и он остановился.

Заметка для читающего или для повторяющего этот рассказ: не надобно ставить запятых между цифрами ни письменно, ни устно; иначе пропадет вся прелесть этого *crescendo*.

* * *

В этом же роде рассказывал Алексей Перовский. Был ему хорошо знаком один зубной врач, не опровергавший французской поговорки: *mentir comme un arracheur de dents* (лгать как зубодерг).

Однажды говорит он Перовскому: «На прошлой неделе вырвал я зуб у старого князя***. Как думаете, что он дал

мне за операцию?» Перовский, зная хорошо приятеля своего, отвечает ему: тысячу рублей. – «Мало». – «Три тысячи?» – «Мало». – «Десять тысяч?»

Ошеломленный зубной врач не посмел идти далее и сказал: «Да, именно десять тысяч рублей, вы угадали». Но, одумавшись немножко, добавил: «И еще подарил мне славного рысака».

* * *

К празднику Светлого Воскресенья обыкновенно раздаются чины, ленты, награды лицам, находящимся на службе. В это время происходит оживленная мена поздравлений. Кто-то из подобных поздравителей подходит к Жуковскому во дворце и говорит ему: «Нельзя ли поздравить и ваше превосходительство?» – «Как же, – отвечает он, – и очень можно». – «А с чем именно, позвольте спросить?» – «Да со днем Святой Пасхи».

Жуковский не имел определенного звания по службе при дворе. Он говорил, что в торжественно-праздничные дни и дни придворных выходов он был *знатной особой обоего пола* (известное выражение в официальных повестках).

Кривой К., после долгого разговора с кривым О., сказал: «Я очень люблю беседовать с ним с глазу на глаз».

* * *

Заметка о N.N. Не знаю, простит ли Бог ему грехи его, но он не прощает Богу ни малейшего насморка своего.

* * *

Добрая старушка, довольная участью своею, говорила с милением: «Да будет Господь Бог вознагражден за все милости Его ко мне».

* * *

Прогрессивные провинциалы – а есть такие провинциалы и в столицах – говорят с ужасом, с ожесточением, о нравах и обычаях старого времени, особенно проявлявшихся в помещичьем быту.

Боже сохрани защищать и оправдывать все эти нравы и обычаи; но за исключением тех из них, которые имели на себе неблагоприятные и предосудительные оттенки, почему предавать анафеме и те обычаи, которые были чисто комического свойства и невинно забавны? Если все доводить до правильного и благочинного однообразия и благообразия, если хотеть всю жизнь подчинить законам и условиям платониче-

ской академии и платонической республики, то куда же денем мы смех, который также есть радостная и животворящая принадлежность жизни и человека? Не дай Боже заглушить, задушить в нас это физиологическое явление, которое служит нам отдыхом и отрадою за слезы, проливаемые нами тоже по законам природы нашей и жизни.

Я, по крайней мере, не вхожу в исступление при картинах, имеющих более забавный, нежели порочный характер. Если умел бы я писать комедии или романы, я дорожил бы преданиями нашей старины: без озлобления, без напыщенного декламатерства выводил бы я на сцену некоторых чудаков, живших в удовольствие свое, но в прочем не в обиду другим. Старый быт наш имел свое драматическое олицетворение, свое движение, свои разнообразные краски. Имей я нужное на то дарование, я обмакивал бы кисть свою не в желчь; не с пеною во рту, а с насмешливою улыбкою, растирал бы я для картин своих свежие и яркие краски простосердечной шутки. Я возбуждал бы в читателях и зрителях симпатический смех, потому что сам давал бы я им пример не злостного, а искреннего и необидного смеха. Я бегал бы, чуровался бы от всякого *тенденциозного* направления, как от злого наития.

Так, кажется, вообще поступал и Гоголь. Где в художествах, в литературе, в живописи является *тенденция*, с притязаниями на учительство, там уже нет ни природы, ни искусства. Реальная правда в созданиях мысли и воображения не может быть живою правдою: она уже охолодивший труп под

лекарским ножом, не в театре живых людей, а в *театре анатомическом*, по французскому выражению.

Например, был один помещик, принадлежавший довольно знатному роду, по воспитанию своему образованный. Когда бывал в столицах, жил и действовал он как другие в среде ему подобающей; но столичная жизнь стесняла его.

Мне душно здесь, я в лес хочу, –

то есть в село свое, говорил он про себя. И там в деревне, на свежем воздухе, на просторе, разыгрывались прирожденные и таившиеся в нем наклонности, причуды и странности. Он любил, ему, по натуре его, нужно было чудачить, и он чудачествовал себе в свое удовольствие.

По преданиям старого барчества, которые могли быть ему не чужды, он дома завел обряды и этикет наподобие любого немецкого курфюршества. Он составил свой двор из дворни своей. До учреждения мундира он достигнуть не осмелился; но завел в прислуге официальные жилеты разного цвета и покроя, которые, по домашнему значению, равнялись мундирам. Жилеты были распределены на разные степени, по цвету и пуговицам. Он жаловал, производил, повышал, например, Никифора в такой-то жилет высшего достоинства. Панкратий, за пьянство или за другой поступок, был разжалован в жилет низшего достоинства, с внесением в формулярный список. Когда, по воскресеньям и другим празднич-

ным дням, барин отпраплялся в церковь, дворовой штат его, по старшинству жилетов, становился в две шеренги на пути, по которому он изволил шествовать.

Были дни, в которые все жилеты и все находящиеся при них юбки имели счастье лобызать барскую ручку.

Все дома и в домашнем быту подходило к таковому порядку. Дни и часы были распределены, как восхождение и захождение солнца, по календарю. *Хозяин музыку любил*, особенно итальянскую. Это музыкальное дарование было родовым свойством в семействе его. Из крепостных и взятых во двор голосов избирались всевозможные сопрано, контральто, теноры, баритоны, басы, все ступени со всеми извилинами музыкальной лестницы. Из них составлялись концерты, которые можно было слушать с удовольствием. Здесь, по уравнению звания, аристократические голоса барских детей сливались с плебейными голосами челядинцев. Здесь барин был уже не барин, а подпевающий отец поющего семейства.

В селе своем подметил он однажды попадью, которую можно было завербовать с успехом в вокальное общество. Начал он и ее итальянизировать и заставлял петь арии и дуэты из разных итальянских опер-буфф. Разумеется, притом и принаряжал он ее в приличные тому костюмы: шелковые платья с длинными шлейфами. Выписывал он для нее из Москвы токи со всеми возможными и невозможными перьями. Показалось ему, что она должна быть забавна верхом. И вот заказал он ей амазонское платье и шляпку с вздернутым

вверх козырьком, посадил ее на коня и разъезжал с ней по полям и по лесам.

Слухи обо всем этом дошли до местного архиерея. Он возымел подозрение, что тут кроется что-то недоброе. Он послал за попадьею. Явилась она. При виде ее подозрение рассеялось. Он говорит ей: «Извини меня, матушка, что я тебя напрасно потревожил; мне не так доложили. Ты так стара и некрасива, что греху поживиться тут нечем. Возвращайся с Богом домой. Счастливый путь!»

Все это не просится ли под кисть русского Теньера, под перо русского Лесажа (автора «Жиль-Блаза»), русского Диккенса? Тут *стульев ломать* не нужно. Не нужно стучать и пером о бумагу, как кулаком. Пиши с натуры; не черни ее, не клепли на нее, и выйдут картины, очерки забавные, но милovidные, и с сатирическими оттенками. Литература, ни в каком случае, не должна быть учреждением, параллельным уголовной палате. А наша литература все любит карать. Правда, что кому охота есть, легче быть подмастерьем палача, нежели талантливым живописцем.

* * *

Барон Мальтиц²¹, немецкий поэт и русский дипломат,

²¹ Брат его, некогда посланник наш в Гааге, был также немецким поэтом, и между прочим дописал неоконченную трагедию Шиллера «Димитрий Самозванец».

впоследствии времени наш поверенный в делах при Веймарском дворе, зять и друг Ф. И. Тютчева, забавно рассказывает, при какой обстановке получил он, в молодых еще годах, первый знак отличия. Он был тогда секретарем при нашей миссии в Берлине, посланником был Алопеус. Министр призывает его в свой кабинет и торжественно обращается к нему со следующей речью: «Милостивый государь, наш августейший властитель (*notre auguste maitre*), всемилостивейший государь Всероссийский (*empereur de toutes Les Russies*), в непрестанной заботливости о благе подданных и в великодушном внимании к заслугам усердных служителей своих, благоволил пожаловать вас, милостивый государь, кавалером ордена святого равноапостольного великого князя Владимира четвертой степени: это последняя» (*l'ordre du grand-due, Saint Wladimir, egal aux apotres, de la quatrieme classe: c'est la derniere*). Все это, разумеется, было сказано на французском языке.

* * *

Князь Гагарин, принадлежащий ныне к ордену иезуитов, говорил об N.N: «С ним бывают всегда такие радости, что как-то совестно поздравлять его с ними. То поздно пожалован он знаком отличия, который давно ему следовал; то, рождением внучки, рано пожалован он в дедушки».

* * *

В старину говорили: в Станиславе – мало славы; молись Богу за матушку Анну. (Слышано от Дмитрия Павловича Тащицева.)

Один департаментский чиновник никак свыкнуться не мог с выражением: «написать записку в третьем лице». В таких случаях он докладывал начальству: «Не прикажете ли написать записку от вашего превосходительства в трех лицах?»

* * *

«Как это так делается, – спрашивали N.N., – что ты постоянно жалуешься на здоровье свое, вечно скучаешь и говоришь, что ничего от жизни не ждешь, а вместе с тем умирать не хочешь и как будто смерти боишься?» – «Я никогда, – отвечал он, – и ни в каком случае не любил переезжать» (Je n'ai jamais aime a demenager).

* * *

Крылов, как член старой Российской Академии, был недоволен хозяйственными и экономическими распоряже-

ниями ее. Капитал, которым она владела, не употребляла она на пользу русской словесности, не печатала полезных и дешевых книг, не изготовляла новых, улучшенных изданий наших классических писателей, не помогала молодым талантам. «Куда копите вы деньги свои? – спрашивал он академическое правление. – Разве на приданое Академии, чтобы выдать ее замуж за Московский университет?»

Свадьба не состоялась; но после смерти Шишкова значительный академический капитал был отобран. Богатая невеста замуж не вышла, и как сиротка пристроена была к другому месту и под другим именем. Для старых академиков это был жестокий удар. Министра Уварова осуждали за эту реформу. В лирическом негодовании своем иные даже утверждали, что он этим преобразованием оскорбляет память Екатерины Великой: она была основательницей Академии, в лице княгини Дашковой была сама почти членом Академии. Довольно долго раздавались жалобы, сетования и упреки.

Конечно, кажется, лучше было бы не трогать Академии, не нарушать личных преимуществ ее. Она уже пользовалась правом гражданства в составе государства; принесла не столько пользы, сколько могла принести, но все же не совсем праздно просуществовала. Некоторыми нововведениями и улучшениями можно было еще возвысить влияние ее на любознательную и просвещенную публику. В Париже избрание нового академика, приемное заседание ему, речи, при этом читанные, составляют еще и ныне событие для города, кото-

рый в событиях не нуждается, а скорее подавлен разнородными событиями. У нас далеко не то, особенно в явлениях умственной и литературной деятельности.

Впрочем, наша Академия тоже записала событие в летописях своих: когда Карамзин читал в ней речь и отрывки из «Истории Государства Российского» и получил золотую медаль из рук незлопамятного Шишкова. В лице его старый слог не только примирился с *новым*, но воздал ему подобающую честь. Это академическое торжество было и общественным, и городским событием. Никогда академическая зала не видала в стенах своих такого многолюдного и блестящего собрания лиц обоего пола. Чтение академика-Пушкина могло бы также быть академическим праздником. Подобные праздники полезны и нужны для разнообразия и пробуждения посреди обихода будничных, голословных дней.

Можно еще заметить, что не каждый член чисто литературной Академии может быть и членом Академии Наук. Фонвизин, Княжнин, Дмитриев и другие им подобные были совершенно на месте своем в Российской Академии; в Академии Наук были бы они не жильцы, а разве гости. И то выходило бы тогда смешение понятий и произвольная классификация.

* * *

После Крылова как-то вспомнилось о Гнедиче. Впрочем,

они были приятели и друзья. Дружба их была, вероятно, основана более на уважении друг друга в литературном отношении, хотя дарование каждого из них было совершенно противоположно дарованию другого: они пели не на один лад. А вероятнее еще, короткая их связь закрепилась общим сожительством в доме Императорской Библиотеки.

Во всем быту, как и в свойстве дарования их, выказывалась такая же рознь. Крылов был неряха, хомяк. Он мало заботился о внешности своей. Гнедич, испаханый, изрытый оспою, не слепой, как поэт, которого избрал он подлинником себе, а кривой, был усердным данником моды: он всегда одевался по последней картинке. Волосы были завиты, шея повязана платком, которого стало бы на три шеи. Несмотря на непригожество свое – прости мне тень его мою нескромность – он придавал себе все притязания и прихоти красавца: иначе не стал бы он выказывать свое безобразие, вставляя его в изысканную нарядную раму. Впрочем, театральная хроника старого времени гласит, что и он имел дни своих любовных успехов и счастья.

Во внутреннем быте своем соответствовал он внешнему. Он был несколько чопорен, величав; речь его звучала несколько декламаторски. Он как-то говорил гекзаметрами. Впрочем, это не мешало ему быть иногда забавным рассказчиком и метким на острое слово. Он слыл хорошим чтецом; но в чтении его, как и во всем прочем, было мало простоты и натуральности. Крылов, напротив, читал, по крайней мере,

басни свои, без малейшего напряжения: они выливались из уст его, как должны были выливаться из пера его, спроста, сами собою. Голос, дикция Гнедича были как будто подавлены платком, который в несколько раз обвивал шею его и горловые органы.

Любезный и во многих отношениях почтенный Гнедич был короче знаком с языком «Илиады», нежели с языком петербургских салонов, то есть с французским. Но одетый по моде, хотел он и говорить по моде. И тут французская речь его была не только с грехом пополам, но и до невозможности забавна. Однажды где-то хвалили красоту какой-то девицы. Он вмешался в разговор и густым голосом своим сказал: *Pour moi, ce n'est pas un bel visage, mais comme disent les Francois, c'est une jolie figurlette* (По мне, так она не красавица, а, как говорят французы, *милашка*).

Жуковский жил одно время в верхнем этаже Шепелевского дворца. Гнедич пришел к нему. «Ты, кажется, мой Гнедко (Жуковский всегда так называл его), запыхался?» – *Oui*, отвечал он, *j'ai courmonte votre escalier* (вбежал на лестницу вашу).

Заклучим свои несколько грешные сплетни словом истины, которое должно перевесить все, что может показаться насмешкой в очерке нашем. Гнедич в общежитии был честный человек; в литературе был он честный литератор. Да и в литературе есть своя честность, свое праводушие. Гнедич в ней держался всегда без страха и без укоризны. Он высо-

ко дорожил своим званием литератора и носил его с благородной независимостью. Он был чужд всех проделок, всех мелких страстей и промышленности, которые иногда понижают уровень, с которого писатель никогда не должен бы сходить. Он был в приятельских сношениях с Крыловым, Батюшковым, Жуковским, Пушкиным, Баратынским, Дельвигом, Плетневым, Тургеневым. Он был свой человек в гостеприимном и литературном доме А. Н. Оленина. В литературе оставил он по себе труд и памятник капитальный. Его перевод «Илиады» и Жуковского перевод «Одиссеи» ничего равного себе не имеют в литературе нашей. Они хоть несколько восполнили классический пробел, которым наша литература прискорбно отличалась и отличается от всех других известных европейских литератур.

* * *

Когда князь Шаликов в первый раз представлялся Дмитриеву, он, входя в комнату, сказал ему: mon general. Это тем было забавнее, что в обстановке Дмитриева не было ничего военно-генеральского, что тут являлся он не по делам службы, а по литературным, младший к старшему, и наконец, что Дмитриев не говорил иначе, как по-русски, хотя знал хорошо французский язык; а Шаликов, хотя и говорил на нем, но довольно плохо.

В старое время и в начале столетия, в некоторых слоях

общества считалось как-то почтительнее и вежливее обращаться с речью на французском диалекте. Заговаривать по-русски казалось слишком запросто и фамильярно. Зато какие часто забавные промахи отпусkaliсь! К ошибкам на отечественном языке оказывалось вообще более терпимости. Свои люди сочтемся, или рука руку, а пожалуй, язык, может. Высшая образованность в обществе была воспитана на иностранной выдержке. В старое время говорили по-русски более самоучкой. Да иначе и быть не могло. Учителей не было, русских воспитателей не было. В книгах для чтения был большой недостаток. Хороших словарей, общедоступной грамматики налицо также не оказывалось. Есть ли они теперь в удовлетворительном составе и виде? Право, сказать не умею. Лучшие писатели наши прежнего времени сами вскормлены были на чужих хлебах. Но они чужой хлеб перепекали в своей родной печи, прибавляя к ней муки своей, и мало-помалу пошли в ход и вошли в славу московские калачи и разные сдобные печенья.

* * *

В старое время была целая устная литература, литература анекдотическая, забавно искаженной французской речи.

Чьи это портреты? – По середке *ma femme*, а по бокам *pere d'elle* и *mere d'elle*.

А исторический и знаменитый *je* Федора Петровича Ува-

рова? Наполеон I, в котором-то из сражений, любовался русской кавалерийской атакой и, как рассказывают, воскликнул: Bravo! Bravo! Вырвавшийся крик из груди художника. Позднее, когда Уваров представлялся ему, Наполеон, вспомнив впечатление свое, спросил его: кто командовал русской кавалерией в таком-то деле? – Je, Sire.

Тонем пониже, но его же. В сенях театра, при выкличке карет полицейским солдатом, повторял: Pas ta, pas ta. Наконец провозгласили карету его: та, та, та, воскликнул он и выбежал из сеней.

Барыня, довольно высокоименитая, была в Риме и представлялась папе. Не знаю, целовала ли она туфлю его святейшества, но известно, что на какой-то вопрос его, отвечала она: oui, mon rare.

Другая русская путешественница, на представлении немецкой королеве, говорила ей: Sirene, на том основании, что королю говорят: Sire. Вольно же французскому языку не быть логически последовательным!

Через какой-то губернский город проезжал ученый путешественник, сильно рекомендованный из Петербурга местному начальству. Губернатор решился дать в честь его обед, но на беду, он никакого иностранного языка не знал. Для того, чтобы помочь этому горю, выписали уездного предводителя, который был в числе военных гостей, посетивших Париж в 1814 году и поэтому прозван был в уезде парижанином. Губернатор просил его заняться во время обеда

разговором с путешественником и сказать несколько приличных слов, когда будут пить за здоровье его. Наш парижанин охулки на язык не положил. В витиеватой речи он несколько раз выхвалял достоинства de l'illustre coupable du triomphe d'aujourd'hui (знаменитого виновника нынешнего торжества).

В детстве моем знавал я барина, который в русскую речь – а он иначе как по-русски не говорил – клеивал поминутно слово, или, вернее, звуки *мушипр*. Кто-то спросил у него истолкования этой странности. – «В молодости моей я совершенно владел французским языком, но прожил двадцать лет в деревни и совершенно потерял навык говорить на нем. Одно только это слово осталось у меня в памяти и невольно наворачивается на язык». Кто-то предполагал, что, вероятно, когда-нибудь жена или одна из приятельниц назвала его *monstre*, и эта кличка однажды навсегда так и врезалась в него.

Немцы также произношением своим делают забавные промолвки. В Москве, на одной вечеринке, хозяйка дома пригласила барона *** сесть за ужин; он извинялся и просил позволения de *roter* an tour de la table (*nonпродить* вокруг стола; вместо *roder* – *побродить*).

Дипломат, родом венецианец, в русской службе, чуть ли не Мочениго, в конце донесения своего императрице Екатерине II, говорил: j'ai le bonheur d'etre jusqu'a la mort attache a la grande *potence* do votre majeste (вместо *potenza* – держава).

Можно бы собрать целый фолиант подобных археологических и архаических редкостей. Эти промахи языка тем были забавнее, что французские слова вообще очень поддаются на двусмысленное значение. Ныне что-то и этого смеха нет. Уста, чтобы не сказать губы, разучились смеяться; они надулись и нахмурились. Одни щеголеватые фельетонисты и модные повествователи великосветских событий пробуждают улыбку нашу, когда они, с грехом пополам, испещряют французской мозаикой свой русский текст.

* * *

Мы сказали: *губы нахмурились*. Выражение совершенно правильное. На польском языке сохранилось славянское слово *хмура*, то есть облако, туча. Напрасно нет этого слова в нашем академическом словаре. Вообще было бы не худо пересмотреть повнимательнее лексиконы польского языка. В них, нет сомнения, нашлось бы довольно слов, которые ускользнули из наших, а на деле принадлежат обоим языкам. Поляки могли бы сделать и у нас подобный повальный обыск. Тут политических перекоров бояться нечего. Никому не было бы в обиду: все были бы в барышах.

Брюллов говорил мне однажды о ком-то. «Он очень слезлив, но когда и плачет, то кажется, что из глаз слюнки текут».

Мы с ним прогуливались в Риме и вышли за городские стены, в так называемую *la campagna di Roma*, Римскую рав-

нину, Римскую степь. Ее воспевали поэты, живописцы старались воспроизводить ее в картинах своих; путешественники любуются ее величавой и грустной прелестью. День тогда был пасмурный; а в Риме нужны переливы сияния. «Жаль, что нет солнца, – сказал Брюллов, – будь оно, и все это перед нами так бы и запело». Замечательно, что он свое поэтическое выражение заимствовал не из живописи, а из музыки.

Но вот слово его же, которое так и носит отпечаток великого живописца. В Петербург приезжала англичанка, известная портретистка. Спрашивали Брюллова, что он думает о ней. «Талант есть, – сказал он, – но в портретах ее нет костей: все одно мясо».

* * *

Известный П. И. Кутузов не всегда был сенатор и куратор. Было время, когда, в молодости, был он кирасирский майор, или подполковник, в полку, квартирующем в Москве.

У кого-то за городом был домашний спектакль. Кутузов участвовал в нем в роли арлекина. После представления спешит он в город и как до него было только версты две или три, он, не переодевшись, а закутавшись в шинель, сел в карету и поскакал в Москву. Второпях забыл он одно: что перед городом есть застава, и при ней неминуемая гауптвахта. Кажется, это было в царствование императора Павла. Он подъезжает, надобно выходить и записаться. Дело сделано, шинель бла-

гополучно прикрыла все грехи, но вот, каким-то неосторожным движением проезжающего, шинель распахнулась, и караульный видит в кирасире пестрого арлекина. Можно представить себе, что за *сoup de theatre*!

Как бы то ни было, кирасир-арлекин провел ночь на гауптвахте, а утром, с поличным под караулом, препровожден был к начальству. Помню, как этот рассказ, слышанный мною в детстве, забавлял меня.

* * *

Одно время проказники сговорились проезжать часто через Петербургские заставы и записываться там самыми причудливыми и смешными именами и фамилиями. Этот именной маскарад обратил внимание начальства. Приказано было задержать первого, кто подаст повод к подозрению в подобной шутке. Дня два после такового распоряжения проезжает чрез заставу государственный контролер Балтазар Балтазарович Кампенгаузен и речисто, во всеуслышание, провозглашает имя и звание свое.

«Некстати вздумали вы шутить, – говорит ему караульный, – знаем вашу братью; извольте-ка здесь посидеть, и мы отправим вас к господину коменданту». Так и было сделано.



В старину проезд через заставу был делом государственной важности не только у нас, но и в других государствах: во Франции и в Германии этот порядок соблюдался, может быть, еще строже и докучливее, нежели у нас. Так было и при императоре Александре I.

Волков (Александр Александрович), хорошо знакомый Москве как полицмейстер, обер-полицмейстер, комендант и, окончательно, как начальник Московского жандармского управления – и во всех этих званиях равно любимый москвичами и молодыми московскими барынями – говорил мне, что он нередко имел личные доклады у государя, и всегда все сходило с рук благополучно. Одни представления (в звании коменданта) рапортов императору Александру, во времена пребывания его в Москве, о военных чинах, приезжих и отъезжих, озабочивали его: нередко бывали они поводом к высочайшим замечаниям и выговорам.

Государь имел необыкновенную память и сметливость. Казалось, что он знает наизусть фамилии всего Российского войска, кто в каком полку и какого чина. Малейшая описка в рапорте разом и прямо кидалась ему в глаза. «Не подумай, Волков, – сказал он однажды, – что я придираюсь к тебе. – При этих словах подошел он к столу, выдвинул ящик и показал ему, в каком порядке лежат у него подобные рапорты. –

Из трех моих столиц, – прибавил он, – из Петербурга, Москвы и Варшавы».

А сколько головоломного труда стоило немцам записывание фамилий некоторых русских путешественников! Ни понятие их, ни азбука, ни ухо, ни перо не могли подделаться под своенравную терминологию наших родословных грамот и календарных имен. После многих долгих и тщетных усилий правильно записать в книги одну из таких тарабарских для немца фамилий: Aber probiren sie noch ein Mai mit S.C.H. (еще один на *Щ*), – сказал писарю раздосадованный и выбившийся из сил начальник.

Лучше всех отделался в подобном случае Американец Толстой. Где-то в Германии официально спрашивают его: Ihr Character? – Lustig, – отвечает он, – т. е. веселый.

* * *

Характеристики

I.

N.N. может казаться гордым, но он не горд, а скорее не всегда и не со всех сторон общедоступен.

У него на лбу не написано: *очень рад познакомиться с вами*, подобно вывеске на гостинице. Он не заезжий дом, открытый для всех проезжающих и проходящих. Он не бежит навстречу к каждому с распростертыми объятиями. Объятия его не гибки; они редко настежь растворяются. К нему неходишь большими воротами, а потаенною, заветною калиткою.

Если покажется ему, что кто-нибудь заискивает его и обращается к нему приветливым лицом, он готов на двадцать шагов предупредить его; но если кто как будто сторонится и ожидает от него заявления и задатка, он на пятьдесят шагов отступает. И тогда дело кончено: никакому сближению во веке веков не бывать. Он в людях вообще держится поодаль, не в наступательном, а в оборонительном положении. Тут есть, быть может, доля гордости, но есть и доля смирения. Он не ставит себя выше других, но в нем развилось ревнивое чувство охранения своего достоинства; разумеется, достоинства

не личного, не условного, а просто достоинства, присущего каждому нравственному и по чувствам своим независимому человеку.

Это достоинство для него сокровище. Он охраняет его, как приставленный часовой оберегает царские регалии, вверенные ему под ответственность его, как кустодия охраняет святыню.

Между тем, по какому-то разноречию в натуре его, он в одно время и необщедоступен, и общежителен. По различным обстоятельствам, внешним и прирожденным, по движению и переворотам жизни N.N. – такая личность, которую почти все знают. Назови по одному крестному имени его, и все догадаются, что говорят именно о нем, а не о ком другом. Он человек улицы, толпы, всякого сборища. Но ни он толпою не поглощается, ни толпа не отражается в нем. Кто-то из приятелей его сказал, что он одна из плошек, которые зажигаются на улицах по праздничным дням. Но вообще ничего нет праздничного в нем. Он существо самое будничное.

Когда он и в среде своей, между равными, он все смотрит каким-то посторонним: и они как будто не признают его своим, и он как будто не признает их своими. Есть какая-то коренная разнородность между ними. В этом и сила, и слабость его. Но он на эту слабость не жалуется: скорее он ею утешается и ею дорожит. Вот здесь, может статья, и гнездится червяк гордости. Еще нет на земле человека, который так или иначе не носил бы в себе зародыша этой гадины.

Еще одна черта: несмотря на свое *особничество*, N.N. бывал в приятельских связях своих мало разборчив. Бывали приятелями ему нередко люди очень посредственные, дюжинные, даже, в некоторых отношениях, не безупречные, пожалуй, частью, и предосудительные. В этом отношении натура его была снослива. Одно натура его не могла вынести: соприкосновение с натурами низкопробными, низкопоклонными, низкодушными.

II.

А вот, например, X.X. – совершенная противоположность с N.N. Он его антипод, он отрицание его. Нельзя и представить себе, чтобы они были созданы из одной и той же персти, из одного и того же духа.

У него на лбу отчеканено крупными буквами: *я ваш*, не то уже, что *познакомился*. На какую и на чью сторону он ни повернись, все прочтешь: *я ваш*. Ему мало знакомиться, он отдает себя, предает себя; если не продает себя, то разве единственно потому, что никто не купит его. Да и зачем покупать, когда он даром весь тут налицо? Только берите! Для него нужнее всего, пуще всего не быть собою, а быть чьею-нибудь собственностью. Он томится тоскою, сгорает жаждою зависимости, кидается на все и на всех, чтобы к чему-нибудь прицепиться; где кидаться нельзя, он ползком ползет, чтобы к кому-нибудь или к чему-нибудь прилипнуть, и прилипнет.

N.N. боится популярности как болезни заразной и повсеместно господствующей в воздухе; X.X. всячески прививает себе эту болезнь. Он охотно, страстно записывается в лазареты популярности, то есть в журналы. Пьет с больными из одного стакана, ест с одной тарелки, ложится на кровать больного, дышит дыханием его; согревается, увлажняется его испариною. Таким образом он проникнут, пропитан, промазан, промозгнут, прошпигован популярностью.

Что он за человек? – спросите вы хорошо знающих его, близких ему. – Он очень популярен, скажут они вам, и более ничего сказать о нем не сумеют и не могут. Он вешалка всех возможных дипломов, всех возможных и невозможных обществ по всем отраслям науки, промышленности, художеств, техники, благотворительности, усыпительности, говорительности, уморительности, собако- и кошко-любивой попечительности и так далее, и так далее. Он запевало, он юла, непременный *Спичинский* всех юбилейных обедов и годовщин. Как выходец из Полинезии, он словно *татуирован* всеми печатями и подписями президентскими, комитетскими, духовными и светскими. Взглянешь на него, аж в глазах зарябит. Если, паче чаяния, имя его не встретилось бы в каком-нибудь обществе, хотя в числе почетных членов, сотрудников или иногородних корреспондентов, – то подобное общество походило бы на человека, который родился без мизинца на левой руке.

III.

Имярек был в свое время не действительный тайный, а просто действительно тайный советник, которого советы ни единой душе на земле не были известны. Он не чванился и не тяготился званием своим. Казалось, что он так и рожден тайным советником.

О жизни его сказать много не для чего и нечего. Но следует припомнить здесь поговорку: *смерть животы покажешь*. Он умер именно своею натуральною смертью: за карточным столом в Английском клубе. Родным и приятелям его остается утешение сказать себе, что он до самой кончины сохранил всю ясность, бодрость и свежесть своих внутренних и духовных сил: за две минуты до смерти упрекал он партнера своего за то, что тот вышел с бубновой десятки, когда нужно было выходить с червонного валета.

Разговор характеристический

№ 1 (*внушительно и несколько сурово*). – А ты, голубчик, начинаешь опять шалить! Если так пойдет, то не мудрено, что и выключим тебя из своих.

№ 2 (*робко и с некоторой запинкой*). – А что же я такое сделал?

№ 1. – Как что! Ты вчера обедал у графа З., а дня за два пред тем у генерала Ю.

№ 2. – Это вовсе не отступление с моей стороны, а просто лакомство. Каюсь, люблю приятно и вкусно поесть и попить; а у этих господ отличные повара и отличные вина. После обеда подают великолепные настоящие гаванские сигары! Бери сколько хочешь. Мамон свой потешил я: греха не таю. Но в прочем вел я себя с приличным достоинством; святости принципа не изменил; ни разу не сказал я графу: ваше сиятельство, а генералу: ваше превосходительство.

№ 1. – Это похвально. А когда опять будешь там, захвати три-четыре сигары и принеси мне на пробу.

* * *

Кто-то, в довольно зрелых летах, уверял молодую барыню, что он без ума влюблен в нее. «Как можете вы думать, –

отвечала она, – что я поверю такой нелепости (absurdite)?» – «Тут-то и верить, – возразил он, – припомните слова блаженного Августина: *credo, quia absurdum*». – «Я по-латыни не знаю», – отвечала красавица. – *Si c'est ainsi, j'y perdrai mon latin, mais je ne vous en aimerai pas moins.* (Я и без латыни вас не разлюблю.)

Неизвестно чем кончился разговор и какие были последствия его.

* * *

Молодая девица общипывала розу и клала листочки в рот. «Я и не знал, что вы из самоедок», – сказал ей старый волочита.

* * *

А если пошло на старину, так вот старосветские мадригалы, найденные в одном *разрозненном томе из библиотеки чертей*, как сказал Пушкин, то есть в Московском альбоме. Эти мадригалы написаны, может быть, князем Шаликовым; а может быть, и не им:

1.

Что написать мне вам в альбом?
У вас есть близ аптеки дом;
Но где найти лекарства
От ваших прелестей и вашего коварства?

2.

Кто старшая из них? Вопрос сей не решен:
Они и красотой, и свежестью двойчатки;
И как ни мучусь я, не разрешу загадки:
Влюблен ли в матушку, иль в дочку я влюблен.

3.

Быль и мечтательность, поэзия и проза.
Вдоль дома вашего, в день лютого мороза,
Я шел, – и страсти пыл горел в груди моей:
Ваш милый образ мне мечтался все живей.
В окне за стеклами у вас алела роза.

Я думал, это вы, и поклонился ей.

* * *

При старушке читали оду Петрова к графу Григорию Григорьевичу Орлову:

Блюститель строгого Зенонова закона
И стоик посреди великолепий трона.

При первом стихе старая барыня прервала чтеца: «Какой вздор! Совсем не Зенонова: законная жена графа Орлова была Зиновьева; я очень хорошо знавала ее».

* * *

Робкий, по крайней мере на словах, молодой человек, не смея выразить устно, пытался под столом выразить ногами любовь свою соседке, уже испытанной в деле любви.

«Если вы любите меня, – сказала она, – то говорите просто, а не давите мне ног, тем более что у меня на пальцах мозоли» (исторически верно).

* * *

В Москве допожарной жили три старые девицы, три сестрицы Лев***. Их прозвали тремя Парками.

Но эти Парки никого не пугали, а разъезжали по Москве и были непременно посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньшая из них. На ней сосредоточились любовь и заботливость старших сестер. Они ее с глаз не спускали, берегли с каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать из дома одной. Бывало, приедут они на бал первые и уезжают последние.

Кто-то однажды говорит старшей: «Как это вы, в ваши лета, можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на балах?» – «Чего тут весело, батюшка, – отвечала она. – Но надобно иногда и потешить нашу шалунью».

А этой шалунье было уже 62 года.

* * *

Москва была всегда обильна девицами. В Москве также проживали три или четыре сестрицы. Дом их был на улице – нет, не скажу на какой улице. Всякий день каждая из них сидела у особенного окна и смотрела на проезжающих и

на проходящих, может быть, выглядывая суженого. Какой-то злой шутник – может быть, Копьев – сказал о них: на каждом окошке по лепёшке. Так и помню, что в детстве моем слышал я о княжнах-Лепешках. Другого имени им и не было.

* * *

Москва всегда славилась прозвищами и кличками своими. Впрочем, кажется, этот обычай встречался и в древней Руси. В новейшее время он обыкновенно выражается насмешкою, что также совершенно в русском духе.

Помню в Москве одного Раевского, лет уже довольно пожилых, которого не звали иначе как *Зефир* Раевский, потому что он вечно порхал из дома в дом. Порхал он и в разговоре своем, ни на чем серьезно не останавливаясь.

Одного Василия Петровича звали Василисой Петровной.

Был король Неапольский, генерал Бороздин, который ходил с войском в Неаполь и имел там много успехов по женской части. Он был очень строен и красив. Одного из временщиков царствования императрицы Екатерины, Ив. Ник. Корсакова, прозвали Польским королем, потому что он всегда, по жилету, носил ленту Белого Орла.

Был князь Долгоруков *балкон*, так прозванный по сложности губ его. Был князь Долгоруков *каламбур*, потому что он каламбурами так и сыпал. Был князь Долгоруков *l'enfant prodigue* (блудный сын), который в течение немногих лет

спустил богатое наследство, полученное от отца. Дочь его была прозвана:

Киргиз-кайсацкая царевна,
Владычица золотой орды,

потому что в лице ее, оживленном и возбужденном, было что-то восточное, и что имела она много поклонников. Была красавица, княгиня Масальская (дом на Мясницкой), *la belle sauvage* – прекрасная дикарка – потому что она никуда не показывалась. Муж ее, *князь мощи*, потому что он был очень худощав.

Всех кличек и прилагательных не припомнишь.

В Москве и дома носили клички. На Покровке дом князя Трубецкого, по странной архитектуре своей, слыл *дом-комод*. А по дому и семейство князя называли: *Трубецкие-комод*. Дом, кажется, не сгорел в пожаре 1812 года, и в официальном донесении о пожаре упоминался он дом-комод.

Как другой князь Трубецкой известен был в обществе и по полицейским спискам под именем князь-*тарара*, потому что это была любимая и обыкновенная прибаутка его. Между прочим, он прозвал престарелого отца своего, когда и сам был уже стар: *le pere eternal* (вечный отец).

А дом Пашкова на Моховой? Не знаю, носил ли он в народе особую кличку, но дети прозвали его *волшебным замком*. На горе, отличающийся самобытною архитектурою, краси-

вый и величавый, с бельведером, с садом на улицу, а в саду фонтаны, пруды, лебеди, павлины и заморские птицы; по праздникам играл в саду домашний оркестр. Как бывало ни идешь мимо дома, так и прильнешь к железной решетке; глязеешь и любишься; и всегда решетка унижена детьми и простым народом.

Тоже в старое время была в Петербурге графиня Головкина. Ее прозвали *мигушей*, потому что она беспрестанно мигала и моргала глазами. Другого имени в обществе ей не было. Приезжий иностранный посланник, наслышавшись этого имени и однажды имея нужду к ней писать, преспокойно и прямо надписал письмо: *a madame la comtesse Migoushe* (госпоже графине Мигуше).

* * *

Тоже старина. В кавалергардском полку (почему не говорится *кавалергард*, как конногвардеец?) одного офицера прозвали *суп*. Он был большой хлебосол и встречного и поперечного приглашал *de venir manger la soupe chez lui*, то есть по-русски: щей похлебать. Между тем он был очень щекотлив, взыскателен, раздражителен. «Бедовый он человек, с приглашениями своими, – говаривал Денис Давыдов, – так и слышишь в приглашении его: покорнейше прошу вас пожаловать ко мне отобедать, а не то извольте драться со мною на шести шагах расстояния».

Этот оригинал и пригласитель с пистолетом, приставленным к горлу, был, впрочем, образованный человек и пользовавшийся уважением.

Около тридцатых годов, он из среды общества, из среды семейства, со дня на день, пропал без вести. Никто не знал, кажется, и ныне не знает, куда девался он, как кончил и покончил ли с жизнью своею. Объяснительной причины к исчезновению его также никто придумать не мог.

Года два-три спустя, на детском бале заметил я малолетнего сына его, танцевавшего с маленькою дочкою отца, который года два пред тем зарезался. Разумеется, эта встреча была дело случая, и, вероятно, дети и не знали о злополучной участи родителей своих, но и в самом случае бывает иногда много трагического драматизма.

* * *

Ум и талант не всегда близнецы, не всегда сросшиеся братья-сиамцы. Напротив, они нередко разрозненные члены. Ум сам по себе, талант сам по себе.

Такая разрозненность обыкновенно встречается в литературе: есть ум, особенно в поэзии, в стихотворстве, то есть внутренность; но нет приличной и красивой оболочки, чтобы облечь сырую внутренность. Есть талант, то есть нарядная блестящая оболочка; но под нею нет никакого ядра, нет никакой сердцевины. Можно быть отличным скрипачом и

вместе с тем человеком ума весьма посредственного. Перо — тот же смычок.

* * *

Некоторые так называемые светские романы богаты блестящими и тонко обделанными принадлежностями. Комната красиво убрана, все в ней расставлено в изящном и щегольском порядке, много искусства и мастерства и вкуса в разбросанных здесь и там изделиях, побрякушках; есть и ценные картины вдоль стен, есть и замечательные произведения ваяния. Одна беда: комната пуста.

Читаешь роман и все ждешь, чтобы в комнату вошел хозяин, чтобы в комнату вошла жизнь; но ни он, ни она не входят. Прекрасное женское платье, прекрасные женские наряды висят на вешалках и лежат на туалетном столе. Так и ждешь, вот придет красавица и придаст жизнь и значение этим блестящим прелестям. Она облечется ими; и она ими украсится, и они украсятся ею. Читаешь роман, а все красавица не является.

Памятный Москве оригинал, Василий Петрович Титов, ехал в Хамовнические казармы к князю Хованскому, начальствующему над войсками, расположенными в Москве. Ехал туда же и в то же время князь Долгоруков, не помню как звали его. Он несколько раз обгонял карету Титова. Наконец сей последний, высунувшись в окно, кричит ему: «Ку-

да спешешь? Все там будем».

Когда доехали до подъезда казарм, князя Долгорукова вытащили мертвого из кареты.

Около того времени умер в Москве Ст. Степан. Апраксин. Вот какие слухи ходили в городе по поводу смерти его.

Приближенные к нему передавали, что он не один раз рассказывал бывший с ним в молодости случай. Он был в приятельских связях, опять не упомяну с кем именно. По каким-то служебным неприятностям этот приятель вынужден был выйти из военной службы. Он поселился в Москве. Это было в царствование Екатерины II и, кажется, во время управления Москвою князя Прозоровского. Увольнение от службы делало положение его в Москве несколько сомнительным. Он умирает. По распоряжению градоначальника отменяются военные почести, обыкновенно оказываемые при погребении бывшего военного лица. Апраксину показался такой отказ неблагоприятным и несправедливым. Он тогда командовал полком в Москве и прямо от себя и, так сказать, частным образом воздал покойнику подобающие ему почести.

В ночь, следующую за погребением, является ему умерший, благодарит его за дружеский и благородный поступок и исчезает, говоря ему: до свидания. Гораздо позднее вторично является он ему, и в этот раз сказал он: «Теперь приду к тебе, когда мне суждено будет уведомить тебя, что ты должен готовиться к смерти».

Прошли многие годы. Апраксин успел устареть. Вероятно, он более не думал о являвшемся ему привидении; по крайней мере, изгладились первые впечатления. Ничего мрачного и напуганного в нем не замечалось. Напротив, он пользовался и наслаждался жизнью, любил светские развлечения и сам в течение многих лет угощал Москву разными увеселениями и празднествами: зимою в городском доме, летом в подмосковной. Наконец он легко занемогает; ни доктор его, ни домашние не обращают особенного внимания на легкую простуду. Но он сам, впрочем, нрава не мнительного, озабочен нездоровьем своим, часто задумчив и мрачен. Несколько дней спустя он, к удивлению врача своего, почти без видимой болезни и причины, угасает. Эту неожиданную смерть объясняли третьим видением, или сновидцем, которого был он жертвою.

По кончине Апраксина Москва уже не видала подобного барского и гостеприимного дома.

Чтобы дать понятие о широком размере хлебосольства его, скажем, что вскоре после возрождения Москвы он, не помню по какому случаю, дал в один и тот же день обед в зале Благородного Собрания на сто пятьдесят человек, а вечером в доме своем бал и ужин на пятьсот. Это что-то гомерическое, или просто белокаменное, московское. Впрочем, не слыхать было, чтобы хозяйство и дела его были расстроены вследствие подобных балтазарских пиршеств.

Но не одними плотоядными пиршествами отличался этот

московский барски-увеселительный дом. Более возвышенные и утонченные развлечения и празднества также не были забыты. Бывали в нем литературные вечера и чтения, концерты, так называемые благородные или любительские спектакли. В городском доме была обширная театральная зала. В числе близких Апраксину приятелей назовем Фед. Фед. Кокошкина, кажется, несколько и родственника ему, и Алексея Михайловича Пушкина.

Это были два соперника-impresario. Первый заведовал Русскою сценою, другой Французскою. Оба и сами были отличные актеры, каждый в своем роде. Но преимущество было, разумеется, на стороне последнего, именно оттого, что он играл по-французски, мог пользоваться разнообразным выбором в богатой сценической литературе; другой же должен был долго искать в очень скудной драматической библиотеке и редко мог что найти.

Наш театр держится вообще переводами и подражаниями, под какою-то фабричною переделкою *на русские нравы*. И обыкновенно выходит, что нравы перестали быть французскими, но в русскую плоть не облеклись. Старые наши комедии, как например «Недоросль» Фон-Визина или «Хвастун» Княжнина, слишком устарели по форме и приемам своим для нашей публики.

За неимением комедий Кокошкин любил обуваться в трагический котурн. Он хорошо знал театр, изучил сценическое искусство; но наружность и средства его были не трагиче-

ские. Нельзя было сказать о нем: qu'il avait le physique de son emploi (что он использовал свои физические данные). Именно физика изменяла ему. Он был малого роста, лицом очень некрасив. Ничего героического и энергического в нем не было. Трагический шлем вовсе не был к лицу ему; вязаное нижнее платье, телесного цвета, также было некстати. Голосом владел он довольно хорошо, стих произносил толково и правильно; но в голосе было что-то слишком зычное и напыщенное, что часто встречается на театре нашем. Роль свою понимал он хорошо. Вообще был он актер не без дарования, классик по убеждению и до мозга костей своих: он держался старинных сценических преданий и обычаев, до суеверия, до язычества. Но сам-то на сцене никак быть не мог классическим героем.

Помню в доме Апраксина представление трагедии Вольтера *Альзира* в старинном переводе Карабанова, впрочем, довольно близком и не лишенном достоинства. Тут подвизались Кокошкин, двоюродный брат его, тоже Кокошкин, с женою своею и поэт Иванов. Если Фед. Фед. был довольно сухощав, то два другие дородством своим занимали на сцене достаточно видное место. Это представление имело, разумеется, свою восторженную и до ломания рук хлопающую публику.

И тогда уже были патриотические театралы, почитавшие почти государственной изменою более любить хорошее драматическое представление французское, нежели плохое оте-

чественное. Но и тут в числе зрителей были, хотя и в меньшинстве, некоторые из таких государственных преступников и неблагодарных сынов России: они исподтишка улыбались, глядя на трагические усилия усердных лицедеев. Вас. Львович Пушкин был в числе таких злоумышленников. По добрым свойствам своим, не очень задирчивый в эпиграммах, он, выходя из театра, сказал довольно забавно:

Гусмана видел я, Альзиру и Замора.
Умора!

Был еще памятный спектакль в летописях Апраксинского театра. Разыгрывали «Цивильского Цирюльника». А. М. Пушкин был учредителем и действующим лицом представления. Он тоже был большой любитель и большой знаток сценического искусства. На театральных подмостках был он как в комнате, как дома. Вообще он не легко смущался и никогда не рисовался. Публика для него не существовала. Он играл роль свою, как чувствовал и как понимал ее, и всегда чувствовал и понимал ее верно: выражался непринужденно. Игра в лице его была мимическая и вне сцены. Разумеется, в комедии Бомарше, по всем правам, принадлежала ему роль Фигаро.

Никогда французский автор не мог придумать себе лучшего Фигаро и лучшей Розины, как тех, которые дала ему Москва. Молодая девица Шишкина (впоследствии г-жа Ге-

деонова) была прелестная Розина. Собою миловидная, красивая, она, игрою натуральною и смышленною, милою смесью девической простоты и девичьего лукавства, совершенно верно и превосходно выразила создание, вымышленное Бомарше. К тому же была она отличная певица: голос свежий, чистый, светлый, звонкий. Вставленные в комедию арии, пропетые ею, довершили торжество ее.

Дом Апраксина (который, впоследствии, кажется, был домом призрения сирот, оставшихся после родителей, умерших от холеры, – вот как судьба распоряжается, не только людьми, но и домами!) был предназначен быть храмом искусства. Много лет играли на его театре императорские актеры и опера Итальянская, выписанная и учрежденная также при содействии Апраксина.

Тузы, которые в Москве *живали и умирали*, право, были не лишние: каждый город мог бы пожелать иметь их в своей игре.

Подмосковная *Льгово* была достойною пристройкою к городскому дому, и тут посетители следовали за посетителями, праздники за праздниками, спектакли за спектаклями. В последнем отношении не довольствовались легкими комедиями и водевилями: из старого французского репертуара выбирали комедии пятиактные и первого разряда; например, *La Coquette Corrige'e*. В один из таких вечеров Пушкин явился маркизом самого версальского чекана; в другой – настоящим французским слугой, наглым и плутоватым; а под

конец – русским старостой. В деревенской картине, запросто написанной, пели куплеты в честь хозяйки, то есть Екатерины Владимировны, которую, за несколько строгую красоту ее, прозвали в Париже *Венерой в гневе*, la Venus en courroux. На долю Пушкина пал следующий куплет:

Был я щеголем французским,
Был обманщиком слугой,
А теперь красавцем русским,
При усах и с бородой.
Малый я во всем послушный,
И с другими на подхват,
Для хозяйки добродушной
Я в огонь и в воду рад.

Перед самым спектаклем приехал из Петербурга князь Федор Сергеевич Голицын. Сейчас завербовали и его, и он пропел куплет, тут же написанный. Для не знавших его нужно заметить, что он был очень толст.

Из Санкт-Питера на праздник
Я нарочно прилетел.
Балагур я и проказник,
И пострел везде поспел.
Оценить меня глазами,
Я кажусь пудовиком;
Но попраздновать с друзьями
Нетяжел я на подъем.

* * *

Вот еще некоторые упражнения подмосковного деревенского общества, во время холеры, в шарадах:

1.

Читатель добрый мой, охотник до новинки,
Разделишь ли меня ты на две половинки,
Вот что во мне найдешь, когда догадка есть:
Одна – есть Божий дар; ему хвала и честь!
Душист он и душа обеда, вечерины.
Годится для крестин, для свадьбы, на поминки;
Он освежает ум и сердце веселит.
Другая – тело в нас от холода хранит.
А если скажешь ты: шарада плоховата!
Она тебе в ответ: как быть? Я виновата.

2.

Известно, климат наш больших похвал не стоит.
Здесь слогу *первому второй* он часто строит.

А целое мое: поэт и весельчак.
Теперь забвение, в гробу, его покоит,
Но в старину и он был славен кое-как.
Он нас в кулачный бой заводит и в кабак,
И боек стих его, и много в нем размаху;
Живописует нам он красную рубаху
И православный наш кулак.

3.

Есть шар земной; но есть, быть может, шар и ада,
Как бы то ни было, а все-таки шарада.

4.

Возьмите турку вы, возьмите немца вы,
И каждому из них по трубке в рот воткните;
Потом те два лица в одно лицо сложите,
И выльется русак от ног до головы.

5.

Во мне вы встретите чухонца и француза;
И, если русская трагическая Муза
Не совершенно вам чужда,
Вы мой и весь состав найдете без труда.

6.

Напоминаю вам я песни Оссиана,
Страну и зимних вьюг, и бардов, и тумана.
Приставьте букву мне у самой головы,
Быть может, ключницу свою найдете вы.
Вам мало ли того? Свой узел вновь затянем,
И в географию российскую заглянем.
Вот здесь: не то село, не то что городок,
А так ни то ни сё, заштатный уголок.
Не нравится он вам? – По щучьему веленью
И почерком пера, во след воображенью,
На юг, роскошный юг, стремглав перелетим.
Вот, славная река, с преданьем вековым;
Вот царство роз, и здесь их вечно свеж румянец;
Душисто здесь цветут лимон и померанец,
Неувядаемой здесь блещет красотой

Земля цветущая под твердью голубой;
Здесь круглый год весна и солнцу новоселье.
Вот город, южного поморья ожерелье!
Но, может быть, хотите заглянуть
В века минувшие? Я вам открою путь.
Из всех частей теперь разбросанных пред вами
Составьте вы лицо одно:
Мужское ль, женское ль? Вы разгадайте сами.
Да, вам и разгадать, я чай, немудрено.
В нем виден крепкий ум и пыл любви свободной,
Оно с лица земли сошло давным-давно;
Но в русских хартиях еще живет оно,
Живет и в памяти народной.

7.

Гордится девушка, что с головы до ног
Мой первый слог ее на первый бал одел;
Поляк гордится тем, что он второй мой слог;
Голландец тем, что я в саду его расцвел.

* * *

Если Державин русский Гораций, как его часто называ-

ют, то князь И. М. Долгоруков, в таком же значении, не есть ли русский Державин? В Державине есть местами что-то го-рацианское; в Долгоруковом есть что-то державинское. Все это, следуя по нисходящей линии.

Державин кое-где и кое-как *обрусил* Горация. Долгорукову удавалось *еще обрусить*, или *перерусить* русского Державина, популяризировать его. Державин не везде и не всегда каждому русскому впору. Долгорукова каждый поймет. Не знаю в точности почему, а может быть, просто и ошибаюсь, но, читая Долгорукова, я невольно припоминал Державина: разумеается, не того, который парит, а того, который легко и счастливо скользит по земле и метко дотрагивается до всего житейского.

Впрочем, не думаю, чтобы Долгоруков именно и умышленно подражал Державину. Он не искал его, а просто сходился с ним на некоторых проселках. По большим дорогам поэзии он не пускался. В том и другом много житейской философии: в Долгорукове более, потому, что он не увлекался в сторону и на высоты. В том и другом есть поэзия личная, так сказать, автобиографическая; но в Долгорукове даже ее более нежели у Державина; она, может быть, даже живее и разнообразнее. Он более держится около себя, менее обращая внимания на события, а более на впечатления и ощущения свои.

Как ни своенравен певец Фелицы, как ни далек он от так называемой классической поэзии, но все же подмечаются в

нем некоторые классические приемы. Видно, что и ему хочется быть академиком и показать, что он чему-нибудь учился. В другом никак не отыщешь этих изволений, этих притязаний. Читая его, нельзя не убедиться, что в поэтах он более охотник, чем присяжный и ответственный поэт. Он писал стихами потому, что так пришлось, потому, что рифмы довольно легко и послушно ложились под перо его.

Еще – и здесь отделяется он от Державина – бывал он по-этом, когда бывал влюблен; а влюблен бывал он очень часто. Это раскрывает он. нам в первом выпуске стихов своих: *Бытие сердца моего*. Это *бытие* разделяется на многие маленькие отделения. Мог бы он назвать книгу свою: *Летописью о сердечных мятежах*. Но междуцарствия в сердце его не бывало; только часто сменялись цари, то есть царицы. Кто же из влюбленных не бывал в свой час поэтом? Не у каждого выливались стихи на бумагу, но поэтическая нота, хотя и глухо, а звучала в груди каждого. И каждый мог сказать: Auch ich bin in Arkadien geboren.

А Долгоруков не только родился в этой Аркадии, но исходил ее из края в край, вдоль и поперек и постучался у каждого женского сердца. Он влюбчивый поэт. Он поэт-сердечкин, но не вроде князя Шаликова. В нем была искренность, была нередко глубина чувства. Вот начало одной песни его:

Без тебя, моя Глафира,
Без тебя, как без души,

Никакие царства мира
Для меня не хороши.

Разумеется, это не из лучших стихов его. Здесь ничего нет особенного; ничего нет художественного ни в выражении, ни в отделке, ни в фактуре стиха; но есть замечательное движение в приступе. Это невольное, сердечное восклицание. Так и слышится, что оно вырвалось из груди и высказано прежде, чем было оно написано. Опять может быть, ошибаюсь, и обманывают меня первоначальные впечатления мои; но эти четыре стиха как-то особенно приятно и нежно звучат в памяти моей.

Ум поэта нашего был преимущественно русского склада. Этим складом и выразил он себя. Русские поговорки так им и расточаются, и почти всегда с толком и удачно. Он вовсе не ищет блеснуть мужиковатостью своей; он употребляет простонародную поговорку потому, что она сподручна мысли его. Этот русский склад, с поговорками или без поговорок, особенно заметен в нем, Державине и в Крылове. В Пушкине более обозначалась народность историческая; в тех трех – народность житейская. Немного парадоксируя, Пушкин говорил, что русскому языку следует учиться у просвирен и у лабазников; но, кажется, сам он мало прислушивался к ним и в речи своей редко простонародничал.

Странное дело, и нельзя кстати здесь не заметить: рождением простолюдин и холмогорец, Ломоносов, едва ли из на-

ших писателей не наименее русский в том значении, которое присваиваем определению нашему. Даже Сумароков, который изо всей мочи подражал французам и выдавал себя за прямого питомца Расина и Вольтера, имел в жилах своих более русской крови: он более глядит русским, нежели Ломоносов. Этот немцев ненавидел, но ум свой одел в немецкое платье.

В Долгорукове, может быть, отыщешь еще больше коренного русского языка, всем общедоступного, более *русицизма*, нежели у самого Крылова. Но у Крылова эти русицизмы очищеннее и в самой простоте своей художественнее. От Долгорукова художества не жди: он не родился художником, художником и не сделался. Ему некогда было воспитывать дарование свое. Он сам вам говорит:

Угоден, пусть меня читают;
Противен, пусть в огонь бросают:
Трубы похвальной не ищу.

И это в нем не уловка смирения. У него была своя публика, разукрашенная разными Глафирами, Парашами, Людмилами, Раидами и многими другими, которые, все вместе и каждая в свою очередь, одаряли поэта вдохновением. В предисловии к третьему изданию сочинений своих он прямо говорит: «Первое издание моих стихов, вышедшее в 1802 году, и второе в 1808-м, были посвящены женскому полу». И чистосердечно, и похвально! Критике нечего тут совать свой

нос и перо свое. Это не по ее части.

Любопытно также и то, что, в предисловии своем, говорит он о новом издании сочинений своих. «Я очень мало поправлял мои стихотворения, и в 3-м издании также много старого вздору оставил, как и в прежних двух, да еще и много нового прибавил: потому что я в стихах моих хотел сохранить все оттенки чувств своих, видеть в них, как на картине, всю историю моего сердца, его волнения, перемену в образе мыслей». «Я ни одной безделки, ни одного стиха не вымарал, потому что всякий напоминает мне какое-либо происшествие, или мысль, или чувство, которое на меня действовало тогда и тогда».

Нет сомнения, что в изданных четырех частях Долгорукова не все изящный товар, а довольно есть и балласта. Читатели, конечно, не могут разделить с автором приятное чувство собственности, с которым он, так сказать, любитесь каждым стихом, напоминающим ему день, час, минуту протекшей жизни его. Но мы можем выбирать из жизни и сочинений его то, в чем способны сочувствовать ему, то, что не исключительно личное и для нас постороннее: с ним во многом можно не только встретиться, но и сойтись. Во всяком случае, полагаем, что сокращенное, выборное, дешевое издание Долгорукова могло бы найти читателей и сочувствие между грамотными простолюдниками нашими.

Простонародная литература наша очень бедна. Даже басни Крылова не совершенно общедоступное чтение. Не ду-

маю, чтобы басня могла встретить большой успех в простом народе. Он так сжился, свыкся с животной и прозябаемой натурой, что мудрено увлекаться ему художественным воспроизведением этой природы. Он знает, что дуб, заяц, лошадь не говорят, и не станет слушать их речей, когда со стороны заставят их говорить. Воображение этих людей мало развито, мало изощрено. Им нужны не иносказания, а сказания простые, живые, следовательно – действительные. Мир басни заманчив и хорош для нас, разрозненных с природой. За отсутствием настоящей мы любимся очерками ее в художественных картинах; нас пленяет простота в хорошей басне потому, что в нас самих простоты уже нет; попав нечаянно в деревню, мы лакомимся ломтем ржаного хлеба и кринкой свежего молока, потому что в городе пресытились белым хлебом и разными пряными приправами.

Вот разговорился я о Долгоруковом, как покойник о покойнике. Но для кого разговорился я? Кто знает Долгорукова? Кто читает его? Кому до него теперь дело? Правда, Пушкин еще знал наизусть несколько десятков стихов его; но едва ли и Пушкин не смотрит покойником. Пока еще хорошо бальзамированным покойником, почетным. Все это так, но все же за живого выдавать его нельзя. Посмотрите на живых: они совсем другие!

Вот видите ли, я думаю, в чем дело и от чего на Долгорукова нет ныне потребителей. В нем вовсе нет *гражданских мотивов*, скажут многие. Не знаю, есть ли такие мотивы в

нем и как-то худо понимаю сродство гражданских мотивов с поэзией. Поэзия сама по себе, гражданство само по себе. На это есть у вас журналы, газеты. Неужели мало с вас? Но за неимением гражданских в Долгорукове встречаются человеческие мотивы. В них звучит своя грудная, а не головная нота; напевы здесь не поддельные, не напускные; здесь слышится отголосок теплого, любящего чувства. В поэзии нет ничего суше, противнее тенденциозности политической, социальной, обличительно-полицейской, уголовно-карательной. Неужели весело вам видеть рабочий вопрос в стихах?

Долгорукова нельзя читать, язык его так устарел, говорят другие. – Нет, устарел не язык: языки не стареют. Стареют, то есть видоизменяются, некоторые формы языка, выражения, приемы и оттенки, иногда к лучшему, иногда к худшему. Нынешние формы естественнее, свободнее, развязнее, изящнее. Стих Жуковского и Пушкина победил старый стих. Это неоспоримо. Но никого не принуждают держаться старого почерка, когда усовершенствованная каллиграфия ввела новые образцы. Из того не следует, что не надобно читать и хорошее, когда писано оно старым почерком, почерком своего времени. Милости просим, пишите пушкинскими стихами, если кто из вас умеет ими писать; но, что мы такие за деспотические щеголи, что не только сами носим платье по самому новейшему покрою и повязываем шейный платок таким узлом, что старине и присниться бы он не мог, но не пускаем на глаза свои и несчастных стариков, которые

не одеты, не приглажены и не причесаны как мы?

Это напоминает гробовщика, который объявлял в газетах, что он для желающих изготавливает фоба в новейшем вкусе и совершенно нового фасона.

* * *

Болезнь Батюшкова уже начинала развиваться. Он тогда жил в Петербурге, летом, на даче близ Карповки. Приезжий друг его, давно с ним не видавшийся, посетил его. Он ему обрадовался и оказал ему ласковый и нежный прием. Но вскоре болезненное и мрачное настроение пересилило минутное светлое впечатление. Желая отвлечь его и пробудить, друг обратил разговор на поэзию и спросил его, не написал ли он чего нового? «Что писать мне и что говорить о стихах моих! – отвечал он. – Я похож на человека, который не дошел до цели своей, а нес он на голове красивый сосуд, чем-то наполненный. Сосуд сорвался с головы, упал и разбился вдребезги. Поди, узнай теперь, что в нем было!»

* * *

Пушкин (А.С.) отыскал в какой-то старой книге рассказ французского путешественника о русской бане. Французу захотелось попробовать ее, и отдался он любознательно и по-

корно в руки банщику. Тот и угостил его. Подробно описывает путешественник все мытарства, через которые прошел, и кончает этими словами: «Жара такая нестерпимая, что даже когда обвевают тебя березовыми ветками, то никакой свежести не ощущаешь, а кажется, напротив, бывает еще жарче». Несчастливого парили на полке горячими вениками, а он принимал их за освежительные опухала.

* * *

Хорош и другой путешественник! Видел он, что зимой греться кучерам зажигают огни на театральной площади, а кажется, бывало и перед дворцом, во время вечерних съездов. Вот и записывает он в свои путевые записки: «Стужа зимою в Петербурге бывает так велика, что попечительное городское управление пробует отапливать улицы; но это ничему не помогает: топка нисколько не согревает воздуха».

* * *

За границей из двадцати человек, узнавших, что вы русский, пятнадцать спросят вас, правда ли, что в России замораживают себе носы? Дальше этого любознательность их не идет.

* * *

N.N. уверял одного из подобных вопросителей, что в сильные морозы от колес под каретою по снегу происходит скрип и что ловкие кучера так повертывают каретой, чтобы наигрывать или наскрипывать мелодии из разных народных песен. — «Это должно быть очень забавно», — заметил тот, выпучив удивленные глаза.

* * *

Тютчев утверждает, что единственная заповедь, которой французы крепко держатся, есть третья: «Не приемли имени Господа Бога твоего всуе». Для большей верности они вовсе не произносят его.

* * *

N.N. говорит, что он не может признать себя совершенно безупречным относительно всех заповедей, но по крайней мере соблюдает некоторые из них; например: никогда не желал дома ближнего своего, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота; а из прочей собственности его дело бывало всяческое, смотря по обстоятельствам.

Спрашивали старого француза, что делал он в Париже во время так называемого *царствования террора* (1793 – 1794). *J'ai vécu*, – отвечал он. – Жил.

В глубокой старости, на вопрос, что поделываешь? – можно так же отвечать: *живу*. Старость, пожалуй, и не совершенно эпоха *террора*, но еще менее того золотой век и медовый месяц жизни. Ложка меду давно проглочена: остается бочка дегтя, который приходится глотать.

В провинции, лет сорок тому, если не более, жене откупщика прислана была в подарок из Петербурга разная мебель. Между прочим было и такое изделие, – а какое? – Да такое, которое, также уже очень давно, один из московских полицеймейстеров, на описи у кого-то движимого имущества, велел, по недоумению, на что послужить оно может, писарю наименовать: *скрипичный футляр о четырех ножках*.

Но откупщица на скрипке не играла и не могла даже и таким образом изъяснить эту диковинку.

Наконец придумала она, что фаянсовая лохань, заключающаяся в этой диковинке, должна служить на подавание рыбы за столом. Так и было сделано. На именинном обеде разварная стерлядь явилась в таком помещении.

Это не выдумка, а рассказано мне полковником, который с полком своим стоял в этом городе и был на обеде.

Алексей Михайлович Пушкин мог быть чем хотите, но уже отнюдь не славянофилом. Впрочем, при нем славянофильства ни в помине, ни в виду еще не было.

Славянофильство Шишкова было своего рода славянофильство кабинетное, литературное, а еще более голословное, корнесловное, буквальное. Он в мир исторический, гражданский и политический не заглядывал. Тогда политическая литература сосредотачивалась в одной галлофобии. Французов ненавидели, и только Растопчин *с красного крыльца* (гораздо ранее 12-го года), Шишков в своих полемических статьях, Сергей Глинка в своем «Русском Вестнике» были прорицателями и апостолами этой священной вражды.

А жаль, что Пушкин не дожил до рождения ценакла (гостиной) молодых славянофилов в Москве. Любопытно и забавно было бы посмотреть на сшибки его с Хомяковым и Киреевским. Нет сомнения, что и он не чуждался бы их, ни они не чуждались бы его. Вероятно, прения эти кончались бы остроумной шуткой Хомякова, или несколько циничной шуткой Пушкина: бойцы миролюбиво расходились бы до нового боя, при дружеском и громком хохоте самих состязателей и зрителей этого побоища.

Пушкин не мог быть приверженцем ни квасного, ни вся-

кого другого пересоленного патриотизма: французский ум его, и французский желудок, не способны были переваривать их. При каждой выходке, немного старорусской или саморусской, его коробило. Тогда, нагибая, по обыкновению своему, голову на левую сторону до плеча, он вскрикивал. «Ах! Вы блондосы! *Блондосы!*» Блондосы было у него выражение, равносильное слову *бухарцы*, что, по понятию его, равнялось бы с нынешним значением славянофилы. Блондас, blond, беловолосый, белобрысый, чуть ли не эскимос, не альбинос. Все это сливалось у него в одно забавное и укорительное выражение.

* * *

Как есть ум и умничанье: так есть либерализм и либеральничанье. Дай нам Бог поболее ума и поменее либеральничанья.

* * *

Где-то прочел я:

Скажи, как мог попасть ты в либералы?

– Да так пришлось: судьбы не победить.

Нет ни гроша, к тому ж и чин мой малый:

Так чем же вы прикажете мне быть?

* * *

Один приятель мой, доктор, говорит про зятя своего: «Он так плохо учился и вообще так плох, что я всегда советую ему сделаться гомеопатом».

* * *

Т*** говорит про начальника своего Б***: «Я так уверен, что он говорит противное тому, что думает, что когда скажет мне: садитесь, я сейчас за шляпу и уйду».

* * *

Александр Булгаков рассказывал, что в молодости, когда он служил в Неаполе, один англичанин спросил его: есть ли глупые люди в России?

Несколько озадаченный таким вопросом, он отвечал: «Вероятно, есть, и не менее, полагаю, нежели в Англии». «Не в том дело, – возразил англичанин. – Вы меня, кажется, не поняли, а мне хотелось узнать, почему правительство ваше употребляет на службу чужеземных глупцов, когда имеет своих?»

Вопрос, во всяком случае, не лестный для того, кто занимал посланническое место в Неаполе.

* * *

Когда М*** говорит о том, что быть бы могло, когда он фантазирует и романизирует, у него нет и тени воображения. Воображение его пробуждается только тогда, когда он заговорит о том, что было и что есть. Тут вымыслы так и вспыхивают, так и рассыпаются разноцветными звездами и блестками. Со всем тем, лжецом назвать его нельзя, хотя и лжет он безмилосердно, но бессознательно. Он просто сухой романист и мечтательный летописец.

* * *

Лермонтов сказал:

Люблю отчизну я, но странную любовью,

и свою любовь выразил в милой и свежей картине. Но есть у нас и такие любители или любовники, из которых каждый, в минуту чистосердечия, мог бы сказать:

Россию я люблю, но странную любовью;
Все хочется сильнее мне обругать ее.

И это, может быть, своего рода патриотизм.

Но любовь эта уже чересчур героическая. Мы очень любим бичевать себя. Дело хорошее – видеть ошибки и погрешности свои: покаяние – дело похвальное. Но не надобно забывать притом пословицу про того, который лоб себе расшибет, если заставить его Богу молиться. Во всем нужна мера.

Многие любят Россию не такой, какова она есть, а такой, которую хотелось бы им, чтобы она была. То есть, любовник влюблен в красавицу, но сердится, что она белокура и что у нее голубые глаза, а что она не черноволосая и не черноокая, и каждый день преследует ее за то, что она такой родилась.

Хомяков, без сомнения, любил Россию чистою, возвышенной и просвещенной любовью; но и он, однажды, в лирическом увлечении, чересчур понатужил ногу и вышел из надлежащего диапазона, когда говорил России, что она

Безбожной лести, лжи тлетворной
И всякой мерзости полна.

Последний стих решительно неуместный и лишний. Таким укорительным и грозным языком могли говорить боговдохновенные пророки. Но в наше время простому смертному, хотя бы и поэту, подобает быть почтительнее и вежливее с матерью своей. Добрый сын Ноя прикрыл плащом слабость и стыд отца.



После долгого спора о равенстве, о коммунизме и о других материях важных кто-то резюмировал прения следующими стихами:

«Все смертные равны: таков закон природы».
Есть правда в этом, но отыщется и ложь.
И лошади равны, как люди: от чего ж
И в них есть низшие и высшие породы?
Есть кляча в пять рублей, есть лошадь тысяч в шесть.
И в людях был Вольтер, да и Добчинский есть.
Нет, на один аршин нельзя творенья мерить,
Хоть будь они о двух иль четырех ногах.
Нет, милый краснобай, тебе нас не уверить,
Как там ни горячись в напыщенных словах,
Что наша матушка природа коммунистка:
Нет, есть и у нее свой выбор и очистка.
Единство видим в ней, но равенства в ней нет.
Таков был искони и есть и будет свет.
Как почву ни ровняй насильственной лопаткой,
Природа кое-где глядит аристократкой.

Вот что Жуковский пишет в одном письме:

Un homme instruit, mais immoral sera pernicieux: car il employera pour le mal les moyens qu'il possede. Un homme moral, mais ignorant, sera pernicieux: car avec les meilleures intentions, depourvu de moyens, il agira de travers et gatera la bonne cause.

(«Человек просвещенный, но безнравственный будет вреден: потому что употребит на зло средства, коими он обладает. Человек нравственный, но ума необразованного, будет вреден: потому что, несмотря на благие намерения, поступать будет он криво и испортит доброе дело».)

Еще, говоря вообще о воспитании наследников престола, выражается он следующим образом:

Son instruction doit etre plutot complete, que detaillee. Ses idees doivent etre grandes, mais pratiques. Il doit connaitre les homines tels qu'ils sont, et les choses telles qu'elles sont. Mais un *beau ideal* doit vivre en son ame: s'est celui de son role et de sa destination. Deux choses peuvent surtout enflammer et nourrir cet ideal, sans l'entraîner dans le pays des fictions, si dangereux pour un Souverain. C'est la religion et l'histoire. La religion pour le Souverain est la grande science de sa responsabilite devant Dieu. («Обучение его должно быть скорее всеобъемлющее, чем дробное. Понятия его должны быть обширны и возвы-

шенны, но вместе с тем и практические. Он должен знать людей, каковыми они бывают, и вещи, каковы они на деле. Но *идеал красоты* должен храниться в душе его: это идеал звания его и предназначения его. Два предмета могут особенно воспалять и питать этот идеал, не увлекая его в область мечтательностей, столь пагубную для государя. Эти два предмета: религия и история. Религия для царя есть великая наука ответственности его пред Богом».)

Какой сильный и выразительный язык и какие верные и возвышенные мысли! Жуковский, за некоторыми невольными руссизмами, прекрасно выражался на французском языке. С ним, вероятно, свyksя он и овладел им прилежным чтением образцовых и классических французских писателей. Не в Благородном же пансионе при Московском университете, не от Антонского, не из Белева мог он позаимствовать это знание.

Замечательно, что три наши правильнейшие и лучшие прозаики, Карамзин, Жуковский и Пушкин, писали почти так же свободно на французском, как и на своем языке. Следовательно, галлолюбие или французомания не враждебны правильному развитию русской речи.

Французский язык, своею точностью, ясностью, логическими оборотами речи, может служить хорошим курсом и преподаванием для правильного образования слога и на другом языке. Разумеется, говорим здесь о французском языке, обработанном великими писателями истекшего столе-

тия; а не о нынешнем французском литературном наречии.

Влияние немецкого языка и немецкой фразеологии, там, где оно у нас встречается, оказывается вредным. Немцы любят бродить и отыскивать себе дорогу в тумане и в извилинах перепутанного лабиринта. Темная фраза для немца находка, головоломная гимнастика вообще немцу по нутру.

Французы любят или любили ясный день и прямую, большую дорогу. Русской речи также нужны ясность и ровная столбовая дорога. Карамзин, в письме из Женева 1789 г., пишет: «Здесьняя жизнь моя довольно единообразна. Прогуливаюсь и читаю французских авторов, и старых, и новых, чтобы иметь полное понятие о французской литературе». (Немецкая и английская были ему уже знакомы.) Он мог бы прибавить, что читает французских авторов, чтобы научиться писать по-русски так, как он после писал.

* * *

В предобеденный час кто-то засиделся долго у Талейрана, вероятно в надежде, что хозяин пригласит его с собой отобедать. Наконец, Талейран позвонил и вошедшему дворецкому сказал: «Когда господин (называя его по имени) уйдет, подавать тотчас обедать».

* * *

Давыдов (П.Л.) был рыцарь вежливости и джентльмен в полном значении слова, но не выгодно было чем-нибудь раздосадовать его. Я*** речами и суждениями своими привел однажды желчь его в движение: «А как думаешь, Денис, – спросил он Давыдова, указывая на Я***, – у него на голове свои волосы, или парик?»

* * *

Однажды Алексей Михайлович Пушкин распустил слух, что наконец однофамилец его, Василий Львович, написал очень милые стихи. Это дошло до него и, по неожиданно-сти, очень польстило его доверчивому самолюбию. Наконец, в кружке общих приятелей, обрадованный поэт спрашивает вечного противника своего: какие это стихи, которые имели счастье заслужить благоволение твое? А вот эти, говорит Пушкин:

Charmante Recamier,
Que tu me sembles belle!
Que n'es-tu tourterelle?
Que ne suis-je ramier?

(Прелестная Рекамье,
Как ты хороша!
Почему ты не голубка?
И почему я не ветка?)

Разумеется, что он же сам написал на смех эти стихи. Но шутка удалась, и общий хохот увенчал ее. Но хохотал ли Василий Львович? Об этом история молчит.

Впрочем, кстати заметить, что он равно правильно и свободно писал и французские стихи. Он мастер был обтачивать куплеты и в Париже был известен песнями своими. Почему же не иметь разнозвучные струны на своей лире? Беды и стыда тут нет. Одно время жил он на Васильевском острове и захвачен был Невским ледоходом. Из заточения своего написал он приятелям своим и княгине Екатерине Федоровне Долгоруковой очень милые и остроумные стихи:

Habitant d'un autre hemisphere,
Je porte envie a votre sort:
Dans mon reduit pauvre insulaire,
Quoique vivant, je suis un mort.

Всех стихов не помню, но вот очень удачный куплет:

J'ai pour voisins un architecte,
Un graveur, artistes fameux.
Pour leurs talents, je les respecte,
Mais je n'ai guere besom d'eux.

C'est dans le coeur de ma compagne,
Que je suis grave tout de bon,
Et pour des chateaux en Espagne
Dois-je envoyer chercher Thomon?

Не худо было бы, в память старого времени, издать род поэтического сборника и собрать в нем французские стихи русских *дилеттанте*, например, под заглавием: Французская Муза в России. А именно: графа Шувалова, царедворца времен Екатерины, князя Белосельского, Ханыкова, В. Л. Пушкина, Окунева (бывшего кавалергардского офицера), князя Бориса Влад. Голицына, сначала французского поэта, а позднее члена Шишковской Беседы. В минувшем столетии напечатал он, между прочим, во «Французском Календаре Муз» (*Almanach des Muses*) двоестишие. Ривароль, в своем *Маленьком календаре великих людей*, сказал о нем: двоестишие хорошо, но нужно бы сократить его (*il y a des longueur dans ce distique*).

Уваров (граф Серг. Сем.) занял бы не последнее место в этом сборнике. В 1806-м или 1807 году ходили по рукам и с жадностью читались французские стихи его о счастье умереть в молодости, *Epitre a celle que je ne connais pas*, и другие. Даже и гораздо позднее, когда был он министром, припоминал он молодость свою и, посетив в первый раз Италию, воспел ее в стихах, которые так начинались:

Je te salue enfin, o ma belle Italie!

* * *

Рубини сказал мне: «Беда наша (т. е. певцов) заключается в том, что мы начинаем петь хорошо, когда уже голос теряем».

Оно так и быть должно. Пока голос свеж, звучен, послушен и силен, певец на него надеется и не учится петь.

То же бывает и с жизнью. Молодая жизнь распевает и наслаждается. Она надеется на себя, на силы свои. Что ни принимай, какие трудности и препятствия ни загораживай дороги: ничего, жизнь вывезет! Наука жизни является позднее, когда живые силы уже изменяют: поток обмелел, пламень угасает. Все та же старая история: воз орехов дается белке, когда *давно зубов у белки нет*, как сказал Крылов.

* * *

Жуковский однажды меня очень позабавил. Проездом через Москву жил он у меня в доме. Утром приходит к нему барин; кажется, товарищ его по школе или в года первой молодости. По-видимому, барин очень скучный, до невозможности скучный. Разговор с ним мается, заминается, процеживается капля за каплею, слово за словом, с длинными

промежутками. Я не вытерпел и выхожу из комнаты. Спустя несколько времени возвращаюсь: барин все еще сидит, а разговор с места не подвигается. Бедный Жуковский, видимо, похудел. Внутренняя зевота першит в горле его, она давит его и отчеканилась на бледном и изможденном лице. Наконец барин встает и собирается уйти. Жуковский, по движению добросердечия, может быть совестливости за недостаточно дружеский прием, и вообще радости от освобождения, прощаясь с ним, целует его в лоб и говорит ему: «Прости, душка!»

В этом поцелуе и в этой *душке* выглядывает весь Жуковский.

Он же рассказывал Пушкину, что однажды вытолкал он кого-то вон из кабинета своего. – «Ну, а тот что?» – спрашивает Пушкин. «А он, каналья, еще вздумал обороняться костылем своим».

* * *

У графа Блудова была задорная собачонка, которая кидалась на каждого, кто входил в кабинет его. Когда, бывало, придешь к нему, первые минуты свидания, вместо обмена обычных приветствий, проходили в отступлении гостя на несколько шагов и в беготне хозяина по комнате, чтобы отогнать и усмирить негостеприимную собачонку. Жуковский не любил этих эволюции и уговаривал графа Блудова дер-

жать забияку на привязи.

Как-то долго не видать было его. Граф пишет ему записочку и пеняет за продолжительное отсутствие. Жуковский отвечает, что заказанное им платье еще не готово и что без этой одежды с принадлежностями он явиться не может. При письме собственноручный рисунок: Жуковский одет рыцарем, в шишаке и с забралом, весь в латах и с большим копьём в руке. Все это, чтобы защищать себя от нападений заносчивого врага.

* * *

Спрашивали графа Блудова, какого он мнения об известной личности. *C'est toujours une bete*, – отвечал он, – *mais souvent une bete feroce* (всегда животное, но часто зверское).

* * *

Денис Давыдов, в молодости своей, сказал о ком-то:
Возврату твоему с похода всяк дивится:
Как без носу пойти, а с носом возвратиться?

* * *

А вот еще чье-то старое четверостишие:
Он рыцарь, он поэт, к тому ж любовник пылкий;
Но делает он все и вкось и невпопад:
Он рябчик ложкой ест, он суп хлебает вилкой;
Не верит в Бога он, а в черта верить рад.

* * *

У нас слова: *оратор*, *ораторствовать* вовсе не латинского происхождения, а чисто русского, – от слова *орать*. Послушайте наших застольных и при торжественных случаях витий!

* * *

Один женатый этимолог уверял, что в русском языке много сходства и созвучий с итальянским. Например, итальянец называет жену свою: *mia cara* (моя дорогая), а я, про свою, говорю: моя кара.

В конце минувшего столетия было в Петербурге вовсе не тайное, а дружеское и несколько разгульное общество, под именем *Галера*. Между прочими были в нем два Пушкина: Алексей Михайлович и Василий Львович, и Хитров, в свое время ловкий и счастливый волокита. Сей последний был что-то вроде Дон-Джовани.

Любовные похождения были в то время в чести и придавали человеку известность и некоторый блеск. Нравы регентства были не чужды нам, и знаменитый по этой части Ришелье мог бы найти в России совместников себе, а может быть, у кого бынибудь и поучиться.

Рассказывали про Хитрова, что он, на разные проделки в этом роде, был не очень совестлив. Не удастся ему, например, достигнуть где-нибудь цели в своих любовных поисках, он вымещал неудачу, высылая карету свою, которая часть ночи стоит неподалеку от жительства непокорившейся красавицы. Иные подмечали это, выводили из того заключения свои; а с него было довольно.

Впрочем, он был умен, блистателен и любезен; товарищи и молодежь очень любили его. Он был образован и в своем роде литературен. Алексей Пушкин рассказывал, что однажды, на военной сходке, заметил он книжку в гусарской сумке его: это были элегии Парни, только что изданные в Пари-

же.

Хитров бросился к Пушкину и говорит ему: «Ради Бога, молчи и не губи меня! Товарищи в полку любят меня потому, что считают меня служакой и гулякой и чуть ли не безграмотным. Как скоро проведают они, что занимаюсь чтением французских книг, я человек пропащий, и мне в полку житья не будет». Хитров был очень любим великим князем Константином Павловичем, который умел ценить ум и светскую любезность. Пользовался он и благоволением императора Александра. Умер он в царствование его, кажется, во Флоренции, посланником при Тосканском дворе. Был он женат на дочери князя Кутузова-Смоленского, вдове графа Тизенгаузена, незабвенной в петербургских преданиях Елизавете Михайловне.

Вот еще любезная личность, которую миновать не может сочувственное воспоминание. В летописях петербургского общества имя ее осталось так же незаменимо, как было оно привлекательно в течение многих лет. Утра ее (впрочем, продолжавшиеся от часу до четырех пополудни) и вечера дочери ее, графини Фикельмонт, неизгладимо врезаны в памяти тех, которые имели счастье в них участвовать.

Вся животрепещущая жизнь европейская и русская, политическая, литературная и общественная, имела верные отголоски в этих двух родственных салонах. Не нужно было читать газеты, как у афинян, которые также не нуждались в газетах, а жили, учились, мудрствовали и умственно насла-

ждались в портиках и на площади. Так и в двух этих салонах можно было застать сведениями о всех вопросах дня, начиная от политической брошюры и парламентской речи французского или английского оратора и кончая романом или драматическим творением одного из любимцев той литературной эпохи. Было тут обозрение и текущих событий; был и *gremetr Petersbourg* с суждениями своими, а иногда и осуждениями, был и легкий фельетон, нравоописательный и живописный.

А что всего лучше, эта всемирная, изустная разговорная газета издавалась по направлению и под редакцией двух любезных и милых женщин. Подобных издателей не скоро найдешь. А какая была непринужденность, терпимость, вежливая и себя и других уважающая свобода в этих разнообразных и разноречивых разговорах! Даже при выражении спорных мнений не было и слишком кипучих прений: это был мирный обмен мыслей, воззрений, оценок, система: *free trade*, приложенная к разговору. Не то, что в других обществах, в которых задирчиво и стеснительно господствует запретительная система: прежде, чем выпустить свой товар, свою мысль, справляешься с тарифом; везде заставы и таможи.

В числе сердечных качеств, отличавших Елизавету Михайловну Хитрову, едва ли не первое место должно занять, что она была неизменный, твердый, безусловный друг друзей своих. Друзей своих любить немудрено; но в ней дружба

возвышалась до степени доблести. Где и когда нужно было, она за них ратовала, отстаивала их, не жалея себя, не опасаясь за себя неблагоприятных последствий, личных жертвований от этой битвы не за себя, а за другого.

Несчастливая смерть Пушкина, окруженная печальной и загадочной обстановкой, породила много толков в петербургском обществе; она сделалась каким-то интернациональным вопросом. Вообще жалели о жертве; но были и такие, которые прибегали к обстоятельствам, облегчающим вину виновника этой смерти, и, если не совершенно оправдывали его (или, правильнее, их), то были за них ходатаями.

Известно, что тут замешано было и дипломатическое лицо. Тайна безымянных писем, этого пролога трагической катастрофы, еще недостаточно разъяснена. Есть подозрения, почти неопровержимые, но нет положительных юридических улик.

Хотя Елизавета Михайловна, по семейным связям своим, и примыкала к дипломатической среде, но здесь она безусловно и исключительно была на русской стороне. В Пушкине глубоко оплакивала она друга и славу России.

Помню, что при возвращении из заграницы в Петербург, при выходе моем с парохода на берег, узнал я о недавней кончине Елизаветы Михайловны. Грустно было первое впечатление, приветствовавшее меня на родине: не стало у меня внимательной, доброй приятельницы; вырвано главное звено, которым держалась золотая цепь, связывающая сочув-

ственный и дружеский кружок; опустел, замер один из Петербургских салонов, и так уже редких в то время.

* * *

Великий князь Михаил Павлович однажды, указывая на лицо, которое отправлялось в Америку с дипломатическим назначением, сказал мне: *Jamais le comte Nesselrode n'a montre plus de perspicacite et de tact, que dans cette nomination: c'est bien la une figure de l'autre monde* (Никогда граф Нессельроде не выказывал столько проницательности и такта, как в этом назначении: вот поистине фигура с того света).

* * *

Много толкуют везде, следовательно и у нас, о *печати* (la presse), о силе, о всемогуществе ее, об ее обязанностях и правах, влиянии и о прочих свойствах и принадлежностях ее. Оно так, но и не так. Печать не есть самобытная и нераздельная власть; напротив, она на деле многосложна, многообразна. Это не самородный слиток, а наборная – без каламбура – штучная, мозаическая работа.

Печать – орудие, машина сама по себе бездейственная и приводимая в движение и действие только мыслью и рукою двигателя; следовательно, все дело в двигателе. Како-

ва мысль, какова рука, такова и печать. Печать равнодушно, равно послушно и машинально печатает истину и ложь, мудрость и нелепость. Печать не что иное, как устное слово, переложенное на бумагу и закрепленное ею: изобретете великое, едва ли не высшее из всех человеческих изобретений. Порох, паровая сила, электричество ей в подметки не годятся. Она дает улетающему слову оседлость вековечную. Но все же, в сущности своей, она то же устное слово, застывшее, хотя оно и «тверже металлов и выше пирамид» (Державин).

А кажется – повторим мысль свою – никто спорить не будет, что как бывают умные слова, так могут быть и глупые, как бывают полезные и назидательные, так бывают вредные и разрушительные. Следовательно, печати обобщать нельзя. Она не ответственное, единичное лицо. Она цифра миллион. Имя ее легион. Беда или недоумение в том, что каждый газетчик, каждый фельетонист, каждый борзописец говорит именем печати, как будто вся печать в руках его, как будто весь мир печати лежит на плечах его. Он забывает, что через улицу от него есть другой журналист, другая печать, которые также носят на плечах своих мир печати, но что эта печать говорит совсем другое, нежели та; не только совсем другое, но и диаметрально противоречащее ей. Эти два мира, и не два, а десять и двадцать, борются между собою, силятся подорвать друг друга, а если не подорвать, то осмеять, обхаять, часто опозорить; и все во имя той же печати, во славу и в

охранение достоинства ее.

Журналистика в наше время, как у нас, так и везде, является одною из богатейших, многоплоднейших ветвей того дерева познания блага и зла, дерева, которое широко разрослось и глубоко укоренилось под именем печати. А потрудитесь внимательно и ближе посмотреть: вы увидите, что на этой ветви нет двух листьев совершенно друг с другом сходных ни тканью, ни краскою, ни запахом. Ветвь эта полосатая, пестрая, арлекинская. Можно представить себе, как зарябит в глазах и в уме, если прилежно взглядеться в эту разноцветность и пестроту.

Печать, особенно журнальная, бдительная, боевая, выдаёт себя в своем разнообразии за уполномоченного присяжного поверенного от лица общественного мнения, что, впрочем, не мешает ей выдавать себя и за опекуна, за предводителя этого же общественного мнения; а между тем у каждой газеты есть свое доморощенное, крепостное, к газете, как к земле, приписное общественное мнение. Что город, то нор; что газета, то мнение. Этим мнением она преподает, проповедует, устрашает, обнадеживает, пророчит, законодательствует, казнит, милует. Все это действует на толпу: она увлекается печатью, идолопоклонствует пред нею, верует в нее или боится ее; а все потому, что кажется ей, что печать — власть, воплощенная в одно живоначалное и нераздельное целое.

Да, помилуйте, господа, успокойтесь и отрезвитесь;

всмотритесь в эту всемогущую, таинственную, роковую печать, и вы увидите, что здесь и там стоят за нею все знакомые вам люди: Сидор Сидорович, Пафнутий Пафнутьевич, а может быть, и Петр Иванович Бобчинский. – Как Бобчинский? Какой Бобчинский? – Да все тот же, который в уездном городке своим тем известен, что он петушком, петушком, петушком бегаёт за дрожками городничего. Ныне он издает газету – и почему не издавать бы ему газеты? И он сделался частичкою печати, той всемирной и громадной паровой машины, которая заведует и ворочает судьбами частных лиц и народов.

Пока вы не были подписчиками этих господ, пока не платили им абонементного оброка, ведь вы мнениями их не дорожили, не советовались с ними, не признавали за ними всеведения и всемогущества, даже, может статься, считали их людьми довольно посредственными; а теперь, что они приютились за волшебными ширмами и кулисами печати, вы с трепетом, с идолопоклонством внимаете голосу их, как голосу оракула. Право, за вас смешно. В самообольщении своем вы забываете, что не боги горшки обжигают, не они обжигают и газеты и журналы, а все те же люди; в людях же есть всячина: человек человеку рознь. Есть люди, которые и горшков не умеют обжигать, не только что журналы.

Но пора, однако же, мне оговорить себя. Я, может быть, слишком далеко зашел. Пожалуй, добрые люди подхватят и Бог весть какую напраслину на меня наклепят: обзовут ме-

ня дикарем, ненавистником просвещения и проч. и проч. Напротив, люблю печать вообще, и журналистику в особенности, не менее каждого порицателя моего, и уважаю их, вероятно, более, нежели многие, но именно потому, что уважаю, я и взыскателен, и разборчив, и мнителен. От всей души желаю журналам здравствовать; молю Провидение о благоденствии и долгоденствии их. Но из того не следует, чтобы находил я, что все журналы хороши. Не следует и то, что я враг журналистики, когда говорю, что такой-то журналист взялся не за свое дело; а если за свое, то жаль, что это дело не литературное и не общепольное. Вполне признаю заслуги и благодеяния, которые может оказать обществу печать и в особенности периодическая, когда она честно и добросовестно направлена и с умелостью ведена.

Да к тому же в любви и в уважении моем нет бескорыстия. Есть тут и расчет: хорошо или худо, я сам принадлежу к этой силе; радуюсь и горжусь тем, что ей принадлежу. Лично обязан я ей многими светлыми радостями, может быть, и некоторыми сочувствиями со стороны благосклонного ближнего.

Но признаемся, мы ни в чем не любим крайностей и преувеличения: скажем прямо, не любим надувательства ни свыше, ни снизу, ни с боку. Не любим, когда словами отвлеченными, абстрактными, эластическими опутывают и с толку сбивают мысль и маскируют правду. Пускай печать остается тем, чем она есть, чем быть должна. Призвание и значение ее достаточно велики и в границах более умеренных и

узаконенных. Незачем выбегать ей за границы с контрабандою. Она большая, необходимая, незаменимая пособница в умственном развитии и деятельности человечества; но эта деятельность опять же в ней одной зарождается и сосредоточивается.

Печать не жизнь, а отголосок жизни, самый звучный и продолжительный из всех отголосков. Для лучшего упрочения и оправдания силы, выпавшей на долю ее, в виду собственной пользы своей, своего собственного достоинства, печать, особенно периодическая, должна отказаться от притязаний самовластия и самозванства; не должна она ни себя обманывать, ни морочить других. Пусть она свое повелительное я или мы спустит несколькими градусами ниже; голос ее этим окрепнет и просветлеет. Много чувствуем мы ее благоденствия и много благодарны ей, но она слишком часто сама провозглашает себя благодетельницею и спасительницею человечества. Это по крайней мере неловко.

Еще одно: не следует каждому журналу, каждой газете преподавать мнения и приговоры свои от имени коллективной печати; таковой печати нет. Есть их много, и каждая отвечай за себя. Не лучше ли будет, когда окажется в том надобность, сказать, например, вот так: «высокие обязанности и права, возложенные на такую-то типографию (назвать ее по имени), дают нам смелость сказать то-то и то-то». Оно будет скромнее, но вернее; каждая типография – часть печати, а не абсолютная печать. А теперь выходит, что каждый

командующий взводом, каждый газетчик говорит как будто Наполеон I, от имени всего победоносного войска и, как он в Египте, возглашает: «Воины, не забывайте, что с высоты сих пирамид сорок веков смотрят на вас!»

* * *

«Как это тебе никогда не вздумалось жениться?» – спрашивал посланника Шредера император Николай, в один из проездов своих через Дрезден. «А потому, – отвечал он, – что я никогда не мог бы позволить себе послушаться вашего величества». – «Как же так?» – «Ваше величество строго запрещает азартные игры, а из всех азартных игр женитьба самая азартная».

Он не только оставался до конца старым холостяком, но и секретарей своих присуждал на схимническую холостую жизнь. Иметь при себе женатого секретаря казалось ему дипломатическою неблагопристойностью, чуть ли не преступлением.

Он был совершенный образец дипломата старого покроя, старых верований и обычаев. В числе хороших его официальных качеств было убеждение, что хороший дипломат должен иметь хорошего повара. Обеды его славились в Европе. Он умел кормить, но и любил кормить; умел придавать предлагаемому особый колорит, особенную смачность. За столом его вкусное блюдо было вдвое вкуснее, чем за другим сто-

лом. Дело мастера боится. Le style c'est rhomme.

Он долго был в царствование Александра I второстепенной пружиной в нашей дипломатической администрации: много лет советником при Парижском посольстве, еще более лет посланником при Саксонском дворе. Он такого был сложения и строя, что не мог не быть долго на том месте, куда его сажали судьба и начальство. Подвижности никакой в нем не было, даже материальной. Он не признавал законности железных дорог и совершал поездки свои в уютной и покойной дормезе, запряженной лошадьми. Он был человек образованный и приятного разговора, многое и многих знал; но, разумеется, сочных и жирных нескромностей ждать от него было нельзя, а все же было что послушать и чем поживиться. Как в политике держался он преданий и узаконенных авторитетов, так равно и в общежитии, в искусстве и литературе. В драматическом отношении, вкус и сочувствие его долгим пребыванием в Париже были воспитаны такими знаменитостями, как актрисы Жорж, Марс, как трагик Тальма. Он не признавал, не мог и не хотел признавать, что искусство способно идти иначе и дальше. Когда явилась Рашель, он смотрел на нее, как на мятежницу, на самозванку; он не признавал за нею права, как отрицал право железной дороги.

Однажды в Дрездене, за обедом у него, говорили о Рашели. Все превозносили дарование ее; он один оставался непреклонным Сикамбром. Наконец кто-то сказал: «Конечно, нужно прислушаться, привыкнуть к новой дикции ее». —

«Вы говорите, привыкнуть, – прервал с живостью Шредер, – но привыкнуть можно ко всему. Дерите каждый день кошку за хвост, и вы тем кончите, что привыкнете к ее жалобному мяуканью и визгу». Вы видите, он до смелой оригинальности доводил независимость мнений своих.

Личным врагом его в жизни и в мироздании был ветер северо-восточный (Nord-Ost). Он не выносил его, не мог равнодушно и спокойно говорить о нем. Надобно было видеть, как в большом Дрезденском саду он защищался от него, лабиринговал и боролся с ним. Кажется, у него были особенные платья, сюртуки, бекешы, шляпы именно на то приспособленные, чтобы выходить на бой с противником своим. Само собою разумеется, что он ненавидел сигары, как предосудительное нововведение в европейские нравы. Но зато с сапогами обращался он, как лакомый куритель обращается с сигарами. Он, прежде чем обновить сапоги, давал им год и два хорошенько выстояться и высохнуть; и все это в виду сохранения здоровья.

Бессемейный, одинокий, все домашние заботы устремил он на сбережение себя. И что же? Оно довольно благоразумно и никому не обидно. Кончина его представляет психическое явление, довольно странное. У него часто обедали два дрезденские приятеля его. В течение времени, один из них умер, другой заболел. Занемог легко и Шредер, но он был на ногах и, казалось, соблюдал порядок дня своего по-обыкновенному. Одним утром приказывает он дворецкому накрыть

стол к обеду на три прибора, прибавляя, что два поименованные приятеля будут с ним обедать. Дворецкий удивился, но не осмелился сделать возражение. В урочный час Шредер садится за стол один; во все время обеда живо говорит он, то направо, то налево, как будто с сидящими около него приятелями. К вечеру обнаружилась в нем сильная воспалительная болезнь. Кажется, на другой день его уже не стало.

Это было мне рассказано его и моим доктором, знаменитым в Дрездене Геденусом. Кажется, очень скоро затем умер и третий заочный и таинственный собеседник.

* * *

Казалось бы, либерализм должен раскрывать ум и понятия. На меня действует он совершенно противоположно: он съезживает и суживает их. NN говорит про X., что он весь замуравлен в своих либеральных мыслях.

Странное сближение слов: *замуровать* и *se claquemurer*. Неужели и наше слово происходит от латинского *murus*, стена? Родства его с глаголом замуравливать (посуду) искать нечего.

* * *

Про одну даму, богато и гористо наделенную природою,

NN говорит, что когда он смотрит на нее, она всегда напоминает ему известную надпись: сии огромные сфинксы.

* * *

Немцевич, польский поэт, сказал про одну варшавскую художавую даму, что у нее не лицо, а два профиля; а о нем сказано было в сатирическом каталоге, который ходил по городу: Niemcewicz, auteur d'une etude sur les plantations en Amerique, ou il a plante sa femme (который на плантации в Америке посеял свою жену).

По выходе из Петропавловской крепости с генералом своим Костюшкой отправился он в Америку, там женился на туземке и, при возвращении своем в Европу, там ее и оставил. По крайней мере, таковы были варшавские слухи.

* * *

Это напоминает мне, что в старые годы и Москва промышляла подобными сатирическими проделками, например под заглавием: Тверской бульвар, Пресненские пруды и так далее. Обыкновенно и стихи, и шутки, хотя и с притязаниями на злостность, были довольно пресны. Вот образчики этого остроумия, залежавшиеся в памяти моей.

Были в Москве две сестрицы, о них сказано:

Кривобокие, косые,
Точно рвотный порошок.

Был тогда молодой человек, вышедший из купечества в гусарские офицеры, собою очень красивый, на примете у многих дам, известный долголетней связью с одной из милейших московских барынь, любезный, вежливый, принятый в лучшие дома. Бульварный или Пресненский песнопевец рисует его следующими стихами:

А Гусятников, купчишка,
В униформе золотой,
Крадется он исподтишка
В круг блестящий и большой.

Надобно же иметь такую несчастную память, как я имею, чтобы удержать в ней, за многими десятками лет, подобную дрянь. А между тем, как ни пошлы, ни безграмотны эти стихи, они жадно переписывались сотнями рук, как поздние стихи Пушкина и Грибоедова. Злость и ругательства имеют всегда соблазнительную прелесть в глазах почтеннейшей публики.

Бывали, впрочем, в этом роде попытки более удачные и замысловатые. Например, ходила по рукам программа министерского концерта, в начале царствования Александра I. Каждый сановник пел какую-нибудь известную песню. Один:

Винят меня в народе.
Другой, угрожаемый отставкою:
Я в пустыню удаляюсь
Из прекрасных здешних мест.

Третий, который неоднократно менял место служения:

Мне моркотно молоденьке,
Нигде места не найду.
Военный министр:
Всяк в своих желаньях волен.
Лавры, вас я не ищу!
Морской:
Выйду я на реченьку,
Посмотрю на быстрюю.
Унеси ты мое горе,
Быстра реченька с собой.
Министр финансов:
Доволен я судьбой
И милою богат:
О, Лиза, кто с тобою
И бедности не рад?
Министр просвещения:
Ночною темнотою
Покрылись небеса,
Все люди для покою
Сомкнули уж глаза.

И так далее. Все это было забавно, а не грубо и не обидно. Сами осмеянные, если были они умны (в чем грешно было бы сомневаться), могли смеяться вместе с насмешниками и публикой.

Когда Дмитриев был назначен министром юстиции, какой-то забавник, ссылаясь на стих одной из басен его:

И выбрал добрых псов,

выпустил стихотворение, к нему обращенное и кончающееся стихом:

Так будь же добр и ты, когда попал в собаки.

Помнится мне также песнь, слышанная мной в детстве, о шведском адмирале, который в царствование императрицы Екатерины был взят в плен и прислан в Москву. Он является на бал в вокзале, которого содержатель, или тогдашний Иван Иванович Излер, был Медокс. Около пленника выются московские барыни и, сколько помнится, они довольно остроумно и забавно обрисованы.

Бывали шутки и в прозе, и в действии. В первых годах столетия, на гулянье 1-го Мая, в Сокольниках, появилась лошадь в очках, с надписью крупными буквами на лбу: *только трех лет*. Это насмешка над тогдашней модой, которая и молодых людей наряжала в очки: до того времени они были принадлежностью одних стариков. Карамзин, еще в 1796

году, выставляет волокиту, жертву любви:

Взгляните на меня: я в двадцать лет старик;
Смотрю в очки, ношу парик.

Теперь это никого бы не удивило. В наше время близорукость и плешивость очень распространились и сделались популярны.

* * *

Память – клубок, который, только что до него дотронешься, разматывается сам собою. Очки пробудили во мне воспоминание о двоестишии, которое нашел я, когда рылся в русских старых книгах. Напал я на собрание стихотворений какого-то князя Голицына: имени его не припомню; но был он, вероятно, очень курнос, и вот тому поличное. Из всего тома, довольно объемистого, отметил я только два следующие стиха:

И рад бы я очки иметь,
Да не на что надеть.

Позднее, видал я в Московском Английском клубе князя Голицына, который подходил под эту приметку: носа у него почти совсем не было. Часто порывался я спросить его, не он ли автор двух помянутых стихов; но совестливость удержи-

вала меня от нескромного вопроса. Он, по-видимому, держался старого благочиния. Когда пудра была уже в изгнании, сохранившейся остаток волос его (отчего нет у нас слова *chevelure*?) был всегда тщательно и набело напудрен. Панталоны и сапоги давно уже выгнали коротенькие штаны и башмаки с пряжками; но его не переуверили они, и даже в клубе являлся он маркизом прошлого столетия. Странное дело, никогда в клубе не видал я его ни за обеденным столом, ни за карточным; никогда не видал я, чтобы он с кем-нибудь разговаривал. Зачем же ездил он в клуб? Как теперь рисуется он мне, в задней комнате, один, греющийся зимою у печки. Мимо него многие проходили; но им было не до него. Довершить ли мои следственные справки? Не тем будь он помянут, а прозвище его было: князь-моська; а такое прозвище, говорили, было дано ему потому, что он любил кушать жареные моськи.

Что же, тут греха и бесчестия нет: были бы только моськи по вкусу. Рассказывали, что во время кругосветного плавания, командир корабля, на котором находился граф Толстой, приказал бросить в море обезьяну, которую тот держал при себе. Но Толстой протестовал и просил командира позволить ему зажарить ее и съесть. Впрочем, Толстой всегда отвергал правдивость этого рассказа.

Встречались у нас, хотя и редко, сатирические объявления и в газетах. Кажется, М. Ф. Орлов, в ранней молодости, где-то на бале танцевал не в такт. Вскоре затем явилось в

газете, что в такой-то вечер был *потерян такт* и что приглашают отыскавшего его доставить, за приличное награждение, в такую-то улицу и в такой-то дом. Последствием этой шутки был поединок и, как помнится, именно с князем Сергеем Сергеевичем Голицыным.

А вот жемчуг печатных проказ и злости. Был когда-то молодой литератор, который очень тяготился малым чином своим и всячески скрывал его. Хитрый и лукавый Воейков подметил эту слабость. В одной из издаваемых им газет печатает он объявление, что у такого-то действительного статского советника, называя его полным именем, пропала собака, что просят возвратить ее и так далее, как обыкновенно бывает в подобных объявлениях. В следующем Но является исправление допущенной опечатки. Такой-то – опять полным именем – не действительный статский советник, а *губернский секретарь*. Пушкин восхищался этой проделкою и называл ее лучшим и гениальным сатирическим произведением Воейкова.

* * *

Мы говорили выше о веселом обществе *Галера*. Василий Львович Пушкин был в нем запевалом. Вот, отысканный в старых бумагах, первый куплет песни, пропетой им в последний день масленицы:

Пльви, Галера! веселися,
К Лиону в маскарад пустился.
Один остался вечер нам!
Там ждут нас фрау-баронесса,
И сумасшедшая повеса,
И Лиза Карловна уж там.

Веселое, молодое время! Любезный поэт *Опасного Соседа* тогда не говорил: «Ох, дайте отдохнуть и с силами собраться».

Тогда он не думал и не хотел отдыхать, а с ним и все поколение его. С силами собираться было нечего: силы были все налицо – свежие, кипучие. Вносим все это в поминки свои, в грешные поминки! Но в свое время все это было, жило, двигалось, вертелось, радовалось, любило, пило, наслаждалось; иногда, вероятно, грустило и плакало. Все эти люди, весельчаки, имели утро свое, полдень свой и вечер; теперь все поглощены одною ночью. Почему ночному караульщику не осветить мимоходом эту ночь, не помянуть живым словом почивших на ее темном и молчаливом лоне? Почему мельком, на минуту, не собрать эти давно забытые, изглаженные черты? Не расцветить их, не дать им хоть призрак прежнего облика и выражения? Почему не перелить в один строй, в один напев, эти разлетевшиеся звуки и отголоски, давно умолкнувшие?

Но от них никакой пользы и прибыли не будет. Не спорю. Но и от сновидения ничего не дождешься; а все же, как-

то приятно проснуться под впечатлением приснившегося от-
радного и улыбочивого сна. Почему, наконец, не помянуть и
неизвестную нам Лизу Карловну, puisque Лиза Карловна il y
a ou il y a eu! (Которая что есть, то есть.) Шиллер обессмер-
тил же в своем Wallensteins Lager красавицу из пригородка,
близ Дрездена: Was! der Blitz! Das ist die Gustel aus Blasewitz.

В пятидесятых годах еще доказывали путешественникам
эту Gustel, которая в молодости тронула сердце поэта, но без
успеха для него, так что, по иным рассказам, он упрятал ее в
стих более с сердцов и злопамятства. Василий Львович, ра-
зумеется, далеко не Шиллер; но зато можно заключить из
доброты его, что если он упомянул о Лизе Карловне, то, на-
верное, из благодарности.

Все эти выше разбросанные заметки, куплеты, газетные
объявления и так далее, сами по себе малозначительны, взя-
тые отдельно; но в совокупности они имеют свой смысл
и внутреннее содержание. Все это отголоски когда-то жи-
вой речи, указатели, нравственно-статистические таблицы и
цифры, которые знать не худо, чтобы проверить итоги ми-
нувшего. Мы все держимся крупных чисел, крупных собы-
тий, крупных личностей: дробь жизни мы откидываем; но
надобно и их принимать в расчет.

Французы изобилуют сборниками подобных мелочей. Ис-
торики их пользуются ими; а потому история их оживлен-
нее, люднее, нежели другие. Они не пренебрегают ссылать-
ся на современные песни, сатиры, эпиграммы. Один подоб-

ный рукописный сборник, известный под именем Маугерас, хранится бережно в государственном архиве, в многотомных фолиантах. Можно сказать, что все царствование Людовика XV переложено на песенник.

Известный Храповицкий оставил после себя большую рукопись, в которой собраны были многие любопытные и неудобопечатаемые, по крайней мере, в то время, случайные и карманные, более или менее сатирические стихотворения. Тут и важный Ломоносов был вкладчиком с одою к бороде, или о бороде (одою, вовсе непохожею на другие торжественные и официальные оды его). Были тут и сатиры и куплеты князя Дмитрия Горчакова, сказки, довольно скромные, Александра Семеновича Хвостова и, помнится, Карабанова, переводчика Вольтеровой «Альзиры». Находилось и стихотворение, которое можно было, по складу и блеску, приписать Державину. Помню из него два стиха, и то не вполне.

Когда Таврическая ночь
Брала себе... на лоно...

Было тут несколько исторических эпиграмм, бойких и едких. Являлся тут со стихами своими и какой-то Панцер-битер – имя, кажется, не поддельное, а настоящее. Кто теперь знает, что был у нас поэт Панцербитер? Где эта рукопись? Вероятно, сгорела она в московском пожаре 12-го года. По крайней мере, все попытки отыскать ее оказались напрасны-

ми. На всякий случай здесь изложена явочная пометка о пропавшей без вести. В «Вестнике Европы», издании Жуковского, было напечатано несколько эпиграмм, взятых из этого сборника и, разумеется, позволенных и целомудренных.

* * *

Кажется, можно, без зазрения совести, сказать, что русский народ, вообще: поющий и пьющий. Наш простолюдин поет и пьет с радости и с горя; поет и пьет за работой и от нечего делать, в дороге и дома, в празднике и будни. В Германии, например, редко услышишь отдельную и одинокую песню. Но зато в каждом городке, в каждом местечке, есть общество, братство пения; а иногда два-три ремесленника, цеховые, собираются, учатся петь, спеваются, иногда очень ладно и стройно; потом сходятся в пивную и, за кружками пива, дают вокальные концерты, что любо послушать. Немцы и французы имеют целую литературу застольных песней. А мы, охотно поющие и охотно пьющие, ничего такого не имеем.

В старых московских бумагах отыскалась подобная исключительная, застольная песнь, которую сюда и заносим:

Веселый шум, пенье и смехи,
Обмен бутылок и речей:
Так празднует свои потехи

Семья пирующих друзей.
Все искрится, вино и шутки!
Глаза горят, светлеет лоб,
И в зачастую, в промежутки,
За пробкой пробка хлоп да хлоп!

Хор:

*Подобно, древле, Ганимеду,
Возьмемся дружно за одно.
И наливай сосед соседу:
Сосед ведь любит пить вино!*

Денис! Тебе почет с поклоном,
Первоприсутствующий наш!
Командуй нашим эскадроном
И батареей крупных чаш.
Правь и беседой, и попойкой:
В боях наездник на врагов,
Ты партизан не меньше бойкий
В горячей стычке острых слов.

Хор:

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

А вот и наш Американец!

В день славный, под Бородиным,
Ты храбро нес солдатской ранец
И щеголял штыком своим.
На память дня того, Георгий
Украшил боевую грудь:
Средь наших мирных, братских оргий,
Вторым ты по Денисе будь!

Хор:

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

И ты, наш меланхолик милый,
Певец кладбища, Русский Грей!
В венке из свежих роз с могилы,
Вином хандру ты обогрей!
Но не одной струной печальной
Звучат душа твоя и речь.
Ты мастер искрой гениальной
И шутку пошлую поджечь.

Хор:

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

Ключа Каастальского питомец,
И классик с головы до ног!

Плохой ты Вакху богомолец,
И нашу веру пренебрег
По части рюмок и стаканов;
Хоть между нами ты профан,
Но у тебя есть твой Буянов:
Он за тебя напьется пьян.

Хор:

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

Законам древних Муз подвластный,
Тибулла нежный ученик!
Ты Юга негой сладострастной
Смягчил наш северный язык.
Приди и чокнемся с тобою,
Бокал с бокалом, стих с стихом,
Как уж давно душа с душою,
Мы побратались родством.

Хор:

Подобно, древле, Ганимеду и проч.

Нас дружба всех усыновила,
Мы все свои, мы все родня.
Лучи мы одного светила,

Мы искры одного огня.
А дни летят, и без возврата!
Как знать? Быть может, близок
Когда того ль, другого ль брата,
Не досчитаемся средь нас.

Хор:

*Пока, подобно Ганимеду,
Возьмемся дружно за одно.
Что ж? Наливай сосед соседу:
Сосед ведь любит пить вино.*